MEMORIA

ОСИП И НАДЕЖДА

Мандельштамы

M E M O R I A





МАНДЕЛЬШТАМЫ

в рассказах современников



Осип и Надежда

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО НАТАЛИС
2002

ББК 83.3Р7
О 74

Вступительная статья, подготовка текстов, составление и комментарий:
О.С. Фигурнова, М.В. Фигурнова

Консультанты:
В.В. Шкловская-Корди, Н.С. Бялосинская, Н.В. Панченко

Книга издана при финансовом участии издательства «АНАЛИТИКА-ПРЕСС»

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников / Вступ. ст., подгот. текст., сост. и коммент. О.С. Фигурнова, М.В. Фигурнова. — М.: Наталис, 2001. — 544 с.: ил.
ISBN 5-8062-0042-6

Вошедшие в книгу воспоминания современников о О.Э. и Н.Я. Мандельштамах по-новому раскрывают эпизоды из их биографий на фоне литературной и культурной жизни Петербурга (Петрограда, Ленинграда), Москвы, Воронежа, Калинина, Пскова и во многом ставят под сомнение достоверность мемуаров о поэте и его жене, появившихся в последние годы.

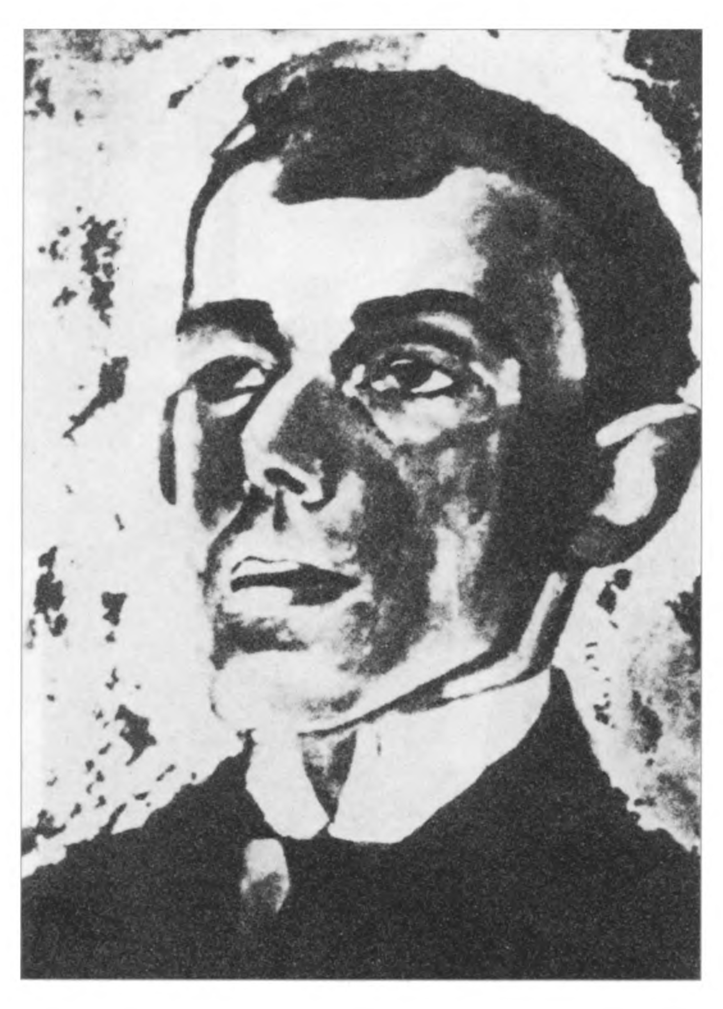
Впервые публикуются письма Н.Я. Мандельштам к В.Г. Шкловской-Корди и Е.М. Аренс, приводится полный текст единственного интервью, данного Надеждой Яковлевной английскому слависту Э. де Мони.

Каждому мемуарному тексту составителями предпослана подробная комментирующая статья.

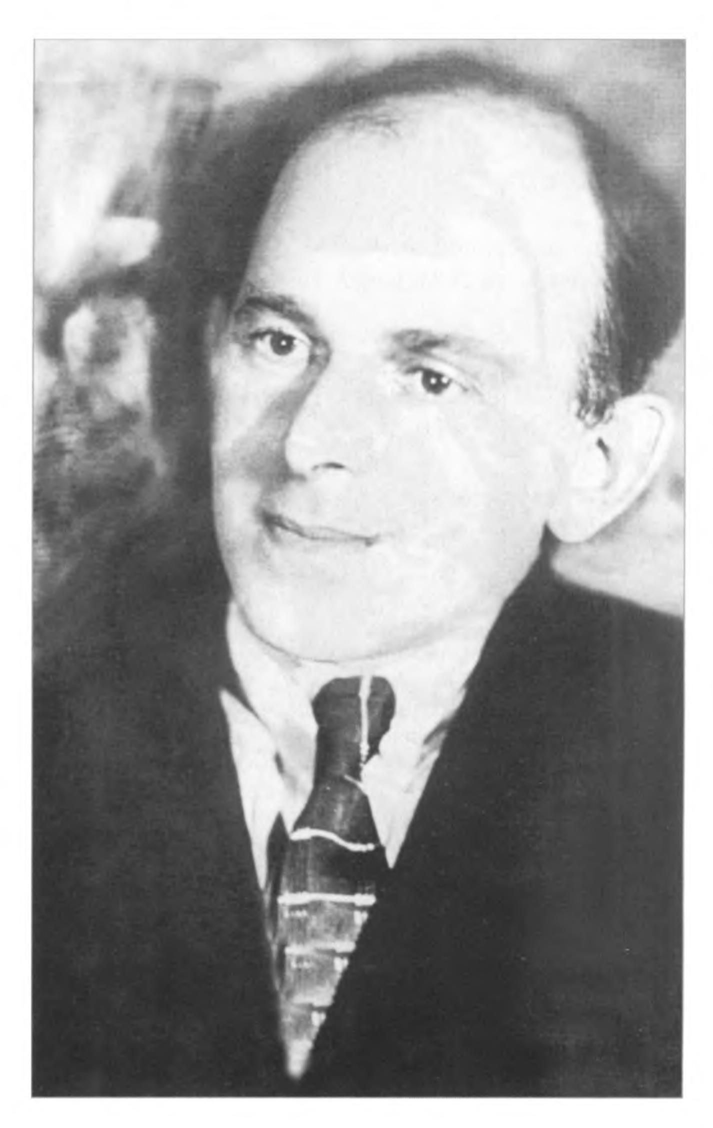
Сборник снабжен развернутым именным указателем и редкой иконографией (включая факсимиле автографа воспоминаний Анны Ахматовой о Мандельштаме), часть которой хранится в частных коллекциях и ранее не воспроизводилась.

ББК 83.3Р7

SBN 5-8062-0042-6



О.Э. Мандельштам. Портрет работы Льва Бруни. 1916 г.



О.Э. Мандельштам. Фото М. Наппельбаума



Н.Я. Мандельштам.
1920-е годы



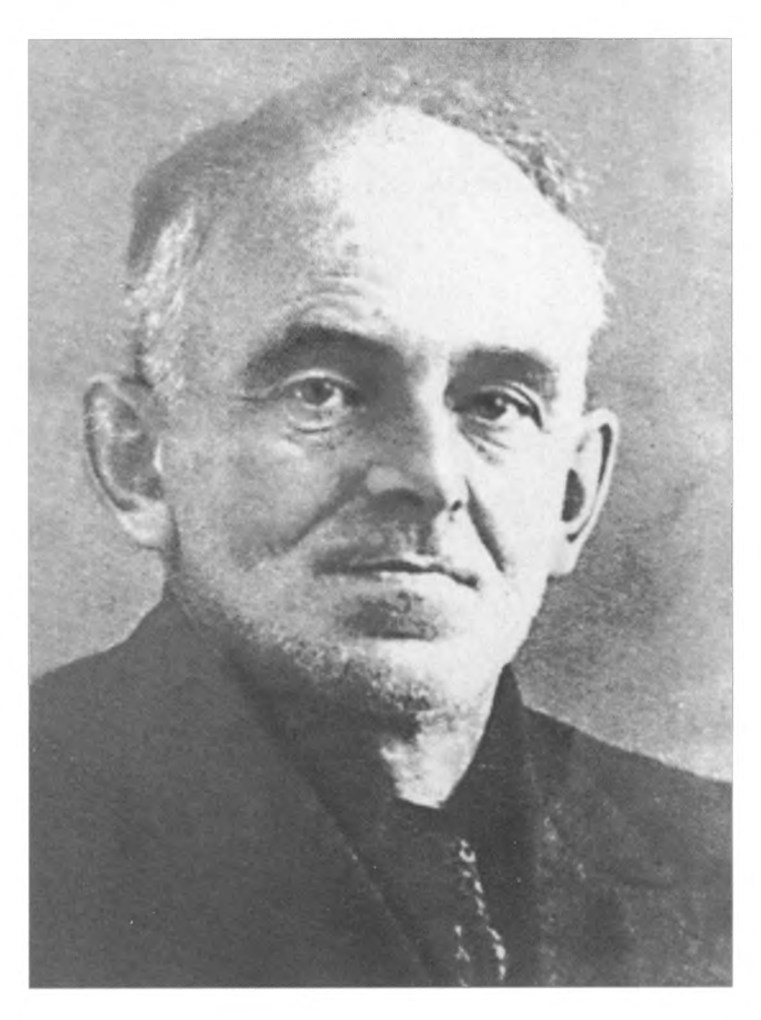
Н.Я. Мандельштам.
1924 г. Фото М. Наппельбаума



А.Э. Мандельштам, М.С. Петровых, Э.В. Мандельштам,
Н.Я. Мандельштам, О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова.
Москва, февраль 1934 г. Нащокинский переулок.
Архив Н.Н. Глен



О.Э. Мандельштам.
Рис. А.А. Осмеркина. 1937 г.



О.Э. Мандельштам. 1935—1936 гг. Воронеж

30/I 39

Боря, Ося умер. Я больше не могу писать. Только – наверное придется уехать из Москвы. Завтра решится куда не знаю. Завтра Женя напишет.

Надя

Я не пишу – мне трудно.

13

Письмо Н.Я. Мандельштам к Б.С. Кузину от 30.01.1939 г. Автограф



Н.Я. Мандельштам. Начало 1938 г. Калинин



Н.Я. Мандельштам. 1947 г.



Н.Я. Мандельштам.
Портрет работы Е.М. Фрадкиной.
Конец 1950-х гг. Архив А.Ж. Аренса



Н.Я. Мандельштам и Е.Б. Пастернак с дочерью Лизой.
Переделкино. 1970-е годы. Фото М.А. Балцвика.
Архив Е.Б. и Е.В. Пастернак



Н.Я. Мандельштам и Е.В. Пастернак с дочерью Лизой.
Переделкино. 1970-е гг. Фото М.А. Балцвика.
Архив Е.Б. и Е.В. Пастернак



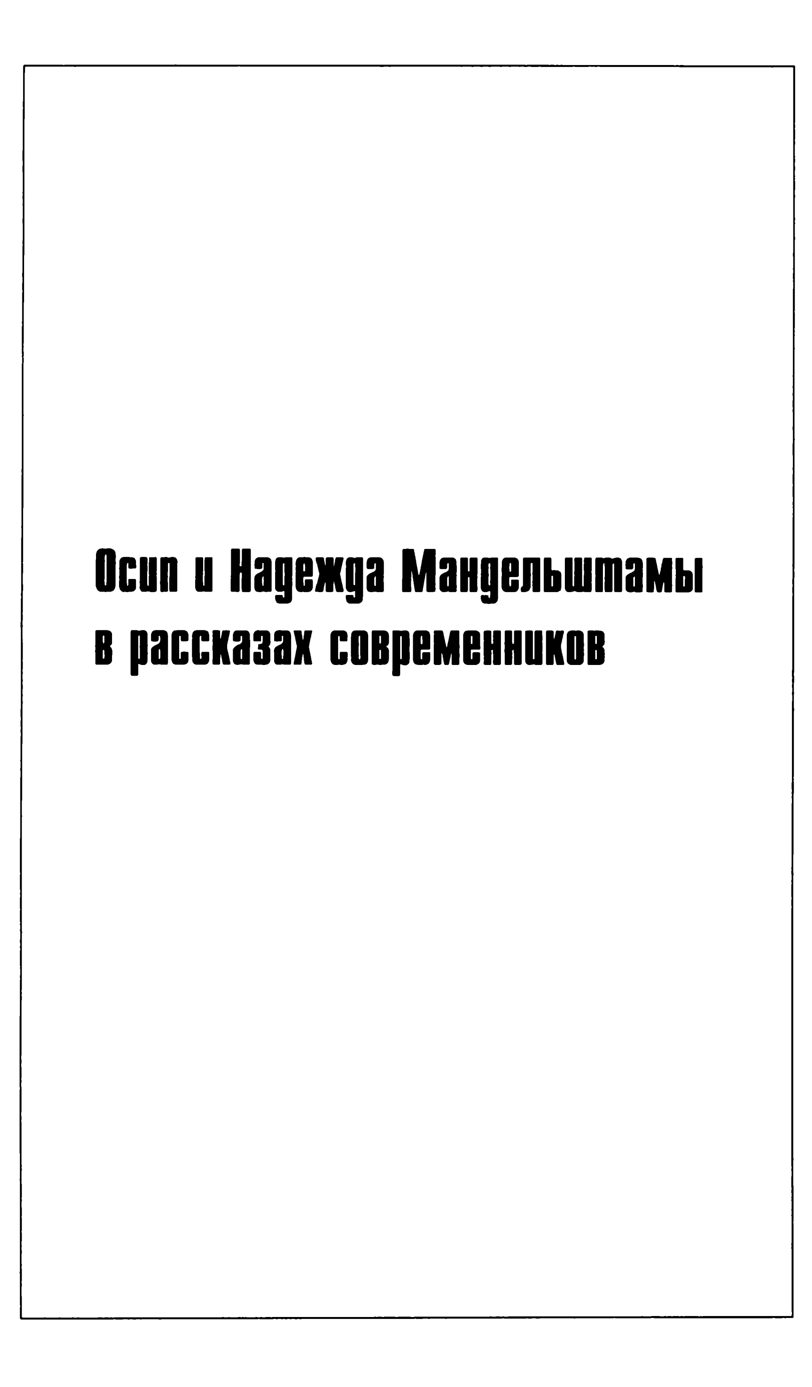
Н.Я. Мандельштам и
о. Александр Мень.
Лето 1978 г. Архив
В.В. Шкловской-Корди



В.Д. Дувакин 1970-е гг.



Один из первых магнитофонов,
использованных В.Д. Дувакиным для записи



Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников

«...Людей, знавших О<сипа> М<андельштама>, почти не осталось, а спрос на мемуары о нем есть... К тому же Ос<ип> Эм<ильевич> был не по плечу современникам. Мало кто мог бы о нем рассказать в полную силу. Всегда предпочитали анекдот».

Из письма Н.Я. Мандельштам
к Н.А. Струве («Третья книга»)

«...Так вот, таким же образом сохраняется и все смертное: в отличие от божественного оно не остается всегда одним и тем же, но, устаревая и уходя, оставляет новое свое подобие. Вот таким способом <...> приобщается к бессмертию смертное <...> другого способа нет».

Из диалога Диотимы
и Сократа (Платон, «Пир»)

Interludium

1966 год, прошедший под знаком смерти Ахматовой и процесса над Синявским и Даниэлем, пресек профессиональную карьеру блестящего преподавателя МГУ, филолога-литературоведа В.Д. Дувакина. Февральское выступление Дувакина на суде в защиту его ученика А. Синявского навсегда лишило его права преподавания и возможности работы на филологическом факультете. К Ахматовой, лежащей с ноября 65 г. в Боткинской больнице с последним, четвертым инфарктом, новости из зала суда поступали ежедневно. Они были таковы, что здоровья не прибавляли. «В привилегированном отделении, где лежала Анна Андреевна, простых смертных не было, только тещи и матери номенклатурных работников <...> Они читали в газетах про дело Синявского и Даниэля и громко его комментировали: «Вот так подонки!.. В наши дни». «Каково мне это слушать?» — жаловалась Анна Андреевна. И шепотом: «Пусть Синявский и Даниэль потеснятся — мое место с ними». <...> К ней вернулся страх».[1]

Трагические события зимних месяцев 66 года, по счастью, не стерли, а лишь повернули биографию Дувакина в иное русло: до конца жизни он не прочитал больше ни одной лекции, но с середины 67 года и на протяжении последующих 15 лет под руководством его «великолепного бесстрашия» создавался фонд звуковых мемуаров по истории культуры первой трети XX столетия. Собеседникам Дувакина (а среди них были В. Шкловский, М. Бахтин, М. Вольпин, В. Ардов, А. Цветаева, А. Ивич-Бернштейн...) надолго запоминалась его ошеломляющая фраза: «Прошу Вас говорить правду и только правду. Считайте, что мы с вами — перед судом Истории».

Одна из первых его записей (громоздкий «стационарный» «Тембр», бобины, массивный микрофон) состоялась на квартире тихого переводчика, а в начале века — поэта-акмеиста, соратника Ахматовой и Гумилева по «Цеху поэтов» — М.А. Зенкевича. Н.Я. Мандельштам позже припоминала, что жена Зенкевича была весьма недовольна визитом Дувакина. «По ее мнению, он не смел показываться в порядочных домах, раз Синявский, каторжник, был его учеником». И в телефонном разговоре жаловалась Надежде Яковлевне: дескать, «приходил Дувакин записывать болтовню Мишеньки»[2]. В том же 67 году Дувакин запишет В. Шкловского, чуть позже — С. Боброва...

Собеседники Дувакина... Все они, повернувшие против течения и затравленные, влившиеся в общий поток и преуспевшие, — одинаково боялись говорить. Дувакин успокаивал: «Не для печати. Мы работаем для XXI века». Действовало. Часто, проматывая бобины, бегло «листая» эти монументальные фоно-книги, слышишь осторожный шепот (всегда шепот!): «А об этом у вас можно говорить?», за которым следует неизменно спокойное: «У нас — да». И далее: «У нас уже многие *говорят*».

То, что этим насильственно безъязыким теням нужно вернуть право голоса, что их «свидетельские показания» бесценны, понимал, конечно, не один Дувакин. В мемуарных записях Надежды Яковлевны останавливает глаз следующая фраза: «Несколько раз мне выпадала возможность «быть услышанной», и я старалась ее использовать, но мои собеседники не понимали подтекста, не регистрировали моей информации. Им казалось, что наше только что начавшееся знакомство будет продолжаться вечно и они успеют, не торопясь и не напрягаясь, постепенно все узнать. Это была роковая ошибка с их стороны»[3].

Сегодня, окидывая взглядом многоярусные стеллажи дувакинской коллекции, поражаешься — ведь он был не только первым фонохронографом русской культуры первой трети XX столетия, но и, по сути, основателем новой науки — аудиотекстологии, освоение которой только начинается.

P.S. Уже после смерти Анны Андреевны одна из блестящих разговорщиц своего времени, Н.Я. Мандельштам, сетовала, что из прозы Ахматовой «вытравлен ее живой голос и резкость суждений»[4]. Что ж, кажется, и здесь Надежда Яковлевна вступила в разговор, «заведенный задолго до нее». Говорили об Орфее. Бесконечно смолкающий...

— требовательный и нежный голос был подобен голосу весны, он звал... безмерно дальше, чем содержание произносимых слов.

— Откуда взялась эта дерзость?.. От его лиры, звук которой, не говоря об эхе, заходит дальше, чем сам музыкант?

— И еще о голосе... Какая память сохранит все движения голоса, отзвучавшего четверть века назад!

А на матовой панели дувакинского «Тембра» уже зажегся любопытный зеленый глаз...

Ольга Фигурнова
Марина Фигурнова

---

[1] *Мандельштам Н.Я.* Из воспоминаний // Воспоминания об Анне Ахматовой. — М., 1991. — С. 305.

[2] *Мандельштам Н.Я.* Вторая книга. — М., 1990. — С. 49.

[3] *Мандельштам Н.Я.* Воспоминания. — М., 1999. — С. 39.

[4] *Мандельштам Н.Я.* Третья книга. — Paris, 1987. — С. 20—21.

От составителей

В основу настоящего сборника воспоминаний об О.Э. и Н.Я. Мандельштам легли фономемуары (1960—70 гг.) из коллекции В.Д. Дувакина (Фонд фонодокументов Научной библиотеки МГУ). Мы сочли возможным дополнить их новыми материалами из фоноархивов Л.А. Шилова и нашего собственного — магнитными записями (1990—2000 гг.) бесед с людьми, близко знавшими Н.Я. Мандельштам в разные годы ее жизни. В книгу вошли несколько текстов воспоминаний, хранящихся в частных архивах, а также мемуарных очерков и интервью, ранее не публиковавшихся в России. Впервые публикуется часть писем Н.Я. Мандельштам к В.Г. Шкловской-Корди (архив семьи Шкловских-Корди) и к Е.М. Аренс (архив А.Ж. Аренса).

Содержание многочасовых бесед интервьюеров с мемуаристами не всегда фокусировалось вокруг личностей О.Э. и Н.Я. Мандельштам, как и в любой «живой беседе», здесь допускались многочисленные экскурсы и отступления в историко-литературный контекст темы, перебои ритма разговора,.. Однако при сплошном прослушивании записей составителям удалось выделить цельные фрагменты воспоминаний, относящиеся непосредственно к Мандельштамам. Переведенные с голоса на печать, эти фрагменты и составили основной корпус книги.

Выстраивая композицию мемуарного сборника, мы руководствовались хронологическим принципом. Тексты воспоминаний расположены в порядке даты первого знакомства мемуариста с О.Э. Мандельштамом, Н.Я. Мандельштам или с людьми, входящими в их близкое окружение, чьи свидетельства имели существенную ценность для «реконструкции» биографии как Осипа Эмильевича, так и Надежды Яковлевны Мандельштам.

Комментарии к собранным в настоящем издании воспоминаниям в качестве вводного текста предваряют каждый мемуарный фрагмент,

а также введены непосредственно в «ткань» беседы: см. «заметки на полях» («in margine») и курсив в круглых скобках *( )*. Комментарий не претендует на всеобъемлющую полноту. Лица и исторические события, широко известные или далеко отстоящие от основного контекста книги, подробно не комментировались.

При переводе устных мемуаров в письменный текст, помня об особенностях и редких преимуществах свободного разговорного жанра, мы стремились сохранить все реалии живой речи мемуаристов, предвидя, что «шероховатости» устной речи отчасти могут затруднить «беглое» прочтение книги. Сокращения, обозначенные в печатном тексте купюрами (<...>), делались нами без искажения общего смысла свидетельств, как правило, только в случаях отступления мемуариста от основной темы беседы («полевого мышления»), нарушения синтаксических норм языка, обилия вводных слов и словесных повторов. Квадратными скобками ([ ]) в книге обозначены вставки слов, пропуск которых допустим в устной речи, но не в письменном тексте.

Вопросы интервьюера выделены полужирным шрифтом.

В сборник включены полные тексты стихотворений, по памяти цитируемых мемуаристами. **Стихи О. Мандельштама приводятся по изданию: Осип Мандельштам. Сочинения в двух томах / Под ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова. Т. 1 — Вашингтон, 1964 (экземпляр Г.Г. и В.И. Гельштейнов с правкой Н.Я. Мандельштам).** Другие варианты и разночтения стихотворений, цитируемых в тексте бесед, приводятся в том виде, как они запомнились мемуаристам.

В приложении даются краткие аннотации вошедших в данное издание интервью из Фонда им. В.Д. Дувакина Научной библиотеки МГУ.

Большая часть из представленной в книге иконографии публикуется впервые.

Мы приносим искреннюю благодарность людям, без которых подготовка и выход книги были бы невозможны: Н.Н. Глен, Н.Е. Шкловскому-Корди, Э. де Мони, А.Г. Козорезову, Т.А. Осмеркиной, Е.Б. Пастернаку, Е.В. Пастернак, В.И. Гельштейн, А.В. Головачевой, А.И. Головкиной, К.В. Чердынцевой, Ю.М. Живовой, А.Ж. Аренсу, С.И. Богатыревой, В.И. Лашковой, А.И. Немировскому, прот. М.В. Ардову, Е.Ц. Чуковской, Л.А. Шилову, Н.Н. Самохиной, а также Д.И. Зубареву, А.Е. Парнису и Ю.Л. Фрейдину. Благодарим за доброе многолетнее сотрудничество В.Б. Кузнецову, М.В. Радзишевскую, В.Ф. Тейдер и издательство «Наталис». Наша особая признательность за поддержку и деятельное участие в судьбе книги — В.В. Шкловской-Корди, Н.В. Панченко, Н.С. Бялосинской.



Михаил Александрович Зенкевич

Устные мемуары **Михаила Александровича Зенкевича** (поэта-акмеиста, переводчика, редактора, мемуариста) были записаны В.Д. Дувакиным на магнитную ленту в апреле 1967 г. Во Второй книге Н.Я. Мандельштам они упомянуты в следующем контексте: «...Зенкевич доживает жизнь, вспоминая, рассказывая и вновь переживая легкий хмель десятых годов <...> В страшные годы он молчал и выбирал утешительные занятия, чтобы хоть немного позабыться <...> В совсем недавние годы мне пришлось позвонить Зенкевичу, чтобы что-то узнать. Я напала на жену *(А.Н. Гусикову)*. Она жаловалась, что к ним *(на Остоженку, д. 41, кв. 1)* приходил Дувакин записывать болтовню Мишеньки. По ее мнению, он не смел показываться в порядочных домах, раз Синявский, каторжник, был его учеником» (Вторая книга, с. 49).

Картотека Дувакина, «возвращая даты полузабытым событиям», позволяет датировать этот визит 19 апреля 1967 г. Известно, что к памяти Зенкевича — акмеиста, хранящей воспоминания о десятых годах, Цехе поэтов, Н.С. Гумилеве, не раз обращалась и А.А. Ахматова. По свидетельству В.Е. Ардова, в шестидесятые годы он оставался для нее «последним на земле

[человеком], который называл покойного Гумилева Коля». На полях записей Н.Н. Глен, с 1958 по 1962 год — литературного секретаря Анны Андреевны, не единожды встречаются следующие ремарки Ахматовой: «Спросить у М<ихаила>. З<енкевича>»; «Уточнить у М.З.»; «Это может подтвердить только М.З.» (Личный архив Н. Глен).

Судя по воспоминаниям Надежды Яковлевны, Ахматова неоднократно уговаривала и ее выслушать «разговорные пластинки» Зенкевича: «Все про «Цех» и акмеизм» с тем, чтобы впоследствии «записать его путаные рассказы в должном порядке» (Вторая книга, с. 49). Надежда Яковлевна, к тому времени уже работавшая над собственными мемуарами, от «лестного» предложения уклонилась: «Пусть это делают без меня — я не историк акмеизма» — и со свойственной ей категоричностью так мотивировала свой отказ: «Думаю, что он (*акмеизм*) может обойтись и без истории» (там же). И все же акмеизму, названному Мандельштамом на одном из последних публичных выступлений «тоской по мировой культуре», история была возвращена усилиями не только Ахматовой, но и во многом благодаря Н.Я. Мандельштам, апеллирующей в данном случае к одному из первоисточников — памяти О.Э. Мандельштама, которую она в полной мере разделила с ним, так же как и жизнь. «Вариант акмеизма Ахматовой, — писала впоследствии Надежда Яковлевна, — в общем совпадает с моим, полученным от Мандельштама, хотя он и был немногословен» (Вторая книга, с. 370).

В 1972 г. рассказы Зенкевича вместе с примечательными для «филологического уха» оговорками («Муж хлестал меня ременчатым...») фиксировали, «на сей раз карандашом», Р. Тименчик и Г. Суперфин. По-видимому, это была последняя сделанная за Михаилом Александровичем запись — уже в 1973 г. А. Гладков оставит в своем дневнике следующую сентябрьскую помету: «На днях умер поэт Михаил Зенкевич, последний из акмеистов. Кажется, он не оставил воспоминаний, но Надежда Яковлевна говорила, что Харджиев записывал его довольно интересные рассказы. Человек он был тихий, не тщеславный, когда-то очень напуганный, скромный. Когда-то он жил в тени Гумилева, потом в тени Нарбута, а после их гибели залез в какую-то нору и изредка высовывал нос. Надежда Яковлевна относилась к нему насмешливо и снисходительно» («Я не признаю историю без под-

робностей...» // In memoriam. — СПб.-Париж, 2000. — С. 628—629). Свидетельство Гладкова корреспондирует фрагменту из опубликованной к тому времени первой книги воспоминаний Н.Я. Мандельштам: «Он *(Зенкевич)* бродил по развалинам своего Рима, убеждая себя и других, что необходимо скорее сдаваться не только в физический, но и в интеллектуальный плен. «Неужели ты не понимаешь, что этого уже нет, что все теперь иначе», — говорил он О<сипу>. М<андельштаму>. Это относилось к вопросам поэзии, чести и этики... к процессам, арестам и раскулачиванию... <...> На самом деле он не забыл ничего, был трогательно привязан к О.М., хотя и удивлялся его упорству и безумному стоянию на своем» (Воспоминания, с. 55—56), а также следующим отрывком из мемуаров самого М.А. Зенкевича, зафиксированных Дувакиным: «Мандельштам мне дал ряд стихов <...> «Уведи меня... в ночь..., где течет Енисей...» и так далее — «Потому что не волк я по крови своей...». Я говорю: «Осип, чего ты просишь?! Чтобы тебя сослали, что ли? Как же можно такое писать?!» Он как захохотал!».

Беседу ведет В.Д. Дувакин

[Маяковского] первый раз я увидел на лекции Корнея Ивановича Чуковского *(четвертая лекция К.И. Чуковского о футуризме «Искусство грядущего дня (русские поэты-футуристы)» состоялась в ноябре 1913 г.)*, где он читал известную свою статью о футуристах *(через год в расширенном виде лекция была напечатана в альманахе «Шиповник» (1914, кн. 22))*. В это время у нас велись переговоры о блоке между левыми акмеистами и футуристами. И там должен был выступать Мандельштам от акмеистов. Мы с ним вместе кое-что работали к выступлению, но основное он сам все сделал. И вот я пришел на эту лекцию.

Нужно сказать, что Маяковский как-то сразу врезался в нее и нарушил весь ход блестящей лекции Корнея Ивановича Чуковского, чем, мне кажется, тот был не совсем доволен. <*Смеются.*> Кстати, эта лекция удалась Чуковскому блестяще, и она футуристам большую рекламу сделала.

Маяковский выступил там со стихами Хлебникова. Читал он очень хорошо, громко так, на весь зал и сказал, что Хлебни-

ков — это не — «Крылышкуя золотописьмом» *(цит. строка из стихотворения В. Хлебникова «Кузнечик»)*, где и футуристические [фокусы], и заумный язык, а:

...«Я белый ворон, я одинок,
Но все — и черную сомнений ношу,
И белой молнии венок –
Я за один лишь призрак брошу
Взлететь в страну из серебра, —
Стать звонким вестником добра».
У колодца расколоться
Так хотела бы вода,
Чтоб в болотце с позолотцей
Отразились повода.

(«Гонимый — кем, почем я знаю?..»)

И вот эту мысль он провел по-боевому.

А «Крылышкуя золотописьмом...» ему что, не нравилось?

Нет, ведь Маяковский не увлекался этим заумным языком, зауми у него такой уж не было.

Простите, Михаил Александрович, я перебью по ходу... Вы говорите, в это время шли разговоры о блоке между акмеистами и футуристами...

Да. Они хотели, чтобы туда вошли я, Нарбут и Мандельштам, и тогда соглашались блокироваться. Посредником был брат Бурлюка, Николай Бурлюк. У него интересные довольно стихи: «Поэт и крыса...». Он был студент университета, филолог.

А год Вы не помните?

Это в 13-м, по-моему, было, когда началось выступление футуристов в Ленинграде — тогда Петербурге.

<...>

Когда оно состоялось, это самое выступление футуристов? Оно было тогда, когда велись переговоры?

Оно было уже в «Бродячей собаке» *(декабрь 1913 г.)*. (*Цитирует строки из своего стихотворения.*)

И вот — под гул ураганов —
Тянет вас лунная муть
Приливом Пяти Океанов
Ось земную свихнуть!

Это «Воды», из «Дикой порфиры».

Ага, это Ваши строчки из «Дикой порфиры», которые Вам прочел Маяковский?

Да, прочел. Я тогда обнаружил, что он помнит многие стихи.

То есть они ему понравились.

Да. А Мандельштама он отметил так:

Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки...

(«Петербургские строфы»)

«Черпали воду ялики, и чайки // Морские...» — вот это ему понравилось. Он помнил стихи других поэтов и знал их — мне Большаков рассказывал, что они с Маяковским когда-то ходили по Москве и читали стихотворения Ахматовой.

И помните даже, какие именно?

«...Там есть прудок, такой прудок, // Где тина на парчу похожа...» *(«Цветов и неживых вещей...»)*. А Вам известно, что он какому-то поэту прочел стихи Гумилева (это было во время революции) и сказал: «Идите и пишите так стихи, как их писал Гумилев:

Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя».

(«Галла»)

Это есть. Я не совсем понял, Вы говорили, что велись переговоры с футуристами — это когда? Еще одна встреча?

Нет, они велись долго, и на лекции Чуковского было первое наше с ними совместное выступление. Тут теоретически, не только со стихами выступал Мандельштам. Он ко мне прибегал и говорил: «Я у них был... я их видел... Это такая богема, богема, знаешь... Я заново переписал свое выступление...» — и так далее. И вот он там выступал. По-другому уже выступал, знаете, как он обычно — с апломбом несколько таким. Об акмеизме говорил... Ну вот, против Чуковского тоже высказывался, что он Уитмена... «А Уитмен, — говорит, — это человек, который... идет и раскланивается с явлением, снимает шляпу и идет дальше».

Мандельштам сказал об Уитмене?

Об Уитмене Чуковскому.

Так это было на той же самой лекции Чуковского?

На Женских медицинских курсах — это я хорошо помню — на Петербургской стороне.

Это не Бестужевские?

Нет. Бестужевские — на Васильевском острове, это совсем другое. Это специальные... там у нас и знакомые курсистки были.

И там читал Чуковский?

Да. А они на лекцию его пришли. Пришел Маяковский и выступал, и Мандельштам тоже. Других я не помню, чтобы выступали.

<...>

Как-то собирались, помню, Нарбут и другие, и были споры всякие там у нас, кто выше — Маяковский или Некрасов. Ну, Некрасов выше, и так далее... Но все-таки, понимаете, Маяковский — это личность трагическая... Гумилев его почему-то не любил. Даже когда мы первые его стихи читали с Мандельштамом и говорили Гумилеву, что вот интересный поэт, — он отвечал: «Ерунда, наш Струве — и то лучше его».

Какой Струве?

Ну, какой-то Струве *(М.А. Струве. В 1916—17 гг. был участником второго «Цеха поэтов».)* у нас был там, писал стишки...

Михаил Александрович, расскажите, пожалуйста, поподробней об отношении Мандельштама к Маяковскому — и Маяковского к Мандельштаму. Пока я менял дорожку, Вы продолжали говорить что-то насчет того, что Мандельштам считал Пастернака меньше Маяковского, что с Маяковским труднее соревноваться, чем с Пастернаком...

Да, Мандельштам говорил, что Маяковский больше, чем Пастернак. «С тем еще можно состязаться, а с этим нельзя». Он говорил: «Вот что-то громадное по лестнице идет, и я вижу — идет Маяковский». Именно громадное — как облако или туча какая-то... *(Ср. со следующей записью О. Мандельштама: «...В апреле* [14 апреля 1930 г.] *я принял* ***океаническую*** [выделено нами] *весть о смерти Маяковского. Как водная гора жгутами бьет позвоночник, стеснила дыхание и оставила соленый вкус во рту» (Вокруг «Путешествия в Армению» //О. Мандельштам. Собрание сочинений в 4-х томах. — Т. 3, с. 381).)*

Мне, между прочим, Гатов рассказал, что в одной редакции Маяковский сказал: «Вот стоит Мандельштам, не может пройти к редактору, ждет... А ведь он большой поэт». О «мраморной

мухе», говорят, у Маяковского написано, но, по-моему, эта острота не его, а Хлебникова.

Какая?

Мандельштам — «мраморная муха». Это острота Хлебникова, ее футуристы еще повторяли — Игнатьев и другие; еще в двенадцатом — тринадцатом году было это, так что он просто зафиксировал ее...Это и не в стиле совсем Маяковского. Это штучка Хлебникова *(по другим свидетельствам — В.И. Гнедова).*

Очень интересное свидетельство. Я сам в тридцатые годы, еще до ареста Мандельштама, видел его на одном из вечеров *(Вечера Мандельштама в 1933 г. прошли: 27 февраля — в Ленинградской капелле; 2 марта — в ленинградском Доме Печати; 14 марта — в Политехническом музее в Москве; 3 апреля — в Московском клубе художников.)*, **из задних рядов, но я знал одного его очень большого поклонника и личного — если не приятеля, то, во всяком случае, близкого знакомого, — такой был Борис Сергеевич Кузин. И вот в одном доме, где я его встречал, он постоянно читал Мандельштама. Потом я его расспрашивал, как Мандельштам к кому относится. Я так его спросил: «А какое было отношение Мандельштама к Маяковскому?» И очень хорошо запомнил его ответ, такой лаконичный и экспрессивный: «С воплем восторга!». Ваше свидетельство как будто подтверждает это** *(подтверждает и «стенографическая» запись Н. Соколовой ответной речи Мандельштама Эйхенбауму на вечере в Политехническом музее (14 марта 1933 г.): ««Я прослушал в замочную скважину речь Бориса Михайловича. Речь очень хорошая, но одна вещь обесценивает все ее достоинства». И тут он* [Мандельштам] *минут тридцать (без преувеличения) говорил о том, как Эйхенбаум оскорбил Маяковского, что он не смел даже произносить его имени с именами остальных (как нельзя, недопустимо сравнивать Есенина, Пастернака, Мандельштама с Пушкиным или Гете). «Маяковский гигант, мы не достойны даже целовать его колени». И все это очень в повышенном тоне, агрессивно, с пузырями в углах губ» (Кое-что вокруг Мандельштама // «Сохрани мою речь...» Вып. 3. Часть 2. — М., 2000. — С. 90).)*, **потому что я мог что-то невольно исказить. То есть какое-то время, — может, потом он поостыл, но примерно в конце двадцатых — начале тридцатых годов Мандельштам относился к Маяковскому с очень повышенным пиететом.**

Они... Ведь у них — по разному руслу поэзия шла...

Ну, конечно.

Причем, Вы знаете, когда я о нем думал, что он по векам там бродит, и так далее — Мандельштам... Так ведь это оттого, что еврейская кровь древнее нашей, мы-то в то время еще скифами где-то были...

Нас еще не было...

Да... А они... Рим и все это... Это у них, так сказать, в крови, они бродят по своей истории, правда? *(Из «разговорных пластинок» М. Зенкевича: «Мандельштам — он античность лучше всех понимал. У него это в крови — евреи же прошли через Грецию, через Рим. А славян тогда не было» (А. Сергеев. Omnibus. — М., 1997. — С. 374).)*

<...>

Мандельштам мне дал ряд стихов... *(1 июля 1931 г. 10 стихотворений для журнала «Новый мир»)* Это когда я у Полонского там заведовал *(с начала тридцатых годов по 1936 г. М.А. Зенкевич заведовал отделом поэзии журнала «Новый мир»)*. Я их сохранил. Большей частью они написаны не его рукой.

Они что, не напечатаны?

Часть напечатаны, часть — нет... Но... «Уведи меня...в ночь..., где течет Енисей...» и так далее — «Потому что не волк я по крови своей...» *(«За гремучую доблесть грядущих веков...»)*. Я говорю: «Осип, чего ты просишь?! Чтоб тебя сослали, что ли? Как же можно такое писать?!» Он как захохотал! Их использовал потом Харджиев *(имеется в виду издание: О. Мандельштам. Стихотворения /Сост. и комм. Н.И. Харджиева. — Л.: Советский писатель, 1973 (Библиотека поэта. Большая серия.))*. Он же собрал Мандельштама. И книга лежит уже третий год, даже больше.

Велимир Хлебников

Кузнечик

Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
Пинь, пинь, пинь! тарарахнул зинзивер.
О лебедиво.
О, озари!

<1907–1908>. 1912

* * *

Гонимый — кем, почем я знаю?
Вопросом: поцелуев в жизни сколько?
Румынкой, дочерью Дуная,
Иль песнью лет про прелесть польки, —
Бегу в леса, ущелья, пропасти
И там живу сквозь птичий гам,
Как снежный сноп, сияют лопасти
Крыла, сверкавшего врагам.
Судеб виднеются колеса,
С ужасным сонным людям свистом
И я, как камень неба, несся
Путем не нашим и огнистым.
Люди изумленно изменяли лица,
Когда я падал у зари.
Одни просили удалиться,
А те молили: озари.
Над юга степью, где волы
Качают черные рога,
Туда, на север, где стволы
Поют, как с струнами дуга,
С венком из молний белый черт
Летел, крутя власы бородки:
Он слышит вой власатых морд
И слышит бой в сковородки.
Он говорил: «Я белый ворон, я одинок,
Но всё — и черную сомнений ношу
И белой молнии венок —
Я за один лишь призрак брошу
Взлететь в страну из серебра,
Стать звонким вестником добра».
У колодца расколоться
Так хотела бы вода,
Чтоб в болотце с позолотцей
Отразились повода.
Мчась, как узкая змея,
Так хотела бы струя,

Так хотела бы водица
Убегать и расходиться,
Чтоб, ценой работы добыты,
Зеленее стали чёботы,
Черноглазыя, ея.
Шопот, ропот, неги стон,
Краска темная стыда.
Окна, избы с трех сторон,
Воют сытые стада.
В коромысле есть цветочек,
А на речке синей челн.
«На, возьми другой платочек,
Кошелек мой туго полн». —
«Кто он, кто он, что он хочет?
Руки дики и грубы!
Надо мною ли хохочет
Близко тятькиной избы?
Или? или я отвечу
Чернооку молодцу,
О сомнений быстрых вече,
Что пожалуюсь отцу?»
Ах, юдоль моя гореть!
Но зачем устами ищем
Пыль, гонимую кладбищем,
Знойным пламенем стереть?

И в этот миг к пределам горшим
Летел я, сумрачный, как коршун.
Воззреньем старческим глядя на вид земных шумих,
Тогда в тот миг увидел их.

<1912>

Михаил Зенкевич

Воды

Вы горечью соли и йодом
Насыщали просторы земли,
Чтоб ящеры страшным приплодом
От мелких существ возросли.

На тучных телах облачились
В панцирь громоздкий хрящи,
И грузно тела волочились,
Вырывая с корнем хвощи.

Когда же вулканы взрывом
Прорывали толщу коры,
То вы гасили приливом
Пламя в провалах норы.

И долго прибитые к суше,
В пене остывших паров,
Распухшие, черные туши
Заражали дыханье ветров.

Теперь же, смирив своеволье,
Схлынул ваш грузный разбег,
И в почве, насыщенной солью,
Засевает поля человек.

И Ксеркс, вас связать не властный, —
Он кабель, как цепи, метнул
В пучину, где в глине красной
Свалены зубы акул.

И скоро за пищей богатой
Поплывут, вращая винтом,
Стальные голодные скаты
С электрическим длинным хвостом.

Не скрыть вам дремучие рощи
И добычей усыпанный ил,
И вымерших ящериц мощи
В глубях их царских могил.

И вот — под гул ураганов —
Тянет вас лунная муть
Приливом Пяти Океанов
Ось земную свихнуть!

(Из книги «Дикая порфира»)
1910

Осип Мандельштам

Петербургские строфы

Н. Гумилеву

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, как броненосец в доке, —
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади Сената — вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка...

Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.

Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход —
Чудак Евгений — бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

1913

Анна Ахматова

* * *

Цветов и неживых вещей
Приятен запах в этом доме.
У грядок груды овощей
Лежат, пестры, на черноземе.

Еще струится холодок,
Но с парников снята рогожа.
Там есть прудок, такой прудок,
Где тина на парчу похожа.

А мальчик мне сказал, боясь,
Совсем взволнованно и тихо,
Что там живет большой карась
И с ним большая карасиха.

1913

Николай Гумилев

Галла

Восемь дней от Харрара я вел караван
Сквозь Черчерские дикие горы
И седых на деревьях стрелял обезьян,
Засыпал средь корней сикоморы.

На девятую ночь я увидел с горы —
Этот миг никогда не забуду —
Там, внизу, в отдаленной равнине, костры,
Точно красные звезды, повсюду.

И помчались одни за другими они,
Точно тучи в сияющей сини,
Ночи трижды святые и странные дни
На широкой галлаской равнине.

Всё, к чему приближался навстречу я тут,
Было больше, чем видел я раньше:
Я смотрел, как огромных верблюдов пасут
У широких прудов великанши.

Как саженного роста галласы, скача
В леопардовых шкурах и львиных,
Убегающих страусов рубят сплеча
На горячих конях-исполинах.

И как поят парным молоком старики
Умирающих змей престарелых...
И, мыча, от меня убегали быки,
Никогда не видавшие белых.

Временами я слышал у входа пещер
Звуки песен и бой барабанов,
И тогда мне казалось, что я Гулливер,
Позабытый в стране великанов.

И таинственный город, тропический Рим,
Шейх-Гуссейн я увидел высокий,
Поклонился мечети и пальмам святым,
Был допущен пред очи пророка.

Жирный негр восседал на персидских коврах
В полутемной неубранной зале,
Точно идол, в браслетах, серьгах и перстнях,
Лишь глаза его дивно сверкали.

Я склонился, он мне улыбнулся в ответ,
По плечу меня с лаской ударя,
Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.

Всё расспрашивал он, много ль знают о нем
В отдаленной и дикой России...
Вплоть до моря он славен своим колдовством,
И дела его точно благие.

Если мула в лесу ты не можешь найти
Или раб убежал беспокойный,
Всё получишь ты вдруг, обещав принести
Шейх-Гуссейну подарок пристойный.

(Из книги «Шатер»)
1921

Осип Мандельштам

* * *

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей, —

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первозданной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

17—28 марта 1931



Виктор Борисович Шкловский

Дружеские взаимоотношения **Виктора Борисовича Шкловского** (теоретика литературы, основоположника «формального метода», критика, писателя) и О.Э. Мандельштама насчитывали более четверти века. Интересно, что духовная близость Мандельштама и Шкловского проявлялась даже на уровне общей для них внешней пластики. Вспоминая внешность этих двух «последних разговорщиков» своего поколения, современники не раз фиксировали характерную и для Шкловского, и для Мандельштама позу «интеллектуального комфорта».

Л. Гинзбург:

Шкловский «в черной косоворотке с открытой шеей <...> сидит на кровати без сапог, поджав ноги <...> Потный, с сверкающим огромным многоэтажным черепом (ступенчатое построение), он много говорит: при этом у него шевелятся уши» (Записные книжки: Из записей 1929 г. — М: Захаров, 1999. — С. 89).

Н. Штемпель:

«Осип Мандельштам сидел на кровати в своей обычной позе, поджав под себя ноги по-турецки и опираясь локтем на спинку...» (Мандельштам в Воронеже // Осип Мандельштам. Воронежские тетради. — Воронеж, 1999. — *С.* 266).

Начало взаимоотношений Шкловского и Мандельштама восходит к десятым годам: совместные публичные выступления, участие в диспутах, в том числе и в литературно-артистическом кабаре «Бродячая собака»...

«Была еще «Бродячая собака». Такой подвал. В него к ночи стекались люди, актеры, писатели. А тех людей, которые не были писателями и актерами, называли фармацевтами. Тут было презрение к филистеру и чуть-чуть антисемитизма. <...> И, раскачивая узкой головою с тем же клоком таких же, как сейчас, редких волос, выл на эстраде Мандельштам. Хорошие стихи» (Шкловский В. Случай на производстве // Поиски оптимизма. — М., 1931. — С. 83—84).

В истории, «в глубокую тайну» рассказанной Дувакину в июле 1967 г., Виктор Борисович подробнее остановится на эпизоде, в «Случае на производстве» лишь бегло обозначенном им словами: «Тут было <...> и чуть-чуть антисемитизма». Речь шла о столкновении Мандельштама и Хлебникова на «Вечере поэтов» в «Бродячей собаке» 27 ноября 1913 г. (дата установлена Р. Тименчиком и А. Парнисом в ст. «Программы "Бродячей собаки"» // Памятники культуры. Новые открытия. — Л., 1985. — С. 217) в связи с обсуждением оправдательного приговора «по делу Бейлиса» (см. комментарий в тексте беседы). Конфликт закончился тем, что Мандельштам вызвал Хлебникова на дуэль. («Хлебниковский» фрагмент из беседы Шкловского с Дувакиным впервые опубликован в сб. «Велимир Хлебников в размышлениях и воспоминаниях современников (по фонодокументам В.Д. Дувакина. 1960—1970)». — М., 1996. — С. 48—49 (Вестник общества Велимира Хлебникова № 1).)

Много позже, в июне 1981 года, А. Парнис записал на магнитофон следующий комментарий Шкловского к этому эпизоду:

«Это печальная история. Хлебников в "Бродячей собаке" прочел антисемитские стихи *(А. Парнис считает, что это стихотворение Хлебникова не сохранилось)* с обвинением евреев в употреблении христианской крови, там был Ющинский и "13". Мандельштам сказал: "Я как еврей и русский [поэт] оскорблен, и я вызываю Вас. То, что Вы сказали — негодяйство". И Мандельштам и Хлебников, оба, выдвинули меня в секунданты, но секундантов должно быть двое. Я пошел к Филонову, рассказал ему. Как-то тут же в квартире Хлебников оказал-

ся. Филонов говорит: “Я буду бить вас обоих (то есть Мандельштама и Хлебникова), покамест вы не помиритесь. Я не могу допустить, чтобы опять убивали Пушкина, и вообще, все, что вы говорите — ничтожно.”» (Парнис А.Е. О метаморфозах мавы, оленя и воина // Мир Велимира Хлебникова. — М., 2000. — С. 641—643, 846—847).

Этот инцидент также нашел свое отражение и в автобиографической записи В. Хлебникова:

«“Бродячая собака”, прочел <...> Мандельштам заявил, что это относится к нему (выдумка) и что не знаком (скатертью дорога). Шкловский: “Я не могу Вас убить на дуэли, убили Пушкина, убили Лермонтова, и скажут, это в России обычай <...> я не могу быть Дантесом”. Филонов изрекал мрачные намеки, отталкивающие грубостью и прямотой мысли» (Неизданный Хлебников. Вып. XI. — М., 1929. — С. 3).

Другой участник конфликта, Осип Мандельштам, в тридцатые годы рассказал о нем Н. Харджиеву, опубликовавшему свидетельство Мандельштама только в 1992 г.:

Харджиев: «В ноябре 1913 г. в артистическом подвале «Бродячая собака» произошла полемическая дуэль Хлебникова с Мандельштамом. Одно неправильно понятое суждение Хлебникова вызвало возражения Филонова, Ахматовой и других посетителей подвала. С наибольшей резкостью выступил против Хлебникова Мандельштам. Отвечая ему, Хлебников дал отрицательную оценку его стихам. Заключительная часть выступления Хлебникова озадачила всех присутствующих своей неожиданностью:

— А теперь Мандельштама нужно отправить обратно к дяде в Ригу...

Привожу устный комментарий Мандельштама:

— Это было поразительно, потому что в Риге действительно жили два моих дяди. Об этом ни Хлебников, ни кто-нибудь другой знать не могли. С дядями я тогда даже не переписывался. Хлебников угадал это только силою ненависти» (Харджиев Н. В Хлебникове есть все! // Литературная газета, 1992, 3 июля).

С зимы 20/21 года, которую Шкловский и Мандельштам провели в стенах петроградского Дома Искусств, их знакомство перерастает в близкую дружбу. К этому времени относится сле-

дующая портретная зарисовка Мандельштама, принадлежащая перу Шкловского:

«По дому *(Дом Искусств в Петрограде)*, закинув голову, ходил Осип Мандельштам. Он пишет стихи на людях. Читает строку за строкой днями. <...> Осип Мандельштам пасся, как овца, по дому, скитался по комнатам, как Гомер <...> Человек он в разговоре чрезвычайно умный. Покойный Хлебников назвал его «Мраморная муха». Ахматова говорит про него, что он величайший поэт. <...> Живя в очень трудных условиях, без сапог, в холоде, он умудрялся оставаться избалованным» (Сентиментальное путешествие. — М.-Берлин: Геликон, 1923. — С. 334—335).

В 1923 г. вернувшись из Берлина в Ленинград, Шкловский с семьей переезжает на постоянное жительство в Москву, которую спустя год ради Ленинграда покидают О.Э. и Н.Я. Мандельштамы. Близкое общение между ними, по-видимому, возобновляется лишь в 1926 г. — именно в этот год Шкловский на короткий период увлекает Мандельштама идеей совместной работы на кинофабрике. В письме от 9—10 февраля О. Мандельштам сообщает жене, что «едет в Москву, где Шкловский подготовил <...> почву» (Мандельштам О. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 4. — С. 59), а двумя днями раньше, 7—8 февраля, так обозначает цель своей поездки: «... Его *(Шкловского)* киноиздательство будто бы догадалось, что меня нужно подкормить» (там же, с. 57). 16 марта 1926 г. Мандельштам наконец появляется в Москве. Он останавливается в Скатертном переулке (8-й этаж без лифта — устное свидетельство В.В. Шкловской-Корди) на квартире Шкловских. В эти дни впервые, с чужого плеча, поэт примеряет на себя профессию сценариста («Коллизию нужно, коллизию! За коллизию денежки платят»), о которой уже в 1927 г. с горькой иронией скажет: «Кино не литература. Надо мыслить кадрами. <...> Тема перегорела в процессе работы. Ничего больше не маячит. Нужно поймать Шкловского.» (Я пишу сценарий // Там же. Т. 2. — С. 458).

В декабре 1928 г. Мандельштамы окончательно переезжают в Москву. С этого времени их встречи со Шкловским и его женой Василисой Георгиевной Шкловской-Корди возобновляются в Марьиной роще (Александровский переулок, д. 43, кв. 4) — тогдашней квартире Шкловских, а затем с 1937 г. становятся регулярными уже в Лаврушинском переулке, куда Шкловские

въехали в одну из квартир нового писательского дома (д. 17, кв. 47), не раз с благодарностью помянутую в мемуарах Н.Я. Мандельштам:

«Дом Шкловских был единственным местом, где мы чувствовали себя людьми. В этой семье знали, как обращаться с обреченными» (Воспоминания, с. 411).

Вероятно, к первой половине тридцатых годов относится и следующий, работы Мандельштама, «кинематографический» портрет Виктора Борисовича, получивший в семье Шкловских домашнее название «Фонтан»:

«Его голова напоминает мудрый череп младенца или философа. Это смеющаяся и мыслящая тыква.

Я представляю себе Шкловского диктующим на театральной площади. Толпа окружает его и слушает как фонтан. Мысль бьёт изо рта, из ноздрей, из ушей, прядет равнодушным и постоянным током, непрерывно обновляющаяся и равная себе. Улыбка Шкловского говорит: все пройдет, но я не иссякну, потому что мысль — проточная вода. Все переменится: на площади вырастут новые здания, но струя будет все также прядать — изо рта, из ушей.

Если хотите — в этом есть нечто непристойное. Машинистки и стенографистки особенно любят работать с Шкловским, относятся к нему с нежностью. Мне кажется, что, записывая его речь, они испытывают чувственное наслаждение. Фонтан для V-го века по Р.Х. был тем же, что кинематограф для нас. «Закон» тот же самый. Шкловский поставлен на площади для развлечения современников, но вся его фигура исполнена брызжущей и цинической уверенности, что он нас переживет.

Ему нужна оправа из легкого пористого туфа. Он любит, чтобы ему мешали, не понимали и спешили по своим делам» (Мандельштам О. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 2. — С. 459).

Последняя встреча О. Мандельштама и В. Шкловского датируется исследователями июлем 1937 г. (по письму Шкловского к Тынянову):

«Четыре дня был у меня Мандельштам с новыми стихами. Его дела не то налаживаются, не то разлаживаются <...> Если бы я был здоровее, я бы поддержал его.» (Цит. по кн.: Шкловский В. Гамбургский счет. — М., 1990. — С. 541).

А за два месяца до последнего ареста Мандельштама, в марте 1938 г., Надежда Яковлевна писала Кузину:

«В Москве у нас есть Шкловский и его семья. Они очень хорошие — настоящие друзья, и это обнаружилось в эти трудные годы» (Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка... Надежда Мандельштам. 192 письма к Б.С. Кузину. — СПб.: Инапресс, 1999. — С. 534).

Беседу ведет В.Д. Дувакин

Мандельштам, как и Блок, необыкновенно высоко ставил Маяковского. Необыкновенно высоко. И Мандельштам говорил, что у Маяковского удивительное чувство времени. «Вы думаете, это бредит малярия, это было... Восемь, девять, десять». Это такое ощущение течения времени, которого ни у кого нет. Видите, ну, у Хлебникова есть...

Я вам расскажу вещь Хлебникова в глубокую тайну. Хлебников прочел в «Бродячей собаке» *(27 ноября 1913 г.)* стихи *(текст стихотворения не сохранился)*, в которых были слова «Ющинский — 13», посвященные Мандельштаму, то есть он обвинил Мандельштама в ритуальном убийстве.

Простите, я не понял. «Ющинский — 13»... Это что же?

Ющинский был человек по делу Бейлиса. *(В 1911 г. в Киеве конторщик М. Бейлис, еврей по национальности, был арестован по обвинению в ритуальном убийстве (март 1911 г.) мальчика-христианина А. Ющинского. Оправдан судом в октябре 1913 г.)* А там было 13 уколов, ритуальное число.

Ах, вот что! Вот вам разница поколений. Я даже не помню дело Бейлиса.

Да. Теперь так... Мандельштам вызвал Хлебникова: «Я, как еврей, русский поэт, считаю себя оскорбленным и Вас вызываю»...

Вызываю?

На дуэль.

Тогда еще были дуэли?

Были дуэли. Я сам дрался на дуэли. Ну, и другим секундантом должен был быть Филонов. Мы встретились при Хлебникове. Павел Филонов сказал: «Я этого не допущу. Ты — гений. И если ты попробуешь драться, то я буду тебя бить. Потом, это вообще ничтожно. Стоит ли за пустяки... ритуальное убийство...». Хлебников сказал: «Нет, это довольно интересно, я ду-

мал всегда, где бы мне соединиться с каким-нибудь преступлением. Как Нечаев». Филонов сказал, что это совершенно ничтожно. «Вот я занимаюсь делом, я хочу нарисовать картину, которая бы висела на стене без гвоздя». — «Ну и что?» Тот говорит: «Падает». — «Что же ты делаешь?» — «Я, — говорит, — уже неделю ничего не делаю. Но меня посещает идея Малевича, который делает кубик, чтоб он висел в воздухе. Он подсмотрел. Он тоже падает». Это сумасшествие. Вы не забывайте, что мы ведь тоже люди были сумасшедшие.

Кто — мы?

Футуристы. Ну вот. Ну, мы, конечно, их помирили, а Хлебников признал, что был не прав, что сказал глупость.

Значит, Мандельштам его вызвал?

Да, Мандельштам. Но Мандельштам Хлебникова страшно любил. Так же, как Блок очень любил Маяковского. Видите, Маяковский — поэт непризнанный, неоцененный.

Тогда?

И сейчас. Именно сейчас. Потому что сейчас — он несет ответственность за все ошибки революции. Потому что он продолжает существовать. А те люди умерли. Кроме того, он поэт, изученный в школе, поэтому он несет ответственность вместе с Пушкиным... Он — старший поэт времени, старший, по крайней мере... пятидесятилетия. <...> А Пастернак — превосходный поэт, превосходный поэт, больший, чем Кузмин... Пастернак...

А как бы вы его сравнили с Мандельштамом?

Я думаю, что Мандельштам больше, чем Пастернак, трагичнее. Трагичнее. Причем, когда Пастернак говорит, что написал Сталину *(в конце декабря 1935 г.)*, чтобы тот освободил его от должности первого поэта *(Флейшман Л. Письмо Пастернака к Сталину // Русская мысль, 1991, 28 июня)*, то он, очевидно, считает, что есть должность, которая зависит от кого-то. Он не сталинист, но учитывает позицию правительства. Он переписывался со Сталиным, перезванивался со Сталиным — и не защитил Мандельштама. Вы знаете эту историю?

Нет. Не защитил?

Да. Сталин позвонил Пастернаку *(13 июня 1934 г.)*, спросил: «Что говорят об аресте Мандельштама?» Это мне рассказал сам Пастернак. Тот смутился и сказал: «Иосиф Виссарионович, раз Вы мне позвонили, то давайте говорить об истории, о поэзии». — «Я спрашиваю, что говорят об аресте

Мандельштама». Он что-то еще сказал. Тогда Сталин произнес: «Если бы у меня арестовали товарища, я бы лез на стенку». Пастернак ответил: «Иосиф Виссарионович, если Вы ко мне звоните об этом, очевидно, я уже лазил на стенку». На это Сталин ему сказал: «Я думал, что Вы — великий поэт, а Вы — великий фальсификатор», — и повесил трубку.

Да что Вы! Вообще о Сталине [это] говорит неплохо.

Неплохо... Это страшно. Мне рассказывал Пастернак — и плакал.

Значит, он просто растерялся.

Растерялся, конечно. Он бы мог попросить: «Отдайте мне этого, этого человека». Если б знал. Тот бы отдал. <...> А тот [Пастернак] растерялся. Вот такая, понимаете ли, история... *(Об этом эпизоде см. также беседу В.Д. Дувакина с С.П. Бобровым и комментарии к ней.)* А Маяковский был необыкновенно хорошим товарищем.

Он был цельным... Так, значит, это мы говорим об отношениях с разными лицами. Маяковский ведь очень любил Пастернака... А к Мандельштаму как он относился?

Он не любил его. Ведь Хлебников называл Мандельштама первого периода «мраморной мухой». Очень удачно. Мраморная, но муха. Но он не знал позднего Мандельштама. А Маяковский, когда я раз выступал о Мандельштаме, сказал: «Что ты говоришь? Ты так говорил, что 100 человек купит его книги. Так не надо делать. Не надо пропагандировать людей, которые нам враждебны». Враждебны к ЛЕФу. Он был партийный человек. Но я думаю, что он не понимал Мандельштама. Больше того, самый сильный Мандельштам — последних пятилетий: «Мне на плечи кидается век-волкодав...», когда он поднял тяжесть.

Ольга Абрамовна Ланг

Несколько эпизодов об О.Э. Мандельштаме, в июле 1969 г. рассказанных Дувакину **Ольгой Абрамовной Ланг** (псевд. Ольга Фальк; специалист по китайской литературе, преподаватель, публицист), относятся к периоду 1915—16 гг., когда, по свидетельству Ахматовой, Мандельштам был «худощавым мальчиком, с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, [с пылающими глазами и] ресницами в полщеки <...> автором зеленого “Камня”...» (Листки из дневника // Анна Ахматова. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. — М., 1996. — С. 152); то есть, как справедливо отмечает Ланг, считался «уже признанным поэтом», к тому времени успевшим получить одобрение Вячеслава Иванова и коробку с початым тортом от пикника, устроенного «солнечной сверкающей весной» 1916 г. Е. Тагер и ее друзьями. Столь очевидная слава не мешала Мандельштаму, вопреки свидетельству Ланг, продолжать обучение на отделении романских языков историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. С воспоминаниями Ланг (экзаменовка Мандельштама «по истории латинской литературы») соотносится запись, сделанная С.П. Каблуковым 1 октября 1915 г.: «Был И.Э. Мандельштам,

29 сентября неудачно сдавший экзамен по латинским авторам у Малеина. Малеин требует знания Катулла и Тибулла, Мандельштам же изучил лишь Катулла. Тибулла переводить отказался, за что и был прогнан с экзамена.» (О.Э. Мандельштам в записях дневника С.П. Каблукова // О. Мандельштам. Камень. — Л.: Наука, 1990. — С. 251 (серия «Литературные памятники»).), а также рассказ Ю. Тынянова в изложении В. Каверина:

«Профессор Церетели, подчеркнуто вежливый, носивший цилиндр, что было редкостью в те времена, попросил Мандельштама рассказать об Эсхиле. Подумав, Мандельштам сказал:

— Эсхил был религиозен.

И замолчал. Наступила длительная пауза, а потом профессор учтиво, без тени иронии продолжал экзаменовать.

— Вы нам сказали очень много, господин студент, — сказал он. — Эсхил был религиозен, и этот факт, в сущности говоря, не нуждается в доказательствах. Но, может быть, вы будете так добры рассказать нам, что писал Эсхил, комедии или трагедии? Где он жил и какое место он занимает в античной литературе?

Снова помолчав, Мандельштам ответил:

— Он написал «Орестею».

— Прекрасно, — сказал Церетели. — Действительно, он написал «Орестею». Но может быть, господин студент, вы будете так добры и расскажете нам, что представляет собой «Орестея». Представляет ли она собою отдельное произведение или является циклом, состоящим из нескольких трагедий?

Наступило продолжительное молчание. Гордо подняв голову, Мандельштам молча смотрел на профессора. Больше он ничего не сказал. Церетели отпустил его, и с независимым видом, глядя прямо перед собой, Мандельштам покинул аудиторию.

Ю.Н. рассказал мне этот случай, изображая то Мандельштама, то Церетели, хохоча и спрашивая не то меня, не то себя:

— Ведь даже по его стихам прекрасно видно, что он знал классическую литературу.

Разумеется, и я не сомневался в этом.

Но самая обстановка экзамена, роль студента, атмосфера, казалось бы, самая обычная, были чужды Мандельштаму. Он жил в своем отдельном, ни на кого не похожем мире, который был бесконечно далек от этого экзамена, от того факта, что он должен был отвечать на вопросы, как будто стараясь уверить профессора, что он знает жизнь и произведения Эсхила. Он был

уязвлен тем, что Церетели, казалось, сомневался в этом» (Каверин В. Счастье таланта. — М., 1989. — С. 305).

В тексте стихотворения Мандельштама «Я не увижу знаменитой “Федры”...», цитируемого Ланг, мы оставили без исправления допущенную ею «знаменательную» оговорку: «Уйдем, покуда зрители-шакалы // На растерзанье **Музам** не пришли...». Спустя 85 лет со дня написания стихотворения она кажется нам не лишенной смысла.

Беседу ведет В.Д. Дувакин

Что я помню о Мандельштаме... В мое время Мандельштам уже не был студентом, он был признанным поэтом.

Уже «Камень» вышел?

«Камень» вышел *(в марте 1913 г. в издательстве «Акмэ»)*. Помню, что мы сразу как-то почувствовали «Камень» и скандировали его под грохот поезда:

Кружевом, камень, будь
И паутиной стань,
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань...

(«Я ненавижу свет...»)

Этот необычный ритм производил большое впечатление.

Вот, я помню, что в университете рассказывали о том, как Мандельштам держал экзамен по истории латинской литературы, не подготовившись к нему... Это интересно?

Да-да.

Рассказывали, что Мандельштам, придя на экзамен, начал так... Ему нужно было говорить о Плавте — он сказал: «Плавт написал много комедий и трагедий, среди которых насчитывается несколько замечательных». Затем был робкий вопрос профессора: «Назовите мне несколько комедий Плавта», — Мандельштам продолжал: «Эти комедии, пережившие века...» и так далее и так далее.

Я думаю, что он-то как раз точно знал, нет?

Может быть, и нет, может быть, и да, во всяком случае, такой рассказ был. Затем — я помню рассказ об источнике одно-

го из его стихотворений — это было в части о латинской поэзии средних веков — профессор Петров сказал: «Вот эти строки, из старофранцузского стихотворения: les oiseaux chantent dans leur latin *(птицы поют на своей латыни)* — отзвук их Вы найдете у молодого поэта Мандельштама в его стихотворении «Аббат»:

О спутник вечного романа,
Аббат Флобера и Золя –
От зноя рыжая сутана... — и так далее.

И там он говорит:

Он Цицерона на перине
Читает, отходя ко сну:
Так птицы на своей латыни
Молились Богу в старину...

Вот это ценно. Это конкретное литературное указание. Может быть, Надежда Яковлевна этого и не знала...

Может быть. Тогда это ей нужно сказать. Затем — я слышала его на одном вечере поэтов *(возможно, на «Вечере современной поэзии и музыки» в Тенишевском училище 15 апреля 1916 г.)*; он читал стихотворение... Прочитать, как мне запомнилось его чтение?

Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих:
– Как эти покрывала мне постыли...

Я пропускаю внутри, а кончает он так:

Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музам не пришли!

И вот эти строки мы часто повторяли: «Уйдем, покуда зрители-шакалы на растерзанье Музам не пришли».

Последнее петербургское воспоминание, которое может Вас заинтересовать (не знаю, есть ли это в мемуарах): был в 17-м году вечер в Академии художеств *(возможно, речь идет о двух разных поэтических вечерах: вечер поэтов Союза Деятелей Искусств в Круглом зале Академии художеств 16 декабря 1917 г., на котором выступали Ахматова и Мандельштам, но не Гумилев, находившийся тогда за границей, и «Вечер свободной поэзии» 13 апреля 1917 г. в зале Тенишевского училища, на котором мог быть «Гумилев в военной форме»).*

После Февраля или до?

После Февраля. Но до Октября, по-моему, потому что Гумилев там был еще в военной форме. Я его очень хорошо помню в военной форме. На этом вечере выступали... кажется, и Мандельштам, и Гумилев, и Анна Ахматова. Она была в своей знаменитой «ложноклассической шали»:

...Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль...

(«Ахматова»)

Осип Мандельштам

* * *

Я ненавижу свет
Однообразных звезд.
Здравствуй, мой давний бред —
Башни стрельчатой рост!

Кружевом, камень, будь,
И паутиной стань:
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань.

Будет и мой черед —
Чую размах крыла.
Так — но куда уйдет
Мысли живой стрела?

Или, свой путь и срок
Я, исчерпав, вернусь:
Там — я любить не мог,
Здесь — я любить боюсь...

1912

Аббат

О, спутник вечного романа,
Аббат Флобера и Золя —
От зноя рыжая сутана
И шляпы круглые поля;
Он все еще проходит мимо,
В тумане полдня, вдоль межи,
Влача остаток власти Рима
Среди колосьев спелой ржи.

Храня молчанье и приличье,
Он должен с нами пить и есть
И прятать в светское обличье
Сияющей тонзуры честь.
Он Цицерона на перине
Читает, отходя ко сну:
Так птицы на своей латыни
Молились Богу в старину.

Я поклонился, он ответил
Кивком учтивой головы,
И, говоря со мной, заметил:
— Католиком умрете вы! —
Потом вздохнул: «Как нынче жарко!»
И, разговором утомлен,
Направился к каштанам парка,
В тот замок, где обедал он.

1916

* * *

Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу обращенный к рампе
Двойною рифмой оперенный стих:

— Как эти покрывала мне постылы...

Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит.
Спадают с плеч классические шали,
Расплавленный страданьем крепнет голос
И достигает скорбного закала
Негодованьем раскаленный слог...

Я опоздал на празднество Расина!

Вновь шелестят истлевшие афиши,
И слабо пахнет апельсинной коркой,
И словно из столетней летаргии —
Очнувшийся сосед мне говорит:
— Измученный безумством Мельпомены,
Я в этой жизни жажду только мира;
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!

Когда бы грек увидел наши игры...

Ноябрь 1915

Анна Ахматова

В пол-оборота, о печаль,
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложно-классическая шаль.

Зловещий голос — горький хмель —
Душа расковывает недра:
Так — негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.

1913

Запись рукой Н.Я. Мандельштам: *«А<нна> А<ндре-евна>* (Ахматова) *считает, что это январь 1914»*.



Рюрик Ивнев

Интервью, данное Дувакину в октябре 1971 г. **Рюриком Ивневым** (Михаил Александрович Ковалев; поэт, прозаик, переводчик, мемуарист), возможно, послужило импульсом для написания им впоследствии нескольких мемуарных фрагментов о встречах с О.Э. Мандельштамом, опубликованных уже после смерти мемуариста (Осип Мандельштам // Кодры. — 1988. — № 2. — С. 104—113; Осип Мандельштам в «Мемуарах» Рюрика Ивнева // «Сохрани мою речь...». — М., 1991. — С. 40—50 и др.).

С О. Мандельштамом Ивнев был хорошо знаком еще с середины десятых годов, времен «Бродячей собаки», завсегдатаями которой оба являлись. Об устойчивых дружеских взаимоотношениях между поэтами свидетельствует и следующий 1921 года инскрипт Ивнева на его книге «Солнце во гробе» (М.: Имажинисты, 1921): «Дорогому Осипу Эмильевичу в память украинской эпопеи *(1919 г.)* с братской любовью. Рюрик Ивнев. 26.11.21. М.» (Свидетельство Н. Соколовой // «Сохрани мою речь...» Вып. 3. Ч. 2. — М., 2000. — С. 83). На вполне доброжелательное отношение Мандельштама к Рюрику Ивневу указывает и отзыв, зафиксированный осенью 1918 г. И. Оксеновым: «[О. Мандельштам:] “Как велик диапазон наших друзей — от

Каннегисера *(расстрелян в октябре 1918 г.)* до Рюрика <Ивнева> *(вступил в ряды РКП(б) в конце 1917 г.)*"» (Минувшее. Вып.16. — М.-СПб., 1994. — С. 140).

В беседе с Дувакиным Ивнев бегло касается нескольких эпизодов из биографии Мандельштама, в частности его службы (1929—30 гг.) в редакции газеты «Московский комсомолец» (ул. Тверская, д. 15). В своем рассказе Р. Ивнев упоминает известные ему с чужих слов «экспансивные выступления» Мандельштама в адрес молодых поэтов, «сочинения» которых Осипу Эмильевичу приходилось рецензировать по долгу службы. Ивнев: «Вот он *(Мандельштам)* читает рукопись и говорит: «Молодой человек, ну, как же вы смеете писать стихи, когда у вас ничего нет, ничего не выйдет из вас!»

Воспоминания А. Алексеева-Гая и С. Липкина позволяют нам скорректировать этот во многом шаржированный портрет Мандельштама-редактора.

А. Алексеев-Гай: «Войдя, я увидел за столом согнувшегося над рукописями человека, как мне показалось, неопределенного возраста, сидящего, несмотря на еще теплую погоду, в пальто серо-зеленого цвета.

— Ну, что там у Вас? — как бы нехотя протянул он и принял у меня текст.

Потом начал читать вслух, к моему удивлению, монотонно, точно псаломщик за аналоем. Однако лицо его стало постепенно расплываться. Не торопясь он дошел до отрывка, изображавшего прорыв сквозь обстрел поезда с дружинниками.

— Тут надо обратить внимание на ритм, — решил пояснить я.

— Э-э, батенька, я на ритмах собаку съел.

Меня осенило:

— Так вы — поэт Осип Мандельштам!

Он стал разбирать стихи дальше.

— Тут у вас: «Надежда на спасенье тусклее гроша». Это звучит как перевод с иностранного.

Сделав не спеша еще несколько замечаний, он сказал:

— Хорошо, что Вы напали на меня, а то ведь как смотрят у нас на материал? Подходит ли тема к календарю. Я возьму ваши стихи, в них есть любовь к слову...» (Из литературных встреч: Мандельштам // Вопросы литературы. — 1990.— Октябрь. — С. 268—270).

С. Липкин: «В редакцию «Московского комсомольца» к Мандельштаму приходили молодые пишущие, он читал их рукописи добросовестно, разбирал при них каждую строчку, ум его при этом был щедр и снисходителен, но я, свидетель тех бесед, видел, что начинающие не знают его как поэта <...> В своих суждениях Мандельштам был резок, но никогда-никогда! — эти суждения не диктовались личными отношениями <...> Мои рукописные листы Мандельштам разложил на три неравные кучки. О первой, самой большой, он ничего не сказал: значит, говорить не стоило. Перебирая гораздо меньшую вторую, указывал на неправильные ударения, но не сердился. Третья стопка состояла из трех стихотворений. <...> Третье стихотворение ему понравилось — не по-настоящему, а как ученически способное. Он при мне позвонил своему старому товарищу по акмеистической группе М.А. Зенкевичу, который заведовал стихами в «Новом мире», и стихотворение очень быстро появилось в журнале» (Угль, пылающий огнем // Квадрига. — М., 1997. — С. 375—376, 381).

Что касается упомянутых Ивневым «экспансивных выступлений» Мандельштама, то под ними угадывается сохранившийся в записи Липкина эпизод начала тридцатых, отголоски которого мог слышать и Р. Ивнев:

«В широкой парадной было не очень светло, но я довольно ясно увидел человека лет тридцати, спускавшегося по лестнице мне навстречу. В руке он держал толстый портфель. Человек был явно чем-то напуган. Сверху низвергался высокий, звонко дрожащий голос Мандельштама:

— А Будда печатался? А Иисус Христос печатался?

Вот что произошло до моего прихода. Посетитель принес Мандельштаму свои стихи <...> Неумный автор стал жаловаться, что его не печатают. Мандельштам вышел из себя, он сам печатался с большим трудом, крайне редко, и выгнал посетителя» (там же, с. 376).

Когда впоследствии С.И. Липкин рассказал об этом «происшествии с Буддой и Христом» А.А. Ахматовой, та мгновенно отозвалась: «Узнаю Осю» (там же, с. 377).

По свидетельству Надежды Яковлевны, на службе в «Московском комсомольце» Мандельштам «дотянул до февраля 30-го года. В феврале он начал диктовать “Четвертую прозу”» (Вторая книга, с. 429).

13 марта 1930 г. Осип Эмильевич пишет жене в Киев: «<...> Решай — подходит ли мне газетная работа, не иссушит ли мой мозг в конец. Но работа нужна. И — **простая**. Не хочу «фигурять Мандельштамом». Не смею! Не должен!» (О. Мандельштам. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 4. — С. 136).

«Он был поэт, и о другой работе не думал», — в 1971 г. заверял Дувакина Р. Ивнев. Позже он остановится на этой теме подробнее: «Один раз я попытался ему объяснить, что бывают времена, когда поэты не могут существовать на одни гонорары и должны находить себе параллельные работы — чтение лекций... или сотрудничество в журналах и газетах... Мандельштам воскликнул: "О работе не может быть и речи!"» (Кодры, с. 105).

«Я привожу дословно эту фразу Осипа Эмильевича...» — мягко акцентирует внимание читателя Ивнев и далее жестко обозначает свою позицию: «Напрасно некоторые западные журналисты пытаются направить острие трагедии Мандельштама против советского общества. Я убежден, что это трагедия индивидуальности» (там же, с. 112). «Мандельштам был такой человек <...>, что при любом строе он никогда не кончил бы благополучно» (см. беседу Р. Ивнева с Дувакиным в наст. изд.).

При этом Рюрик Александрович «забывает» упомянуть, что именно «советское общество» еще в 1934 году лишило Мандельштама возможности зарабатывать свой хлеб профессиональным трудом, а затем отняло у него и все перечисленные Ивневым виды «параллельных работ». Это была жестокая целенаправленная травля поэта, закончившаяся для него полной, на грани голода, воронежской изоляцией. Рюрик Ивнев, Михаил Александрович Ковалев, не мог этого не знать.

Беседу ведет В.Д. Дувакин.

Меня интересует, что это за группа — «Решетка»? Вы упомянули в числе ее участников Осипа Мандельштама.

Никогда. Я говорил только, что просто создатели этого альманаха Николай Владимирович Недоброво и Евгений Григорьевич Лисенков — были представителями такого светского Петербурга. Так вот, и они устроили такое нейтральное общество. Оно называлось — Общество поэтов *(«Физа», учреждено в апреле 1913 г.).*

Общество поэтов «Решетка»?

Нет. «Решетка» — совершенно забыта была. Это просто был *(литературно-художественный)* альманах *(издание товарищества «Наш век». — СПб., 1912 г.)*, который выпускали Лисенков и Недоброво, ну, каждый там что-то вносил *(В первой книге альманаха были опубликованы стихи Р. Ивнева «Лепестки роз», «Вечерние песни», «На островах» и повесть «в двадцати рисунках» «Неизбежное»)*; и с этого началось мое знакомство с Недоброво и с Лисенковым.

Кто же, кроме Лисенкова и Недоброво, входил в это общество фактически?

Было просто-напросто так: они посылали приглашения, и кто принимал, тот приходил, как «субботники»...

Как «Никитинские субботники»?

Да. Посылали многим, и не членам, а так...

Ну, а кто там бывал?

Там все поэты бывали, бывал и Мандельштам, и Георгий Иванов, и Зенкевич, и Константин Олимпов, сын Фофанова...

Северянин бывал?

Нет, Северянина не было.

Понятно. Скажите, а Осипа Мандельштама Вы там встречали лично?

Боже мой! Осипа Мандельштама я встречал очень часто.

Рюрик Александрович, я бы Вас очень просил сосредоточить внимание на встречах с некоторыми примечательными людьми. В частности, что Вы можете рассказать об Осипе Эмильевиче Мандельштаме? Какие у Вас были встречи? Какое было впечатление?

Я встретился впервые с Мандельштамом в Петербурге, вероятно, в 14—15-м году. Вначале мне он не понравился своей манерой держаться: мне казалась в ней натянутость. Его друзья называли... Георгий Иванов — «мраморной мухой».

Это Хлебников его так назвал.

Хлебников, да, верно. Так вот... Но постепенно что-то меня к нему привлекло... Что мне в нем понравилось? Это то, что во время Октябрьской революции, когда я сразу примкнул к новому правительству *(в конце 1917 г. вступил в РКП(б))* и был секретарем Луначарского, Осип Эмильевич, хотя он был далек от политики, не изменил своего отношения ко мне. Все же другие, так сказать...

...отшатывались.

Да.

<...>

В 18-м году, в марте месяце, как Вам известно, правительство переехало в Москву. Луначарский остался первое время в Петрограде, в этой Северной коммуне *(так называлась в 1918—1920 гг. территориальная единица, включавшая семь губерний, с центром в Петрограде)*, а меня направил в Москву как секретаря-корреспондента. И вот тогда я ближе познакомился и с Борисом Пастернаком, и с Осипом Эмильевичем Мандельштамом. Ну, я скажу, конечно... это был большой ребенок, все его поведение напоминало немножко Хлебникова. Он был убежден, что если он существует, то... Короче говоря, Осип Эмильевич считал, что обязательно, обязательно все о нем должны заботиться. Он поэт, и о другой работе не думал.

Другой работы не хотел?

Да. Он одно время работал в «Комсомольской правде» *(в «Московском комсомольце», с августа 1929 по январь 1930 г. вел еженедельную литературную страницу)*. Его туда кто-то из поклонников его таланта устроил... Но это недолго длилось.

Просматривал стихи?

Да-да, рукописи и... Тогда я как-то пропустил это время, не знаю, это, кажется, позже было, в 20-х годах, когда я был в Грузии... Но мне рассказывали, что у него были очень такие экспансивные выступления, разговоры. Вот он читает рукопись и говорит: «Молодой человек, ну, как же Вы смеете писать стихи, когда у Вас ничего нет, ничего не выйдет из Вас!» Вот так. Искренне все это, конечно. Значит, молодые приходили, давали ему стихи, и он должен был готовить их для печати. Должен был сказать, хорошо это или плохо. Но он был очень человек темпераментный...

Я встречался с ним и в Харькове *(речь идет о феврале-марте 1919 г.)*. Там мы часто бывали вместе. Вечера были разные. У меня сохранилась фотография: он, его младший брат Александр, который умер, и журналист Мильман.

Потом по делам моей службы мне приходилось ездить в Киев. И я помню, что Мандельштам тоже был в Киеве.

Мое мнение, что Мандельштам талант необычайно крупный, но, как это ни парадоксально... У многих поэтов бывает так: начало какое-то... слабое, потом лучше — лучше — лучше к

концу... Или обратно. Но чтобы такой большой поэт с таким коротким взлетом... Настоящим, но — недолгим: три — четыре года плюс «Воронежские тетради». Это «Камень» — вот его первое — и «Воронежские тетради». Теперь, после всего, что собрано, что мне показывали, читали... Там, за границей, издают и иногда мне рассказывают или показывают... Боже ты мой! Вы понимаете, что такой огромный талант — и только в такой короткий период. В конце концов самое настоящее, большое — было у него в самом начале.

«Камень»?

«Камень».

Вы немножко себе противоречите. Вы назвали «Камень» и «Воронежские тетради», то есть обозначили вехи почти всего творчества Мандельштама, потому что «Камень» он писал в 11—12-м году, в 13-м он вышел. «Вторая книга» вышла в 23-м году, а затем он перестал печататься. Но «Воронежские тетради» связаны, как известно, с его вынужденным пребыванием в Воронеже, годы 34—37-й, в 38-м его жизнь оборвалась. Эти последние стихи — воронежские. Вы что, их оцениваете как большое падение таланта?

Не-е-ет! Нет. Как продолжение. Продолжение, но все же, все же, по сравнению с «Камнем»... «Камень» — это безукоризненное. Я с какой точки зрения говорю? То, что написал Мандельштам в первое время — всегда было: одно блестящее, другое хорошее, но всё безукоризненно, безукоризненно. А уже потом появляются... эти «Шерри-бренди» *(«Я скажу тебе с последней...»)*. У него ведь раньше никогда не было слабых стихов, никогда, а в последнее время появились.

Теперь эпизод один интересный. Это было, по-моему, в тридцатых годах, уже в Москве, когда Осип Эмильевич все время ждал квартиры какой-то, ему обещали и что-то такое не удавалось... *(Теряет нить разговора.)* Да, и потом вот Надежда... Наденька. Наденька мы ее называли, она, конечно, святая женщина. Это удивительный человек. Но последнее время она немножечко как-то... ну, я не знаю, или она постарела, или... Одним словом, по мнению брата Осипа Эмильевича, Евгения, она много повредила Мандельштаму в смысле издания, потому что Мандельштам был, конечно, вне политики. Я высказал однажды свое мнение, что Мандельштам был такой человек... столько в нем было внутренних противоречий, кипений, что при любом строе он никогда не кончил бы благополучно. Что-то веч-

ное было у него. Я хочу сказать, что брат, Евгений, сказал мне, что Наденька... когда приехала в Москву, возомнила себя такой вдовствующей императрицей. И кроме того, она внушила всем этим молодым людям, которые ее окружали, то, чего никогда в жизни не было, что якобы Осип Эмильевич был чуть ли не во главе всех писателей, которые, значит, фрондировали. Фронда — вот. И это, возможно, и помешало тому, чтобы побыстрее выпустить его книгу... Хотя наверняка не знаю.

То есть Вы говорите, что это помешало осуществлению издания его стихов? *(Имеется в виду сборник в серии «Библиотека поэта»: О. Мандельштам. Стихотворения — Л., 1973.)*

Это мнение брата его. Возможно, это и так.

То есть Вы передаете мнение Евгения Эмильевича Мандельштама, что Надежда Яковлевна своей такой некоторой политической активностью способствовала тому, что стихи Мандельштама до сих пор не появляются в издании, да? Так я Вас понял?

Да.

Осип Мандельштам

* * *

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни, шерри-бренди —
Ангел мой!

Там где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.

Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну, а мне соленой пеной
По губам!

По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.

Ой-ли, так ли, — дуй ли, вей ли, —
Все равно —
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино!

Я скажу тебе с последней
Прямотой —
Все лишь бредни — шерри-бренди —
Ангел мой!

Март 1931



Нина Константиновна Бальмонт-Бруни

Воспоминания **Нины Константиновны Бальмонт-Бруни** (дочери поэта К. Бальмонта, жены художника Л. Бруни) восходят к середине десятых годов, квартире № 5 при Петербургской Академии Художеств — времени знакомства и месту встреч Л.А. Бруни и О.Э. Мандельштама. Об этом периоде Бальмонт-Бруни со слов мужа расскажет в феврале 1968 г. Дувакину; ее личное знакомство с поэтом состоялось только в начале тридцатых годов.

«**Квартира № 5**». В 1913—16 гг. в Петербурге литературно-художественный кружок «левого направления» учредил («по четвергам») свои заседания «в квартире № 5» (в Деламотском флигеле) при Академии художеств. Квартира принадлежала помощнику хранителя академического музея, искусствоведу С.К. Исакову, отчиму братьев Льва и Николая (поэта, впоследствии священника) Бруни. Завсегдатаями кружка «значились» Н. Альтман, Н. Тырса, В. Татлин, П. Митурич, А. Лурье, М. Зенкевич, Р. Ивнев, Н. Клюев, Г. Иванов... Из письма Н. Тырсы к сестре, датированного маем 1915 года, очевидно, что и О. Мандельштам был здесь частым гостем:

«Каждый раз на четверге Мандельштам читает новые стихи, разбирает и даже поясняет, почему он переделал некоторые ва-

рианты так, а не иначе. Если в «Журнале для всех» встретишь стихи Николая Бруни — то это брат Льва — и он читает свои стихи, но мне кажется, что ему не хватает вдохновения, и я замечаю, что Мандельштам никогда не похвалит его так, что заметно было, что стихи хороши, он чаще морщится» (Цит. по ст. Парнис А.Е. Штрихи к футуристическому портрету О.Э. Мандельштама // Слово и судьба. Осип Мандельштам: Исследования и материалы / АН СССР. Институт мировой литературы. — М., 1991. — С. 188).

В 1916 г. молодой искусствовед Н. Пунин оставит в своем дневнике следующую «зарисовку»:

«Мы собирались там обычно раз в неделю по вечерам: пили чай, ели картофель с солью; к концу шестнадцатого года приносили свой сахар и хлеб. В квартире было почему-то три этажа, окно в столовой было на уровне человеческого роста, стол, за которым сидели, был длинным; лампы освещали только середину стола; свет от лампы был желтый и теплый, как в детстве, когда его вспоминают...» (Пунин Н. Мир светел любовью. Дневники и письма. — М., 2000. — С. 105).

В описание атмосферы этой удивительной квартиры-мастерской Пунин «вмонтировал» и любопытную характеристику 22-летнего Льва Бруни, уже автора знаменитого портрета О. Мандельштама:

«Бруни любили, любили мягкость его отношений, его юмор. У Бруни был вкус к человеческому поведению, к быту. Быта он не боялся, любил уклад жизни, всегда относился с интересом к людям практичным и не поднимал романтических метелей вокруг своей профессии. Был он моложе нас, казался мальчиком, но умел собирать и сталкивать людей лбами...» (с. 106).

К этому времени относится и эпизод, которым спустя годы Н.К. Бальмонт-Бруни поделилась с крупнейшим специалистом по истории футуризма А.Е. Парнисом:

«Лев Александрович рассказывал, что они пошли с Мандельштамом на вечер Брюсова *(14 мая 1916 г. в Тенишевском училище)*, где тот читал свои переводы из армянской поэзии. Послушав его, Мандельштам сказал:

Мне скучно здесь, мне скучно здесь,
Среди чужих армян.
Пойдем домой, пойдем домой,
Нас дома ждет Эдем...

Здесь скучно нам, здесь скучно нам
Среди чужих армян.
Домой идем, домой идем,
Нас дома ждет Эдем.

(«Реконструкция» текста А. Парниса)

И они ушли в антракте» (Парнис А.Е. Мандельштам в Петрограде в 1915—1916 годах // Литературное обозрение. — 1991. — № 6. — С. 27).

Личные встречи Н. Бальмонт-Бруни с Мандельштамами датируются началом тридцатых годов, когда те жили на Тверском бульваре в правом крыле Дома Герцена *(Тверской бульвар, д. 25)*, «в бывшей дворницкой», как уточняет Нина Константиновна, а по воспоминаниям С.И. Липкина, — «в строении бывших конюшен». Во всяком случае, по свидетельству Нины Константиновны, бытовые условия жизни там были таковы, что Надежде Яковлевне порой хотелось «начать бить стекла».

В истории многолетней дружбы Л. Бруни и О. Мандельштама значимым кажется и эпизод, о котором Нина Константиновна в беседе с Дувакиным не упоминает: в 1937 г. Л.А. Бруни передал вторично высланным из Москвы Мандельштамам деньги на поездку в Малый Ярославец в надежде, что они соединятся там с семьей его репрессированного брата Николая. Но об этом впоследствии скажет в своих мемуарах «не умеющая забывать» Н.Я. Мандельштам. Вспоминая Льва Бруни, она посвятит его памяти и следующие строки:

«Лева кормил свою большую семью и всех детей своего брата. Самому ему, вероятно, в мирное время перепадало не слишком много еды — это была картофельная жизнь, а после войны он умер от истощения. Это случалось с тайными интеллигентами. <...> Он продолжал жить и быть человеком, несмотря на все испытания, которые ему посылала судьба» (Воспоминания, с. 380).

Беседу ведет В.Д. Дувакин

Бруни вообще был очень легкий человек. Он интересовался людьми, был как-то душевно внимателен к ним. Его все очень любили. К ним в дом приводил друзей Коля Бруни, старший

брат, поэт, и потом разочаровывался в них, и они переходили в друзья к младшему брату. Так было с Мандельштамом, Хлебниковым, Рюриком Ивневым, Николаем Алексеевичем Клюевым. Это все люди, которых приводил Коля. А Лева с ними дружил уже до конца жизни.

Он был прочен в своих привязанностях?

Да, очень.

<...>

<...> Мандельштам дружил со Львом Александровичем с 15 года, постоянно у него бывал и очень часто перед тем, как уходить, как-то начинал жаться, просить градусник, мерить температуру... *(Бальмонт-Бруни описывает одну из устойчивых привычек Мандельштама. Зафиксирована многими мемуаристами. Б.В. Горнунг (запись 1927 г.): «...Вдруг он* [Мандельштам] *забеспокоился <...>: «Я, кажется, заболеваю. Я чувствую, как у меня поднимается температура...» Затормошили меня, чтобы я вел его немедленно в аптеку мерить температуру. <...> ...Градусник он держал около 25 минут и каждые 3 минуты смотрел. Температура упорно не поднималась, но наконец дошла до 37,2°. Тогда он сказал: «Ну, это от возбуждения. Так и должно быть», и окончательно успокоился. Однако продолжал лежать на диване, чтобы успокоиться более чем окончательно. <...> Завывал... тоненьким голосом. Остался в памяти только конец («И долго будет крыса хворая признательна за помощь скорую...»)» (Материалы к биографии О.Э. Мандельштама в архиве Б.В. Горнунга // «Сохрани мою речь...» Вып. 3. Ч. 2. — М., 2000. —* С. *160); С.Б. Рудаков (запись 1936 г.): «Эпизод. Психования О<сипа> с термометром. Восклицанье: t° 37,8 (вместо привычной 37,2—37,3). Молниеносные гипотезы о новых болезнях, планы хлопот. О<сип> хватается за голову <...> бежит к окну, к свету. «Надюша, я обманул тебя на градус — 36,8!» Они двое (так!) хохочут» (О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935—1936) // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1993 г. — СПб., 1997. —* С. *156).)* Температура оказывалась совершенно нормальной, но он тем не менее отказывался уходить и оставался ночевать. Иногда жил у Бруни по два-три дня.

Это что значит? Он что, бездомный был?

Может быть, ему не хотелось идти к себе... *(В 1916 г., после смерти матери, Мандельштам переезжает с Каменноостровс-*

кого проспекта, 24 на Песочную улицу, 4, где поселились его братья.) Нечего было кушать... Вот так. Но я-то его узнала значительно позже уже. Лев Александрович его необычайно любил и знал наизусть, по-моему, весь «Камень». Во всяком случае, все стихи, включенные в «Камень», я узнала от него. Он постоянно его цитировал и читал.

Ну, а... опишите его внешность. Вы познакомились когда?

Я с ним познакомилась уже в тридцатые годы.

А Лев Александрович написал его портрет в 1916 году. Он рассказывал мне, что Мандельштам иногда подходил к зеркалу, в квартире № 5, в Академии, и говорил, закидывая голову назад: «Странно, что человеку столь значительному дана такая невзрачная внешность».

То есть он внешностью своею был несколько травмирован, да?

Ну, не то что травмирован, но она ему не нравилась.

Потом мы бывали у него в большой компании молодежной, вот Левушка Гумилев приезжал, Арсений Тарковский, Тедди Гриц, Харджиев... Мы приходили к Мандельштаму, когда он жил в дворницкой Дома Герцена. На бульваре. Где сейчас институт имени Горького. *(1932—1933 гг., Тверской бульвар, д. 25, правый флигель, кв. № 6, затем — № 8.)* Там они жили. И мы играли в буриме и во всякие игры, читали стихи и очень весело проводили время. А Надежда Яковлевна ужасно негодовала, что такой поэт живет в таких условиях, и говорила Льву Александровичу: «Левушка, ну, посоветуйте, что мне делать — начать здесь стекла бить, что ли?» А он: «Во всяком случае, с этого начинать не надо».

И Мандельштам бывал у нас на Мясницкой *(ул. Мясницкая, д. 21, кв. 99)*. Лев Александрович тогда написал его портрет...

Портрет написан где? У Вас на Мясницкой?

Тот, первый? Не-е-т. Тот в 16 году, в Петрограде. А этот — он на Мясницкой написал его в кресле, гуашью, такой сепией рыжей; великолепный был портрет, но бумага оказалась негодной: она стала сыпаться и совершенно, как перегретая солома, по кусочкам вся рассыпалась в войну, как мы ее ни берегли: я заворачивала в простынь, клала его в белье, но бумага совершенно истлевшая была.

И так он пропал?

Пропал безнадежно, да.

А он репродуцирован?

Нет. Это было перед войной незадолго, и потом... Потом я помню, что пришла Надежда Яковлевна *(в феврале 1939 г. на квартиру Бруни (Б. Полянка, д. 44, кв. 57))* и сказала мне, встретив меня на лестнице: «Ося умер». Я... я уходила из дома. Но вернулась с ней, и она у нас провела весь день. И все время рассказывала о нем и писала его стихи — на память... карандашом...

Простите, «Ося умер» — это значит уже 38 год.

Да.

А об аресте его *(речь идет о 1934 г.)* **Вы что-нибудь помните?**

Я помню ходившую по Москве историю, как Сталин позвонил Пастернаку...

А вообще Вы узнали непосредственно... сразу после его ареста? Арестовали его в 34 году, в мае.

Это было после смерти Кирова?

До. За полгода.

А после смерти Кирова брата моего мужа арестовали, тут же, сразу, через несколько дней. *(Как свидетельствует близкий друг супругов Бруни В. Некрасова, «по рассказам Нины Константиновны, причиной ареста был инцидент, связанный с посещением института* [с 1929 г. Н. Бруни работал в МАИ] *французским инженером, которому в присутствии Николая Александровича давали неверные объяснения. Николай Александрович, свободно владевший французским языком, вмешался в разговор с целью исправить ошибку переводчика. Непосредственно после этого случая он был арестован, получил пять лет концлагеря» (О семье Бруни // «Сохрани мою речь...» Вып. 3. Ч. 2. — М., 2000. — С. 203).)*

Николая Александровича Бруни? Он вернулся?

Нет, не вернулся. Он там и погиб. *(Расстрелян летом 1938 г. в концлагере близ Ухты.)*

Значит, вероятно, время было настолько тревожное, что контакты у Вас постепенно оборвались?

Да не то что оборвались, потому что я в это время... не так много бывала в Москве.

Вы и сейчас очень любите его стихи, да?

Я их как любила, так и люблю очень. А фотография его с этого портрета *(Мандельштама работы Л. Бруни 1916 г.)* попала в Америку через меня. Она ведь во втором томе *(имеется в виду издание: Мандельштам О. Собрание сочинений в 3-х томах. — Нью-Йорк, 1967—1971; 4-й дополнит. т. — Париж, 1981)* напечатана *(в репринтном воспроизведении [М.: Терра, 1991] опубли-*

кована в первом томе). Я подарила ее Жану-Марку Бердье, молодому французскому поэту. А он через год приехал и говорит: «Вы меня простите, но меня так один человек просил, так просил, что я ему отдал. Он сказал: «Ты другую получишь у Нины Константиновны». Оказывается, это был один из Струве *(Никита Струве)*, который ее и переслал туда. Ну, я Жану-Марку другую и подарила.

Значит, у Вас лично с Осипом Эмильевичем никаких, так сказать, отношений не было.

Нет. Но я помню посещения его, когда он бывал у нас.

А что сам Бруни о нем рассказывал?

Такие более или менее комические сцены.

Ах, он был комический персонаж во многом?

Нет... Но Мандельштам сам ему рассказывал, что они с братьями страшно любили свою мать, и когда нуждались в деньгах, то посылали друг другу телеграмму: «Именем покойной матери, пришли сто» или «прошу сто». И Осип Эмильевич говорил: «Никогда не было отказов, но зато мы этим и не злоупотребляли».

Вот я сейчас читаю его прозу *(«Шум времени»)*. **Он говорит, что семья была безъязычная. Очевидно, там был очень большой разрыв между культурой отца и матери, совершенно разные культуры. А Вы не наблюдали это сами? Прокомментировать не можете?**

Нет. Конечно, нет.



Петр Саввич Кузнецов

Устные воспоминания **Петра Саввича Кузнецова** (лингвиста, профессора филологического факультета МГУ) о совместной работе с О.Э. Мандельштамом в 1918—19 гг. в Наркомпросе сохранились в записи его сына В.П. Кузнецова и были переданы нам для публикации летом 2000 г.

1 июня 1918 г. по рекомендации А. Луначарского Мандельштам был зачислен заведующим подотделом художественного развития (эстетического воспитания) учащихся при Отделе реформ школы. А 7 и 12 августа того же года на коллегии слушалось выступление секретаря Отдела «О недопустимости манкирования служащими своими обязанностями». Мандельштаму «ставилось на вид» самовольное продление отпуска «без уважительных причин и свидетельства врача». 13 августа Мандельштам предъявил коллегам следующее объяснение:

«В начале июля я захворал истерией. По получении отпуска я уехал домой. Чувствуя себя плохо, я к 15 июля передал товарищу просьбу довести до сведения коллегии о просьбе моей освободить меня от занятий еще немного времени. Товарищ пробыл две недели в дороге и не сообщил в комиссариат о моем нездоровье. Единственно, в чем виноват я, — это в неофици-

альном осведомлении коллегии о причинах моей неявки...» (Нерлер П. Осип Мандельштам в Наркомпросе в 1918—1919 годах // Вопросы литературы. — 1989. — № 9. — С. 275—279).

Под фразой «В начале июля я захворал истерией» Мандельштам подразумевал тяжелое нервное потрясение, которое он пережил при столкновении с чекистом Я. Блюмкиным: в кафе «Домино» (одно из наиболее вероятных мест встречи Мандельштама и Блюмкина) поэт выхватил из рук чекиста документы, которые могли привести к расстрелу некоего Пусловского, после чего, рассказав о происшедшем Дзержинскому, на несколько месяцев покинул Москву.

Работа Мандельштама в Наркомпросе продолжалась с августа 1918 г. вплоть до его отъезда в Харьков (возможно, с бригадой литературного поезда им. Луначарского) в феврале 1919 г.

В своих воспоминаниях П.С. Кузнецов затрагивает кочующую из мемуаров в мемуары тему «своеобразных отношений Мандельштама с деньгами». Комментарий Надежды Яковлевны Мандельштам, некогда данный ею специально по этому «пункту» биографии поэта, кажется нам исчерпывающим:

«В легкомысленной молодости Мандельштам, может, действительно не возвращал долгов <...> А то, что было в сталинские годы, не называется «занимал». Это неприкрытое нищенство, к которому он был принужден государством, иначе говоря, той жизнью, что в печати называлась счастливой. Нищенство — еще не худшая сторона этой жизни» (Воспоминания, с. 379—380).

Вероятно, той же «железной логикой»: «поэт всегда прав», руководствовалась и Анна Ахматова, когда в набросках к «Листкам из дневника» — мемуарному фрагменту об О. Мандельштаме — писала:

«Годами ему приходилось думать, где достать денег на обед. Беречь и считать деньги он совсем не умел. Говорят, что "**он у всех занимал деньги**". У меня, кстати сказать, он никогда не просил ни копейки. У Срезневской тоже» (Записные книжки Анны Ахматовой (1958—1966). — М. — Torino, 1996. — С. 21).

Удивительно, что Э.Г. Герштейн, вылавливая «прямые ошибки в "Листках"», полагая, что «только покривив душой, смогла Анна Андреевна так возвысить образ Мандельштама...» (Мемуары, с. 417), не уличила Ахматову в лжесвидетельстве и по «денежному пункту». «Основания» были.

Что мой отец рассказывал о Мандельштаме

Воспоминания Петра Саввича Кузнецова в записи В.П. Кузнецова

Отец говорил: «Если бы не революция, я стал бы не ученым, а поэтом — учеником акмеистов». Сборники Мандельштама и Гумилева, находившиеся в библиотеке отца, погибли — остались во время нашей военной эвакуации в Москве и сгорели в буржуйках соседей по квартире. Часто за обедом или вечерами отец читал их стихи наизусть. О личном знакомстве с Мандельштамом отец вспоминал часто, но довольно бегло. Осенью-зимой 1918—1919 гг. они полгода работали в одном Отделе *(реформы школы)* Наркомпроса *(О. Мандельштам — с июня 1918 по середину февраля 1919 г. в должности заведующего подотделом эстетического воспитания, П. Кузнецов — с июля 1918 г. сначала делопроизводителем, а затем секретарем секции гуманитарных наук.)* в Москве *(ул. Остоженка, д. 53).* Работа была нудная, канцелярская. Самым интересным в ней были командировки для описания библиотек, сохранившихся в конфискованных помещичьих усадьбах (несколько раз в такие поездки они ездили вдвоем). Деньги на командировки отпускали скудные, и они быстро кончались. Однажды придумали игру, чтобы заглушить голод. Отец вспоминал, как они с Мандельштамом лежали в номере провинциальной гостиницы, задрав ноги в дырявых носках на спинки кроватей, и читали, чередуясь, по одному стихотворению — кто первый истощится. По словам отца, никто не выиграл.

Вообще отношения с деньгами у Мандельштама были своеобразные. Он умел артистически выпросить в долг у кого угодно, а отдавать не любил. Отец рассказывал, как он изловил Мандельштама случайно возле кассы во время получения денег и сумел получить долг. Их общий знакомый, Николай Дмитриевич Нюберг, гимназический товарищ моего отца, впоследствии крупный физик, присутствовавший при этом, сказал: «Видел, как лицо у него вытянулось?» Отец относился к этой особенности Мандельштама с юмором. Вместе они получали и продуктовые пайки. Однажды все пришли с тарой для продуктов, а Мандельштам ее с собой не захватил и попросил у отца

наволочку. Вспоминал отец о совместном походе к Н.К. Крупской *(в те годы — член коллегии Наркомпроса)* с какими-то бумагами. На обоих она произвела впечатление провинциальной учительницы. Называли они друг друга по имени-отчеству: Осип Эмильевич, Петр Саввич, хотя отцу было всего 19—20 лет. Тогда было так принято. О более поздних встречах с Мандельштамом (если они были) отец при мне не вспоминал.

Борис Григорьевич Чуховский

Воспоминания полярного летчика **Бориса Григорьевича Чухновского** продолжают жанровую линию мемуарного анекдота о Мандельштаме, идущую от Г. Иванова, С. Маковского, Э. Миндлина, И. Эренбурга... Об этой «боковой» ветви мандельштамовской мемуаристики в свое время с негодованием писала А.А. Ахматова:

«Почему мемуаристы известного склада <...> так бережно и любовно собирают и хранят любые сплетни, вздор, главным образом обывательскую точку зрения на поэта, а не склоняют голову перед таким огромным и ни с чем не сравнимым событием, как явление поэта, первые же стихи которого поражают совершенством и ниоткуда не идут? <...> И вместо трагической фигуры редкостного поэта <...> мы имеем **"городского сумасшедшего"**, проходимца, опустившееся существо...» (Листки из дневника // Анна Ахматова. Т. 2. — С. 170).

Сообщенные Чухновским в июне 1968 г. «эренбурговские подробности» внешнего облика Осипа Эмильевича: «страшная неряшливость», «всегда был обросшим»... относятся к осени 1920 г. — времени совместного пребывания О. Мандельштама, его брата Александра и супругов Эренбургов (с сопровождающей их Ядвигой Соммер) в меньшевистской Грузии.

Из современных мемуаристов подобные зарисовки внешности Мандельштама, в русле «физиологического очерка», сделаны Э.Г. Герштейн. Персонаж их легко узнаваем — это все тот же «эренбурговский Мандельштам»:

«...У Мандельштама было странное сложение. <...> Очень прямая стройная спина с хорошо развернутыми плечами, изящный затылок, правильной овальной формы голова — все это было посажено на разросшийся в кости таз, очень заметный из-за неправильной постановки ног: пятки вместе, носки врозь. <...>

Он опускался страстно, самый этот процесс был для него активным действом. Становился неузнаваем: седеющая щетина на дряблых щеках, глубокие складки-морщины под глазами, мятый воротничок... Тут он делался похожим на одного из персонажей моего очень раннего детства в Двинске...»

Далее Герштейн говорит о «двойнике» Мандельштама — «городском сумасшедшем», появление которого одной «только силою ненависти» было предугадано Ахматовой еще в начале 60-х гг.

«По улицам... города бегал страшно возбужденный человек в котелке, в пиджачном костюме с рваными брюками <...>, вызывая смех, негодование, жалость» (Мемуары, с. 26).

Удивительно, что люди, близко знавшие Мандельштама в далеких от комфорта условиях воронежской ссылки, запомнили его иначе:

«Лицо нервное, выражение часто самоуглубленное, внутренне сосредоточенное <...> Старый, редко глаженый костюм выглядел на нем элегантно» (Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже // Осип Мандельштам. Воронежские тетради, с. 244);

«Он ходил, осыпанный пеплом. Костюм был старым, поношенным. Но благородство его облика заставляло забывать об изъянах одежды. Он казался мне *(Н. Штемпель)* человеком светским, даже аристократическим. Я никогда не видела его без пиджака и галстука» (Н.Е. Штемпель. Встречи с Осипом Мандельштамом. Запись А. Немировского. См. наст. издание).

Однажды в «Ташкентских тетрадях» Л.К. Чуковская зафиксировала следующую реплику Ахматовой:

«Поэты все такие. Хлебников был такой. Осип был такой. Если видите складку на брюках, не верьте, что поэт. А если такой — верьте» (Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. — М., 1997. — С. 463).

Рассказ Чухновского (читай — Эренбурга) о «выправленной» Волошиным строке из стихотворения (не поэмы!) Мандельштама «Зверинец» дополняет филологическую коллекцию «курьезов», в свое время собранную Л.Я. Гинзбург (см. Гинзбург Л.Я. Записные книжки, с. 48). Ценным комментарием к ней кажутся нам свидетельства А. Ахматовой:

«...Не надо изображать его *(О. Мандельштама)* выпускником университета, когда он сходил в лучшем случае на восемь лекций, но он оживлял все, к чему ни прикасался» (Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. — М., 1989. — С. 84)

К. Мочульского: «Мандельштам не выучил греческого языка, но он отгадал его. Впоследствии он написал гениальные стихи о золотом руне и странствиях Одиссея. В двух его строках больше «эллинства», чем во всей античной поэзии многоученого Вячеслава Иванова» (Мочульский К. О.Э. Мандельштам // Мандельштам и античность. — М., 1995. — С. 8)

И. Бродского: «...Это, в общем, как бы старые добрые времена... это культура, а в культуре все контаминировано... И совершенно не надо... говорить: а, вот он слопушил, он совершил ошибку, он, мол, не образован или чего-то не знал. Потому что для нас, в конце концов, ...культура — это органика.., и в органике вполне естественно совершать ошибки, ляпсусы... Это вполне даже приятная вещь, по-моему» (Бродский в Лондоне, июль 1991 // «Сохрани мою речь...». Вып. 3. Ч. 2. — М., 2000. — С. 52).

Беседу ведет В.Д. Дувакин.

Эренбург был в состоянии нас буквально загнать под стол, доканывая подробностями, скажем, об Осипе Мандельштаме. *(К моменту беседы воспоминания И. Эренбурга были опубликованы в журнале «Новый мир», 1961, № 1.)* Два или три вечера были посвящены Мандельштаму. Ну, начиная с того, как он с помощью Эренбурга попал из Закавказья обратно в Советский Союз... *(в начале октября 1920 г.)*

Расскажите, расскажите, о Мандельштаме ведь ничего толком не известно...

Эренбург выхлопотал для него въездной паспорт в Советский Союз от меньшевиков *(29 сентября 1920 г.)*. А потом Ман-

дельштам испугался чего-то и раздумал ехать, вплоть до того, что хотел даже уничтожить паспорт.

И уничтожил?

Нет, не уничтожил. Все-таки приехал, Эренбург его вытащил. Эренбург говорил, что они с Мандельштамом даже переезжали границу в теплушке.

Границу между чем и чем?

Между тогдашней меньшевистской Грузией, Закавказьем, и...

...Владикавказским округом, где уже был в то время Орджоникидзе, по-моему.

Да-да-да. Причем подробности были очень интересные. Эренбург рассказывал о Мандельштаме как о человеке, совершенно неприспособленном к жизни, у которого никогда не было денег. Что он всегда был в долгах. Занимал у кого рубль, у кого трешку: «Завтра отдам», — но так ничего и не отдавал. К этим рассказам откровенно прислушивался Маяковский. Говорил Эренбург и о страшной неряшливости Мандельштама, ну, с подробностями. Это явно немножко коробило Маяковского, всегда подтянутого.

<...>

Он [Маяковский] отдавал должное мастерству Эренбурга очень остро и метко рисовать мизансцены и ситуации. Он это подчеркивал, и даже мне говорил: «Я не знал, куда деться, он меня доконал совершенно». Ну, каким-то рассказом о Мандельштаме. Вплоть до его деятельности в Крыму, у Волошина *(вероятно, речь идет о марте-июле 1920 г.)*, которому он тоже был страшно много должен. Как-то он пришел к Максу Волошину с поэмой *(речь идет о стихотворении Мандельштама «Зверинец»)*, тот ее читал, читал, а потом и говорит: «Ну, знаете... это нельзя, так просто не бывает». У Мандельштама было написано: «На поле том волы плодились». И Волошин указал ему на то, что «волы не могут плодиться». — «Ну, что ж, я возьму... Я переделаю, я все это переделаю». Прошел месяц, полтора... (А Эренбург еще до этого подчеркивал, что Мандельштам творил невероятно медленно). Наконец Мандельштам является к Волошину и говорит: «Максимилиан Александрович, я в корне все переделал». Тот читает. Начало — все то же. Первая страница, вторая страница — слово в слово. Наконец злополучная строфа... Написано: «На поле том волы водились». Вместо «пло-

дились» — «водились». Это он «в корне все переделал»! *(Вариант «плодились» сохранился в списке 1916 г., сделанном рукой С. Каблукова. Интересно, что в 1941 г. в принадлежащей ей книге «Tristia» к слову «водились» М. Цветаева дала сноску — «плодились» и далее оставила следующую запись: «Я, робко: О.Э., и волы, и ягнята не плодятся! Мандельштам, агрессивно: Почему? Я: Не знаю. Только достоверно знаю, что не плодятся. Москва 1916 г.» (Цит. по: Мандельштам О. Сочинения в 2-х томах. Т. 1. — М., 1990. — С. 474).)* Ну, и таких смешных моментов у Эренбурга было очень много. Причем его описание Мандельштама было настолько точно: и внешности, и поведения, и повадок, даже существа какого-то психологического, что... случайно увидев Мандельштама, не будучи с ним знакомым раньше, я тут же его узнал. Он поднимался к верхнему дому вместе с женой на пролетке по серпантину.

Это в каком городе?

В Сухуми *(в апреле 1930 г. Чуховский одновременно с Мандельштамами отдыхал в привилегированном санатории в Сухуми).* И вот вижу, едет такая линеечка, линеечка южная, а в ней мужчина и женщина. Там стояла какая-то корзина, из нее что-то торчало, какой-то обросший человек... Это мне сразу напомнило рассказ Эренбурга, что Мандельштам всегда был обросшим...

И Вы его узнали по описанию Эренбурга?

Я не узнал, просто мне явилась мысль: «Этот похож на Мандельштама, как рассказывал Эренбург. Ну, прямо типаж эренбурговского Мандельштама». А наутро я узнал, что приехали Мандельштамы, муж с женой. А эта мысль у меня блеснула еще потому, что... там такой парапетик, и с него открывался вид от самого моря до въезда в основные ворота, где этот самый серпантин терялся: в общем, понурый такой вид и какой-то... — «Ну, прямо Мандельштам!» И Мандельштам оказался. Это я Вам рассказываю факт. Хотя Зощенко в таких случаях говорил: «Это не факт, это действительно так было».

Осип Мандельштам

Зверинец

Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры;
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран — эфир;
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом опять
Поют косматые свирели.

Пока ягнята и волы
На тучных пастбищах водились
И дружелюбные садились
На плечи сонных скал орлы,
Германец выкормил орла,
И лев британцу покорился,
И галльский гребень появился
Из петушиного хохла.

А ныне завладел дикарь
Священной палицей Геракла,
И черная земля иссякла,
Неблагодарная, как встарь.
Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из нее,
Пускай уходит в ночь глухую
Мной всполошенное зверье!

Петух и лев широкохмурый,
Орел и ласковый медведь —
Мы для войны построим клеть,
Звериные пригреем шкуры,
А я пою вино времен —
Источник речи италийской —
И в колыбели праарийской
Славянский и германский лен!

Италия, тебе не лень
Тревожить Рима колесницы,
С кудахтаньем домашней птицы
Перелетев через плетень?
И ты, соседка, не взыщи:
Орел топорщится и злится.
Что, если для твоей пращи
Тяжелый камень не годится?

В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей —
И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек.

Январь 1916



Надежда Давидовна Вольпин

В начале своего интервью (апрель 1975 г.) **Надежда Давидовна Вольпин** (поэтесса, переводчик, сестра драматурга М.Д. Вольпина, в двадцатые годы — подруга С. Есенина), касаясь темы взаимоотношений Мандельштама и Есенина, рассказывает Дувакину о столкновении между поэтами, произошедшем в 1920 г. в стенах литературного кафе «Домино»:

«Есенин подошел и крикнул ему *(Мандельштаму)*: «Вы пишете плохие стихи», а через несколько дней объяснял мне, что Мандельштам пишет прекрасные стихи».

Свидетельство Н.Д. Вольпин соотносится со следующей (1957 года) записью Н.Я. Мандельштам:

«...Отношения были странные, но дружественные. Осмеркину Есенин говорил, что он «этого жида любит», встретили мы его чуть ли не накануне самоубийства *(в декабре 1925 г.)*, он звал в трактир и Ося долго жалел, что не пошел» (Письма Н.Я. Мандельштам к А.А. Ахматовой // Литературное обозрение. — 1991. — № 1. — С. 99).

Далее Надежда Давидовна говорит преимущественно о середине двадцатых годов — времени, когда с весны 1925 по начало 1928 г. Мандельштамы жили в Царском (Детском) Селе.

1925 год, впоследствии названный Надеждой Яковлевной «переломным», — год «семейной катастрофы» Мандельштамов: он вместил в себя и влюбленность Осипа Эмильевича в Ольгу Ваксель («Жизнь упала, как зарница...»), и открывшийся туберкулезный процесс у Надежды Яковлевны... Но именно с этой вехи она выводит начало того союза, который до конца жизни будет называть коротким, полновесным словом «мы».

«Нас стало двое. Может быть, это произошло от того, что мы впервые заговорили о наших отношениях и кое-как в них разобрались. Разговор больше не прекращался» (Вторая книга, с. 217).

Чтобы оплатить дорогостоящее лечение жены (врачи рекомендуют Надежде Яковлевне поездку в Крым), Мандельштам окунается в напряженную деятельность, «переводческий ад» ЗИФа, «Госиздата», «Прибоя»... 10 июля 1927 г. им был подписан «роковой» договор с ЗИФом (издательством «Земля и фабрика») на литературную обработку перевода (не сам перевод — как издательство по небрежности указало на титуле книги) романа Ш. де Костера «Тиль Уленшпигель», что повлекло за собой публичное обвинение Мандельштама в плагиате.

Отголоски этой каторжной для поэта работы доходили и до Н.Д. Вольпин, в те годы жившей исключительно переводами:

«Денег он получал много больше, чем я и все мое окружение, но они у него абсолютно не держались. <...> Не успевал получить, как все это — фью! — и нету. <...> Там *(в Детском Селе)* была не печь, а камины, вероятно, — и все уходило на дрова», — рассказывает Дувакину Надежда Давидовна, не называя (возможно, не зная) истинной причины «утечки» средств из семейного бюджета Мандельштамов — туберкулез Надежды Яковлевны, сжигающий все денежные ресурсы семьи.

В период встреч с Мандельштамами 1926—27 гг. острый женский глаз Надежды Давидовны фиксирует их «до крайности неустроенный быт», «растерзанный полунищенский вид», «заколотую английской булавкой, зашитую на живую нитку разодранную юбчонку» Надежды Яковлевны — эти жалкие детали не ускользают от ее наблюдательности, приводящей, порой, к парадоксальным выводам:

«А Наденька под него *(О. Мандельштама)* играла, потому что когда осталась одна, то оказалась и хозяйственна, и домовита». *(Когда? Где? 66 лет отроду перестав, наконец,*

скитаться и получив в московском захолустье («сельце Черемушки») жилье?)

В конце беседы Н.Д. Вольпин отводит особое место знаменитому «похоронному» анекдоту, зародившемуся еще в двадцатые годы в недрах Комиссии по улучшению быта ученых (КУБУ) — учреждения, ведавшего привилегиями не только жизни, но и смерти своих подопечных: Мандельштам обращается в КУБУ с просьбой выдать ему «авансом» деньги на собственные похороны. Этот сюжет является «проходным» в мандельштамовской мемуаристике, но, рассказывая его, Надежда Давидовна вносит существенное уточнение:

«Это был сюжет с изначально безымянным героем, факт, следовательно, к Мандельштаму приспособленный, а в дальнейшем переигрывающийся на многих других».

Воспоминания Н.Д. Вольпин о Мандельштаме в версии, отличной от представленной в настоящем издании, опубликованы в журнале «Литературное обозрение» (1991, № 1).



В.Д. Дувакин, Н.Д. Вольпин. Апрель 1975 г.
Фото М.В. Радзишевской

Мы перешли к взаимоотношениям между разными поэтами. Вот Вам мандельштамовская оценка Есенина: если Есенин просто, не разбирая, мог бросить Мандельштаму: «А Вы пишете плохие стихи», то совсем по-другому это было у Мандельштама. Он как-то стал мне объяснять, что Есенину не о чем говорить: «О чем он пишет?! «Я — поэт». Стоит перед зеркалом и любуется — «Я поэт». И чтоб мы все любовались, что он поэт».

В этом есть доля истины...

Большая доля истины. Если я к кому и ревновала Есенина, так это к ребенку и к зеркалу. Я не могла видеть, как он стоит перед зеркалом и расчесывает свои волосы — и смотрит на себя абсолютно влюбленными глазами. Ну, просто Нарцисс!

И дальше об образах и о системе образов: «Что он толкует все — "образ", "образ"! Это же не образ, это же — корень... Это вместо того, чтоб сказать "два", — говорить "корень квадратный из четырех". А образ должен быть там, где появляется несоизмеримость. Вот корень квадратный из двух, корень квадратный из трех, а что это такое?» Вот Мандельштам бросил, что корень квадратный и образ у имажинистов — это корень квадратный из четырех, лишь бы почуднее сказать. А дальше я уже сама там домысливала до того, что равнодействующая двух сил, приложенных к одной точке — в квадрате — будет выражаться av^2. Вот тут вот и возникает необходимость образа, то есть там, где мы имеем дело с несоизмеримыми какими-то величинами.

Да, это очень правильно... Ну, а насколько Мандельштам вообще был близок к этим — СОПу *(Всероссийскому Союзу поэтов)* **и Вашим...**

Да нет, он просто бывал там и был скорее далек, чем близок. Он не дружил ни с кем из заправил. Почему Есенин ему это бросил? Возможно, ему просто не понравилось, что Мандельштам со мной сидит, то есть его уже задело, почему это я сижу вдвоем с Мандельштамом и слушаю его так внимательно. Значит, ему нужно было обидеть Мандельштама, и Есенин подошел и крикнул ему: «Вы пишете плохие стихи», а через несколько дней объяснял мне, что Мандельштам пишет прекрасные стихи.

Как я впервые услышала Мандельштама... Это был, думаю, что еще 20-й год... Я не помню, когда он вернулся из Крыма

(в начале октября 1920 г. из Тифлиса). Помню только, что подхожу к кафе «Домино» *(кафе Всероссийского Союза поэтов «Домино» находилось на Тверской ул., 18)* и уже в окно вижу очень странную фигуру на эстраде — фигуру Мандельштама. Он, весь изгибаясь, весь в чем-то черном, читает стихи *(«За то, что я руки твои не сумел удержать...»)*, и поразило меня какое-то очень тщательное ведение линии гласных: «Он будет разрушен, высокий Приамов скворечник...» И как будто бы слышится: у-у-а-у... Чувствуешь вот эту гибкую линию гласных, их подъемы и падения:

И серою ласточкой утро в окно постучится,
И медленный день, как в соломе проснувшийся вол...

Вот так — очень гласные оттеняет: «На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится...» И даже не выделяет голосом смысла, что к чему относится: «шершавых от долгого сна» или «от долгого сна шевелится» — он это произносит так ровно, что я долго не знала, как правильно. Очень ровно вел стих, и только выделял это пение гласных внутри стиха.

<...>

Как он читал — я рассказала, да? Вот это ведение гласных. Один раз я пожаловалась Мандельштаму, что вот у меня в ушах звучит одно четверостишие — кажется, это было хлебниковское, насчет Одиссея *(речь идет о стихотворении В. Хлебникова «Сыновеет ночей синева...»)*, — и что одно слово я вспомнить не могу. Он вскинулся: «То есть как это — вспомнить не можете! Что значит — вспомнить не можете?! Найдите. Ведь поэт поставил одно-единственное слово, всякое другое не годится. Вы же поэт, вот и найдите это слово!» То есть сказал мне, что я не имею права не помнить — забыть слово в чужих стихах. А если не помню, то должна его найти.

Хорошо... А вот бывает иногда совершенно...

...не можешь найти. И мучаешься, и бьешься — и приходится смотреть в книгу.

Даже из очень знакомых стихов.

Потом все-таки находишь и удивляешься, что забыл. А особенно сейчас — целые строчки выпадают и четверостишия, и из собственных, и из чужих стихов. Но тогда меня все-таки такая вот строгость поразила — сердито он это так сказал...

Когда Мандельштам уже поселился в Москве и жил в первом этаже в Доме Герцена *(с января 1932 по октябрь 1933 г.)* — насколько я помню, это было в каком-то правом флигеле, — я к нему часто... заходила. Я в то лето жила в Москве, пыталась менять свою ленинградскую жилплощадь на московскую. Ну вот, я к нему захожу. Только что был напечатан какой-то цикл стихов Мандельштама в одном из толстых журналов *(цикл «Армения» в «Новом мире» (1931, № 3))*. Кажется:

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера...

Ну, я могу и путать *(цитируемое Н. Вольпин стихотворение «Ленинград» было опубликовано в 1932 г. в «Литературной газете» (№ 53, 23 ноября))*. Во всяком случае, перед этим у него была какая-то литературная удача...

Последние всплески его благополучия. Не поэзии — он потом еще воронежские стихи написал...

Это еще задолго до ссылки и до Воронежа. И вот он мне объясняет с таким раздражением, как к нему относятся писатели и что они ничего не понимают... «Они не знают, кто я! А там — наверху — вот там есть люди, которые действительно понимают и ценят поэзию...» Кажется, он имел в виду Бухарина, как я потом уже узнала.

Бухарин — единственный человек, который его поддерживал.

Да. Очевидно, он его по-настоящему поддерживал. И Мандельштам был окрылен этой беседой. А в это же время у него были какие-то трения и в издательстве *(публичная травля Мандельштама в печати в 1928—29 гг. («уленшпигелевское» дело) — обвинение поэта в плагиате А. Горнфельдом и Д. Заславским)*, и в Союзе *(С мая 1929 г. этим делом занималась Федерация объединенных советских писателей (ФОСП). В декабре 1929 г. Мандельштам пишет «Открытое письмо советским писателям».)*, и с жилплощадью... *(в 1931 г. жилкомиссия Ленинградского горкома писателей отказала Мандельштаму в предоставлении комнаты)*.

А Вы на вечере его не были? Или Вас не было тогда в Москве? Потому что у него в начале тридцатых годов *(14 марта 1933 г.)* **был вечер в Политехническом музее.**

Я тогда жила в Ленинграде.

Вот у меня афиша, но я не помню сейчас: состоялся он или нет. Это было в тот трудный момент, когда поддержка Бухарина, с одной стороны, непосредственно помогала, а с другой — уже была опасной. Бухарин скоро кончился.

Он даже кончился раньше: в смысле влияния и в смысле...

В смысле влияния-то он... он же сначала как правая оппозиция выступал, и... это скоро все кончилось. А потом было специальное какое-то постановление ЦК не то что в поддержку, а, дескать, хватит его бить. Я не помню, в какой форме это было сделано, но Бухарина вернули...

Расправились с ним в 37-м уже. Вот суд тогда был.

Нет, суд как раз в 38-м был. Ну, Бог с ним. Что у Вас еще с Мандельштамом? Человечески как Вы его восприняли?

Его раздражало, что его недостаточно признают. Однажды в Ленинграде он зашел ко мне с Наденькой. Они жили тогда в Детском Селе *(с весны 1925 г. по начало 1928 г.)*, он занимался переводами... Много редактировал. Это примерно 27-й год *(в 1927 г. Мандельштамы жили в здании Лицея, затем в Китайской деревне)*. И вот он мне сказал: «Ведь я же мэтр! Почему же они ко мне относятся так — полуюмористически?» Еще он говорил о молодежи литературной, что эта молодежь должна учиться у него, а она его не признает, недооценивает. Но сам он, по-моему, очень знал себе цену.

Еще помню характерную картину такую: идет Мандельштам, всегда немножко ссутулив плечи и в то же время закинув голову, довольно высокий, а сзади петушком за ним, с тяжеленнейшим портфелем, бежит Наденька, семенит мелкими шажками. Вот входим в Дом книги — Ленгиз — название же все время менялось: то самостоятельное издательство, то входит в общий ГИЗ... Как всегда, он без денег. Навстречу — Ольга Форш, сияющая, старая. И он к ней обращается, ну: «Ольга Дмитриевна...». Словом, не выручит ли его деньгами. И Форш открывает ридикюльчик такой маленький, весь набитый только что полученным каким-то гонораром, и говорит: «О, я так счастлива, что могу теперь давать! Я столько лет сама перебивалась, занимала, а теперь вот могу давать! Берите, сколько Вам надо!» Этот эпизод, конечно, очень характеризует Ольгу Форш. И он так запускает руку — сколько он там взял, и сказал ли ей сумму, этого я не помню.

Денег он получал много больше, чем я и все мое окружение, но они у него абсолютно не держались. То есть не успевал по-

лучить, как все это — фью! — и нету. Жили они в Детском Селе, в одном из дворцов; какие-то две огромные залы занимали, а там была не печь, а камины, вероятно, — и все уходило на дрова! То есть вот он получил только что гонорар за перевод или за редактуру, — они идут, покупают возок дров, и все это в два вечера и сжигается, чтобы было хоть сколько-нибудь тепло. Его это не останавливало.

Когда он приезжал в Ленинград по делам, то они с женой у меня всегда задерживались *(квартира Надежды Вольпин находилась на Васильевском острове).* У меня были две комнатки, и в одной из них стоял, так сказать, их диван, на котором они спали. Я тогда перекочевывала в комнату к сыну, а им предоставляла эту комнату.

Я не помню, чтобы Вас Надежда Яковлевна упоминала...

Ах, Надежда Яковлевна! Да, она меня не упоминает. Ну и слава Богу! Что-то она не очень добро вспоминает людей — никогда не знаешь, как упомянет. Но эпоха все-таки очень талантливо дана в этой книге. Талантливо написано. Я от нее не ожидала...

Вот они сидят у меня, и Мандельштам ей: «Наденька, посмотри: у Наденьки есть юбочка; нет, ты посмотри: у Наденьки есть кофточка!» Ему это кажется почти чудом: что вот я довольно-таки бедно, но все-таки одета, а она ходит такая неряшливая и Бог знает в чем. Действительно, на ней была заколотая английской булавкой, зашитая на живую нитку, разодранная юбчонка. Денег-то у них было гораздо больше, чем у меня, но вид всегда такой растерзанный и полунищенский. Это очень для их быта было характерно. А Наденька под него играла, потому что когда осталась одна, то оказалась и хозяйственна, и домовита. Их даже богемой нельзя было назвать — просто какой-то до крайности неустроенный быт.

Еще помню — моему мальчику *(А.С. Есенину-Вольпину)* было два года. Мандельштам склоняется над кроваткой его и спрашивает: «Ты меня помнишь?» — «Помню». — «Ну, как меня зовут?» Мальчик делает хитрые глазки: «Дядя О!» Это Мандельштаму ужасно понравилось. «Он очень точно определил. Я — О! Ода! Звук торжественной оды — **О**. Значит, во мне что-то одическое есть».

Так... Еще о Мандельштаме, нет?

Ну, я думаю, хватит. Может быть, вспомню потом еще. Вы задавайте вопросы. Я думала, что гораздо больше расскажу.

Вы виделись с ними с 25-го по 27-й примерно?

Да, вот эти годы — очень часто заезжали. Ну, а потом...

А после Воронежа Вам уже не довелось...

Нет, я ведь только в 33-м вернулась в Москву.

А они в самый страшный, в 37-й, год *(около 17 мая).*

Он беззаконно вернулся, кажется, один или с ней.

Нет, законно. Он срок отбыл.

Отбыл срок, но нужно было, кажется...

Ему надо было исчезнуть вообще и не мозолить глаза, а он приехал и стал скандалить, чтобы его устроили.

(*Понижая голос*) И стихи о Сталине он читал налево и направо до и после. Можно только удивляться, как он столько времени еще уцелел.

<...>

Еще одна деталь, которую мне хотелось сказать. Осип Эмильевич был очень нетерпим, когда высказывал свои суждения о чьих-либо стихах. Ему казалось, что каждый обязан смотреть так, как он смотрит. И был такой случай. В 30-м году примерно появилась статья Михаила Кузмина, по-моему, о Багрицком *(Эдуард Багрицкий // Литературная газета, 1933, 17 мая)*, и очень хвалебная. И я позволила себе спросить: «А это тот Кузмин? Поэт Кузмин?» И Мандельштам на меня набросился — как я могу допустить мысль, что тонкий поэт Михаил Кузмин напишет так о Багрицком, которого Мандельштам считал очень посредственным поэтом.

Значит, это был не тот?

Тот самый! Но Мандельштам решил, что Багрицкий не заслуживает такого отзыва.

<...>

Кстати, о сплетнях: возвращаюсь к Мандельштаму. Я говорила Вам о том, как трудно в бытовом отношении он всегда жил.

Это и в мемуарах Надежды Яковлевны...

Интересно вот что — это, кажется, начало 23-го года, организация КУБУ — Комитета улучшения быта ученых. И тогда возник этот анекдот, к нему приспособленный, но в дальнейшем переигрывавшийся на многих других. Когда стали знакомить ученых, поэтов видных — их пригласили на заседание, и Мандельштам предложил, что даст подписку, что его близкие не потребуют денег на его похороны, если ему сейчас выдадут это пособие. И будто бы это всех так рассмешило, что ему не было отказано.

(*Смеется*) **Возможно...**

Осип Мандельштам

* * *

За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы,
Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать.
Как я ненавижу пахучие древние срубы.

Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,
Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко,
Никак не уляжется крови сухая возня,
И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.

Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел!
Зачем преждевременно я от тебя оторвался!
Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,
Еще в древесину горячий топор не врезался.

Прозрачной слезой на стенах проступила смола,
И чувствует город свои деревянные ребра,
Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла,
И трижды приснился мужам соблазнительный образ.

Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?
Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.
И падают стрелы сухим деревянным дождем,
И стрелы другие растут на земле, как орешник.

Последней звезды безболезненно гаснет укол,
И серою ласточкой утро в окно постучится,
И медленный день, как в соломе проснувшийся вол,
На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится.

Декабрь 1920

Велимир Хлебников

Сыновеет ночей синева,
Веет во все любимое,
И кто-то томительно звал,
Про горести вечера думая.
Это было, когда золотые
Три звезды зажигались на лодках
И когда одинокая туя
Над могилой раскинула ветку.
Это было, когда великаны
Одевалися алой чалмой
И моряны порыв беззаконный,
Он прекрасен, не знал почему.
Это было, когда рыбаки
Запевали слова Одиссея
И на вале морском вдалеке
Крыло подымалось косое.

1920

Ленинград

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухших желез.

Ты вернулся сюда - так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей!

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Декабрь 1930



Василиса Георгиевна Шкловская-Корди

К воспоминаниям **Василисы Георгиевны Шкловской-Корди** (художницы, жены В.Б. Шкловского) эпиграфом можно поставить слова из дневника Э. Голлербаха 1925 г.:

«Когда я умру, потомки спросят моих современников: “Понимали ли Вы стихи Мандельш<тама>?” — “Нет, мы не понимали его стихов”. “Кормили ли Вы Мандельш<тама>, давали ли вы ему кров?” — “Да, мы корм<или> М<андельштама>, мы давали ему кров”. — “Тогда Вы прощены”» (Мандельштам в архиве Э.Ф. Голлербаха // Слово и судьба. Осип Мандельштам. — С. 109).

Знакомство Василисы Георгиевны с Осипом Эмильевичем состоялось в 1920—21 годах в Петрограде в Доме Искусств. Осенью 1920 г. при помощи Шкловского, ведавшего вселением «обдисков» («обитателей Дома Искусств»), ей удалось выхлопотать для Осипа Эмильевича комнату № 30а. В марте 1921 г. Мандельштам привел туда свою будущую жену Надежду Хазину. Взаимная симпатия Шкловских и Мандельштамов вскоре переросла в близкую семейную дружбу, нашедшую свое отражение как в мемуарах Надежды Яковлевны, так и в ее эпистолярном наследии — письма Н.Я. Мандельштам к В.Г. Шклов-

ской-Корди ныне хранятся в домашнем архиве Шкловских-Корди.

С 1937 г. дом Шкловских в Лаврушинском переулке становится единственным островком стабильности для мечущихся по стране (Савелово, Малый Ярославец, Ленинград, Калинин...) Мандельштамов. И в этом доме Василиса Георгиевна была тем человеком, кто досконально знал детали их тогдашнего быта, а вернее, трагического отсутствия оного. Позже, вспоминая 37-й год, в своей первой книге Надежда Яковлевна напишет:

«Чувство бесприютности и одиночества обострялось в геометрической прогрессии. Как-то, сидя у Бруни, О. Мандельштам не выдержал и позвонил Шкловским. «Приезжайте скорее, — сказал Виктор. — Василиса тоскует, места себе не находит...» Через четверть часа мы позвонили, Василиса встретила нас с радостью и слезами. И тогда я поняла, что единственная реальность на свете — голубые глаза этой женщины» (Воспоминания, с. 413). И далее, через несколько страниц, даст к имени Василисы Георгиевны исчерпывающую сноску: «В ней благодать» (там же, с. 443).

После гибели Осипа Эмильевича и до конца своих дней В.Г. Шкловская-Корди не оставляла осиротевшую Надежду Яковлевну своей заботой и поддержкой. Об этом свидетельствуют, в частности, следующие записи Н.Я. Мандельштам:

«Привезли громадную посылку. Особенно были трогательны подарки Василисы <...> В ящике лежало: чулки первого разряда, тетради, резинки для штанишек, которых нет в природе, чай, хорошее мыло, громадная коробка шоколада. <...> Эта посылка <...> (шоколад с кофейной начинкой) очень похожа на Василису. С одной стороны, детальность и мелочность ее заботы: знает чего нет и что нужно искать и с другой стороны баловство — шоколад и чулки, которых я себе никогда не куплю. Я была очень тронута» (Из письма Н.Я. Мандельштам к Кузину от 7. III 1940 г. // Борис Кузин. Воспоминания..., с. 611);

«Мне написала Василиса, что рада: я мол, хоть боком зацепилась за жизнь. И нарисовала рыбу на крючке. Я пририсовала рыбе усы» (Письмо от 12.IV.1940 г. // Там же, с. 615).

Но только через 24 (!) года со дня написания этого письма Василисе Георгиевне реально удастся осуществить эту «зацеп-

ку» — прописать Надежду Яковлевну в их квартире в Лаврушинском переулке.

Высокая достоверность воспоминаний В.Г. Шкловской-Корди об О. Мандельштаме подтверждается не только мемуарами В.Б. Шкловского и Н.Я. Мандельштам, но и перекрестными свидетельствами их современников:

В.Г. Шкловская-Корди: «Он *(Мандельштам)* приходил, садился на диванчик... не то я его покрывала, не то кто-то, или сам покрывался, одним словом так, чтобы никого и ничего не видеть, и писал стихи, шептал».

Н.Я. Мандельштам: «О. Мандельштам часто забредал к ней *(В.Г. Шкловской-Корди)* погреться у железной печурки. Иногда он ложился на диван и закрывал ухо подушкой, чтобы не слышать разговоров в перенаселенной комнате. Это он сочинял стихи и, стосковавшись у себя, забирался к Василисе» (Воспоминания, с. 21).

В.Г. Шкловская-Корди: «Он писал... причем вслух, вслух пел их, прямо напевал. Он не говорил, а бегал, бегал по всем вот этим комнатам и... потом записывал».

В.Б. Шкловский: «По дому, закинув голову, ходил Осип Мандельштам. Он пишет стихи на людях. Читает строку за строкой <...> Осип Мандельштам пасся, как овца по дому, скитался по комнатам, как Гомер» (Сентиментальное путешествие, с. 334—335).

Если верить И. Одоевцевой, причина этих «гомеровских скитаний» Мандельштама крылась в особой организации его психики. Как подтверждение этому, она вводит в свои воспоминания следующую прямую речь поэта:

«Мне необходимо жить подальше от самого себя <...> необходимо находиться среди людей, чтобы их эманации давили на меня и не давали мне разорваться от тоски <...> Это совсем особый, беспричинный страх <...> на людях он исчезает, когда пишу стихи — тоже» (Одоевцева И. Избранное. На берегах Невы. — М., 1998. — С. 349).

В.Б. Шкловский: «Живя в очень трудных условиях, без сапог, в холоде, он умудрялся оставаться избалованным» (Сентиментальное путешествие, с. 335).

В.Г. Шкловская-Корди: «Она *(Надежда Яковлевна)* была очень балованная и вздорная девчонка. Она и сейчас балованная».

Е.К. Гальперина-Осмеркина: «Осип Эмильевич посмотрел на меня небрежно, но и надменно. На язык слов это можно было перевести так: «Да, мы голодны, но не думайте, что накормить нас — это любезность. Это обязанность порядочного человека» (см. беседу Дувакина с Е.К. Гальпериной-Осмеркиной в наст. издании).

В.Г. Шкловская-Корди: «...Я считала своим, законным, правом поить его кофием, кормить бобами или тем, что у меня было. И это он принимал как должное».

Предельно документальна и данная Василисой Георгиевной лаконичная характеристика молодой Надежды Яковлевны: «Она была молчаливая, тихонькая, ничего не говорила, очень бледная».

Е. Лившиц: «Она больше помалкивала, как впрочем и я, — мы обе не смели. Мужья были порядочно старше нас...» (Воспоминания // Литературное обозрение. — 1991. — № 1. — С. 88—89).

А. Алексеев-Гай: «В конце комнаты, где меня принял Мандельштам, лежала под одеялом женщина. <...> Во время нашей беседы она не проронила ни слова...» (Из литературных встреч. Мандельштам // Вопросы литературы. — 1990. — Октябрь. — С. 268—270).

С. Липкин: «Надежда Яковлевна никогда не принимала участия в наших беседах, сидела с книгой в углу, вскидывая на нас свои ярко-синие, печально-насмешливые глаза. <...> Только в конце 40-х у Ахматовой на Ордынке, я смог оценить блестящий едкий ум Надежды Яковлевны» (Квадрига // Угль, пылающий огнем, с. 392).

Из воспоминаний Н.Я. Мандельштам: «Одним я могу похвастаться — я всегда умела спокойно молчать и не самоутверждаться, как многие жены, непрерывно влезая в разговор. Честно говоря, я считаю это большим достоинством. Почему мне не дали за него премии?» (Вторая книга, с. 368).

В конце записи Василиса Георгиевна рассказывает о публичном чтении Мандельштамом «Горца» («Мы живем, под собою

не чуя страны...») в «каком-то... общественном месте», по ее словам, чуть ли не «в домоуправлении». Под «домоуправлением» легко угадывается тогдашняя обитель Мандельштамов — писательское общежитие на Тверском бульваре (Дом Герцена) — именно здесь с голоса поэта впервые услышали это стихотворение С. Липкин и Г. Шенгели:

«Мандельштам прочел нам стихотворение об осетинском горце, предварительно потребовав поклясться, что никому о стихотворении не скажем. Я понял, что он и боится, и не может не прочесть эти строки» (Квадрига // Угль, пылающий огнем, с. 398).

«Не могу иначе» — так запомнила Василиса Георгиевна слова Мандельштама, прозвучавшие в ответ на ее мольбу об осторожности. Но вопреки страху близких, опасающихся за его жизнь («У нас мы бы ему не позволили. <...> Мы бы его загнали в кухню»), Мандельштам, высвобождая голос, читал «Горца». И ни инстинкт самосохранения, ни «железная кротость» Василисы Георгиевны не могли подавить в нем мощного стремления к собственной гибельной свободе.

Беседу ведет Н.Е. Шкловский-Корди (при участии В.В. Шкловской-Корди) 27 октября 1974 г.

Об Осипе Эмильевиче? О нем уже гораздо больше написала Надя. Анекдоты могу рассказать.

Анекдоты тоже прекрасно.

Нужно же знать то время. Время-то другое было. Сейчас бы он не так себя вел. *(Далее речь пойдет о Петрограде 1920/21 гг.)*

Ну и что же? Так это очень интересно...

Нужно, чтобы были люди, которые пережили, которые знают то время. Я помню, что Пяст, когда у него рвались ботинки, скомкивал газету и вкладывал в эту дырку для того, чтобы это было всем видно, понимаешь?.. Не старался скрыть, а наоборот — показывал. Это разные характеры. Показывал, что он голодный, что у него дырявые ботинки, что так нельзя обращаться с поэтами и что он хороший поэт.

А Осип Эмильевич никогда не выставлял?

А Осип Эмильевич нет. Осип Эмильевич... не жаловался. Кормили мы его сахаром, но он никогда не жаловался.

Сахаром не только вы его кормили. А как фамилия той поэтессы, которой он хотел отдать... Какая там была история?

Анекдот вот в чем... Значит, какую-то комнатку *(в Доме Искусств)* заняла поэтесса. А Осип Эмильевич бегал по всем своим знакомым, и мы его кормили по очереди. Но у нас не было папирос, потому что Виктор Борисович не курил. За папиросами он бегал вот к этой самой... Наталья как будто... Забыла. Я ее потом встречала... Она, между прочим, религиозная была... *(Возможно, имеется в виду Надежда Павлович.)* Анекдот был в том, что он вдруг прибежал ко мне и говорит: «Вы подумайте, за что она меня кормила?! За что она меня папиросами угощала?! Я ей сейчас же куплю... сейчас же отдам все папиросы, которые я у нее выкурил, и те каши, которые я у нее съел!» Причем он страшно сердитый прибежал ко мне, а потом к Мише Слонимскому. И вообще всем объявил, что она не читала «Камня»! «За что же она меня?..»

Он ведь был... вообще у него ничего не было. Надечка была, но только в Киеве... И он приехал, значит, на разведку в Петроград *(в середине октября 1920 г.)*. Ну, дали ему, значит, комнатку там в подвальном этаже, которая принадлежала прислуге... *(в Доме Искусств — набережная Мойки, 59, комната 30а).*

Прислуге Елисеевых, да?

Елисеевых. У слуг был целый коридор в подвальном этаже... У него же самого, Елисеева, был дворец, огромный дворец. Гостиные и столовые огромные. Когда мы с Виктором Борисовичем вселялись, уже все было занято... и Виктору Борисовичу удалось его спальню отхватить. Спальня была очень хорошая, огромная, как шесть этих комнат, или пять, не знаю, ну, одним словом, большая. А перед ней — ванные, уборные, две или даже три, потом большие шкафы, которые при нас уже старыми газетами, старыми журналами были набиты, не знаю, что это было... В спальне — огромные гардеробы, в которых единственные Виктора Борисовича штаны висели. Больше ничего. Шкаф был вот как двери эти, вдоль комнат и еще так — это все были шкафы. Как выйдешь на площадку, так слева была комната экономки. И экономка там и осталась, там и жила.

Была какая-то история со стиркой белья. Как вы стирали белье с Осипом Эмильевичем?

Осип Эмильевич стирал, совершенно верно. Так вот, перед этой спальней располагалась вдвое больше комната, в которой,

помню... и гимнастика была... и этот велосипед, который можно было крутить... Вообще, роскошная комната, с несколькими видами уборных и умывальниками всякими. И так сразу, когда повернешь, с левой стороны, был низкий такой, квадратный... — чашка — не чашка — умывальник, очевидно, чтобы мыть ноги, — теплой воды ведь уже не было. И вот мы в этой чашке стирали. Осип Эмильевич приходил ко мне стирать свое белье... Это очень удобно было.

Он хорошо стирал?

Ну, это уж я не знаю.

А он разговаривал, когда стирал белье? Он все-таки все время разговаривал.

Ну, не очень. Он разговаривал, когда были слушатели. А так, чтобы он мне какие-нибудь доклады делал — этого не бывало. Он все-таки ценил... свой разговор.

А стихи читал?

Стихи? Мы собирались... (конечно, не когда мы стирали белье с ним) человек шесть — восемь. Там были Тынянов, и Всеволод Иванов, и Миша Слонимский — вообще все те, которые жили. Тогда он читал свои стихи.

А где собирались?

Собирались у нас в комнате.

Ты видела, как Осип Эмильевич писал стихи?

Он писал... Причем вслух, вслух пел их, прямо напевал. Он не говорил, а бегал, бегал по всем вот этим вот комнатам и... потом записывал. А у меня он приходил, садился на диванчик... не то я его покрывала, не то кто-то, или сам он покрывался, одним словом, так, чтобы никого и ничего не видеть, и писал стихи, шептал. Миша Слонимский говорит: «Не могу больше!»

Он тоже у тебя был?

У меня тоже бывал, бывал. Осип Эмильевич к нему бегал тоже...

А почему он бегал из комнаты в комнату?

Потому что он у себя не мог... Очевидно, ему скучно было, холодно, подвальная комната... А у нас все-таки был... какой-то уют... все-таки мы чем-то топили — бумагу вкладывали в трехведерные баки, и бегали и собирали всякую такую бумагу, чтобы топить. Какао доставали и поили его, бобы варили, Виктор Борисович получал раз в месяц паек.

А Осип Эмильевич больше всего с Мишей там дружил?

Нет. Он со всеми дружил, со всеми, кто любил его стихи. Там кто собирался? Ну, конечно, Тынянов приходил, Борис Михайлович иногда приходил...

Эйхенбаум?

Да, Борис Михайлович Эйхенбаум. Тынянов чаще всего бывал. Всеволод бывал. Он был еще неженатый тогда, Всеволод Иванов...

В.В.Ш.-К.: А Ольга Форш вот об этом — «Сумасшедший корабль»?

Да-да, об этом. Она жила в другом корпусе. Нужно знать «Сумасшедший корабль», чтобы...

Осип Эмильевич читал...

Он читал, читал и старые стихи, читал и... «...слепая ласточка... вернется...». Помнишь? А потом снизу приходил Миша Слонимский: «Не могу я больше слышать этих ласточек». А Осип Эмильевич писал, закрывши голову... Ему ни до кого дела не было, очевидно, и до этой самой Натальи... Ну, поговорит, конечно, с ней, а потом писал стихи. И было холодно, совсем не топили.

И «Нерасторопную черепаху» он там писал?

«Нерасторопную черепаху»?.. Он читал мне, читал... Очень выразительно:

...Едва-едва беспалая ползет,
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.
Ну, кто ее такую приласкает,
Кто спящую ее перевернет?
Она во сне Терпандра ожидает,
Сухих перстов предчувствуя налет...

(«Черепаха»)

Громко, ясно, четко. Я слыхала. И «Ласточку» тоже он так читал. Потом он позвонил даже по телефону и спросил: «Правда, что я вот так вот завывал? Не может быть!».

Это когда?

Это уже в Москве. Кто-то ему сказал, что он завывает.

Но он уже был официально признанный великий поэт?

Как тебе сказать? Вот был большой зал, концертный, в Доме Искусств. И он выступал там *(возможно, имеется в виду вечер*

Мандельштама в Доме Искусств 18 ноября 1920 г.), и полный зал всегда был набит. Так что... его знали. В этом зале он заполнял все... никаких афиш ведь не было...

А какая публика была? Наверное, Дом Искусств?

Нет-нет, набивалось много народу. Явно, у него была... большая публика. А перед тем, как был его вечер, ко мне пришла такая Консовская, девушка, и я ей дала «Камень» почитать. А она вернула мне книжку — и к ней большой кусок сахара, колотого. Я тут же пошла к нему, он с кем-то разговаривал, и этот сахар с благодарностью принял. Такой кусок... ну, как полчашки — кусок колотого сахара. Так что у него было имя. Его любили и слушали. Но я считала своим, законным, правом поить его кофием, кормить бобами или тем, что у меня было. И это он принимал как должное. Понимал, что в этом Доме его ценят и любят как поэта и что это вполне естественно. И вдруг оказалось, что Наташа не читала его единственной книжки (она была тогда единственная, потом ее еще раз переиздали). И он за это ее срамил по всему Дому.

А потом он простил?

— Не знаю.

В.В.Ш.-К.: Ну, наверное, она прочла.

— Она прочла. Правда, книжку не так легко было достать.

Это 21-й был год?

Это было раньше — 20-й, 20-й год преимущественно...

И он там сколько был, Осип Эмильевич?

Одну зиму. А потом поехал в Киев *(в марте 1921 г.)*, забрал Надю и вернулся в Петроград. И уже там получил комнату...

А когда показал тебе бабу Надю Осип Эмильевич?

По приезде... *(вероятнее всего, в начале марта 1921 г.).* Он сказал, что это его жена, это будет его жена *(брак Мандельштамов был зарегистрирован в конце февраля — начале марта 1922 г. в Киеве).*

Она не испугалась?

Она? Она была молчаливая, тихонькая, ничего не говорила, очень бледная. И вот с тех пор у нас пошла дружба с Надей. Потом я была у них.

Какая у них была квартира?

У них квартиры никогда не было.

Баба Надя не организовывала уют?

Нет, она вообще... Это анекдот, я тебе рассказывала? Мы еще жили в Доме Искусств. Вдруг Осип Эмильевич прибегает с Надей, а на заду у него вот так вот угол вырван из штанов, и торжествующе говорит: «У меня есть деньги. Я пойду, и вы пойдете с нами, и куплю себе брюки». Да, и держит шапку так — на заде. Я: «Осип Эмильевич, дайте я вам зашью штаны, тогда мы пойдем, и не нужно будет на заду шапку держать». И тут Надя властно: «Нет, я не позволю. Что это ты выдумала. Мы пойдем...». Осип Эмильевич: «Раз она не хочет, я пойду так». Вот такой анекдот...

Осип Эмильевич был согласен? Он слушал бабу Надю?

Ну да, Надя же сказала: «Нет, ни в коем случае».

Почему?

Принцип. Она была очень балованная и вздорная девчонка. Она и сейчас балованная. Боялась, что он узнает, что можно зашивать. Вот это ей не нравилось. Но все-таки мы пошли. Причем она не знала еще в то время Петербурга, а я повела их в хороший магазин. В то время не так уж легко было купить... Там мы вошли в роскошный вестибюль, лестница идет — и на лестнице стоит медведь — чучело медведя с подносом. Так, помню, он и шел — с шапкой на заду.

Он не смущался этим?

Нет.

А когда собиралась компания, тогда и писались эти самые стихи, смешные?

А-а-а, нет... Это была компания, в которой Осип Эмильевич не очень участвовал — «Серапионовы братья».

<...>

Значит, Осип Эмильевич с ними не общался?

Нет. Он не был «серапионом». Он был старшим, понимаешь, был старший по культуре, а они все были очень молодыми.

И диковатыми.

Диковатыми? Не знаю.

А вот Осип Эмильевич писал: «Я мужчина-иностранец». Кстати говоря, баба Надя говорит, что ты одна помнишь эти стихи. Они не напечатаны. «Я мужчина-иностранец, лесбиянец, лесбиянец». *(Они сохранились также в памяти М.Д. Вольпина, с разночтением во второй строке опубликованы в кн.: Мандельштам О. Собр. соч. в 4-х томах. Т. 2. — М., 1993. — С. 85.)*

Он написал, но это про другую компанию. Тогда страшный разгром был, много народу отправили в ссылку... *(по так называемому «академическому делу» в 1929—1931 гг. было арестовано и выслано около 100 человек сотрудников Академии наук).*

А в Москве как ты с Осипом Эмильевичем?

В Москве? В Москве они получили квартиру. В Доме Герцена.

Осип Эмильевич у вас бывал часто?

Мне кажется, что он тогда не бывал у нас. Он приехал позже *(окончательный переезд Мандельштама в Москву состоялся в 1928 г.).* Ночевал у Тали... *(Н.Г. Корди, сестры Василисы Георгиевны, в Марьиной Роще).*

А ты его тогда встречала?

(Далее речь идет преимущественно о 37-м годе и приходах Мандельштамов в Лаврушинский переулок).

Дело в том, что Павленко был осведомителем, он тоже приходил к нам. А мы пользовались тем, что — зайдешь в квартиру — направо комнаты, а налево кухня. И Павленко осматривал эти три комнаты, а они проходили в кухню. За кухней была комната, причем в то время она не была отделена, это потом уж сделали. Там стоял этот самый диванчик, стол и стулья кругом. Больше ничего. Телефон. И когда был Павленко или кто-нибудь чужой, они проходили и сидели в комнате за кухней. Работница у нас была подходящая. Так что донести могли только с лестницы.

И Осип Эмильевич тут писал стихи тоже?

Нет. Уже не писал. Он приходил очень усталый... и ложился *(говорит, улыбаясь)* почивать.

Слово-то какое!

Он и жил, и ночевал у нас. А потом уже страшно стало и у нас оставаться, потому что в нашем доме арестовывали много людей. И тогда, когда он приезжал, Талечка забирала их в Марьину рощу, а сама приезжала обратно к нам и ночевала.

Кто ему помогал из наших, в основном?

В.В.Ш.-К.: Да много. Даже Катаев — деньгами.

— Нет.

В.В.Ш.-К.: Как же нет? Папа несколько раз рассказывал, что Осип Эмильевич говорил Катаеву: «Почему ты так... Назначь мне сто рублей в месяц. Тебе это ничего не стоит. Но регулярно. Чтобы мне не просить каждый раз».

— Так вот... Здесь было опасно. А Марьина роща была далеко, понимаете. Сейчас она была бы ближе.

А выглядел тогда как Осип Эмильевич?

О, он очень плохо выглядел, был измученный. Все это — высылка, Воронеж... Они и из Воронежа приезжали потихонечку. Но тут не показывались.

Они к вам заходили перед тем, как ехать в его последнюю... [санаторию] *(речь идет о доме отдыха «Саматиха» близ железнодорожной станции Черусти по Казанской дороге, куда Мандельштамы приехали около 8 марта 1938 г.),* **не помнишь?**

Как будто да.

Ну, вообще в Надечкиной книжке все...

Все точно, все точно.

И про других тоже?

Конечно.

А он вам читал «Горца» *(«Мы живем, под собою не чуя страны...»)***?**

Представь себе, он собрал людей, чтобы читать этого «Горца». Я говорила: «Что вы делаете?! Зачем? Вы затягиваете петлю у себя на шее». Но он: «Не могу иначе...». И было несколько человек, и тут же донесли. Вот я двух людей так вот умоляла: Белинкова *(Аркадий Викторович, ученик Шкловского, арестован в 1944 г.)* и Осипа Эмильевича. Белинков то же самое — «Раз я уже написал, то чтоб я не читал...» Я ему говорю: «Зачем вам жизнь портить?» *(«Спасло же студента Литинститута Аркадия Белинкова от расстрела письмо за подписью А.Н. Толстого!» (Берестов В. Алексей Толстой // Избранные произведения в 2-х т. Т. 2. — М., 1998. — С. 304). По устному свидетельству В.В. Шкловской-Корди письма в защиту Белинкова писал также В.Б. Шкловский.)*

А Осип Эмильевич тебе сперва прочел это стихотворение?

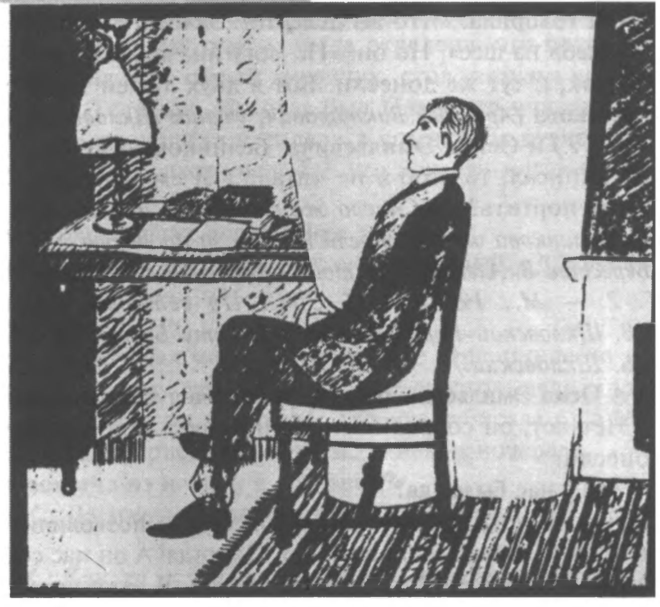
Нет-нет, он собрал нас всех и прочел. Тут же, моментально донесли.

Это у нас было, да?

Нет, что ты. У нас! У нас мы бы ему не позволили. Если бы у нас! Мы бы его загнали в кухню. Никогда! А он нас собрал. Причем много народу. Вот где, я не помню. Я даже не знала, что он будет читать. У меня такое впечатление, что это было в домоуправлении (*Все смеются.*) *(Возможно в 1933 г. в Доме Герцена.)* — в каком-то... общественном месте...



Обложка работы
А. Родченко первого
издания книги
О. Мандельштама —
«Камень».1913 г.



Портрет О. Мандельштама работы П. Митурича.
Рисунок тушью. 1915 г.

ДОМ ИСКУССТВ

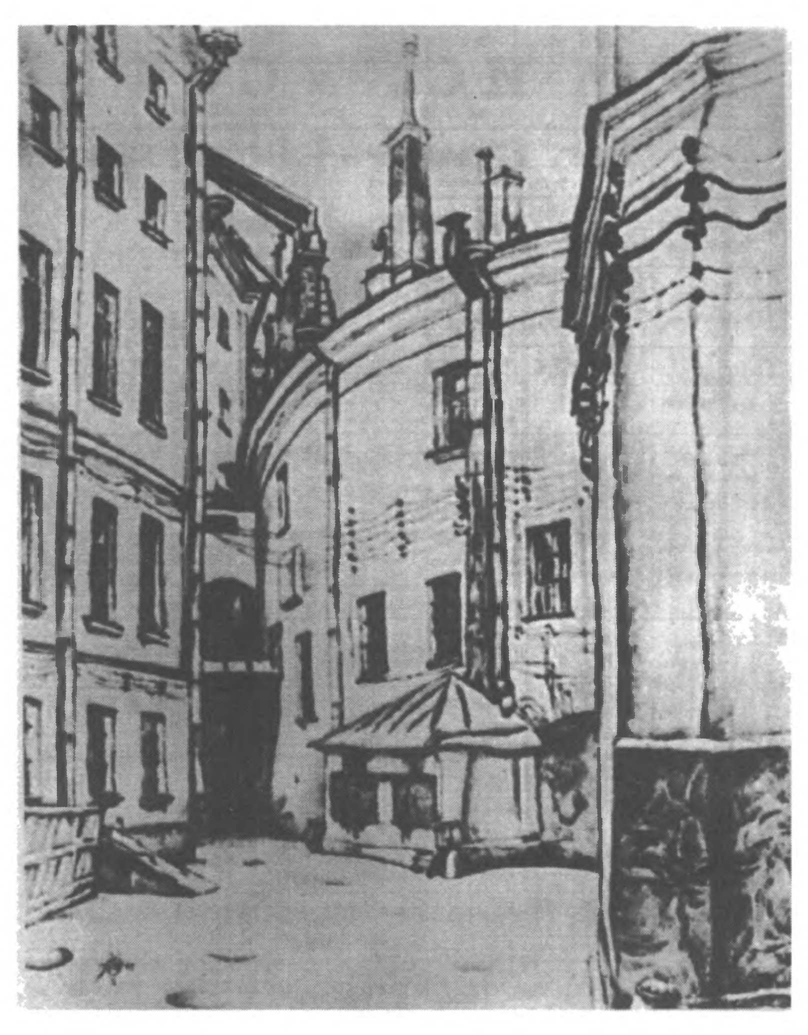
МОЙКА, 59

Четверг, 3-го Марта.	**Евг. Замятин** — „Герберт Уэллс". Для студенческих организаций. (Билеты в продажу не поступают).
Понедельник, 7-го Марта	**Борис Зайцев** ПРОЧТЕТ СВОИ НЕНАПЕЧАТАННЫЕ РАЗСКАЗЫ.
Вторник, 8-го Марта.	Проф. **Н. И. КАРЕЕВ** „Французская революция в истории романа".
Среда, 9-го Марта.	**ВЕЧЕР „ОПОЯЗ"** К. Д. [illegible] — „[illegible] Маслова в Японии". Ю. Н. Тынянов — „Гейне в России". Викт. Шкловский — „Пророк вне отечества".
Четверг, 10-го Марта.	**К. Чуковский** — „Некрасов и Муравьев". Для студенческих организаций. (Билеты в продажу не поступают).
Понедельник, 14-го Марта.	ЦЕХ ПОЭТОВ **ВЕЧЕР СТИХОВ** Участвуют: Н. Гумилев, Георгий Иванов, М. Лозинский, О. Мандельштам, Сергей Нельдихен, Ирина Одоевцева, Ада Оношкович-Яцына, Ник. Оцуп, Всеволод Рождественский, Владислав Ходасевич. „Вступительное слово о творчестве участвующих".
Вторник, 15-го Марта.	**А. Г. Горнфельд** — „о Достоевском".
Среда, 16-го Марта.	**Вечер памяти А. Ф. ПИСЕМСКАГО.** Почетн. акад. А. Ф. Кони — „Воспоминания о Писемском". А. В. Амфитеатров — „Творчество Писемского".
Четверг, 17-го Марта.	**Петров-Водкин** — „Наука видеть". Для студенческих организаций. (Билеты в продажу не поступают).
Воскресенье, 20-го Марта.	Почет. акад. **А. Ф. Кони** — „Житейские драмы" из личных воспоминаний.
Вторник, 22-го Марта.	**В. И. Немирович-Данченко** — „Сервантес и его время".
Среда, 23-го Марта.	Проф. **И. М. Гревс** — „Тургенев-живописатель культуры".
Четверг, 24-го Марта.	**Б. М. Эйхенбаум** — „о Л. Н. Толстом". Для студенческих организаций. (Билеты в продажу не поступают).

Начало в 7 часов вечера.

Билеты в Канцелярии Дома Искусств ежедневно от 11 час. утра до 7 час. вечера.

Афиша Дома Искусств на март 1921 г.



Двор Дома Искусств. Рис. М.В. Добужинского. 1920 г. ГРМ



Василиса Георгиевна Шкловская-Корди. 1970-е годы

Осип Мандельштам

Черепаха

На каменных отрогах Пиерии
Водили музы первый хоровод,
Чтобы, как пчелы, лирники слепые
Нам подарили ионийский мед.
И холодком повеяло высоким
От выпукло-девического лба,
Чтобы раскрылись правнукам далеким
Архипелага нежные гроба.

Бежит весна топтать луга Эллады,
Обула Сафо пестрый сапожок,
И молоточками куют цикады,
Как в песенке поется, перстенек.
Высокий дом построил плотник дюжий,
На свадьбу всех передушили кур,
И растянул сапожник неуклюжий
На башмаки все пять воловьих шкур.

Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва беспалая ползет,
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.
Ну, кто ее такую приласкает,
Кто спящую ее перевернет —
Она во сне Терпандра ожидает,
Сухих перстов предчувствуя налет.

Поит дубы холодная криница,
Простоволосая шумит трава,
На радость осам пахнет медуница.
О где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко,
Скрипучий труд не омрачает неба,
И колесо вращается легко.

1919

Ласточка

Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется,
На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
В беспамятстве ночная песнь поется.

Не слышно птиц. Бессмертник не цветет.
Прозрачны гривы табуна ночного.
В сухой реке пустой челнок плывет.
Среди кузнечиков беспамятствует слово.

И медленно растет, как бы шатер иль храм,
То вдруг прокинется безумной Антигоной,
То мертвой ласточкой бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

О если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
Я так боюсь рыданья Аонид,
Тумана, звона и зиянья.

А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется,
Но я забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.

Все не о том прозрачная твердит,
Все ласточка, подружка, Антигона...
А на губах как черный лед горит
Стигийского воспоминанье звона.

Ноябрь 1920

Запись Н.Я. Мандельштам
перед текстом стихотворения:

«Как эту выпуклость и радость передать,
Когда сквозь слез нам слово улыбнется.
Но я забыл, что я хотел сказать
И зрячих пальцев стыд не каждому дается.
А на губах как черный мед горит
И мучит память. Не хватает слова.
Не выдумать его: оно само гудит
Качает колокол беспамятства ночного».

Песнь вольного казака

Я мужчина-лесбиянец,
Иностранец, иностранец.
На Лесбосе я возрос,
О, Лесбос, Лесбос, Лесбос!

* * *

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца, —
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подковы кует за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина.

Ноябрь 1933



Надежда Александровна Павлович

Воспоминания **Надежды Александровны Павлович** (поэтессы, переводчика, критика и мемуариста), которыми она поделилась весной 1971 г. с Дувакиным, добавляют несколько значимых штрихов к портрету Мандельштама 1920—21 гг. Из наиболее ценных свидетельств Павлович — рассказ о присутствии Мандельштама на панихиде по А.С. Пушкину (10 февраля 1921 г.) в Исаакиевском соборе. Этот факт подтверждается и дневниковой записью от 14 февраля 1921 г. ученицы М. Лозинского А.И. Оношкович-Яцыны: «...Идея панихиды принадлежит Мандельштаму. Он бродит под колоннами, выпятив колесом узенькую грудь, уморительно-торжественный» (Дневник 1919—1927 гг. // Минувшее. Вып. 13. — М.-СПб., 1993. — С. 402).

Рассказывая об этом эпизоде Дувакину, Н.А. Павлович ставит под сомнение христианское вероисповедание Мандельштама и объясняет присутствие поэта на панихиде скорее «позой», «экзотикой»... В 1979 г. в ответном письме к архиепископу Сан-Францисскому Иоанну Н.Я. Мандельштам так скажет о конфессиональной принадлежности мужа: «Мандельштам тоже был верующим. Он крестился не из-за университета, как пишут у вас, а потому что не мог жить без Христа» (Третья книга. — С. 331).

Подробнее на этой теме она останавливается во Второй книге своих воспоминаний: «Христианство <...> у Мандельштама <...> лежало в основе миропонимания, но носило скорее философский, чем бытовой характер. Поэзию Мандельштам считал священной, но в применении к себе только «простой песенкой о глиняных обидах». В теурги он не просился...» (Вторая книга, с. 43).

Другое значимое свидетельство Н. Павлович — описание процесса работы Мандельштама над стихотворением 1920 г. «Ласточка» («Я слово позабыл, что я хотел сказать...»: «Он бормочет: «Зиянье *(верно — «рыданье»)* Аонид, зиянье Аонид... Надежда Александровна, а что такое «Аониды»?» Этот фрагмент почти дословно пересекается с воспоминаниями И. Одоевцевой:

«Он продолжает в упоении, все громче, все вдохновеннее:

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
Я так боюсь рыданья Аонид...

И вдруг, не закончив строфы, резко обрывает:

— А кто такие аониды?» (Избранное // На берегах Невы, с. 254—355).

Интересно высказанное Павлович и, к сожалению, «потопленное» в беседе наблюдение о своеобразном «дуализме» личности Мандельштама: «Во-первых, это было два человека. Один Мандельштам, так сказать, поэт и человек, дивно преображающийся даже от чтения стихов...». Подобное впечатление зафиксировано также в воспоминаниях И. Наппельбаум и записных книжках Л. Гинзбург.

И. Наппельбаум: «Позже я поняла: <...> он состоял из двух профилей — солнечного и теневого. И оборачивался то одной, то другой стороной. В том была его суть» (Слепая ласточка // Литературное обозрение. — 1991. — № 1. — С. 87—88).

Л. Гинзбург: «...Видим самое лучшее: <...> человека, переместившегося в свой труд. Он переместился туда всем, чем мог, — и в остатке оказалось черт знает что: скандалы, общественные суды <...> Все ушло туда, и в быту остался чудак с неурегулированными желаниями, «сумасшедший»» (Записные книжки, с. 142).

Заметим, что маленький фрагмент из воспоминаний Павлович о Блоке (Блоковский сборник. Вып. 1. — Тарту, 1964), касающийся Мандельштама: «Он всем своим обликом напоминал персонажей картин Шагала»; «Некрасивое, незначительное лицо», — вызвал особое, не проходящее с годами возмущение Н.Я. Мандельштам. Об этом свидетельствуют ее заметки на полях американского собрания сочинений Мандельштама (см. Philologica. — 1997. — № 8/10. — С. 182).

Последний сюжет Н.А. Павлович, который она (в данном случае, с чужих слов) передает Дувакину, восходит к мандельштамовскому «лагерному фольклору» (собран и откомментирован в «Воспоминаниях» Н.Я. Мандельштам). Версия, изложенная Павлович: «И его *(Мандельштама)* повели в какое-то чердачное помещение. <...> Посредине... стояла бочка, на бочке лежал большой каравай хлеба и кусок сала. Потом вышел худой человек и стал читать прекрасные стихи», — в книге Надежды Яковлевны (к 1971 г. Н.А. Павлович вполне могла прочесть ее в нью-йоркском издании) зафиксирована как «рассказ физика Л.»:

«На чердаке горела свеча. Посередине стояла бочка, а на ней — открытые консервы и белый хлеб. Для голодающего лагеря это было неслыханным угощением — люди жили чечевичной похлебкой, да и той не хватало. <...> Среди шпаны находился человек, поросший седой щетиной, в желтом кожаном пальто. Он читал стихи. Л. узнал эти стихи: то был Мандельштам. Уголовники угощали его хлебом и консервами, и он спокойно ел — видно, он боялся только казенных рук и казенной пищи. Слушали его в полном молчании. Иногда просили повторить. Он повторял» (Воспоминания, с. 462).

Об этом и подобных ему «легендарных» рассказах о последних месяцах жизни Мандельштама Надежда Яковлевна, предваряя Павлович, писала:

«А после его смерти — или до нее? — он жил в лагерных легендах как семидесятилетний безумный старик с котелком для каши, когда-то на воле писавший стихи и потому прозванный «Поэтом». И какой-то другой старик — или это был О.М.? — жил в лагере на «Второй речке» и был зачислен в транспорт на Колыму, и многие считали его Осипом Мандельштамом, и я не знаю, кто он» (Воспоминания, с. 459).

<...>

Вот тут в Ваших воспоминаниях *(Дувакин имеет в виду публикацию Н. Павлович «Воспоминания об Александре Блоке» // Блоковский сборник. Вып. 1. — Тарту, 1964)* **меня заинтересовала очень строчка: «5 октября мы получили помещение на Литейном, в бывшем доме Мурузи. Наиболее интересен был вечер** *(22 октября 1920 г. в Клубе поэтов на Литейном проспекте)*, **на котором впервые после возвращения в Петроград выступал Осип Мандельштам». Вы его, кроме этого вечера, не видели никогда больше?**

Кого, Мандельштама? Я с ним жила в одном доме — в Доме Искусств!

Это же у Вас не напечатано, и вряд ли будет напечатано! С Надеждой Яковлевной не знакомы?

Нет, я тогда с ней была знакома. Теперь я с ней не встречаюсь, а вообще знакомы мы были тогда — именно тогда. Видите ли, дружбы у нас не было, так что никаким близким человеком я по отношению к Мандельштаму не являюсь.

Было знакомство.

Это было знакомство и соседство, добрососедство. Он был ближе, конечно, к гумилевской всей линии, к Блоку не было такой близости. Теперь — что Мандельштам? Во-первых, скажу: он никогда не писал халтурно, даже по тому времени, для заработка или для пайка. Но если он написал одно стихотворение, то он его продавал по крайней мере в десять издательств: куда только можно, одно и то же. Это, конечно, не полагается делать, но зато — я думаю — у него нет ни одной строчки фальшивки.

Во-первых — это было два человека. Один Мандельштам, так сказать, поэт и человек — дивно преображающийся даже от чтения стихов... Чудную сцену я помню: как раз февральская годовщина смерти Пушкина. Исаакиевский собор тогда функционировал, там церковь была. И Мандельштам придумал, что мы пойдем сейчас служить панихиду по Пушкину *(10 февраля 1921 г.)*. И мы пошли в этот собор заказать панихиду, целая группа из Дома Искусств. И он раздавал нам свечи. Я никогда не забуду, как он держался — в соответствии с обстоятельством, когда свечки эти раздавал.

Между прочим, он был крещеный — или нет? *(14(27) мая 1911 г. был крещен в Выборге по обряду методистской епископской церкви.)* **Так что это была чистая экзотика...**

Экзотика. Но это было величественно и трогательно.

Я спрашивал у Надежды Яковлевны — вообще он был христианского умонастроения.

Может быть, он был и крещеный, я не знаю. По-моему, нет. Потом — это у меня есть вот здесь *(показывает текст своих воспоминаний, опубликованных в «Блоковском сборнике»)* — помню, он идет по лестнице и мы встречаемся. Это дом Елисеева, Дом Искусств. И он бормочет...

Это на Невском?

Да, это угол Невского и Мойки.

Ну да, где как раз Елисеевский магазин сейчас, да?

Это был дом, не где у него магазин, а где они жили, сами Елисеевы. И там были еще елисеевские лакеи.

Да, так на лестнице мы встречаемся, он бормочет: «...Зиянье Аонид, зиянье Аонид... Надежда Александровна, а что такое «Аониды»?» *(Неточно цитирует 4-ю строфу стихотворения Мандельштама «Ласточка».)* Вот, в данном случае, это, значит, было его — не смысловое, а музыкальное вдохновение.

А он и тогда был какой-то такой — неприкаянный?

Абсолютно. Абсолютно неприкаянный. И эта его Наденька какая-то такая... они были похожи чем-то друг на друга. Было в их облике очень много от героев Шагала. Внешне даже. Типичные такие, шагаловские, потому что в шагаловских героях тоже всегда был очень большой трагизм.

Народный...

Личный и народный.

Я считаю, что ему все-таки очень повезло с женой.

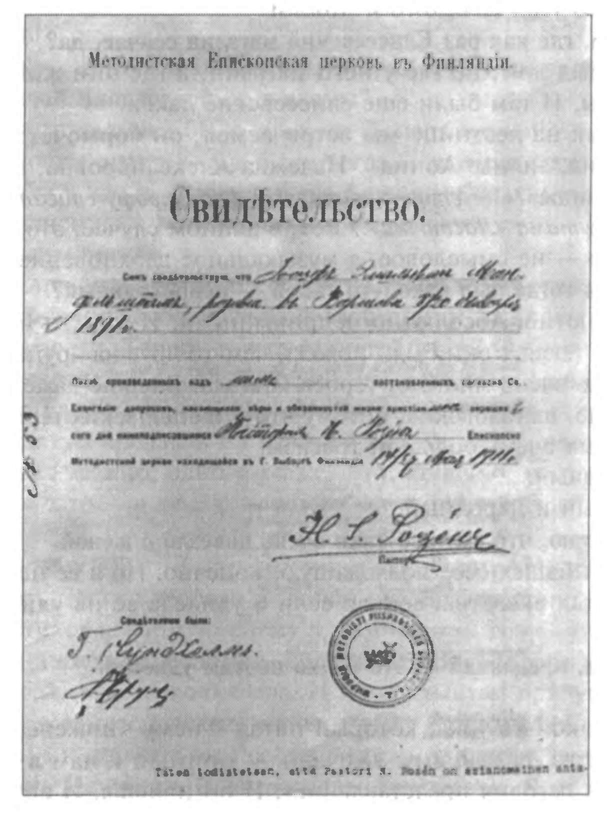
Да, он нашел себе подходящую, конечно. Но я ее не знаю, я только, так сказать... сейчас если б увидела ее на улице — не узнала.

Умная, преданная — это редко поэтам удается.

<...>

...И какой-то урка, который питал к нему <инженеру> добрые чувства, сказал ему: «Хочешь — приходи к нам в барак, у нас будет сегодня представление». И он пришел. И его повели куда-то в такое чердачное помещение. А там картина была такая: посередине, в освещенной тусклым огарком части поме-

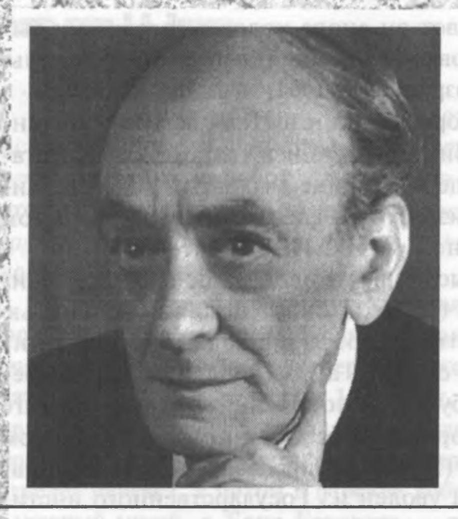
щения, стояла бочка, на бочке лежал большой каравай хлеба и кусок сала. Потом вышел худой человек и стал читать прекрасные стихи: читал Пушкина, читал Лермонтова, потом читал много Гумилева и Мандельштама. Когда кончился этот вечер, этот инженер к нему подошел: «Как Вы прекрасно знаете поэзию, какие чудные стихи Вы читали Мандельштама». Тот говорит: «Это мои стихи». Это был Мандельштам. И он с ним два часа проговорил. Там все относились к нему как к блаженному — знаете, как в народе. Им очень нравилось, как он качается... и вот эти стихи... значит, человек не от мира сего. Они его любили, подкармливали и вообще к нему хорошо относились, но за это вечером он должен был читать им стихи.



Методистская Епископская церковь въ Финляндіи.

Свидѣтельство.

Свидетельство о крещении О. Мандельштама.
14 (27) мая 1911 г. Архив Е.Э. Мандельштама



Александр Ивич (Игнатий Игнатьевич Бернштейн)

Воспоминания **Александра Ивича** (Игнатия Игнатьевича Бернштейна; детского писателя, критика, литературоведа) относятся преимущественно к началу двадцатых годов — атмосфере и быту петроградских Дома Литераторов и Дома Искусств. В беседе с Дувакиным, состоявшейся в мае 1972 г., Ивич, избегая повторений чужих мемуаров, лишь обозначает некоторые реалии того времени: столовая Дома Литераторов (о подобном ей заведении Блок однажды сказал: «Здесь все встречаются, как на том свете»); комната Слонимского в Доме Искусств — место ежевечерних встреч «серапионов»; маскарад в ритмической школе Ауэра; «живой кинематограф» в Доме Искусств...

Характеризуя манеру чтения Мандельштама тех лет, Ивич, в противовес скандирующей ритмике, определяет ее как «певучую», что в принципе подтверждается свидетельствами других мемуаристов, например, Н.Д. Вольпин:

«Читающий сперва показался мне невысоким — так глубоки наклоны тела, которыми он словно подталкивал каждый выгиб голоса, выводя гамму ударных гласных в стихе <...>

Новое стихотворение. И вот он снова колдует, плавными выгибами рук и торса вырисовывая течение гласных» (О. Мандельштам // Литературное обозрение. — 1991. — № 1. — С. 87).

В самом начале разговора Дувакин и Ивич вспоминают интересный факт: фонографическую запись голоса Мандельштама на восковом валике, еще в середине двадцатых годов сделанную братом А. Ивича — известным филологом, специалистом по звучащей художественной речи С.И. Бернштейном.

Н.Я. Мандельштам, мыслившая живой голос поэта как единое целое с его стихами («Стихи живут подлинной жизнью только в голосе поэта и голос поэта продолжает жить в них навеки» (Воспоминания, с. 221)), а посему считавшая современников поэта «богаче будущих поколений», в первой книге своих воспоминаний скорбела о разоренном фонетическом гнезде С.И. Бернштейна. (В 1930 г., преследуемый «за формализм», С. Бернштейн был уволен из Государственного института истории искусств. Его коллекцию постигла печальная судьба: оприходованные институтом «живые» валики, хранящие голоса Ахматовой, Блока, Гумилева, Мандельштама... были сброшены в подвал, где постепенно разрушались, погибая от холода, сырости и плесени.)

«Фонотеку Сергея Игнатьевича Бернштейна уничтожили <...> Это было в период, когда рассеивали по ветру прах погибших <...> Я хорошо помню чтение О. М. и его голос, но он неповторим и только звучит у меня в ушах. Если бы это услышать, стало бы ясно, что̀ он называл «понимающим исполнением» или «дирижированием». Фонетическим письмом и тонированием можно передать лишь самую грубую схему пауз, повышений и понижений голоса. За бортом остается долгота гласных, обертона и тембр. Но какая память сохранит все движения голоса, отзвучавшего четверть века назад!» (Воспоминания, с. 331).

В беседе с Дувакиным Ивич касается и следующего сюжета — хранения части архива Мандельштама, переданного ему в 1946 г. Надеждой Яковлевной. В 1957 г. архив был возвращен Н.Я. Мандельштам. Обстоятельства, сопутствовавшие его передаче, привели к «тихому разрыву» взаимоотношений между А. Ивичем и Н. Мандельштам. О подробностях передачи архива и его одиннадцатилетнем (!) хранении семьей Бернштейнов см. воспоминания дочери А. Ивича С.И. Богатыревой в настоящем издании.

...[С.И. Бернштейн], как Вы знаете, проделал в Институте истории искусств *(где создал Кабинет изучения художественной речи)* уникальную работу, записав на валики всех крупных поэтов *(в течение 10 лет составив собрание в 700 валиков, записав голоса приблизительно 100 поэтов, а также образцы речитативного чтения устной народной поэзии).*

И, кроме того, Гиппиус тогда же записал большой материал по фольклору <...> Это было одно собрание, в котором насчитывалось восемьсот с чем-то номеров. Я его принял и перевез в Литературный музей в Москву в 1938 году, буквально на своем горбу, при помощи только вокзальных носильщиков. Купил 12 чемоданов, взял стружки в магазине, уложил эти валики и в «Красной стреле» перевез, а потом в Москве добрался до Моховой, в Литературный музей, к Бонч-Бруевичу...

Да. Причем ряд валиков уже оказался разбитым. По-моему, валик Мандельштама был разбит... *(ныне восстановлен Л.А. Шиловым. В чтении Мандельштама звучат следующие стихи: «Нет, никогда ничей я не был современник...», «Сегодня ночью не солгу...», «Я по лесенке приставной...» («Голоса, зазвучавшие вновь» 1908—1956. Мелодия, М—90—3937 (1978), Мелодия, М—40—39857(1978).)* А так как Сергей Игнатьевич работал над своей статьей «Голос Блока», то он очень много прослушивал валики, техники-то перевода не было, и, в общем, Блок оказался стертым. Но сейчас немножко восстановлен. *(Из пяти валиков с записью голоса Блока сохранились три. Использованы Л.А. Шиловым при составлении компакт-кассеты «Голос прошлого» и кассеты «Голоса, зазвучавшие вновь».)*

Алянский считает, что это никуда не годится.

Алянский считает, но Анна Андреевна Ахматова несколько другого мнения. Надежда Яковлевна Мандельштам тоже недовольна записью Мандельштама, но прежде техника была очень примитивная, фонографные валики...

<...>

(Далее речь идет о литературной жизни Петрограда начала 20-х гг.)

А.И.: ...Моя мать *(Полина Самойловна Бернштейн)* была переводчицей. Она открыла, в сущности, для России Стефана

Цвейга и была членом Союза писателей, тогда еще Всероссийского союза писателей. А значит, имела право на Дом Литераторов. Дом Литераторов кормил — там были обеды. И она со своими двумя сыновьями была к нему прикреплена. Там в этом Доме Литераторов, конечно, я встречался с очень многими. <...> И вот о чем мне хотелось бы Вам рассказать — о совершенно необыкновенной обстановке... даже не обстановке (неподходящее слово) — жизни, интеллектуальной жизни... 1920—21 годов. Голодное время. До НЭПа. Но в это время была чрезвычайно интенсивная интеллектуальная жизнь. Мало связанная с политикой или вовсе не связанная... <...> Я говорю о жизни людей, как-то причастных к литературе, а я оказался причастным. В Доме Литераторов мы обедали, а вечера большей частью я проводил в Доме Искусств, где жило довольно много писателей. Там завязались мои дружеские отношения с Ходасевичем, в соседней комнате жила Ольга Дмитриевна Форш...

Это тот Дом Искусств, который описывает Каверин? *(Речь идет о мемуарных фрагментах Каверина: Неизвестный друг: как я не стал поэтом // Октябрь. — 1959. — № 10. — С. 131; Несколько лет // Новый мир. — 1966. — № 11. — С. 133—134.)*

Да. И который описывает Форш в повести «Сумасшедший корабль».

И Федин его вспоминает *(Писатель, искусство, время. — М., 1957).*

Да. Там же, в комнате Слонимского, собирались «серапионы»... Маленькая комната, в которой дым висел столбом от махорки и папирос... Я там тоже часто бывал. И читали в этой обстановке. Туда приходил Чуковский, туда заходила Ахматова, заходил молодой Тынянов, бывал Мандельштам. Он же тоже жил в Доме Искусств, Мандельштам, и я тогда с ним часто встречался. Ну, это уже было в мемуарах, не стоит рассказывать...

<...>

У меня много автографов. Автограф Мандельштама есть, черновики его, ненапечатанные некоторые вещи: строфы, варианты...

А Надежда Яковлевна их знает?

Еще нет. Скоро узнает. Мне не хотелось ей отдавать по некоторым причинам. Вы читали ее второй том воспоминаний? Она иногда недобра в отношении многих людей, несправедлива...

Да. Вообще, она злющая женщина, но умна, как бес.

Она очень умна, очень умна. Мы с ней в хороших отношениях как будто. Она обо мне ничего плохого не написала. Только хорошее в первом томе, который вышел за границей, но... У меня ведь в страшные годы хранился архив Мандельштама.

Ах, что Вы говорите!? Вы сохранили это все?

Да.

И потом ей отдали?

Да.

Ну, это огромная Ваша заслуга тогда.

Я отдал... Мне позвонил Харджиев... Надежда Яковлевна тогда еще жила в Чебоксарах... *(1957 год)* и сказал: «Надежда Яковлевна просила, чтобы ты мне передал архив». А мне она этого не говорила. Я поопасался передать Харджиеву *(По свидетельству дочери А. Ивича, С.И. Богатыревой, взаимоотношения между Ивичем и Харджиевым к этому моменту были практически разорваны. Надежда Яковлевна не могла об этом не знать.)* и сказал, что передам Комиссии по наследству *(создана 28 февраля 1957 г.)*. (Она уже тогда была образована). Туда входил брат Надежды Яковлевны *(Е.Я. Хазин)*, и входил Харджиев *(а также А.А. Ахматова, Н.Я. Мандельштам, З.С. Паперный, А.А. Сурков, И.Г. Эренбург)*. И я по описи ее брату все, что у меня было, передал. И потом Надежда Яковлевна меня благодарила за то, что я сделал эту опись, потому что Евгений Яковлевич Хазин передал его Харджиеву, а тот что-то манипулировал со стихами, о чем она пишет во Второй книге. Надежда Яковлевна там с бешенством говорит о Харджиеве: он какие-то срезал даты, потому что, по его убеждению, это было написано не тогда. В общем, как-то очень своевольно распоряжался.

<...>

(Разговор касается манеры чтения Мандельштамом своих стихов.)

Мандельштам совершенно необыкновенно читал. Он читал певуче...(*Начинает читать, имитируя манеру Мандельштама.*)

Сегодня дурной день:
Кузнечиков хор спит,
И сумрачных скал сень —
Мрачней гробовых плит...

(«Сегодня дурной день...»)

Причем когда он читал стихи, это сопровождалось движениями головой и...

Руки?

Нет. Опусканием кулака... не помню, правой или левой руки.

Как будто он качал насос, да?

Да. Это было какое-то такое действие... оно выражало затрудненность... поэзии. Что поэзия...

...нелегкое дело.

Да.

Но вот это чтение Мандельштама, как Вы его сейчас показали, оно все-таки в пределах скандирующей поэтической манеры. Блок — это другое.

Да. Но... Я, может быть, неудачный пример дал, потому что... Как это начинается? «Я не увижу знаменитой «Федры»...» Ну, в общем, это было певуче.

<...>

На меня Блок произвел огромное впечатление эмоциональное на маскараде *(11 января 1921 г. в Школе ритмического танца Ауэра)*, о котором пишет Надя Павлович *(в Воспоминаниях об Александре Блоке // Блоковский сборник)*. Мы случайно на этот маскарад шли вместе с Блоком, потому что я зашел за Всеволодом Рождественским, и Блок к нему зашел; и мы отправились вместе большой компанией: Мандельштам там был. Мандельштама я хорошо помню... И вот, значит, Всеволод Рождественский, Надя Павлович... И еще кто-то. В общем, мы прошли (это я помню) наискосок через площадь Зимнего дворца, мимо Александровской колонны, на Миллионную, теперь это улица Халтурина.

А этот Дом Искусств помещался на теперешней площади Воровского?

Он помещался на углу Мойки и Невского.

Ага, значит, вы дошли до Дворцовой площади...

Да, мы через арку Главного штаба...

...Шли на улицу Халтурина.

Да. А на маскараде Блок произвел на меня потрясающее впечатление, когда он... Был момент в маскараде, когда Блок, ни на кого не глядя, прошел через зал и люди перед ним расступались — какой-то коридор образовался. И Блок прошел через зал... куда-то к эстраде... не помню... В общем, вот этот проход по образовавшемуся для него коридору мне очень запомнился.

Это то, что нет у Павлович, хотя она все довольно верно, кажется, описывает.

Я помню там очень веселого Мандельштама... Он страшно любил сладкое... <...> Блок мне показался в тот день чрезвычайно мрачным, и Мандельштам оказался его полной противоположностью. Надежда Яковлевна очень сердится в своих воспоминаниях, что все вспоминают, как он любил печенье, а вот я тоже помню, как Мандельштам на этом маскараде ужасно наслаждался тем, что была такая редкость, как пирожные. Он брал и очень весело эти пирожные ел.

Уже были пирожные, и не из картошки?

Пирожные — абсолютная редкость в то время. Но на этом маскараде они почему-то были...

Мандельштам сладенькое любил, или просто с голодухи?

Нет, он любил сладкое, любил.

Расскажите, где же был этот маскарад?

Кажется, в школе танца Ауэра на улице Халтурина. Почему-то в воспоминаниях у Георгия Иванова и у Одоевцевой одинаковое вранье, что это был маскарад в Доме Искусств. В Доме Искусств никакого маскарада не было.

Ага, вот это конкретное уточнение. А по какому случаю маскарад?

А без случая. Тогда очень много веселились, в эти годы. Был... в Институте истории бал *(в январе 1921 г. в Институте истории искусств. Описан и В. Ходасевичем в очерке «Гумилев и Блок» (Собр. соч. в 4-х тт. Т. 4. — М, 1997. — С. 80—81))*, на котором появился Гумилев во фраке. Кажется, он и на маскараде во фраке был, — это по воспоминаниям — я его там не помню. В Доме Искусств проходили еженедельные вечера, очень веселые, но другого порядка: живой кинематограф, которым руководили Евгений Шварц и Лева Лунц. Они были двумя конферансье и всякие трюки изображали. Я там помню, как Нельдихен изображал статую свободы, — он был огромного роста, с длинными ногами... А я проползал у него между ногами, изображая пароход, который причаливает к нью-йоркской гавани. (*Смеются.*) Кажется, это было в фильме «Фамильные бриллианты Всеволода Иванова», а может, в каком-то другом, не помню сейчас.

Осип Мандельштам

* * *

Сегодня дурной день,
Кузнечиков хор спит
И сумрачных скал сень
Мрачней гробовых плит.

Мелькающих стрел звон
И вещих ворон крик...
Я вижу дурной сон
За мигом летит миг.

Явлений раздвинь грань,
Земную разрушь клеть,
И яростный гимн грянь —
Бунтующих тайн медь!

О, маятник душ строг,
Качается, глух, прям,
И страстно стучит рок
В запретную дверь к нам...

1911

Наталья Давыдовна Эфрос

В апреле 1980 г. **Наталья Давыдовна Эфрос** (переводчик, редактор, вдова искусствоведа А.М. Эфроса) поделилась с Дувакиным отрывком из своих мемуаров (в сокращенном виде, без последних двух абзацев опубликован в сб. «Сохрани мою речь...» — М., 1991. — С. 51—52), посвященных жизни и творчеству ее покойного мужа. Во время беседы Дувакину демонстрировалась монументальная рукопись объемом в 447 страниц, которой Наталья Давыдовна дала название «А.М. Эфрос. Воспоминания свидетеля многих лет его жизни».

Прочитанный Дувакину «мандельштамовский фрагмент» целиком отведен полемике с воспоминаниями Н.Я. Мандельштам (Вторая книга; гл. «Жилплощадь в надстройке», с. 104—106), цель которой — выяснение «истинной причины конфликта», произошедшего в 1922 г. между Мандельштамом и Эфросом. В отличие от Надежды Яковлевны Наталья Давыдовна усматривает их разногласия не в литературной, а исключительно в «бытовой» сфере.

В ходе беседы Наталья Давыдовна возвращается и к запомнившимся ей «событиям» лета 1917 г. Так, рассказывая об одном из визитов к ним О. Мандельштама (Эфросы жили тогда

на Пресне), она спустя 63 года припоминает точную сумму невозвращенного поэтом долга — речь идет о 5 рублях, «протраченных» Мандельштамом (этим, по словам Натальи Давыдовны, «веселым и легкомысленным человеком») на извозчика.

По ходу записи монолог Натальи Давыдовны (она читает с рукописи) неоднократно прерывают уточняющие реплики Дувакина, как то:

«Помню, Эфрос хотел организовать издательство такое кооперативное — «Круг».

Не только хотел — оно было. И много издало.

Там что-нибудь издавалось разве?»

В заключение беседы Н.Д. Эфрос зачитывает Дувакину свою следующую оценку двух первых книг Н.Я. Мандельштам: «Мемуары Мандельштам полны злости. Она чернит и клевещет на многих писателей, <...> а действительность тех лет изображает, как правило, в черных красках и в искаженном ракурсе». Впрочем, «справедливости ради», Наталья Давыдовна не отказывает Надежде Яковлевне и в некотором литературном таланте: «В них *(воспоминаниях Н.Я. Мандельштам)* немало серьезных мыслей, ценных сведений и наблюдений», но в целом предостерегает «будущего исследователя» и доверчивого читателя от отношения к книгам Н.Я. Мандельштам как к серьезному историческому документу.

Беседу ведет В.Д. Дувакин (при участии М.В. Радзишевской)

<...>

Вам не попадались воспоминания Надежды Мандельштам? Вторая часть. Там она — она же всех там ругает, порочит. Она там и Абрама Марковича ругает, дельцом его называет. Делец!.. (*Смеется*).

Зайцев так о нем написал (*Далекое. — Вашингтон, 1965*) (он, кстати, бывал у нас, и мы у него бывали): «Абрам Эфрос, секретарь Союза писателей в Москве, — это просто интеллигент: быстрый, многоречивый и предприимчивый, с тонким, изящным лицом, большими глазами, в бархатной артистической

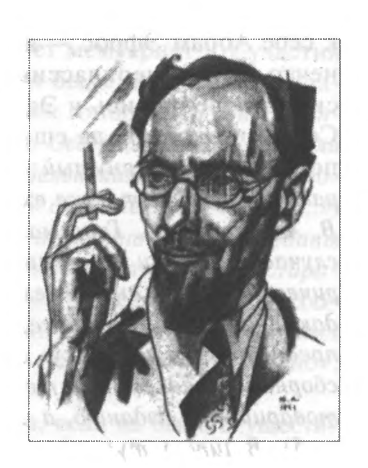
куртке — свой человек, но примитив. <...>». Почему-то в эмиграции прошел слух, что Эфрос умер в 44-м году.

А он как кончил? Он умер своей смертью?

В 54-м. Здесь, конечно.

Его разве не выслали? *(В 1938 г. за несколько недель до ареста Мандельштама Эфрос был выпущен из тюрьмы и выслан в Ростов-Ярославский, что послужило поводом для следующего высказывания Мандельштама: «Это Эфрос великий, а не Ростов».)*

Нет. (sic) «...Писали бы Вы в «Новом журнале», в «Новом русском слове»... <...> Вспоминаю Вас, оплакиваю. Борис Зайцев».



А. Эфрос.
Рисунок Ю. Анненкова.
1921 г.

Мандельштам, когда приезжал в Москву, бывал (даже ночевал) у нас *(летом 1917 г. на Пресне).* Он ведь ленинградец сам, петербуржец. Он был такой веселый, легкомысленный человек. Его привела к нам такая Мага *(Маргарита)* Тумковская, поэтесса. Она умерла во время войны...

<...>

Он всегда был без копейки денег, займет 5 рублей; а потом видим: уже едет на извозчике, уже цветочек здесь — значит, все протранжирил. (*Смеется.*) Читал стихи свои.

Потом он женился на этой самой Надежде. Она сестра Хазина, Жени Хазина. Женя Хазин был товарищ моего брата и одно время даже у нас жил, в одной комнате с братом. Вы Женю знали, нет?

Нет.

Он очень милый человек был, скромный, совершенно не такой, как она, абсолютно другой. Но, к сожалению, его уже нет в живых, а то бы я его попросила, и он бы мог рассказать, какой «делец» Эфрос — ничего нет у этого «дельца» (*Смеется.*), кроме одной картины — подарка Шагала — и книг. Все, что есть, — это от моей матери какие-то остаточки. А она его изображает дельцом.

Помню, Эфрос хотел организовать издательство такое кооперативное — «Круг» *(По-видимому, собеседники говорят о раз-*

ных вещах: Эфрос — о сборнике «Лирический круг», Дувакин — об издательстве «Круг», выпускавшем альманахи артели писателей «Круг» (1923—1928)).

Не только хотел — оно было. И много издало. Оно существовало, по-моему, где-то... в Китай-городе, в Черкасском переулке вроде... *(Леонтьевский переулок, д. 23)* **В «Круге» я, по-моему, слышал Есенина.**

Там что-нибудь издавалось разве? Мне кажется, ничего не было издано. А она пишет: «Однажды Мандельштама зазвал к себе Абрам Эфрос — я была с ним — и предложил «союз», нечто вроде «неоклассиков». Все претенденты на «неоклассицизм» собрались у Эфроса — Липскеров, Софья Парнок, Сергей Соловьев, да еще два-три человека, которых я не запомнила. *(Упомянутый Надеждой Яковлевной перечень литераторов (в него также входили А. Ахматова, О. Мандельштам, В. Ходасевич, Л. Гроссман, Ю. Верховский, С. Шервинский) не случаен. Все они поместили свои произведения в сборнике «Лирический круг», вышедшем в Москве в 1922 г. под негласной редакцией Эфроса. Ему же, очевидно, принадлежит и анонимное предисловие к сборнику: «"Лирический круг" — не альманах, а сборник определенного течения. Его участники — не случайные товарищи по изданию, а члены одной группы» (Лирический круг, с. 5). В литературной хронике, предварявшей выход сборника, сообщалось о вхождении Ахматовой и Мандельштама в эту группу (Театральное обозрение. — 1921. — № 8).)* Эфрос [разливался соловьем] *(фраза опущена Натальей Давыдовной при чтении),* доказывал, что без взаимной поддержки сейчас не прожить. Большой делец, он откровенно соблазнял Мандельштама устройством материальных дел, если он согласится на создание литературной группы, — «вы нам нужны»... Где-то на фоне маячил Художественный театр и прочие возможные покровители. Мандельштам отказался наотрез. Каждому в отдельности он сказал, почему ему с ними не по пути, пощадив только молчаливого Сергея Соловьева («за дядю», как он мне потом объяснил). Эфрос никогда этой встречи не забыл, и она отозвалась в последующие годы достаточно явно тысячами серьезных и мелких пакостей. Все прочие, люди безобидные, просто навеки запомнили нанесенные им обиды» *(Вторая книга, с. 104—105).*

Это так рассказано. Теперь то, что я помню.

Надо оспорить, конечно.

(*Читает*): «Приведенная цитата взята из мемуаров Н.Я. Мандельштам, в которых автор не раз призывает к правде и сетует на лживость писательской среды. Между тем в бумагах Абрама Марковича сохранилась рукопись трех стихотворений Мандельштама 22—23-го года...». Вот названия их. Они у меня. Раньше были у Харджиева (я давала), но не успела еще их в архив отдать. Могу Вам показать. «Париж», «Грифельная ода», «Ветер нам утешенье принес...». (*Продолжает чтение.)* «...категорически отказавшегося, как уверяет мемуарист, от участия в издательстве Эфроса. Стихотворения были переданы для напечатания, Мандельштам получил за них гонорар. *(В единственном выпуске сб. «Лирический круг. 1» (М.: Северные дни, 1922) были опубликованы два стихотворения Мандельштама «Умывался ночью на дворе...»; «Когда Психея-жизнь спускается к теням...». Перечисленные Эфрос стихотворения, вероятно, были переданы Мандельштамом для второго, несостоявшегося выпуска «Лирического круга».)* Это подтверждает запись в кассовой книге кооперативного издательства «Круг», также хранившейся у Абрама Марковича». «Издание, — я пишу, — не было осуществлено». Может, я ошиблась?

По-моему, было. Кто же выплачивал, если не было осуществлено?

Ну, были, наверное, членские взносы. Кооперативное издательство. И там была расписка. Вот я ее отдала в Ленинскую библиотеку, так что, если кто захочет проверить, — пожалуйста, возьмите и проверяйте. Значит, я пишу: «Кассовая книга и стихотворения Мандельштама переданы мною в Отдел рукописей Всесоюзной библиотеки им. В.И. Ленина, фонд А.М. Эфроса, 198». Вот они — я еще не успела передать.

Харджиев жив?

Жив. Я недавно с ним встречалась. И он мне пишет, что два стихотворения переписаны Надеждой Яковлевной, а одно — автограф. (*Шуршание бумаги. Видимо, смотрят рукописи.)* Вот, видите?

Это рукой Надежды Яковлевны?

Ну да. Надо, кстати, посмотреть, сколько он там денег *(sic!)* получил за это. «И еще — Н.Я. не уточняет, какими именно «тысячами пакостей» Эфрос отомстил Мандельштаму. Я же знаю, что...»

— Мне не совсем понятно, почему он мстил? За что? И вообще, почему отказ участвовать в издательстве мог вызвать...

М.В.Р.: Потому что он каждому сказал причину. По-видимому, она подразумевает, что он резко каждому...

— В общем, да. Он оскорбил всех. И Эфрос мстил ему. А на самом деле... «Я не знаю, что происходило в писательской организации, где «делец» в кавычках Эфрос, по словам того же автора, пользовался влиянием, но хорошо помню следующее: Мандельштам взял у Эфроса подборку книг по русской литературе десятых-двадцатых годов, целую массу книг, и, несмотря на многократные напоминания, упорно не возвращал их. Потеряв терпение, Абрам Маркович, который очень дорожил книгами вообще, а этими особенно, так как среди них были книги с дарственными надписями авторов, отправился на квартиру к Мандельштаму и потребовал возврата своей собственности. Как ему это удалось, я не знаю, возможно, что он был при этом не слишком галантен — такое с ним случалось, — но вот это истинная непринципиальная причина конфликта между Мандельштамом и Эфросом.

Мемуаристка Мандельштам... мемуары Мандельштам полны злобы. Она чернит и клевещет на многих писателей и других своих современников, а действительность тех лет изображает, как правило, в черных красках и в искаженном ракурсе.

Я не стала объясняться с Надеждой Яковлевной, но пишу это здесь из желания предупредить будущего исследователя: относиться с осторожностью к ее воспоминаниям. Справедливости ради надо сказать, что в них немало серьезных мыслей, ценных сведений и наблюдений. Но, к сожалению, все подается вперемешку с писаниной в духе кухонной перебранки коммунальной квартиры».

Вот. А Вы с ней не встречались?

Сейчас — нет. Встречался лет восемь-десять тому назад. Она отказалась, правда, записываться...

Осип Мандельштам

Язык булыжника мне голубя понятней,
Здесь камни — голуби, дома как голубятни,
И светлым ручейком течет рассказ подков
По звучным мостовым прабабки городов.
Здесь толпы детские, событий попрошайки,
Парижских воробьев испуганные стайки
Клевали наскоро крупу свинцовых крох,
Фригийской бабушкой рассыпанный горох,
И в воздухе плывет забытая коринка,
И в памяти живет плетеная корзинка,
И тесные дома — зубов молочный ряд —
На деснах старческих, как близнецы, стоят.

Здесь клички месяцам давали как котятам,
И молоко и кровь давали нежным львятам;
А подрастут они — то разве года два
Держалась на плечах большая голова.
Большеголовые — там руки поднимали
И клятвой на песке как яблоком играли.
Мне трудно говорить: не видел ничего,
Но все-таки скажу: я помню одного,
Он лапу поднимал, как огненную розу,
И как ребенок всем показывал занозу,
Его не слушали, смеялись кучера,
И грызла яблоки, с шарманкой, детвора,
Афиши клеили, и ставили капканы,
И пели песенки, и жарили каштаны,
И светлой улицей, как просекой прямой,
Летели лошади из зелени густой.

1923

Грифельная ода

Звезда с звездой — могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык,
Кремень с водой, с подковой перстень,
На мягком сланце облаков
Молочный грифельный рисунок —
Не ученичество миров,
А бред овечьих полусонок.

Мы стоя спим в густой ночи
Под теплой шапкою овечьей.
Обратно в крепь родник журчит
Цепочкой, пеночкой и речью.
Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг
Свинцовой палочкой молочной,
Здесь созревает черновик
Учеников воды проточной.

Крутые козьи города;
Кремней могучее слоенье:
И все-таки еще гряда —
Овечьи церкви и селенья!
Им проповедует отвес,
Вода их учит, точит время,
И воздуха прозрачный лес
Уже давно пресыщен всеми.

Как мертвый шершень возле сот,
День пестрый выметен с позором.
И ночь-коршунница несет
Горящий мел и грифель кормит.
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья,
И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья!

Плод нарывал. Зрел виноград.
День бушевал, как день бушует.
И в бабки нежная игра,
И в полдень злых овчарок шубы;
Как мусор с ледяных высот —
Изнанка образов зеленых —
Вода голодная течет,
Крутясь, играя, как звереныш.

И как паук ползет по мне —
Где каждый стык луной обрызган,
На изумленной крутизне
Я слышу грифельные визги.
Твои ли, память, голоса
Учительствуют, ночь ломая,
Бросая грифели лесам,
Из птичьих клювов вырывая?

Мы только с голоса поймем,
Что там царапалось, боролось,
И черствый грифель поведем
Туда, куда укажет голос.
Ломаю ночь, горящий мел,
Для твердой записи мгновенной.
Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на стрепет гневный.

Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик:
Двурушник я, с двойной душой.
Я ночи друг, я дня застрельщик.
Блажен, кто называл кремень
Учеником воды проточной.
Блажен, кто завязал ремень
Подошве гор на твердой почве.

И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык.
С прослойкой тьмы, с прослойкой света,
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая в стык
Кремень с водой, с подковой перстень.

1923

* * *

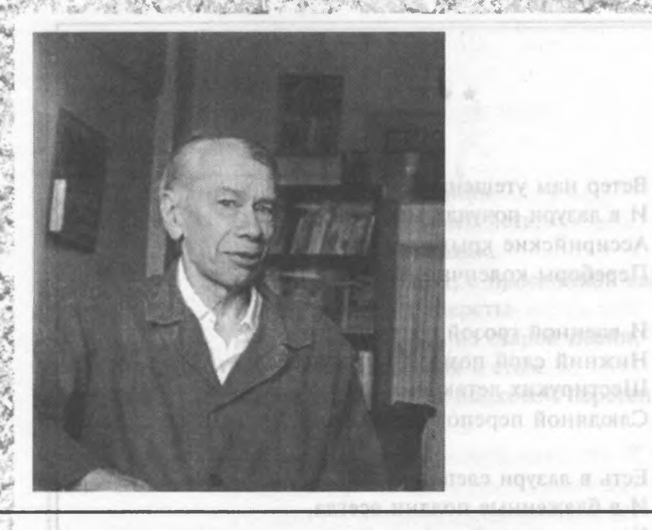
Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы.

И военной грозой потемнел
Нижний слой помраченных небес,
Шестируких летающих тел
Слюдяной перепончатый лес.

Есть в лазури слепой уголок,
И в блаженные полдни всегда,
Как сгустившейся ночи намек,
Роковая трепещет звезда.

И с трудом пробиваясь вперед
В чешуе искалеченных крыл,
Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил.

1922



Михаил Владимирович Алпатов

В апреле 1975 г. **Михаил Владимирович Алпатов** (историк искусств, академик, с 1954 г.действительный член АН СССР) поделился с Дувакиным коротким эпизодом из биографии Мандельштама: «Он *(Мандельштам)* там *(в 1923 г. в санатории КУБУ в Гаспре)* **запросто** *(выделено нами)* со своей женой отдыхал». В интонации Алпатова сквозит легкий оттенок удивления: поэт такой страшной судьбы, Осип Мандельштам — и привилегированные советские санатории! Удивление М.В. Алпатова разделяла и Н.Я. Мандельштам. Не обольщаясь совдеповским «рангом» Мандельштама — член ЦЕКУБУ «второй категории», она воспринимала бесплатные «ведомственные» путевки скорее как чудесное недоразумение, оплошность Судьбы (ЦЕКУБУ — Центральная комиссия улучшения быта ученых).

В упомянутом Алпатовым 1923 г. состоялась ее первая совместная с Мандельштамом «курортная» поездка на юг («на шесть недель» в Гаспру). В письме в хозяйственную комиссию Всероссийского Союза писателей (от 5 августа 1923 г.) Мандельштам мотивировал ее необходимость «болезнью жены» и своим «крайним переутомлением» (Мандельштам О. Собр. соч. в

4-х томах. Т. 4, с. 33). Поездка длилась со второй декады августа по третью декаду сентября.

Впоследствии, вспоминая о ней, Надежда Яковлевна писала:

«Неожиданно мы узнали, что есть новые способы ездить на юг — санатории ЦЕКУБУ. Мы же все же принадлежали к привилегированному сословию, хоть и второй категории. Путевки нам дали в Гаспру бесплатно, а деньги с очерков пошли на билеты, которые купило то же ЦЕКУБУ. Курортников отправляли оптом, и мы очутились в купе жесткого вагона с любезнейшим Вышинским, его женой и дочерью. <...> Вышинский ходил в эсеровской косоворотке и с таким видом ездил в жестких вагонах, будто ничего иного ему не предстояло. <...> Среди отдыхающих в Гаспре все время возникали споры, правильно ли выдают путевки. Многие возмущались, что путевки выдают посторонним, например, нам. Я даже кому-то объясняла, что Мандельштам тоже член ЦЕКУБУ и получает паек... Работали старинные местнические инстинкты, и они вспыхивали с особой яростью, когда шла речь о непочтенных людях, вроде Мандельштама» (Вторая книга, с. 160, 162).

Беседу ведет В.Д. Дувакин

Ну, а в поэзии какие были Ваши основные интересы?

Ну, в поэзии интересы — Ахматова, затем, значит, Мандельштам... Я Мандельштама застал в одном доме отдыха в Крыму *(в Доме отдыха ЦЕКУБУ в Гаспре Мандельштамы провели август-сентябрь 1923 г.)*, когда в 23-м году я поехал туда; и он там запросто со своей женой отдыхал, с Надеждой Яковлевной.

В 23-м году, да? С Надеждой Яковлевной? Я с ней знаком. И Вы были таким почитателем Мандельштама? А Блок как для Вас?

Ну конечно! Блок, Белый...

Для Вас Блок первый, или Мандельштам?

Нет, Блок, конечно.

Блок... Потому что разные поколения...



Елена Константиновна Гальперина-Осмеркина

Беседа В.Д. Дувакина с **Еленой Константиновной Гальпериной-Осмеркиной** (актрисой, преподавателем культуры речи, женой художника А.А. Осмеркина) состоялась в апреле 1980 г. К этому времени Еленой Константиновной было написано два мемуарных фрагмента о встречах с А.А. Ахматовой и О.Э. Мандельштамом (Встречи с Ахматовой // Воспоминания об Анне Ахматовой, с. 237—244; Мои встречи // Наше наследие. — 1988. — № 6. — С. 105—106), к сожалению, так и не опубликованных при ее жизни. В тот день, 29 апреля, «не зная» о включенном магнитофоне, Елена Константиновна прочла «коварно записавшему» Дувакину текст своих воспоминаний о Мандельштаме.

Достоверность названных в них реалий подтверждается многими мемуаристами: это и «кажущаяся надменность» Мандельштама, в которой Елена Константиновна тонко усматривает «особую форму самозащиты», и характерная для поэта манера разговорной речи («Речь разделялась интонационно ощутимыми точками и восклицательными знаками. Никаких пояснений — а поэтому никаких запятых и многоточий. Осип Эмильевич не подыскивал слова, а как бы выбрасывал их из уже накопленного запаса впечатлений») — впрочем, в этом наблюдении ска-

зывается уже оценка профессионала — мастера художественного слова.

Интересно, что вспоминая вечер Мандельштама в Политехническом музее (1933 г.), Гальперина-Осмеркина передает его «глазами актрисы» — человека, привыкшего общаться с публикой с подмостков, подиума, сцены... «Осип Эмильевич держал себя свободно, был по-хорошему взволнован и возбужден. Это состояние отлично знают все актеры...»

Достаточно точна и ее беглая прорисовка облика Надежды Яковлевны начала тридцатых годов: «При Осипе Эмильевиче она была совсем другая: спокойная внешне, без острот...» Именно такой — молчавшей более, чем говорившей, и лишь изредка «подающей реплики» — в те годы запомнили жену Мандельштама С. Липкин, А. Алексеев-Гай... Эту манеру поведения Надежды Яковлевны и происшедшие в ней «метаморфозы» прекрасно комментирует в своих воспоминаниях В.В. Шкловская-Корди: «Тогда были сильные мужчины, при которых умничать не полагалось, <...> и жены показали свой ум только на старости лет» (см. наст. издание).

Вспоминая Надежду Яковлевну, Елена Константиновна отмечает и характерную для нее простоту отношений с людьми «из народа». Это впечатление Гальперина-Осмеркина вынесла, прежде всего, из их общей с Надеждой Яковлевной «верейской жизни»; ту же особенность Надежда Яковлевна в свое время подметила и у самого Мандельштама: «У Мандельштама была отличная способность болтать с мужиками и бабами, со всеми, кроме начальников, писателей и челяди» (Вторая книга, с. 159).

И далее: «...Уже тогда *(в 30-е годы)*, — говорит Елена Константиновна, — я знала, с какой озабоченностью и участием она помогала людям...» По свидетельству дочери Е.К. Гальпериной-Осмеркиной Татьяны, говоря о Надежде Яковлевне, ее мать не единожды поминала словечко «бедолюб», которое некогда, еще применительно к Ахматовой, ввел в домашний обиход семьи Осмеркиных С. Шервинский. В 1974 г. в письме к Никите Струве Надежда Яковлевна еще раз подтвердила точность этого высказывания: «Я смертельно устала, — пишет она, — <...> и крест — тяжел. Время не делает его более легким. Чужие несчастья я стала переживать, как свои собственные...» (Третья книга, с. 328).

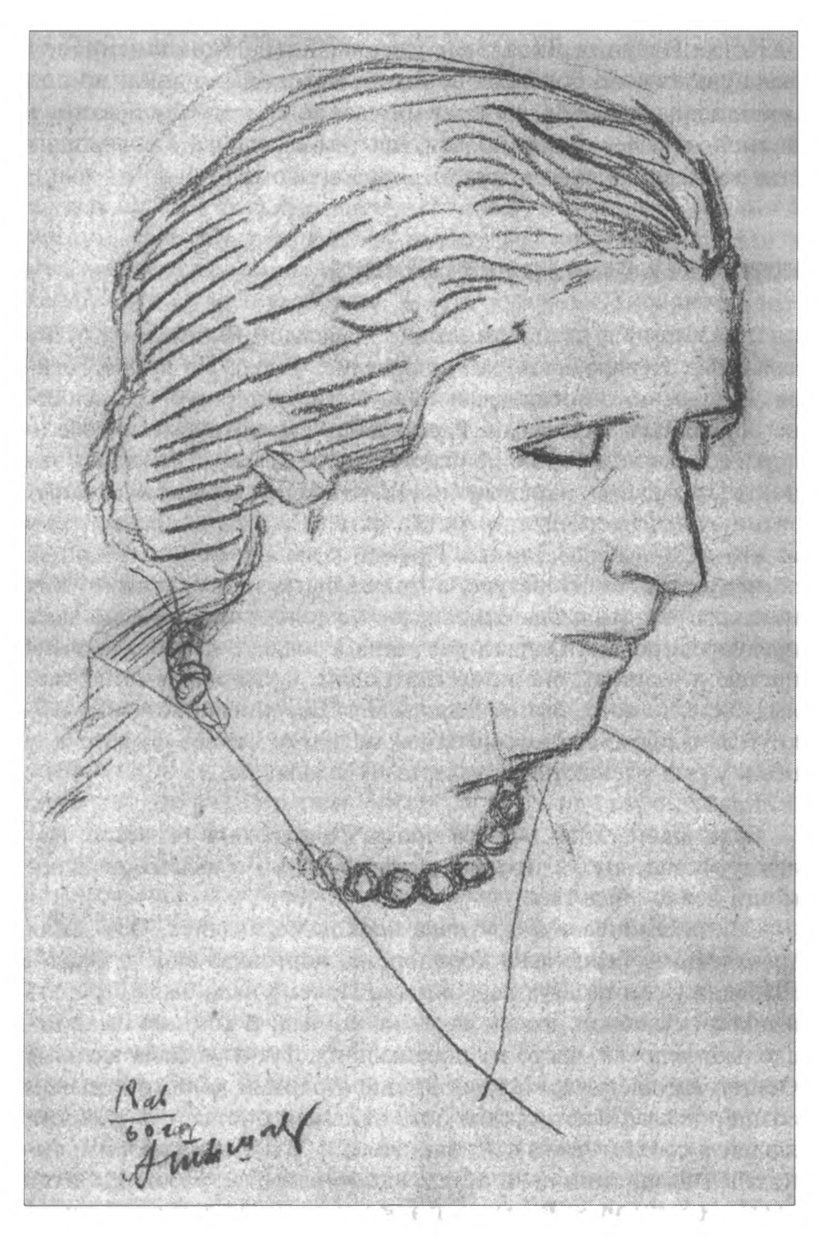
Завязавшееся в 30-е гг. знакомство Е.К. Гальпериной-Осмеркиной с Н.Я. Мандельштам переросло в удивительно ровную, ниспосланную им в долготу лет дружбу. Любопытная деталь: обе — не лучшие хозяйки, женщины, скорее «поднимающиеся» над бытом («никаких вышиваний» — по свидетельству В.В. Шкловской-Корди), они безжалостно фиксировали неудачи друг друга именно на кухонно-кулинарном поприще. Это отчетливо видно хотя бы из следующих прочитанных Еленой Константиновной эпизодов:

«В коридоре на корточках сидела Надя и готовила ужин на двух керосинках. **Почему надо было стряпать в такой неудобной позе, я так и не поняла.** *(Выделено нами)* <...>

Чем же мне их *(Мандельштамов)* накормить? Ну вот что, сделаю рисовые котлетки и еще с подливкой. Я поспешила на кухню. <...> **Надя потом долго посмеивалась над моими кулинарными способностями** *(выделено нами)*».

В 1957 г. Елена Константиновна «подарила» Надежде Яковлевне Верею, дачный сезон в которой, начиная с дореволюционных лет, открывало не одно поколение Гальпериных (см. об этом подробнее воспоминания Т.А. Осмеркиной в наст. издании). Здесь в «верейской тишине», упоминаемой Надеждой Яковлевной в июльском письме 1957 года к Ахматовой (Письма Н.Я. Мандельштам к А.А. Ахматовой, с. 99) и гарантированной уже одним названием улицы — Больничная (бывшая Кладбищенская), дом 11/43, она работала над своими мемуарами. Их первой «верейской» читательницей стала Е.К. Гальперина-Осмеркина.

По свидетельству Т.А. Осмеркиной, в начале семидесятых годов зрение Елены Константиновны начало резко падать. На улице без посторонней поддержки она оказывалась совершенно беспомощна. А ее самостоятельные путешествия в меркнущем мире превращались в источник постоянных страданий и горьких курьезов. Сделанная Еленой Константиновной в конце записи, перед тем как Дувакин выключил магнитофон, «тавтологическая» оговорка: «Видите, как я ничего не вижу», — далеко не случайна. В эти годы особой радостью стал для нее подарок Надежды Яковлевны — сложные цейсовские очки, присланные друзьями Н.Я. Мандельштам из-за границы.



Е.К. Гальперина-Осмеркина. Рисунок работы А. Тышлера. 1960 г. Архив А.Ж. Аренса

Когда Надежда Яковлевна умерла, Елена Константиновна была уже тяжело больна и почти не выходила из дома, но она мобилизовала в себе «резервный» запас сил, чтобы поехать в Знаменскую церковь и проститься там со своим, в совершенстве владевшим даром дружбы, «бедолюбом».

Беседу ведет В.Д. Дувакин (при участии В.Ф. Тейдер)

В 1930 году я познакомилась с Надеждой Яковлевной Мандельштам. Первое время мы встречались редко. По правде говоря, я ее немного побаивалась. Она была мастерицей безжалостно обращаться с фактами. Расскажешь ей что-нибудь о себе, о других, а она, ничего не прибавляя, не искажая, перемешает эти факты, как карты, разложит их так, что деваться некуда и возразить нечего. Беспощадно, метко осмеет и общих знакомых, и своего прямого собеседника. Правда, к людям, не заикающимся об искусстве, о литературе, а может быть, не имеющим о них никакого понятия, она относилась не только терпимо, но даже предупредительно. Однако уже тогда я знала, с какой озабоченностью и участием она помогала людям, попавшим в сеть тяжелых обстоятельств. Сергей Васильевич Шервинский, сухой и замкнутый человек, сказал мне однажды про Ахматову: «Ну что ж, у нее и у ее друзей есть такая черта — бедолюбие...»

Как?

Бедо-любие. ...Их просто притягивает всякое бедствие. Надежду Яковлевну не только притягивало, но и обязывало к помощи всякое бедствие.

Осипа Эмильевича я узнала несколько позднее. Они жили тогда в Доме Герцена. В коридоре на корточках сидела Надя и готовила ужин на двух керосинках. Почему надо было стряпать в такой неудобной позе, я так и не поняла. В комнате было несколько человек, часто их посещавших. Тут я увидала впервые Осипа Эмильевича. Наверное, еще с ранней юности в нашем сознании возникает как бы обязательный стандарт внешности людей в соответствии с их занятиями. Мы так и говорим: типичный врач, типичный актер, типичный ответработник и так далее, и так далее. В театре и в кино часто используют такую типичность, но жизнь постепенно оттесняет эти надуманные штампы.

Я помню, как познакомилась на Мясницкой улице с Машковым и Кончаловским, в то время, пожалуй, самыми знаменитыми художниками. Мы шли с моим мужем, Александром Александровичем Осмеркиным. Навстречу нам уверенно шагали уж никак не представители «творческой интеллигенции», а два здоровенных мясника, крепкие, упитанные, с тяжелыми руками и ногами, да еще и неприлично громко разговаривающие. Когда мы, побеседовав, расстались, я высказала Осмеркину свое изумление. «Чему ты удивляешься? — ответил он. — Живописцы должны быть сильными: ведь все время на ногах работают, да еще тяжелые мольберты, холсты, подрамники, сборные этюды. Живопись — трудная вещь. То ли дело — поэт, — вздохнул он, — бумага, карандаш — и пиши себе».

Теперь я познакомилась с поэтом Мандельштамом. В первую же минуту я заметила выражение его лица — как бы укоренившееся в нем высокомерие. Но странно, эта кажущаяся надменность не удивляла и не отталкивала. Она воспринималась как особая форма самозащиты, наверное, необходимая ему в то время. Впрочем, в его облике заметно было даже и некоторое пренебрежение к своей внешности: галстук был завязан, хотя и старательно, но смотрел набок, костюм воспринимался как-то отдельно от него; он был выбрит, но отнюдь не тщательно.

Я, правда, часто замечала, что внимание к своему туалету не свойственно евреям в условиях российской действительности. Очевидно, до сих пор европейский костюм не прижился к ним. Так и вылезет откуда-то «хаос иудейский». Это у него статья — «Хаос иудейский» *(имеется в виду глава из «Шума времени»)*. Но, впрочем, на Мандельштама нельзя было только взглянуть — его надо было рассмотреть. Мне на всю жизнь запомнился его взгляд: из глубины его глаз, матовых, без блеска, прорывался таившийся в них жар, накал непрекращающейся духовной работы, пафос внутренней жизни поэта. «Да, поэзия трудная вещь», — подумала я.

Пришла Надя. При Осипе Эмильевиче она была совсем другая: спокойная внешне, без острот — прямо голубая незабудочка. Меня несколько удивила игра, которую они вели, наверное, постоянно. Как только Надя брала папиросу, Осип Эмильевич весь встряхивался и говорил: «Наденька, брось папиросу». Надя клала папиросу в пепельницу и через несколько минут закуривала. Когда Осип Эмильевич брал папиросу, она вырывала ее:

«Ося, не кури!» Этот этюд повторялся через каждые 10—15 минут. Потом Осип Эмильевич закуривал. Я спросила: «Зачем Вы друг другу мешаете? Вы же все равно курите». «Нет, — сказал Осип Эмильевич не без лукавства, — совсем не все равно. Пока Надя поспорит, положит папиросу в пепельницу и потом опять возьмет — проходит время. И вот в результате на 6—7 папирос меньше». Тут он принял очень серьезный вид: «Для здоровья вредно много курить».

Я уже знала, что Мандельштамы живут очень скудно, порой голодно. И хотя в то время изрядное количество «литераторов» сумели найти позицию, дававшую им положение и деньги, но много было и таких, которых подстричь под гребенку не удавалось. Наверное, поэтому слухи о положении Мандельштама никого не удивляли. Примерно в это же время на Покровский бульвар, где я тогда жила, зашли Надя и Осип Эмильевич. Решительная походка Осипа Эмильевича по коридору и угрюмое лицо Нади подсказали мне, что они пришли по делу. Когда мы уже вошли в комнату, Осип Эмильевич посмотрел на меня небрежно, но и надменно. На язык слов это можно было перевести так: да, мы голодны, но не думайте, что накормить нас — это любезность. Это обязанность порядочного человека. «Ну что ж, — подумала я, — исконная судьба русских поэтов. Уж как-нибудь сумеют славные соотечественники, “клеветники, рабы, глупцы” заглушить их голос». А между тем в доме ничего не было. Чем же мне их накормить? Ну вот что, сделаю рисовые котлеты и еще с подливкой. Я поспешила на кухню. После этой скудной трапезы Осип Эмильевич даже порозовел и, прохаживаясь по комнате, стал благодушно рассматривать висевшие на стенах картины. Надя потом, правда, долго посмеивалась над моими кулинарными способностями.

Позднее я была у них уже в Нащокинском переулке *(в 1933—34 гг.)*. Войдя в комнату, я сразу почувствовала, что ее жильцы...

Это уже после Воронежа?

Нет, до Воронежа. Я скажу о Воронеже. ...что ее жильцы приземлились здесь ненадолго: чисто, пусто — пожалуй, слишком чисто и слишком пусто. И по каким-то неуловимым признакам я вдруг вспомнила мою поездку в пушкинские места в 1926 году. Дом Пушкина был сожжен, остался только фундамент, поросший репейником. Парк был запущен. Правда, сохранился домик няни. «О, как близок был вид этого запустения к судьбе го-

нимого поэта». А ведь была какая-то связь Михайловского и квартиры на Нащокинском переулке! Я бы сказала, что здесь была обитель неприкаянного поэта.

Когда я рассказала художнику Тышлеру, что была в Нащокинском переулке, он ответил: «Я тоже там был недавно. Было несколько человек. Осип Эмильевич читал свои стихи о Сталине — страшно! Разве он так уверен во всех, кто был у него в доме?»

Но вот и просвет — вечер поэта Мандельштама в Политехническом музее *(14 марта 1933 г.)*. Народу много. Похоже, все слушатели доброжелательны и внимательны. Осип Эмильевич держал себя свободно, был по-хорошему взволнован и возбужден. Это состояние отлично знают актеры. Они говорят: «Я был плохо взволнован» — боялся, и «хорошо взволнован» — в форме. Осип Эмильевич был в форме.. После чтения стихов стали подавать записки, которые показали, что в зале не все сплошь доброжелатели, а есть и подковырники. Осип Эмильевич давал ответы на записки спокойно и точно. Но вот он прочитал: «Как относитесь Вы к Маяковскому?». Наступила пауза, и пауза злая. Никто не сомневался в том, что Мандельштам не будет лгать, и похоже было, что Мандельштама срезали. Вдруг неожиданная реплика Мандельштама: «Маяковский — точильный камень нашей поэзии». Овация, которой аудитория встретила эти слова, может сравниться только с победой чемпиона на трудном матче. Однако действие оказали не только сами слова, но и то, как они были сказаны. Резкое ударение на словах «точильный камень» прозвучало как неоспоримое решение вопроса.

Когда уже после Воронежа Мандельштам бывал у нас в мастерской Осмеркина *(ул. Мясницкая, д. 24, кв. 118)*, я научилась понимать своеобразный характер его речи. Обычно мастерская Осмеркина гудела от неумолкаемых криков художников. Они спорили о том, что такое хорошо и что такое плохо. Старая няня Александра Александровича, сидевшая обычно за стеклянной дверью, уставала от этих беспрестанных криков. «Ох, надоел мне цей Сезанн, цей Мане, цей Цислей. Гогочут, як гуси, и все до водки тянутся». Зато когда приходили Мандельштамы, она изъявляла полное удовольствие, смотрела на них с уважением: «Ось цы люды примэрны. Поговорять, послухають, стихи кажуть — и никто не ругается, не спорит». И действительно, с Мандельштамом и нельзя было

спорить, да и возразить ему обычно не было никакой нужды. В своеобразии его суждений, в остроте доказательств была такая убежденность, что возражения отпадали. Его репликам, очевидно, предшествовало короткое молчание. Речь разделялась интонационно ощутимыми точками и восклицательными знаками. Никаких пояснений — а потому никаких запятых и многоточий. Осип Эмильевич не подыскивал слова, а как бы выбрасывал их из уже накопленного запаса впечатлений. Заканчивая фразу, он обычно обрывал ее новой паузой.

Как-то Осмеркин изрек в беседе о Толстом, что в романе «Война и мир» все-таки не передается образ России тогдашнего времени. «Большой писатель, да и большой поэт, — сказал Мандельштам, — никогда не пишет о прошлом. Он пишет о будущем».

Бывало, что Осип Эмильевич без особой связи с предыдущими разговорами высказывал свои мысли, как бы вслух их читая. «Читаю Фурманова — замечательное произведение: все события, все персонажи романа вращаются в страшной стремительности вокруг одного стержня — Чапаев. Все исходит от него и все к нему возвращается. Всем движет вера в него, в его силу и в его правду. Так было только в романах о любви. Вот Толстой в “Анне Карениной” группирует вокруг Анны весь ход событий, даже если они не имеют прямой связи с ее судьбой.»

Помню случай, когда замечание Мандельштама было высказано как приказ. И этот приказ, к моему удивлению, был выполнен беспрекословно. В мастерской стоял на мольберте холст — незаконченная картина Осмеркина. Это был заказ Моссельпрома. У витрины разнообразных хлебных и кондитерских изделий стояла продавщица. Тогда художники ценили такие заказы — они были денежные. «Этот типаж продавщицы не годится, — сказал Осип Эмильевич, — это булочная в Киеве или в Ростове, а Вам заказывает Москва. Надо типаж менять!», — приказал Мандельштам. Осмеркин не выносил, когда ему делали замечания или давали советы по неоконченной работе. Но тут он промолчал. На другое утро встал необычно рано и, ничего не говоря, ушел. Вернулся он радостный и сообщил мне, что нашел натурщицу — полную, белокурую, сдобную бабу.

Прошу прощения, что отхожу от темы, но не могу не сообщить, что когда комиссия принимала эту картину, председа-

телем комиссии была знаменитая в то время дама — Жемчужина — супруга товарища Молотова. Она сказала следующее: «Почему этот кекс длинноват и сед. У нас несвежих кекс не продаются». Повторилась точная сцена из Гоголя — разговор квартального с художником — «Портрет». Теперь слова Гоголя: «“Тень”, — отвечал на это сурово и не обращая на него глаз» художник. — «Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место отнести...» (кончаются слова Гоголя), — ответила «квартальная надзирательница». Тут уж Осмеркин грубо прервал ее. Итак, картина дважды подвергалась критике разных направлений.

Когда Мандельштам бывал у нас уже в 37 году *(ул. Мясницкая, д. 24, кв. 105)*, незадолго до «отъезда», Осип Эмильевич задумчиво сказал: «Персонажи зощенковских рассказов уже не смешны. Сейчас они сумели обрести обличие вполне достойных и даже уважаемых граждан». Тогда я не поняла значение этой фразы. И только через много лет, перечитывая рассказы Зощенко, я вспомнила слова Осипа Эмильевича: «Большой писатель пишет о будущем».

Пожалуй, я могла бы записать еще некоторые высказывания Осипа Эмильевича, но в этом нет надобности. Его устная речь по своим особенностям настолько близка к его прозе, что, перечитывая ее, я уже слышу ее звучание и все еще дивлюсь его мудрости и прозрению.

Наверное, есть какая-то непознаваемая нами связь событий. Почему-то в этот вечер Осмеркин, который всегда считал себя слабым рисовальщиком и мало оставил после себя рисунков *(В настоящее время хранятся в ГМИИ. Об одном из них Ахматова писала в «Листках из дневника»: «У Осмеркина был портрет-рисунок Мандельштама, очень хороший, который обещал подарить мне» (Requiem. — М., 1988. — С. 148).)*, сидя за чайным столом, сделал с Мандельштама два карандашных рисунка. Осип Эмильевич даже не позировал. Это были наброски, как говорят художники, «на скатерти стола». Но именно таким я его и помню. И ведь подумать только — это была последняя возможность еще раз запечатлеть его черты, и, наверное, это чувствовал художник.

А уже гораздо позднее, может быть, в военные годы *(вероятно, в октябре 1941 г.)*, у нас была Анна Андреевна Ахматова. Она читала много своих стихов. И уже совсем поздно, после

ужина, когда мы просили ее почитать еще, она сказала: «Только не свои. Сейчас прочту я стихи Мандельштама». Она прочла несколько стихотворений. Вдруг Осмеркин вскочил и стал возбужденно ходить по комнате, все время повторяя: «Вот это стихи! Вот это действительно стихи!» Я как хозяйка дома была смущена до крайности этой бестактностью по отношению к Анне Андреевне. Украдкой я взглянула на нее. На ее лице не было никакого недовольства. Она задумчиво повторяла вслед за Осмеркиным: «Да, это действительно стихи!» Осмеркин опомнился, подошел к Анне Андреевне и, целуя ее руку, сказал: «Ты прекрасна, слова нет, но...» Но тот, кто был ее прекрасней, не спал в хрустальном гробу, а был стерт с лица земли.

<Пауза>

(Обращаясь к В.Ф. Тейдер.)

Но вы коварно это записали...

В.Ф.Т.: Конечно. Только не коварно.

Но вам нравится?

В.Ф.Т.: (Тихо) Да.

Искренно?

В.Ф.Т.: Очень хорошо.

Спасибо. Видите, как я ничего не вижу. Когда я читаю, мне нужен особый свет. Этот вот уже маловат для меня.



Анастасия Ивановна Цветаева

Воспоминания **Анастасии Ивановны Цветаевой** (переводчика, писательницы, мемуаристки, сестры М.И. Цветаевой), записанные на магнитную ленту Дувакиным в феврале 1975 г., относятся преимущественно к 1933 г. В этот год состоялся поэтический вечер О.Э. Мандельштама в Ленинградской капелле — присутствовавшая на нем А. Цветаева, коренная москвичка, говорит о выступлении Мандельштама как о значительном, если не сенсационном, событии в литературной жизни Ленинграда тридцатых годов. Впечатление Цветаевой подтверждается также свидетельствами Л. Розенталя: «В тот вечер большие сугробы снега лежали неубранными на Невском. А на тумбах появились афиши, на которых большими буквами возглашалось на весь город: Осип Мандельштам» (Бородатый Мандельштам // «Сохрани мою речь...» — М., 1991. — С. 36) и Басалаева: «Мандельштам выступает редко. Прошло много лет с тех пор как его слушал в последний раз литературный Ленинград. <...>

Это было редкое зрелище для Ленинградской капеллы <...> Мандельштам — лысый, с седой бородкой. Ленинградцы изумлены. Здесь привыкли его видеть бритым. Его борода дала пра-

во Тихонову на одном из ближайших выступлений сказать о трудности пути поэта:

— Даже Мандельштам, как видите, зарывшись в работе, оброс бородой — вот как надо работать, чтобы писать настоящие стихи!

А стихи прочел Мандельштам живые, наполненные страстью и кровью. <...>Читает Мандельштам не так, как раньше. Тогда, рассказывают, он почти пел свои стихи. Теперь он их скандирует торопливым баском, монотонно, невыразительно, глотая окончания строк, но с каким-то одним и тем же упорством убеждения. То приподнимается на цыпочки, то отбивает ногой ритм. Читает негромко и задние ряды и балкон привстают, прикладывая ладони к ушам и впиваясь глазами в узкое лицо. Другая часть аудитории ведет себя протестующе. Я видел, как молодой парень в матроске встал во время чтения и, пробормотав: «Что же это за стихи?», ушел среди шиканья и «тише», иные бежали после первого отделения.

Поразило на вечере много почтенных седых, в опрятных воротничках мужчин и немолодых, с худыми шеями, в слежавшихся платьях женщин — это все старые поклонники Мандельштама, пришедшие еще раз, может быть в последний, послушать своего поэта и не узнавшие его в новых стихах. <...>

Своим вечером Мандельштам остался недоволен. «Пришли, — говорит, — какие-то академики и старушки» (Записки для себя // Минувшее. Вып. 19. — М.-СПб., 1996. — С. 436—437).

Высказанное Анастасией Ивановной мнение (Басалаев вполне мог видеть и ее в числе зрителей, среди «немолодых, с худыми шеями, в слежавшихся платьях женщин») о пренебрежительном отношении Мандельштама к своей аудитории («Это выглядело так: “Мне вы не нужны”») соотносится со следующим фрагментом из ее мемуаров (А. Цветаева. Воспоминания. — М., 1984): «...Великолепно читая по просьбе стихи <...> *(в 1920 г. в Коктебеле)* он *(Мандельштам)* к нам снисходил, не веря нашему пониманию, и похвале внимал свысока» (там же, с. 556—557). Оно объясняется отчасти тем, что «росшая среди поэтов, — Марина *(Цветаева)*, Эллис, Макс Волошин, Аделаида Герцык» (там же, с. 557), Анастасия Ивановна мыслила себя прежде всего **собеседником** поэта, а не только его аудиторией, то есть пассивным слушателем. Эта позиция была четко обозначена ею в своей книге

воспоминаний: «Роль такого слушателя *(то есть человека из аудитории)* была мне нова и нежно-забавна» (там же, с. 557).

По свидетельству С.И. Липкина, в начале тридцатых годов, вернувшись к стихам «после черной измены», Мандельштам рвался к читателю и более чем что-либо «ему нужен был слушатель, очень нужен был слушатель, заменяющий станок Гуттенберга.

Он был одинок <...> его почитали немногие, почитали восторженно <...> большей частью люди его поколения... А он нуждался в молодежи <...> он чувствовал, он знал, что он в новом времени, а не в том, которое ушло» (Угль, пылающий огнем // Квадрига, с. 378).

Но в то же время, и этим отчасти объясняется «высокомерность» О. Мандельштама в глазах А. Цветаевой: стремясь к широкой читательской аудитории — площадкам, залам, — Мандельштам не выносил «салонного чтения» — люди, относящиеся к поэзии как к развлечению, легкому времяпрепровождению, ему действительно были «не нужны». Экспрессивное поведение поэта в таких обывательских салонах зафиксировано в воспоминаниях Н.Я. Мандельштам и А.А. Ахматовой. Не противоречит им и следующее наблюдение Р. Ивнева: «В салонах он менее охотно, но все же иногда соглашался прочесть одно или два стихотворения, но при случайной встрече среди малознакомых людей просьба кого-нибудь из присутствующих прочесть стихи вызывала у него гнев. Однажды он так вскипел, что закричал: «Поэзия — это профессия. Почему, если приходит в гости часовщик, его не просят исправлять часы, если приходит сапожник — ему не суют туфли, а портному не заказывают костюм? А когда в гости приходит поэт — обязательно просят читать!» (О. Мандельштам // Кодры, с. 111).

Беседу ведет В.Д. Дувакин (при участии Евгении Филипповны Куниной)

— ...Я помню, как Мандельштам устроил вечер *(22 февраля 1933 г.)*, согласился выступить на вечере в театре *(по-видимому под «театром» Цветаева подразумевает зал Ленинградской капеллы)*, после того как десять лет не выступал, с 16-го по 26-й

(ошибка мемуаристки: Мандельштам не выступал в Ленинграде с 1921 по 1933 год). И вот выступил. Он уже был с бородой.

Е.Ф.К.: Я помню этот вечер.

— Помнишь? Была? Я тоже. Ну вот. Мы все бешено аплодировали, чтобы заставить его поднять глаза. А он вышел так... Если надменность его в юности была неприятна — ну, стихи, прекрасные стихи, но почему он думает, что все кругом дураки? Если его просили прочесть стихи — то он так... снисходил... Он не нашел ни одного человека, с кем он мог бы встать вровень... Ну, Ахматову он высоко ставил, а про не-поэтов считал, что это вообще — так...

Я помню, как он в юности упирался читать. А тут — это было замечательно. Он не купился ни на какие аплодисменты. А так — уперся в стул... не поклонился, ничего; он вошел — и, может, я не знаю, сделал кивок головой — уперся руками в стул и не подымал глаз...

Уперся руками в стул?

Да, ру́ками, в стул — и ждал, покуда кончатся аплодисменты. А мы, его любившие, аплодировали именно для того, чтоб заставить его поднять голову — все больше, все больше! И когда он так с тихой злобой — потому что злой человек он был...

Злой был?

Да, он нежный был очень, но только и злой тоже. И вот он поднял такую тихую злую руку и начал в этот гром читать. Понимаете, это выглядело так: «Мне вы не нужны. Я пришел читать, так замолчите!». Это было очень погано, но... великолепно! Понимаете?

Да. Человечески погано, а артистически великолепно.

— Да, вот так, позой — великолепно было. А вот когда Белый выступал...

Е.Ф.К.: А Белый когда вернулся?

— В 23-м году *(в конце октября 1923 г.).* <...> Я тогда не знала, в каком смятении он приехал, — а ему сразу устроили выступление *(возможно, речь идет о выступлении 14 февраля 1924 г. в Ленинградской капелле с лекцией о русской эмиграции «Одна из обителей теней»).* И он так жалко-жалко, как несчастный паяц, плясал прямо на эстраде и бил себя в грудь: «Я с вами! Я с вами! Я с вами! Я с вами!» — вот так. Неприлично совершенно, в высшей степени. На это было просто кошмарно глядеть, стыдно!

Он всегда плясал.

Да. Понимаете, это ужасно было! Но все молчали, хотя никому не нравилось, потому что разве можно так перебарщивать? Достоинства не было ни малейшего! И вот: этот русский вернулся в свою страну, но достоинство потерял, а еврей, который по внутренним причинам не читал десять лет и потом выступил, — как он себя вел, с каким достоинством!



Екатерина Сергеевна Петровых

Воспоминания **Екатерины Сергеевны Петровых** (сестры Марии Петровых) написаны в восьмидесятые годы. В 1988 г. они были прочитаны ею в Ярославле на вечере, посвященном 80-летию со дня рождения М.С. Петровых (В наст. изд. текст их приводится по фонозаписи из архива дочери Е.С. Петровых К.В. Чердынцевой. В сокращенном виде использован Л.М. Вигдофом в очерке: О.Э. Мандельштам в Москве // «Отдай меня, Воронеж...», с. 310—313).

По свидетельству Н.Н. Глен, после смерти А.А. Ахматовой Екатерина Сергеевна намеревалась писать воспоминания о своем знакомстве и встречах с ней. Впоследствии она отказалась от этого замысла. Оставленные ею мемуары целиком посвящены истории взаимоотношений О. Мандельштама и ее сестры. Вспоминая о приходах Мандельштама в Гранатный переулок (д. 2/9, кв. 22), где в тридцатые годы жили сестры Петровых, она подробно останавливается на событиях, еще в начале шестидесятых бегло очерченных Ахматовой в «Листках из дневника». «В 1933—34 гг. Осип Эмильевич был бурно, коротко и безответно влюблен в Марию Сергеевну Петровых» (Анна Ахматова. Сочинения в 2-х тт., т. 2, с. 156).

Этот эпизод нашел свое отражение и во Второй книге (гл. «Пограничная ситуация»), книге, которую Марии Сергеевне довелось прочесть и не узнать в ней себя. Собственных воспоминаний о Мандельштаме она не оставила. Нам известны лишь два ее коротких отзыва: «Меня поражает и восхищает поэзия Мандельштама, но почему-то никогда не была она кровно моей» (Из дневника М. Петровых 1967 г. // Петровых М. Избранное. — М., 1991. — С. 350) и «“Он *(Мандельштам)*, конечно, небывалый поэт <...>, но <...> мне до него...” и еще три слова, убийственных, неопровержимых, которые может сказать о мужчине только женщина, никогда его не любившая» (Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой, с. 79). Однако в сознании современников (и может быть, против ее воли) имя М. Петровых оказалось прочно связанным с именем О. Мандельштама.

Л.К. Чуковская: «...Сегодня <...> я впервые отчетливо вспомнила, что Осип Мандельштам некогда был влюблен в Марусю Петровых; конечно, я давно это знала, цитировала же ей в укор: «Ты, Мария, — гибнущим подмога», но сегодня **вспомнила**: «Между «помнить» и «вспомнить», други...» и т. д.» (Записки об Анне Ахматовой. т. 3, с. 235).



Е.С. и М.С. Петровых. 1930-е гг. Архив К.В. Чердынцевой

М.В. Ардов: «Мы, двадцатилетние, смотрели на нее с некоторым изумлением. Нам было известно, что она отвергла любовные домогательства Мандельштама и что у нее был роман с Александром Фадеевым — именно ему Петровых посвятила свои стихи “Назначь мне свиданье...” В ту пору я и мои товарищи еще ничего не понимали в жизни, но уже чуть-чуть разбирались в литературе и мысленно сравнивали “Разгром” и “Молодую гвардию” с “Египетской маркой” и “Четвертой прозой”...» (Вокруг Ордынки. — СПб., 2000. — С. 66).

Фрагмент фонозаписи вечера, посвященного 80-летию со дня рождения М.С. Петровых (1988 г., Ярославль)

Весной 1933 г. А.А. Ахматова и О.Э. Мандельштам почти одновременно познакомились с Марусей. Потом они полушутя оспаривали друг у друга первенство открытия нового талантливого поэта. Осип Эмильевич почти сразу отчаянно влюбился в Марусю. Ей он посвятил два своих серьезных стихотворения *(«Мастерица виноватых взоров...»; «Твоим узким плечам под бичами краснеть...»)* и одно шуточное:

Мария Сергевна, мне ужасно хочется
Увидеть Вас старушкой-переводчицей,
Неутомимо, с головой трясущейся,
К народам СССР влекущейся.
И чтобы Вы без всякого предстательства
Вошли к Шенгели в кабинет издательства
И вышли, нагруженная гостинцами –
Полурифмованными украинцами.

(*К шуточным стихам Мандельштама, адресованным М.С. Петровых, относятся также «Сонет» («Мне вспоминается старинный апокриф...») и «Разве подумать я мог...».*)

<...> Влюбленность в Марусю была чрезвычайна. Он приходил к нам на Гранатный по 3 раза в день. Прислонялся к двери, открывавшейся вовнутрь, и мы оказывались как бы взаперти. Говорил он, не умолкая, часа по полтора — два. Глаза вдохновенно блестели, голова — запрокинута, говорил обо всем: о стихах, о музыке, живописи. На его фоне возникал Лев Гуми-

лев — восемнадцатилетний юноша *(в 1933 г. Л.Н. Гумилеву был 21 год)*, очень сильно картавивший и тоже влюбленный в Марусю. А у нее в это время распадался брак с Петром Алексеевичем Грандицким, и оба «ухажера», и старый (Осипу Эмильевичу было всего 42 года, но выглядел он старцем), и малый, были ей просто в тягость.

Помню один эпизод, рассказанный мне Марусей. Она была дома одна, пришел Осип Эмильевич и, сев рядом с ней на тахту, сказал: «Погладьте меня». Маруся, преодолевая нечто близкое к брезгливости, погладила его по плечу. «У меня голова есть», — сказал он обиженно. В это же время бывал у нас приятель Петра Алексеевича — математик, которому тоже было 42 года, но выглядел он совершенно молодым человеком. Это нас почему-то очень смешило, особенно когда они совпадали. Левушка-Гумилевушка, тоже чувствуя безразличие к нему Маруси, очень страдал. Анна Андреевна, видя это, однажды сказала: «Маруся, к чему вам этот мальчик?». <...> Левушка говорил сестре: «Приезжайте в Ленинград, я Вам там воздвигну хвам». Буква «р» ему никак не давалась. (Не только «р», а и многие другие буквы были ему неподвластны. Почему его не сводили в свое время к логопеду?) А у него не было даже своей комнаты — только отгороженная чем-то часть коридора в коммунальной квартире.

Однажды мы все (то есть я, Маруся, Осип Эмильевич и Лева) пошли в Консерваторию на «Страсти» Баха. Левушка очень почтительно вел меня под руку, хотя, конечно, ему было бы приятнее вести Марусю. Как же было просто тогда: захотели — и пошли в Консерваторию на Баха. Никаких очередей, никакой предварительной записи. Так же было и с театральными билетами. После концерта Мандельштам очень приподнято говорил о впечатлении, которое произвел на него Бах. Это, кажется, единственный раз, когда я слушала его внимательно. А, вообще говоря, речь его хотя была почти всегда вдохновенна, но часто сумбурна и мало понятна.

А теперь о злополучном стихотворении о Сталине *(«Мы живем, под собою не чуя страны...»)*. Где оно читалось, не знаю. Может быть, у Мандельштамов или у Бориса Леонидовича, что, впрочем, маловероятно, так как они не были близки. Сколько было слушателей — тоже не знаю, мне, однако, представляется, что около 8 — 10 человек. Теперь все, то есть многие, это

стихотворение знают и говорят свободно, а в те ужасные годы даже подумать такое было страшно. Наверное, все слушали молча, оцепенев. Маруся была убеждена, что Сталину не было известно об этом стихотворении, что прислужники и приспешники его сами боялись ему его прочитать. Иначе не только Мандельштам, но и все слушавшие и их близкие были бы уничтожены только за то, что услышали четыре последних слова: «и широкая грудь осетина». На знание о том, что отец у Сталина осетин, был наложен запрет строжайший. Почему? Не знаю. Сталин не любил осетин и считал себя чистокровным грузином, а отца у него как бы и не было. *(В единственной биографии Сталина, имевшейся на 1933 г., было указано, что он «по национальности грузин, сын сапожника, рабочего обувной фабрики в Тифлисе» (Деятели СССР и революционного движения России // Энциклопедический словарь Гранат. Т. 40. Ч. 3. — М., 1928. — С. 107).)* Может быть, Маруся права, так как и наказание Осипа Эмильевича было по тем временам мягчайшее — высылка на три года в Чердынь.

Безумец Мандельштам стал изо всех сил клеветать на Марусю (о чем он сам сказал жене при свидании, отчего та пришла в ужас)[1] в надежде, что Марусю тоже вышлют в Чердынь и там, в уединении, она оценит и полюбит его. Даже сотрудники НКВД понимали, что имеют дело с сумасшедшим. Все, узнавшие о поступке Осипа Эмильевича, смотрели на Марусю как на обреченную. Она сама говорила мне: «Борис Леонидович смотрит на меня с ужасом и состраданием».

После ареста Осипа Эмильевича Сталин позвонил Борису Леонидовичу *(13 июня 1934 г. Об этом эпизоде см. подробнее в комментарии к беседе В. Дувакина с С. Бобровым в наст. изд.).* Пастернак сказал: «А как мне удостовериться, что это не розыгрыш?». Сталин ответил: «Позвоните в Кремль, и Вам дадут мой кабинет». Когда Пастернака снова соединили со Сталиным, тот спросил: «Что Вы можете сказать о Мандельштаме?» Борис Леонидович был ошарашен и смущенно промямлил: «Я не знаю, что сказать». В ответ смешок и слова: «Хороший же человек, если его друг не знает, что о нем сказать», — и трубка резко щелкнула. Пастернак был в отчаянии. Говорили, что он писал Сталину, объясняя свой нелепый ответ неожиданностью воп-

[1] Сведения ничем и никем не подтвержденные.

роса. Наверное, писал, что Мандельштам первоклассный поэт, но очень нервный, болезненно нервный человек. Борис Леонидович ходил к Бухарину, а Анна Андреевна к Енукидзе хлопотать за Мандельштама. *Удивительно то, что еще до знакомства с Мандельштамом в 1931 г. в Воронеже (sic!) Мария Сергеевна напишет стихотворение «Неукротимою тревогой...», предугадавшее дальнейшую судьбу поэта.* Не знаю, насколько соответствует действительности мой рассказ о разговоре Сталина с Борисом Леонидовичем. Но, думаю, найдутся другие, более близкие к Пастернаку люди, которые могут подтвердить, если такой случай действительно имел место.

Ну, а Марусю не арестовали лишь потому, что «там» поняли, чего добивается этот сумасшедший «хитрец», и решили не выполнять его безумного желания. Позднее Маруся очень сокрушалась о том, что после ее категорического отказа обезумевший от горя Мандельштам бросился на Ленинградский вокзал и дал пощечину уезжавшему А.Н. Толстому *(О. Мандельштам «нанес пощечину» А. Толстому в ленинградском Доме печати («Издательстве писателей») около 6 мая 1934 г. Об этом инциденте см. в комментарии к беседе В. Дувакина с И. Гронским.).* (Говорили, что пощечина была чисто символическая, то есть что он приложил два пальца к щеке Алексея Николаевича). Тем не менее, поэт Перец Маркиш, узнав о пощечине, с видом предельного изумления поднял палец кверху со словами: «О! Еврей дал пощечину графу!!!». Может быть, этот эпизод и был причиной столь мягкого по тем временам наказания. А.Н. Толстой был тогда в милости у «Хозяина». Повторяю, Маруся была глубоко убеждена, что окружение Сталина не посмело показать ему стихотворение, но все же воспользовалось «вокзальным» инцидентом, чтобы наказать поэта.

<...>



М.С. Петровых 1930-е гг. Архив К.В. Чердынцевой

Осип Мандельштам

* * *

Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть.

Твоим детским рукам утюги поднимать,
Утюги поднимать да веревки вязать.

Твоим нежным ногам по стеклу босиком,
По стеклу босиком, да кровавым песком.

Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть,
Черной свечкой гореть да молиться не сметь.

<Февраль> 1934



Арина Витальевна Головачева

13—14 февраля 1934 г. Осип Мандельштам пишет стихотворение «Мастерица виноватых взоров...», обращенное к Марии Сергеевне Петровых, которое Ахматова впоследствии назвала «лучшим любовным стихотворением XX века», а сам Мандельштам сразу причислил к «изменническим» стихам, не имеющим права на публикацию при его жизни — «мы не трубадуры».

Надежда Яковлевна вспоминала: «Он уже не мог писать стихи другой женщине при мне, как в 1925 г. *(Ольге Ваксель)* (Стихи Петровых написаны в несколько дней, когда я лежала на исследовании в больнице ...)». И далее: «У него было острое чувство измены, и он мучался, когда появлялось изменническое, как он говорил, стихотворение... По-моему, сам факт измены значил для него гораздо меньше, чем «изменнические» стихи» (Н. Мандельштам. Вторая книга, с. 201).

Долгие годы, уже после гибели Осипа Эмильевича, М.С. Петровых считала, что автограф адресованного ей стихотворения («Мастерица») утрачен, в мандельштамовских сборниках текст его воспроизводился по спискам Надежды Яковлевны. Кажется, в этом факте ничего удивительного не было. Известно, что Мандельштам «работал с голосу», т. е. «создавал

стихи на слух, а потом диктовал их Надежде Яковлевне» (Н.Е. Штемпель). По свидетельству той же Натальи Евгеньевны, Мандельштам говорил: «Стихи, записанные Надей, могут идти в порядке рукописи» (Н.Е. Штемпель. Мандельштам в Воронеже // Осип Мандельштам. Воронежские тетради, с. 259).

Но с «изменническими» стихами все было иначе. «Оригинал» их мог быть записан только рукой самого Мандельштама. В 1979 г., после смерти М.С. Петровых, ее первый муж П.А. Грандицкий передал хранившуюся у него часть архива Петровых **Арине Витальевне Головачевой**, дочери Марии Сергеевны. В папке с ранними стихами Петровых лежал автограф «Мастерицы». В сравнении со списками Надежды Яковлевны он имел несколько разночтений. Одно из них кажется нам наиболее существенным: в строке 21 вместо слов «Ты, Мария — гибнущим подмога» было написано — «Наша нежность — гибнущим подмога».

В ночь с 13 на 14 мая 1934 г. в Нащокинском переулке Мандельштам был арестован органами НКВД и препровожден на Лубянку. Ему инкриминировалось написание террористических стихов — «чудовищного и беспрецедентного документа». На одном из допросов Мандельштаму был показан уже имевшийся в распоряжении НКВД текст стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны...». В руках следователя был первый вариант «Горца»: «Мы живем, под собою не чуя страны, // Наши речи за десять шагов не слышны. // Только слышно кремлевского горца — // Душегуба и мужекоборца». Мандельштам ознакомил его со вторым: «Мы живем, под собою не чуя страны, // Наши речи за десять шагов не слышны, // А где хватит на полразговорца, // Там припомнят кремлевского горца».

Среди людей, слышавших это стихотворение, Мандельштам назвал имя М.С. Петровых. На тюремном свидании с Надеждой Яковлевной он «перечислил имена людей, фигурирующих в следствии» (то есть названных им в числе слушателей), чтобы Надежда Яковлевна «могла всех предупредить» (Н. Мандельштам. Воспоминания, с. 99). Дальнейшее хорошо известно.

До конца жизни Надежда Яковлевна была убеждена, что единственным человеком, **записавшим** это стихотворение с голоса Мандельштама, была Мария Петровых. Так же твердо она была убеждена в том, что «судя по всей жизни, этот человек вне подозрения» (Там же, с. 109).

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч,
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.

Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры: на, возьми!
Их, бесшумно охающих ртами,
Полухлебом плоти накорми.

Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Маком бровки мечен путь опасный...
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ...

Не серчай, турчанка дорогая.
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

Наша нежность — гибнущим подмога,
Надо смерть предупредить — уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи, уйди, еще побудь.

13–14/II

М.

Осип Мандельштам. Автограф стихотворения
«Мастерица виноватых взоров...» Архив А.В. Головачевой

Состоявшаяся в марте 2000 г. наша беседа с Ариной Витальевной Головачевой касалась преимущественно событий 1934 г. — времени и атмосферы создания «Мастерицы», а также трагедии мая-июня того же года. Арина Витальевна рассказывала об этом так, как запомнила со слов матери — Марии Петровых.

Беседу ведет О. Фигурнова

Арина Витальевна, в ходе работы над своими «Мемуарами» Э.Г. Герштейн консультировалась с Вами? Я имею в виду главы «Конфликты — большие и малые», «Маруся», «Развязка надвигается», «Игра в смерть»...

Дело в том, что книги Эммы Григорьевны я не читала — из чувства самосохранения, равно как и предваряющие книгу статьи. Мне было достаточно того немногого, что мне пересказали. Когда Эмма Григорьевна готовила этот материал, она както позвонила мне и сказала, что пишет книгу о том времени и что ей очень важно дезавуировать многое из книг Н.Я. Мандельштам. В этом разговоре она вспоминала маму тех времен и, разумеется, очень по-доброму. Она просила меня уточнить коечто из того, что я помню по рассказам мамы. Мы анализировали варианты стихотворения «Мастерица виноватых взоров...» — «официальный» вариант и тот, что хранится у меня. В этих текстах имеются расхождения. В частности, слова «Ты, Мария, ...» в официальном варианте, относительно которых мама не сомневалась, что они были вставлены Надеждой Яковлевной. Мама говорила: «Мандельштам — поэт до мозга костей, он никогда не мог бы так написать» (то есть столь непоэтично, прямолинейно и банально). Но, к сожалению, рукописи стихотворения у мамы тогда не было, и она считала, что рукопись безвозвратно исчезла в 1942 году, когда сгорел дом в Сокольниках, в котором мы жили перед войной. После маминой кончины *(в 1979 г.)* ее первый муж *(П.А. Грандицкий)* передал мне папку с мамиными рукописями, где были ее ранние стихи, и в этой же папке была рукопись «Мастерицы». Вместо «Ты, Мария, ...» там было написано «Наша нежность...». Эмма Григорьевна была абсолютно согласна со мной, что «наша нежность» — это не нежность двух конкретных людей, а человеческая нежность вообще — подмога гибнущим. И автор молит об этой подмоге.

Когда в конце 80-х годов готовился к печати двухтомник О. Мандельштама *(Мандельштам О. Сочинения в 2-х томах / Сост. П. Нерлера, подгот. текста и коммент. А. Михайлова и П. Нерлера, вступ. ст. С. Аверинцева. — М., 1990)*, мне позвонил П. Нерлер с просьбой прислать фотокопию этой рукописи. По утверждению Нерлера, слова «Ты, Мария, ...» он видел не написанными рукой Мандельштама, а вписанными рукой Надежды Яковлевны вместо пропуска, сделанного, кажется, в машинописном варианте. Возможно, сам Осип Эмильевич, восстанавливая по памяти текст этого стихотворения, вспомнил не все и поставил многоточие, надеясь вспомнить впоследствии.

Что касается статьи Поляковой *(Полякова С.В. Осип Мандельштам: наблюдения, интерпретации, заметки к комментарию. Разбор стихотворения «Мастерица виноватых взоров...» // «Олейников и об Олейникове» и другие работы по русской литературе. — СПб, 1997. — С. 91—109)*, посвященной этому стихотворению, то маму очень задела предложенная ею трактовка *(рукопись статьи была прислана М.С. Петровых автором)* — что-то изощренно эротичное. Мама же воспринимала Мандельштама глубоким стариком и никак не могла отвечать на его влюбленность. Впрочем, я думаю, что и Осипу Эмильевичу не столько нужны были любовные отношения, сколько необходимо было кем-то восхищаться. Мама считала, что на самом деле он всю жизнь любил только Надежду Яковлевну.

Арина Витальевна, давайте вернемся к мемуарам Герштейн. В частности, в них Эмма Григорьевна говорит вполне утвердительно (ссылаясь на устные свидетельства Н.Я. Мандельштам и Е.Я. Эфрон), что перед первым арестом Мандельштама Мария Сергеевна (после прочтения ей Осипом Эмильевичем «Горца») была в таком состоянии, что могла пойти к следователю, ...

?!

...чувствуя себя Раскольниковым, «с трудом удерживающимся, чтобы не броситься в объятия Порфирия Петровича». Цитирую дословно.

??!

Это было?

У меня просто нет слов, такого просто не могло быть. Этого мне никто не решился пересказывать. Убеждена, что ни Надежда Яковлевна, ни Е.Я. Эфрон ничего подобного не говорили. В противном случае, такое свидетельство появилось бы в воспо-

минаниях Надежды Яковлевны. Она только указывала маму в числе людей, которые записывали текст стихотворения. Но мама текста не записывала. Она запомнила стихотворение с голоса, один раз и на всю жизнь, он прочел ей его чуть ли не шепотом.

То есть текст ее рукой не был записан.

Не был. Ну, во-первых, тогда записывать боялись, боялись держать у себя написанное. Во-вторых, мама была молодая, память на стихи была прекрасная, именно на стихотворный текст. Я в свое время тоже запомнила это стихотворение с маминого голоса. Когда вышла вот эта часть «Воспоминаний» Надежды Яковлевны *(Мандельштам Н.Я. Воспоминания. — Нью-Йорк, 1970)*, мы с мамой их тогда обсуждали, и она говорила: «Не только я не записывала, это вообще было бы дико записывать».

В записях Э. Герштейн подобной категоричности нет, она пишет, что Мандельштаму «показалось», будто у следователя был экземпляр антисталинского стихотворения, записанный рукой Марии Сергеевны.

Тут я ничего не могу сказать — ему могло показаться, или Надежда Яковлевна неверно передала его слова, или Эмма Григорьевна неверно передала слова Надежды Яковлевны. Мне известно только, что Осип Эмильевич на допросе назвал маму в числе тех, кто якобы записывал текст стихотворения. И мама прекрасно понимала, чем это может грозить ей самой. Узнав о показаниях Мандельштама, Пастернак встретился с мамой и смотрел на нее, как на человека, который...

...обречен.

Да, как смотрят на человека в последний раз. По словам маминой сестры, Екатерины Сергеевны, Осип Эмильевич назвал в этом списке маму, так как надеялся оказаться вместе с ней в ссылке. Источником этих сведений, по словам Екатерины Сергеевны, тоже была Надежда Яковлевна *(этот факт не подтвержден ни одним мемуарным свидетельством)*.

Но она об этом не написала.

Я бы на ее месте тоже не написала. Но, как мне кажется, если это действительно было, она говорила об этом... ну, как о какой-то...

...бредовой идее.

...да, бредовой идее любимого человека, находящегося в экстремальной ситуации. Мама очень ценила его поэзию, она считала, что Мандельштам — это просто воплощенная поэзия, но он всегда был очень далек от реальности.

М. Петровых, А. Ахматова в квартире Петровых на Беговой. Нач. 1960-х гг. Фото М Ландмана. Архив Н.Н. Глен



Е.С. Петровых, В.Д. Головачев, М.С. Петровых. 1930-е гг. Архив К.В. Чердынцевой

Раковина, принадлежавшая
М.С. Петровых



Гранатный переулок
д. 2/9, где в 30-е гг.
жили сестры
Петровых. Фото
Д. Радзишевского

Герштейн ссылается на Ваш рассказ со слов Марии Сергеевны о приходе к ней Ахматовой. Помните: «Зачем Вам этот мальчик?». Это — о Л. Гумилеве. Вы что-нибудь можете добавить?

Да. Я рассказала это Эмме Григорьевне в ответ на ее слова о том, что Анна Андреевна была недовольна заинтересованностью Эммы Григорьевны в Леве. Я сказала, что, видимо, Анна Андреевна как мать боялась, что кто-то будет стараться увлечь ее юного сына (ему было тогда, по-моему, 18) *(в 1933 г. Л.Н. Гумилеву был 21 год)* и, видимо, Анна Андреевна боялась увлечения его мамой. При всей любви к Анне Андреевне мама всегда вспоминала эти ее слова с обидой. Ведь она была на 8 или 10 лет старше Левы *(разница в возрасте М. Петровых и Л. Гумилева составляла четыре года)* и воспринимала его как ребенка, сына Анны Андреевны. И у нее не могло быть стремления его увлечь.

Понятно.

Обычно они приходили на Гранатный вдвоем — Лева и Мандельштам. Мама со своей сестрой Катей воспринимали эти визиты с юмором. Тогда еще никто не знал, что этим людям уготована такая страшная судьба.

Герштейн запомнилось, что Ахматова называла Марию Сергеевну «сиреной». «Что ж она — сирена?» И этой сирене с «напрасным и влажным блеском зрачков», так запомнившихся Мандельштаму, Эмма Григорьевна поставила клинический диагноз: истеричка.

Возможно, Эмма Григорьевна очень тогда страдала от неразделенной любви, и теперь, когда всех этих людей уже нет, она осталась одна и может беспрепятственно говорить о них, что ей вздумается — она дождалась своего часа.

Э.Г. Герштейн удивляло, почему Мандельштамы привечают и интересуются Марией Сергеевной. С ее точки зрения, она могла тогда только «щебетать», то есть «в детском тоне» вести разговоры о нарядах и вечеринках, что Эмме Григорьевне казалось «тривиальным».

Возможно, в юности мама больше интересовалась нарядами, чем впоследствии, когда я могла уже ее помнить. Что же касается отношения Мандельштамов к маме, то сама мама объясняла это бездетностью, потребностью в каком-то молодом существе.

Возможно, у Эммы Григорьевны на всю жизнь осталось чувство обиды — то, к чему она так стремилась, другим давалось

легко и даже помимо их желания. Ведь у Эммы Григорьевны, видимо, было глубокое чувство к Леве.

Об этом у нее есть отдельная глава — «Лишняя любовь».

Видимо, мама возникла совершенно некстати, и Эмма Григорьевна не смогла ей этого забыть.

Здесь Эмма Григорьевна ставит своеобразную точку: «Напомню, что Леву «увела» я».

Господи... Нет, видимо, мама этого просто не заметила. Лева был молоденький, совсем молодой человек, и влюбленность во взрослую замужнюю женщину — довольно частое явление. Мама не считала, что это было какое-то глубокое чувство с его стороны. А что касается Эммы Григорьевны — мама как раз говорила и с сочувствием, и с уважением, что в такое опасное время она отправляла Леве посылки, это, конечно, был мужественный поступок.

Арина Витальевна, расскажите о пепельнице, которая до сих пор хранится у Вас дома. Она ведь тоже как-никак вошла в историю.

Это не пепельница. Это раковина.

Раковина?

Раковина, которая использовалась как пепельница. Там действительно есть углубление такое темное — от пепла уже давнего... В этом качестве она использовалась именно в те годы. Потом у нас ее, видимо, сочли достаточно неудобным для этого предметом.

Мария Сергеевна тогда уже курила?

Она начала курить где-то в девятнадцать лет, когда училась еще на литературных курсах и была на практике в газете «Гудок». Там вся редакция курила, и она привыкла. Потом мама встречала этих людей, все они были ее старше. И все до единого уже бросили курить. А она как закурила тогда, так на всю жизнь.

И этой раковиной-пепельницей Мария Сергеевна когда-то от Осипа Эмильевича оборонялась?

Именно так. Она всадила ему шип в щеку, когда он пытался ее поцеловать. Пошла кровь. Еще мама рассказывала, как однажды они с Осипом Эмильевичем бродили по каким-то переулкам, в основном их встречи были такого рода. Мама говорила: «Обязательно ему хотелось, чтобы я ему сказала “ты”. Я отнекивалась, потому что мне было как-то дико сказать “ты”». Но Осип Эмильевич был очень настойчив. И, устав от уговоров, мама, наконец, сказала: «Ну, “ТЫ”!». Он, потрясенный,

отшатнулся и в ужасе воскликнул: «Нет, нет! Не надо! Я не думал, что это может звучать так страшно».

Ахматова говорила Лукницкому, что она очень любила Осипа Эмильевича, но не выносила, когда тот целовал ей руку.

Да. Да. Да. И у мамы было тоже такое же физическое отталкивание. Но, как я понимаю, со стороны Осипа Эмильевича это был порыв, который скоро закончился.

Что же касается книги Эммы Григорьевны — я ее не читала. Мне что-то стали рассказывать... и я очень долго, несколько месяцев просто не могла спокойно спать... Я просыпалась и думала: что же такое ужасное случилось? Вот так бывает.

Причем как мама помогала Эмме Григорьевне! Я не помню чем, материально, возможно, хотя она сама жила очень трудно, но тем не менее при первой возможности старалась помочь, в частности, ее публикациям о Лермонтове; считала ее серьезным исследователем, сочувственно рассказывала, что Андроников узурпировал Лермонтова и никого к нему не подпускает, и в целом относилась к ней хорошо. Хотя... она мне говорила, что у Эммы Григорьевны есть такое свойство (обычно оно бывает у женщин, у которых не совсем удачно складывалась личная жизнь) — она всех подозревает в чем-то дурном. Например, я была совершенно потрясена, когда Эмма Григорьевна как-то сказала нам: «Вот Нина *(Ольшевская)* и этот... (она назвала имя приятеля кого-то из «мальчиков Ардовых») — здесь дело нечисто». Странная была формулировка для такой, в сущности, интеллектуальной дамы. Пораженная, я спросила потом: «Мама, что же это такое? Как же так можно?». Она говорит: «Понимаешь, у Эммы Григорьевны дурное воображение. Ей все время кажется, что вокруг нее происходят...»

...адюльтеры.

При этом сама Эмма Григорьевна была оскорблена воспоминаниями Надежды Яковлевны, где говорилось, что Эмма Григорьевна «ловила мужчин». И мама была оскорблена за нее. Она говорила: «Как можно так писать о человеке?». А теперь всех этих людей уже нет, нет Анны Андреевны, которая сказала бы: «Эмма! Теперь я Вам просто не могу подать руки». У нее было такое выражение. Например, интеллигентный человек антисемиту не подаст руки... Так же, как подлецу, предателю...

Очень страшно. Создается впечатление, что вокруг Эммы Григорьевны жили какие-то больные, изломанные люди. А это

были и Мандельштам, и Ахматова, и Мария Сергеевна Петровых...

Знаете, какое-то время назад я слышала по «Эху Москвы», что книга Герштейн — лидер по популярности ... И, наверное, полагается ее иметь в доме, но я не смогла бы взять ее в руки, не то что жить с этой книгой под одной крышей.

Когда вышла статья Эммы Григорьевны (которую я тоже не читала), мы говорили о ней с Никой *(Н.Н. Глен)*, и она мне сказала: «Ариша, но, может быть, Вы напишете?» Я говорю: «Но чем я могу что-то доказать? Я, в конце концов, при этом не присутствовала...»

Вы хотели бы опровергнуть?

Конечно. Но у меня очень слабая позиция — ведь тогда я еще даже не родилась. А сейчас Эмма Григорьевна — единственный «свидетель». И многие решат, что дочь просто защищает честь матери. А я просто достаточно хорошо знаю маму, и, кроме того, на протяжении жизни мама не раз рассказывала мне о том периоде.

Из разговоров с мамой у меня создалось впечатление о Надежде Яковлевне как о человеке достаточно холодном, очень привязанном, конечно, к мужу, но... холодном... Между прочим, мама выхлопотала Надежде Яковлевне квартиру в Москве. Через Маршака, с которым она была дружна. *(В действительности — ускорила московскую прописку «без права площади» в Лаврушинском переулке, д. 17, кв. 47 (у Шкловских). В хлопоты были также включены Р. Орлова, Ф. Вигдорова, А. Ахматова. Подробнее об этом см. в беседе с В.В. Шкловской-Корди и Н.В. Панченко в наст. изд.)*

Какой это год?

Надежде Яковлевне дали квартиру, когда Маршак уже умирал, то есть в 64-м году. *(Надежда Яковлевна получила квартиру в 1965 г., в 1964 г. ей была предоставлена только московская прописка.)* У мамы сохранилось в архиве письмо, которое ей, по просьбе Маршака, продиктовала его секретарша Розалия Ивановна *(Вилтцин)* (сам он уже не мог тогда говорить по телефону).

Анна Андреевна знала об этом от мамы. Мама даже одно время была обижена на Анну Андреевну за Маршака, она говорила: «Маршак перед смертью сделал такое доброе дело, и об этом даже никто не вспомнил». *(Надежда Яковлевна написала о содействии Маршака в «Третьей книге» своих воспоминаний*

(с. 118), но была убеждена, что Маршак действовал по просьбе Ахматовой.) По мнению Анны Андреевны, прописки для Надежды Яковлевны добился «человек из «Известий»» (корреспондент «Известий», бравший у нее интервью) *(В.П. Гольцев — специальный корреспондент «Известий», с 1965 г. — редактор Военного отдела газеты.)*. Анна Андреевна его тоже просила о квартире для Надежды Яковлевны, и действительно, вскоре после этого квартира состоялась. Возможно, этот человек тоже в свою очередь куда-то звонил, пытался что-то сделать по своим каналам.

Надежда Яковлевна также считала, что решающую роль сыграл «человек из «Известий»» *(Из дневника А. Гладкова. Запись от 20 июня 1964 г.: «Надежда Яковлевна, рассказывая, что у нее как будто выходит дело с пропиской через чью-то протекцию (какой-то Гольцев из «Известий»), говорит, что это ей стоило «ночи» (тот просидел у нее допоздна, расспрашивая об О.Э.),и Анна Андреевна* [Ахматова] *мягко острит, что «когда Коломбине 65 лет, то это уже не безнравственно»» («Я не признаю историю без подробностей...», с. 563).)*, хотя и знала, что мама говорила с Маршаком... Маршак был человек достаточно сложный, нельзя сказать, что такой вот Дед Мороз для всех людей, однако он любил делать добрые дела. Мама несколько раз напоминала ему о трудном положении Надежды Яковлевны, но у него, видимо, руки не доходили. И в какой-то момент она его даже пристыдила: «Ну как же так, Вы с легкостью устраиваете прописку молодой медсестре, которая к Вам приходит, а несчастной Надежде Яковлевне, одинокой старухе, Вы не можете помочь!». И в конце концов он устыдился и написал письмо в высокие инстанции. И результат был. Вот такой полудокумент у меня хранится... Это не само письмо, а запись текста, продиктованного Розалией Ивановной по телефону:

24 июня 1964 г. № 9/6—1433

Уважаемый Самуил Яковлевич!

Ваша просьба о прописке гр. Мандельштам Н.Я. удовлетворена. Прописка по адресу: Лаврушинский пер., д. 17, кв. 47 разрешена.

Начальник управления Охраны общественного порядка Исполкома Моссовета Сизов

Копия

Управление Охраны Общественного Порядка
Исполнительного комитета Московского городского Совета депутатов трудящихся

24 июня 1964г.
N 9/6 – 1433

Тов. Маршаку С.Я.

Москва, ул. Чкалова д. 14/16, кв. 113.

Уважаемый Самуил Яковлевич!

Ваша просьба о прописке гр. МАНДЕЛЬШТАМ Надежды Яковлевны удовлетворена.

Прописка ей по адресу: Лаврушинский переулок, дом 17, кв. 47 – разрешена.

Начальник Управления Охраны Общественного Порядка
Исполкома Мосгорсовета

/ СИЗОВ/

Осип Мандельштам

* * *

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч,
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.

Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры. На, возьми
Их — бесшумно охающих ртами, —
Полухлебом плоти накорми.

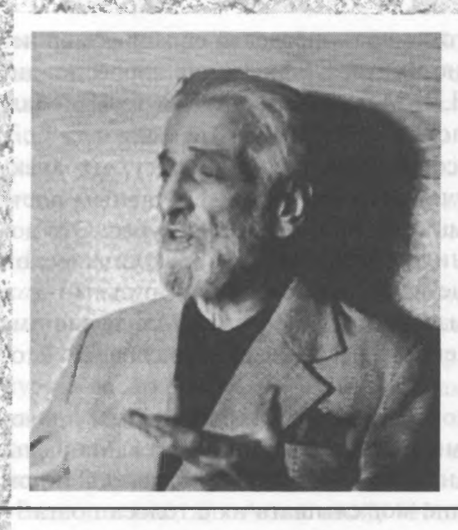
Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Маком бровки мечен путь опасный.
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ?

Не серчай, турчанка дорогая,
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

Ты, Мария [Наша нежность] — гибнущим подмога.
Надо смерть предупредить, уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи. Уйди. Еще побудь...

Февраль 1934



Виктор Ефимович Ардов

Рассказ **Виктора Ефимовича Ардова** (писателя-сатирика, драматурга) о Мандельштамах является частью его воспоминаний о многолетних встречах с А.А. Ахматовой (записаны В. Дувакиным в августе 1974 г.; впервые полностью опубликованы в кн.: Анна Ахматова в записях Дувакина. — М., 1999. — С. 143—161; в другой версии — в кн.: Ардов В. Этюды к портретам. — М., 1983).

Недобро охарактеризованный в первой и второй книгах воспоминаний Н.Я. Мандельштам, в беседе с Дувакиным Виктор Ефимович далек от мысли как-либо «выяснять отношения»: «Надо Вам сказать, — говорит он, — что я не предполагал, что такая страшная будет картина жизни этого поэта, какую справедливо обрисовала Надежда Яковлевна в первом томе. Это нельзя даже читать, до такой степени страшна эта систематическая и всесторонняя травля, которой он подвергся...» Чувство личной обиды «прорывается» в его рассказе лишь единожды, когда он называет первую книгу мемуаров Надежды Яковлевны «злой книгой».

Профессиональный сатирик («гений этого дела» — по словам Ахматовой), Ардов, вспоминая Мандельштама, говорит

прежде всего о природе его юмора, определяя ее как «юмор нелепостей». Это наблюдение Виктора Ефимовича корреспондирует следующей записи Н.Я. Мандельштам: «Кто-то выдумал, что Мандельштам был мастером анекдота. Это неправда <...> его шутка принадлежит к совершенно иному разряду, чем анекдот — острая сатира кратчайшего размера с фабульным построением. Шутка Мандельштама построена на абсурде. Это домашнее озорство и дразнилка лишь изредка с политической направленностью, но чаще всего обращенная к друзьям — к Маргулису, ко мне, к Ахматовой <...> В шутке Мандельштама всегда есть элемент "блаженного бессмысленного слова"» (Вторая книга, с. 108—109).

Как иллюстрацию к словам Надежды Яковлевны мы приводим ниже несколько примеров стихотворных шуток Мандельштама. В 1933—34 гг. (в начале своего знакомства с Осипом Эмильевичем) Ардов вполне мог слышать их с голоса поэта:

Павлу Васильеву

(возможно, в ответ на его «Пародию на О. Мандельштама»)

Мяукнул конь и кот заржал —
Казак еврею подражал.

На совместный с Ахматовой визит к С.В. Шервинскому, у которого В.О. Нилендер читал свой перевод трагедии Софокла «Эдип в Колоне»

Знакомства нашего на склоне
Шервинский нас к себе зазвал
Послушать, как Эдип в колонне
С Нилендером маршировал.

Впоследствии в «Листках из дневника» А.А. Ахматова, возвращаясь к началу своего знакомства с Осипом Эмильевичем, скажет: «Смешили мы друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван на "Тучке" и хохотали до обморочного состояния, как кондитерские девушки в "Улиссе" Джойса» (Анна Ахматова. Сочинения в 2-х томах. Т. 2, с. 152).

Достаточно точен Ардов, характеризуя отношение Ахматовой к Мандельштаму: «...Вот это **ощущение**, что он совсем свой, что он талантливый и признанный — и несчастный, тем не ме-

нее, как родной брат, — это у нее было всегда», что подтверждается, в частности, следующей «за Ахматовой» записью в дневнике 1940 г. Л. Чуковской: «Как я их обоих люблю, и Осипа, и Бориса Леонидовича *(Пастернака)* <...> С Осипом я дружна была смолоду, но особенно подружилась в 37-м году. Стихов моих он не любил *(к моменту разговора Ахматова еще не знает о статье Мандельштама 1916 г. «О современной поэзии: К выходу «Альманаха Муз»», где ее творчеству дается очень высокая оценка)*, но если бы была его сестрой, он не мог бы относиться ко мне доверчивее» (Записки об Анне Ахматовой. Т. 1, с. 103—104).

В ходе беседы Ардов бегло говорит и об ахматовском «ракурсе» восприятия Н.Я. Мандельштам: «Она относилась неплохо и к Н.Я. Мандельштам, потому что та была рядом с ним и переносила удары судьбы, которые сыпались на Мандельштама». Подобные свидетельства мы находим у Л.К. Чуковской: «Ведь для нее, для Ахматовой, "Наденька" — живая память о великом поэте, об их общих друзьях. Многое и многое их связывает, и даже постоянные ссоры» (Там же, т. 3, с. 235) и Н.А. Струве, зафиксировавшего прямую речь Ахматовой: «Жена Осипа Эмильевича Надежда Яковлевна до сих пор мой ближайший друг. Лучшее, что есть во мне» (Восемь часов с Ахматовой // Анна Ахматова. После всего. — М., 1988. — С. 253). Вероятно, высказанные Ахматовой мысли должны были войти и в ее так и не написанную мемуарную книгу «Пестрые заметки», отдельную главу которой — «Нищенка-подруга» — она намеревалась посвятить Н.Я. Мандельштам.

Беседу ведет В.Д. Дувакин

...Приятельские отношения *(с А.А. Ахматовой)*, **о которых Вы упомянули как об уже существовавших, — как возникли, кто вас познакомил?**

Нас познакомил Мандельштам...

А Мандельштама Вы знали откуда?

Мы же соседи были *(в 1933 г. по дому № 5 в Нащокинском переулке)*! В одном подъезде... С Мандельштамом мы были знакомы не очень близко, но иногда он к нам приходил. И Надежда Яковлевна к нам приходила. Он иногда читал мне свои стихи, причем без просьбы с моей стороны. Иногда он приносил

какие-то странные шутки, которые были для него характерны. Ведь он автор таких эпиграмм, типа — юмор нелепостей. И вот он приходил и читал мне свою шутку. Помню, раз он пришел ко мне и стал мне читать свой перевод сонета Петрарки *(речь может идти о декабре 1933 — январе 1934 г., в это время Мандельштам перевел четыре сонета Петрарки)*. Сперва он его прочитал по-итальянски, а затем свой перевод и указал мне на то, что он старался не только по ритму и, так сказать, по складу стихов, но и фонетически возможно ближе перевести к подлиннику. Это было действительно очень интересно. Но с Мандельштамом мы особенно близки никогда не были <...>

...О Мандельштаме она *(А. Ахматова)* всегда отзывалась с необыкновенной симпатией. Это близкий ее соратник по группе «Цех поэтов», или акмеисты. Она этого никогда не забывала. Акмеистов было мало. В поэзии в это время главенствовали символисты, и бороться с ними было трудно. Почему я это Вам все рассказываю? Чтобы сказать, что вот это *ощущение*, что он совсем свой, что он талантливый и признанный — и несчастный, — тем не менее, как родной брат, — это у нее было всегда. Соответственно, она относилась неплохо и к Надежде Яковлевне, потому что та была рядом с ним и переносила удары судьбы, которые сыпались на Мандельштама, как мы знаем, с 33-го *(1934 г. — если речь идет о первом аресте Мандельштама)* года по самую его смерть в лагерях на Дальнем Востоке.

Надо Вам сказать, что я не предполагал, что такая страшная будет картина жизни этого поэта, какую справедливо обрисовала Надежда Яковлевна в первом томе. Этого нельзя даже читать, до такой степени страшна эта систематическая и всесторонняя травля, которой он подвергся за то, что он имел несчастье написать два или три стихотворения о Сталине *(«Мы живем, под собою не чуя страны...»)* и еще большее несчастье прочитать эти стихи десяти людям.

Да.

Поэтому она *(А. Ахматова)* всегда подчеркивала, что она, так сказать, — соратник Мандельштама, и что он очень талантлив и прочее. Она Зенкевича тоже очень любила и говорила: «Я люблю еще его за то, что он последний на земле, который называет покойного Гумилева — Коля».

(*Улыбаясь*) Он и в разговоре со мной так употреблял. Это один из первых, кого я записывал.



Иван Михайлович Гронский

В июне 1974 г. в беседе с Дувакиным **Иван Михайлович Гронский** (1894—1985; советский партийный деятель, в тридцатые годы — редактор газеты «Известия» и журнала «Новый мир», председатель Оргкомитета Союза советских писателей) вспоминал об инциденте, произошедшем в 1934 г. между О. Мандельштамом и А. Толстым: около 6 мая в Ленинграде, в здании «Издательства писателей» Мандельштам дал пощечину Толстому. Этому столкновению предшествовал состоявшийся в 1932 г. «третейский» суд по делу Мандельштама-Саргиджана под председательством А. Толстого. (13 сентября 1932 г. писательский суд должен был рассмотреть поступившую в писательскую организацию жалобу Мандельштама на своего соседа по Дому Герцена А. Саргиджана (Бородина), оскорбившего Н.Я. Мандельштам. Решение Толстого как «человека подневольного» было целиком продиктовано директивой, «спущенной сверху» — Саргиджан не был даже мягко наказан своими «товарищами писателями». Оскорбленный поступком Толстого, Мандельштам в десятых числах сентября обратился в Горком писателей с заявлением о выходе из этой организации.) Вероятно, в эти же дни у Мандельштама возникает и пестуется

им два года идея дать пощечину Толстому. На это указывают дневниковые записи Л. Гинзбург, а также свидетельства других мемуаристов.

Л. Гинзбург: «Ираклий *(Андроников)* изображал А. Толстого при Мандельштаме. Мандельштам говорит: «Толстой — это так похоже, что все время хочется дать в морду» (Запись 1933 г., Записные книжки, с. 145).

Спустя год этот имевший роковые последствия замысел был Мандельштамом осуществлен.

Е.М. Тагер, вошедшая в помещение издательства (Гостиный Двор) сразу после ухода Мандельштама, стала свидетелем не замедлившего сказаться «общественного резонанса»:

«<...> Внезапно дверь издательства распахнулась, и чуть не сбив меня с ног, выбежал Мандельштам. Он промчался мимо; за ним Над.<ежда> Як.<овлевна> Через секунду они скрылись из виду. Несколько опомнившись от удивления, я вошла в издательство и оторопела вконец. То, что я увидела, напоминало последнюю сцену «Ревизора» по неиспорченному замыслу Гоголя. Среди комнаты высилась мощная фигура А.Н. Толстого; он стоял, расставив руки и слегка приоткрыв рот; неописуемое изумление выражалось во всем его существе. В глубине за своим столом застыл С.М. Алянский с видом человека, пораженного громом. К нему обратился всем корпусом Гриша Сорокин, как будто хотел выскочить из-за стола, и замер, не докончив движения, с губами, сложенными, чтобы присвистнуть. За ним — Стенич — как повторение принца Гамлета в момент встречи с тенью отца. И еще несколько писателей в различной степени и в разных формах изумления были расставлены по комнате. Общее молчание, неподвижность, общее выражение беспримерного удивления, — все это действовало гипнотически. Прошло несколько полных секунд, пока я собралась с духом, чтобы спросить: «Что случилось?»

Ответила З.А.Н. *(З.А. Никитина, жена М. Козакова)*, которая раньше всех вышла из оцепенения:

— Мандельштам ударил по лицу Алексея Николаевича.

— Да что вы! Чем же он это объяснил? — спросила я (сознаюсь, не слишком находчиво).

Но уже со всех сторон послышались голоса: товарищи понемногу приходили в себя. Первым овладел собою Стенич. Он рассказал, что Мандельштам, увидев Толстого, подошел к нему

с протянутой рукой; намерения его были так неясны, что Толстой даже не отстранился. Мандельштам, дотянувшись до него, шлепнул слегка, будто потрепал по щеке, и произнес в своей патетической манере: «Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены».

Издательство наполнилось людьми. Откуда ни возьмись, появился М.Э.К. *(М.Э. Козаков)* и со всех силенок накинулся на Толстого.

— Выдайте нам доверенность! — взывал он. — Формальную доверенность на ведение дела! Предоставьте это дело нам! Мы сами его поведем!

— Да что я — в суд на него, что ли, подам? — спросил Толстой, почти не меняя изумленного выражения.

— А как же? — кричал К-в *(Казаков)*. — Безусловно в суд! В народный суд! Разве это можно оставить без последствий?

— Миша, опомнись, побойся Бога! — увещевал его Стенич.

— Причем тут народный суд? Разве это уголовное дело?

— Это дело строго литературное, — изрек своим тоном философа Гриша Сорокин. И с тихой ехидцей добавил: — На чисто психологической подкладке.

— Нет, я не буду подавать на него в суд, — объявил Толстой» (Из воспоминаний // Наше наследие. — 1988. — № 6. — С. 104)

Непосредственный свидетель происшедшего — пасынок Толстого Федор Волькенштейн — в своих воспоминаниях приводит следующую — в адрес Мандельштама — реплику только что получившего пощечину Толстого: «Что Вы делаете! Разве Вы не понимаете, что я могу Вас у-ни-что-жить!» (Ф. Волькенштейн. Товарищеский суд по иску Осипа Мандельштама // «Сохрани мою речь...» — М., 1991. — С. 57).

О дальнейшем читаем в воспоминаниях Н.Я. Мандельштам: «Получив пощечину, Толстой во весь голос при свидетелях кричал, что закроет для Мандельштама все издательства, не даст ему печататься, вышлет его из Москвы... В тот же день, как нам сказали, Толстой выехал в Москву жаловаться на обидчика главе советской литературы — Горькому. Вскоре до нас дошла угроза: «Мы ему покажем, как бить русских писателей»...» (Воспоминания, с. 18).

В том, что поступок Мандельштама приблизил катастрофу, случившуюся в Нащокинском переулке в ночь с 13 на 14 мая

1934 г., была до конца жизни убеждена А.А. Ахматова, в те дни лениградская гостья Мандельштамов.

«После того, как он дал пощечину Алексею Толстому, все было кончено <...> Он *(Толстой)* был очень одаренный и интересный писатель, негодяй, полный очарования, человек сумасшедшего темперамента; сейчас он мертв; он был способен на все, на все; он отвратительный антисемит, он был бешеный авантюрист, неверный друг, он любил только молодость, власть, жизненную силу <...> Он был разновидностью Долохова, он называл меня Аннушка — меня от этого передергивало, — но он мне нравился, даже несмотря на то, что он был причиной смерти лучшего поэта нашего времени, которого я любила и который любил меня» (Из записей И. Берлина. Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 гг. / Пер. А. Наймана // Цит. по: Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой, с. 275).

Приход Мандельштама в «Известия» к Гронскому с рассказом о пощечине датируется нами приблизительно 10 мая, вероятно, к этому же времени относится следующая запись И. Фейнберга: «Мандельштам с Наденькой в «Известиях» — в коридоре редакции «Нового мира». Робко держал ее за руку. Скитальцы — беженцы в мире» (Вопросы литературы. — 1991. — № 1, 9 января. — С. 71). Выслушав возбужденный рассказ Мандельштама, Гронский отреагировал самым неожиданным образом: «И это вы называете пощечиной?! По-нашему, двинуть так, чтобы человек с копытков полетел — вот это пощечина. <...> А это что — детская забава». Возможно, Осип Эмильевич предполагал, что Гронский уже знает о произошедшем и счел его слова *«детская забава»* добрым знаком. Не случайно Гронский говорил, что Мандельштам «ушел» от него «успокоенный».

В ночь с 13 на 14 мая (по данным НКВД, с 16 на 17 мая) он был арестован органами НКВД.

Беседу ведет В.Д. Дувакин

Осип Мандельштам, вообще говоря, декадент, но поэт приятный, мастер большой. Работал он очень медленно: стих вынашивал, обрабатывал тщательно. Встречался я с ним не часто. Невысокого роста, худенький, щупленький, всегда бедно оде-

тый: потрепанное пальто, поношенные брюки. Да и жил он, по-видимому, небогато. Но не об этом я хочу говорить. Как-то раз *(около 10 мая 1934 г.)* приходит ко мне в «Известия» *(Б. Путинковский пер., д. 5; ныне — Пушкинская площадь)* Мандельштам. *(В мае 1934 г. Гронский в «Известиях» уже не работал. Очевидно, Мандельштам зашел к нему в редакцию «Нового мира», находившуюся в том же здании.)* Поздоровались. Бегает по кабинету. Я: «Какая муха Вас укусила? Что Вы нервничаете? Что случилось с Вами?» Он останавливается: «Вот сейчас, Иван Михайлович, я дал пощечину графу Алексею». Я рассмеялся и говорю: «Расскажите, как это было?» — «Я надел белые перчатки, подошел и вот так коснулся его щеки». Я: «И это Вы называете пощечиной?! По-нашему, двинуть так, чтобы человек с копытков полетел — вот это пощечина! А это что — детская забава! — А вообще, Осип, зря Вы этим делом занимаетесь... так до дуэли еще договоритесь. Расскажите лучше, в чем дело... из-за чего произошло столкновение с Толстым?» Ну, и помню, что какую-то пустяковую штуку он мне рассказал. Потом я расспросил его, как он живет, что делает. Он мне сказал, из него буквально пришлось выдавливать это признание, что живет бедно. Я дал ему академический паек и сколько-то денег *(интересно, что в воспоминаниях Н.Я. Мандельштам этот факт не зафиксирован).* У меня ведь были деньги безотчетно, и я мог давать, кому считал нужным. Мандельштам тогда просидел у меня довольно долго и ушел успокоенный.

Мне передавали, что сейчас его жена выпустила свои воспоминания. Изданы они в Соединенных Штатах. И что вот в этих воспоминаниях она хорошо пишет обо мне *(в действительности имя Гронского появляется в воспоминаниях Н.Я. Мандельштам один раз, в сюжете о травле Мандельштама после публикации «Путешествия в Армению» (Звезда, 1933, № 5): «Все предупреждения в форме угроз и советов были уже сделаны (Гронский, Гусев), но О.М. ими пренебрег» (Воспоминания, с. 186))*, что я Мандельштама поддерживал, помогал ему. Я этих воспоминаний не читал. Не читал... Что еще о нем рассказать? Это был такой типичный интеллигент.

Ну, а до Вас не дошло ничего... связанное с его стихами о Сталине и арестом?

В 34 году его никто не арестовывал.

Ну как же! В 34 году он был арестован первый раз.

Во второй половине года, возможно. Он был выслан, по-моему.

Арестован и потом выслан.

Но срока не имел?

Имел. И имел глупость после истечения этого срока... ему, по-моему, три года дали, в 37 году срок кончился — приехать в Москву и там тыркаться и добиваться работы. И кончилось это дело тем, что его забрали совсем и он погиб.

Дело в том, что... он, во всяком случае, через суд в 34 году не проходил. По-моему, это была высылка административная, и только. Я об этом деле слышал, но не придал значения. Я уже болел, и мне было не до этого. Я редактировал «Новый мир» *(в 1932—1937 гг.)*, общался с писателями. Но вмешиваться в судьбу писателей так, как делал это раньше, я уже не мог. Просто здоровье не позволяло.

То есть власть уже ушла от Вас в этом плане.

Ну, власть... Видите ли, дело в чем... Власть... Я мог взять трубку телефона, позвонить тому же Сталину, и вопрос был бы решен. И я ему звонил, когда было нужно. *(Гронский явно преувеличивает свое могущество. К маю 1934 г. «вмешиваться в судьбу писателей» и вершить ее так, как, скажем, судьбу поэта Н. Клюева (в начале 1934 г. по личной просьбе Гронского (см. Минувшее. Вып. 8. — М., 1992. — С. 151) арестован Ягодой и сослан в Нарым), он действительно «уже не мог». Но отнюдь не по состоянию здоровья: летом 1933 г. он потерял свое место председателя Оргкомитета Комитета Союза писателей (из-за разногласий с Горьким по поводу проведения I съезда писателей), а в начале 1934 г. — пост главного редактора «Известий», позволявший ему присутствовать на заседаниях высшего партийного руководства страны. Оставшееся за ним место редактора «Нового мира» делало Гронского всего лишь одним из литературных функционеров среднего ранга. Не случайно в ходатайствах «по делу Мандельштама» (июнь-май 1934 г.) имя Гронского начисто отсутствует — обращались к секретарю союзного ЦИК — Енукидзе и новому редактору «Известий» — Н. Бухарину.)*

А куда Вы ушли после «Известий»? *(Гронский был редактором «Известий в 1931—1934 гг.)*

Я в «Новом мире» остался.

И до самого ареста своего? *(В 1938 г. Гронский был арестован. Пробыл в лагерях до 1953 г. В 1954 г. реабилитирован.)*

Нет, в 37 году я ушел из «Нового мира» и перешел на работу в Академию архитектуры. Но и после ухода из «Известий» я, когда надо было, звонил либо Сталину, либо Молотову, либо Калинину. Я всех их прекрасно знал.

Но вертушку-то у Вас уже срезали.

Вертушку у меня срезали в 37 году. А это было раньше. Но я мог позвонить и по городскому телефону.

Но по городскому до Сталина, наверное, не так просто было дозвониться?

Мне просто. Мне просто. Я мог позвонить Поскребышеву: «Сашка, соедини меня с Хозяином». Вопрос исчерпан. Он никогда мне в этом не отказывал. Никогда. Случая не было.



Сергей Павлович Бобров

В июле1968 г. В.Д. Дувакин встретился с **Сергеем Павловичем Бобровым** (поэтом, прозаиком, переводчиком, художником), одним из основателей (вместе с Б. Пастернаком и Н. Асеевым) литературных объединений «Лирика» и «Центрифуга» и его женой переводчицей **Марией Павловной Богословской**.

В начале беседы Дувакину рассказывается о цели визита М.П. Богословской к Пастернаку: надежда на содействие Бориса Леонидовича в реабилитации литературного имени Сергея Боброва (в 1934 г. С. Бобров был арестован по «делу статистиков» и сослан в Кокчетав). Пастернак мотивировал отказ принять участие в судьбе Боброва собственной опалой, причиной которой назвал свой «неудачный» телефонный разговор со Сталиным.

Телефонный разговор Сталина с Пастернаком «о Мандельштаме» состоялся 13 июня 1934 г. (через месяц после ареста Мандельштама) и вскоре в разных версиях широко распространился в московских литературных кругах. Со слов Пастернака его довольно точно запомнили В.Б. Шкловский (см. беседу Дувакина с В. Шкловским в наст. издании), А.А. Ахматова («Листки из дневника»), Н.Я. Мандельштам (Воспоминания, гл. «Истоки чуда»), З.Н. Пастернак и др. (Наиболее достовер-

ная реконструкция разговора Сталина с Пастернаком содержится в книге Л. Флейшмана «Борис Пастернак в тридцатые годы» (Иерусалим, 1984) и в исследовании Е.В. Пастернак и Е.Б. Пастернака «Координаты лирического пространства. К истории отношений О. Мандельштама и Б. Пастернака» (Литературное обозрение. — 1990. — № 2, 3).)

Надежда Яковлевна впервые услышала о нем в марте 1935 г. от самого Пастернака, а много позже «текстуально» воспроизвела в своих мемуарах: «Пастернака вызвали к телефону, предупредив, кто его вызывает. С первых же слов Пастернак стал жаловаться, что плохо слышно, потому что он говорит из коммунальной квартиры, а в коридоре шумят дети. <...> Борис Леонидович в тот период каждый разговор начинал с таких жалоб. Мы с Анной Андреевной тихонько друг друга спрашивали, когда он нам звонил: «Про коммунальную кончил?» Со Сталиным он разговаривал, как со всеми.

Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается, и что с ним будет все хорошо. Затем последовал неожиданный упрек: почему Пастернак не обратился в писательские организации или «ко мне» и не хлопотал о Мандельштаме. «Если бы я был поэтом и мой друг попал в беду, я бы на стену лез, чтобы ему помочь...»

Ответ Пастернака: «Писательские организации этим не занимаются с 27-го года, а если бы я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего бы не узнали». Затем Пастернак прибавил что-то по поводу слова «друг», желая уточнить характер отношений с О.М., которые в понятие дружбы, разумеется, не укладывались. <...> Сталин прервал его вопросом: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Да дело не в этом...» «А в чем же?» — спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. «О чем?» «О жизни и смерти», — ответил Пастернак. Сталин повесил трубку.

Пастернак попробовал снова с ним соединиться, но попал на секретаря. Сталин к телефону больше не подошел». (Н.Я. Мандельштам. Воспоминания, с. 172)

Из этого разговора Надежда Яковлевна не привела единственной фразы Пастернака, которая, как считала она, «если не знать его *(Пастернака)*, могла быть обращена против него». Версия С.П. Боброва и М.П. Богословской позволяет восстановить это «опущенное» Надеждой Яковлевной звено: «Я не

могу говорить о том, чего не чувствую. Мне это чужое. Вот я и ответил, *что ничего о Мандельштаме сказать не могу*».

Обвинениям Пастернака в малодушии, проявленном в разговоре со Сталиным (позиция Боброва. Из опубликованных в последние годы мемуарных свидетельств этой точки зрения придерживалась и Галина фон Мекк (в России ее воспоминания стали известны в 1999 г.): «Борис Пастернак не был бунтарем, как Мандельштам. Он был мечтателем, и он струсил» («Такими я их помню...» Цит. по: «Сохрани мою речь...» Вып. 3. Часть 2. — М., 2000. — С. 101).), в свое время решительно воспротивились ближайшие Мандельштаму люди: Надежда Яковлевна Мандельштам и Анна Андреевна Ахматова. Позиция Ахматовой была твердой: «Я и Надя решили, что Борис отвечал на крепкую четверку. Борис сказал все, что надлежало, и с достаточным мужеством. (Он мне тогда же пересказал от слова до слова.) Не на 5, а на 4 только по тому, что он был связан: он ведь знал **те** стихи, но не знал, известны ли они Сталину? Не хочет ли Сталин его самого проверить, знает ли он» (Л.К. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2, с. 421—422).

Надежда Яковлевна была единодушна с Ахматовой в полной «реабилитации» Пастернака: «Сейчас распространяются слухи, что Пастернак так струсил во время разговора со Сталиным, что отрекся от О.М. <...> Что можно инкриминировать Пастернаку, особенно если учесть, что Сталин сразу сообщил о пересмотре дела и о своей милости. <...> О.М., выслушав подробный отчет, остался вполне доволен Пастернаком, особенно его фразой о писательских организациях. <...> «Дал точную справку», — смеялся он. Он был недоволен самим фактом разговора: «Зачем запутали Пастернака, я должен сам выпутываться — он здесь не причем...» И еще... «Он совершенно прав, что дело не в мастерстве... Почему Сталин так боится «мастерства»? Это у него вроде суеверия. Думает, что мы можем нашаманить...» И, наконец: «А стишки, видно, произвели впечатление, если он так раструбил про пересмотр» (Н.Я. Мандельштам. Воспоминания, с. 174—175).

Это была позиция человека, уже «осужденного последним приговором» — автора «Горца», который подобно своему предшественнику-поэту мог сказать о себе: «Я так клялся и к гибели летел...».

В начале шестидесятых годов Ахматова в полемическом разговоре с А. Тарковским «о Пастернаке» даст неожиданное

(не в пользу Пастернака) сопоставление его судьбы с судьбой С. Боброва. По просьбе Анны Андреевны ее аргументы «по горячим следам» были записаны Н.Н. Глен, в те годы — литературным секретарем Ахматовой: «Он *(Пастернак)* совсем не несчастный, и его еще как печатали <...> Не надо делать его не таким, каким он был. Он всегда поступал именно как нужно, он написал три революционных поэмы («Девятьсот пятый год», «Лейтенанта Шмидта» и «Спекторского») и в 1934 г. он напечатал в «Известиях» *(в 1936 г.)* стихи — я не помню, это кажется со второй строчки — «За древними кремлевскими стенами не человек, предание живет...». *(Ахматова по памяти цитирует впоследствии отброшенные Пастернаком строки из его стихотворения «Мне по душе строптивый норов...»: «За древней каменной стеной // Живет не человек — деянье...».)* В тридцатом году он уговаривал меня пойти по этому пути, звонил по телефону и говорил: «Советская действительность плюс Ахматова — это одно, советская действительность минус Ахматова — это другое», и «даль социализма» была ему близка, и все было. И «Второе рождение» <...> Правда, в 1937 г. *(в августе 1936 и в июне 1937 г.)* к нему приходили, чтобы он подписал какое-то письмо, что он требует казни Зиновьева, кажется, и он ответил, что ничьей казни не требует. Тогда немногие так поступали. Это тоже было.



Б.Л. Пастернак. 1933 г.

Но так его печатали и хвалили, и отсюда его благополучие, и квартиры, и дачи, — иначе ничего бы этого не было. Иначе он был бы как этот его соратник — Сергей Бобров, несчастный нищий полусумасшедший старик после восьми лет лагеря...» (Из личного архива Н.Н. Глен, публикуется в сокращении.).

А чуть раньше, в середине пятидесятых годов, случайно произнесенное С. Бернштейном имя Сергея Боброва «вытолкнуло» из памяти Надежды Яковлевны забытую эпиграмму Мандельштама: «Но я люблю твои, Сергей Бобров, // Почтово-телеграфные седины»...

Беседу ведет В.Д. Дувакин (при участии Марии Павловны Богословской)

Значит, «Центрифуга» отпочковалась *(1914 г.)* **от кружка «Лирика»? Почему же Вас все-таки в футуристы тоже зачислили?**

Потому что мы были левее многих групп...

А отношения с «Аполлоном»?

С «Аполлоном» — никаких. Они нами не интересовались, а мы ими. Мы считали, что акмеизм — это нечто неинтересное.

Так что Ахматова, Мандельштам не были в сфере ваших интересов? Ведь как раз в это время «Камень» Мандельштама вышел...

Да. Но тут разница большая. По весу своему, по удельному весу, «Поверх барьеров» — это вещь эпохальная, а «Камень» — это что же... Ну, очень хорошо, конечно, чистенько, аккуратно, мило, но при большом нажиме любой сейчас может такие вещи делать. Ахматову мы, кстати, тоже не очень ценили. Ну, ведь это было еще соревнование Москвы и Петербурга. Петербург такой эстетический...

<...>

Он *(Полонский)* хороший человек был. Знаете, как с ним интересно было. Он напечатал мою статью о Мандельштаме *(Рец. на кн.: К. Липскеров. Туркестанские стихи [сводная рецензия] // Печать и революция. — 1922. — № 2. — С. 363. — Подп.: Э. Бик.)*, которую сейчас очень охотно цитируют в Америке. Случилось это так. Я прихожу...

У Вас была статья о Мандельштаме?

Да. Она опубликована в «Печати и революции». Так вот. Я прихожу. Вячеслав Павлович мне говорит: «А у нас есть для Вас один порошок». Я: «Что это за порошок такой? Давайте». — «А Вы не боитесь?» — «Нет». — «Вот Вам — новая книжка Мандельштама. *(По-видимому, речь идет о кн.: Tristia. — Берлин: Petropolis, 1922 (на обложке указан 1921 г.).)* Вы хорошо о своих

пишете, о футуристах. А ну-ка, напишите об акмеисте, только по совести, без полемики». Я говорю: «Давайте, пожалуйста». И вот это была статья, которая впервые Мандельштама оценила как следует. Ну, надо сказать, что Брюсов страшно на нее обозлился, потому что Мандельштам все-таки был акмеист — чужой человек.

<...>

Вы знаете, что Боря [Пастернак] однажды отказался поддержать Мандельштама? Вам это известно или нет?

Я об этом слышал дважды. И очень бы хотел, чтобы Вы сказали, как Вам это известно.

Известно очень просто. Мне Боря сам рассказывал. Дело было в том, что Сталин позвонил ему на квартиру. Боря сперва не верил и говорит: «Будет дурака ломать». Наконец, его там всерьез одернули, и он стал слушать. Сталин его спрашивает: «Какого Вы мнения о Мандельштаме?» И Боря струсил, начал объяснять, что он плохо его знает и т. д., хотя был в курсе, что Мандельштам арестован. Сталин страшно обозлился: «Мы так товарищей наших нэ защищали», — и бросил трубку. И с тех пор судьба Пастернака была уже плохая.

Судьба Мандельштама?

Пастернака. Судьба Пастернака. Сталин перестал обращать на него внимание.

А Вы думаете, что, если бы он твердо защитил, то...

Видите, какая ситуация... Это очень было рискованно. Но чем было рисковать? Вот когда я сидел в тюрьме *(в 1934 г.)*, меня спрашивали про Оболдуева и я отвечал, что Оболдуев, — мне очень жаль, что я о нем говорил в этом заведении, — замечательный поэт.

Оболдуев?

Георгий Николаевич Оболдуев, которого Вы, конечно, не знаете, ибо он за всю свою жизнь напечатал только одно стихотворение. Очень талантливый поэт, последователь Ивана Александровича Аксенова.

Скажите, то, что Вы рассказали мне о Пастернаке, Вы знаете с его слов или со слов Шкловского?

Насчет Мандельштама? Это он сам рассказывал Марии Павловне.

Сам рассказывал? Вот Шкловский мне рассказал это почти в тех же словах.

Так это же известно. И Боря сам рассказывал, и Зина, Зинаида Николаевна.

Он струсил.

Струсил. Напустил в штаны. А нельзя было. Сталин был такой человек... Конечно, жестокости невероятной, но все-таки... Вот, представляете себе мизансцену. С чего бы Сталину звонить? Ведь могла быть такая штука: ему говорят: «Мы Мандельштама взяли». Он спрашивает: «А стоило?» — «Да за него ни одна душа заступиться не может». — «Ну, как же это «не может»? — говорит Сталин. — Дайте мне Пастернака». Звонит ему и вдруг нарывается...

Его взяли окончательно за стихи о Сталине.

Ну, это во второй раз, второй раз. А это первый.

Стихи о Сталине, в сущности, по тем временам страшные были.

Страшные. Мандельштам, конечно, очень решительный был человек. Ведь он был чудак, понимаете, индюшонок, которому Господь Бог обронил в сердце поэтический дар. Маленький человечек такой... Но страшно, безумно самолюбивый и безумно честолюбивый, но не так, как Боря, по-другому.

Вы с ним общались?

Да, общался, но мало. Мы с ним были очень разные люди. Очень.

Но ведь он был человек, абсолютно преданный поэзии.

Кто, Мандельштам? Весьма вероятно. Но этого мало — быть преданным поэзии. Вот Вы преданы поэзии, а сделать для нее ничего не можете. Так что, знаете, это еще не все.

Мария Павловна, при Вас Пастернак рассказывал о своем разговоре со Сталиным насчет Мандельштама?

М.Б.: Да. Он *мне* это рассказывал.

Он *Вам* рассказывал? Я это слышал от Шкловского, и мне очень важно независимое подтверждение. Шкловский тоже со слов Пастернака. Как сам Пастернак об этом говорил? Он же не сказал про себя, что наложил в штаны?

— Нет.

М.Б.: Я тогда только что приехала из ссылки в Москву *(речь идет о второй половине тридцатых годов)* добиваться, чтобы Сергею Павловичу чем-нибудь...

— помогли.

М.Б.: Да. Или напечатали его. Кажется, это было тогда, когда он уже в Александрове...

— досиживал *(в 1934 г. С. Бобров был выслан из Москвы в Кокчетав, затем на положении ссыльного жил в Александрове, перед войной вернулся в Москву).*

М.Б.: Да, за 100 километров от Москвы. Потому что его после ссылки в Москву не пустили, и он 4 года жил в Александрове. И вот, я приехала добиваться, чтобы что-нибудь из его вещей напечатали. У него были тогда очень хорошие стихи о войне с Испанией, еще какие-то...

О войне с Испанией? Вот Вам и дата. Значит, это уже 36 — 37 год. Война с Испанией началась в 36 году.

М.Б.: Ну вот. О войне с Испанией... Или, может... о «Песни о Роланде» был разговор. Сейчас уже не помню. Одним словом, я пошла к Пастернаку. Я шла и все время про себя только и думала: «Не дай мне Бог сразу попасть под чары Пастернака». Пастернак обладал необыкновенным даром обольщать людей, засмотритесь на него — и готово: Вы уже проглочены. А мне важно было поговорить о Сергее Павловиче. И я начала разговор о том, что̀ Сергей Павлович сделал и, может, ему возможно как-то помочь... Пастернак сразу нахмурился и сказал, что у него никаких возможностей нет. «Вы знаете о моем разговоре со Сталиным?» — «Нет, я ничего не слышала, ничего не знаю». Вот тут он мне его и рассказал. Сказал еще: «Мне... неудобно было говорить, у меня были гости...»

А Вы даже не знали, что Мандельштам арестован?

М.Б.: Может, знала, а вот о том, что шел разговор, чтобы его вернуть или еще что-то, могла не знать. Я не в курсе была, потому что была так поглощена нашими собственными бедами. Так вот, Пастернак мне сказал, что ему звонил Сталин. В тот день у него было много гостей. Он взял трубку — «С Вами будет говорить Иосиф Виссарионович». Он ответил: «Ах, оставьте эти шутки», — и положил трубку. Кажется, чуть ли не до трех раз так было: он брал трубку и не верил, что с ним будет говорить Сталин. Потом, наконец, ему строгим голосом сказали, и...

...пришлось поверить.

М.Б.: Да. Сталин его спросил, как он относится к Мандельштаму, что он может сказать о Мандельштаме? «И вот, вероятно, это большая искренность и честность поэта, — сказал мне Пастернак, — я не могу говорить о том, чего не чувствую. Мне это чужое. Вот я и ответил, что ничего о Мандельштаме сказать не могу».

То есть Пастернак не сказал: «Это большой поэт»?

М.Б.: Нет, он ничего не сказал. Так он мне говорил, что не сказал ничего. И оправдывал себя тем, что не может кривить душой. А почему этот разговор зашел? Потому что я ему показывала какие-то стихи Сергея Павловича. Он сказал, что это не те стихи Боброва, которые он любит. И кроме того... он вообще бессилен чего-нибудь сделать... «Сами понимаете, после этого разговора мой престиж сейчас невысок».

Но Сталин ему ответил...

М.Б.: Вот эту фразу — «Мы не так заступались за своих товарищей» — он мне не говорил.

А откуда Вы знаете?

М.Б. и С.Б.: А это рассказывали.

Шкловский рассказал?

Не помню. Нет, не Шкловский. Кто-то другой...

Мне Шкловский рассказывал, что Сталин бросил трубку, сказав: «Ну, мы так наших товарищей *нэ* защищали».

Это естественно. Я себе представляю так, что ему хотелось поддержки... с кем-то он спорил...

Каждому злодею иногда надо быть милостивым.

М.Б.: И после этого рассказа Пастернака мы с ним сразу заговорили о Шекспире...

Сергей Александрович Макашин

Беседа ученицы Дувакина М.В. Радзишевской с **Сергеем Александровичем Макашиным** (филологом, литературоведом, с 1931 г. одним из редакторов «Литературного наследства») состоялась в январе 1986 г. Отсутствие в рассказе Макашина о посещении Мандельштамом редакции «Литературного наследства» *(Страстной бульвар, д. 11)* фиксированной даты позволяет отнести этот визит к середине — концу воронежской ссылки поэта (его нелегальные, «потихоньку», приезды из Воронежа в Москву подтверждаются и свидетельством В.Г. Шкловской-Корди).

Отношение жестоко бедствующего в эти годы поэта («Мандельштам, очень плохо одетый, в грязной белой сорочке, не очень бритый...») к гарантированному заработку — чужим плохим стихам, подлежащим переводу, — еще в 1935 г. наблюдал в Воронеже и С. Рудаков. В августе того же года в письме к жене он приводит почти дословную запись монолога Мандельштама: «... Делать то, что мне тут дают, — не могу <...> Я гадок себе. Во мне поднимается все мерзкое из глубины души. Меня голодом заставили быть оппортюнистом [так!] <...> Это начало опять большой пустоты». В конце письма Рудаков даст свое

резюме: «Положение скверное и упирается в тупик материальный. Но беда не так близка, дело не в ней, а в том, что Мандельштам взвыл от халтуры. Не тот Осип Эмильевич (или Ося), что с нами обедал, а гениальный, равный Овидиям...» (С. Рудаков. Из писем 1935—1936 гг. // Осип Мандельштам. Воронежские тетради, с. 302—303). В тот же день, 2 августа, Рудаков зафиксирует следующие слова Надежды Яковлевны: «Это медленное выживание человека — давать ему работу, ему чуждую, но по сравнению с Москвой, и рецензии, и радио, и статья в газету — невероятная свобода. Все это рано или поздно приведет к тупику. <...> Ося цепляется за все, чтобы жить <...>, но приспосабливаться он не умеет. Я за то, чтобы помирать». (Там же, с. 301—302)

По возвращении Мандельштамов из Воронежа, в мае 1937 г., вопрос о необходимости переводческой работы встал перед ним особенно остро. Из первых недель московской жизни Надежда Яковлевна запомнила состоявшийся в начале лета 1937 г. спор между О.Э. Мандельштамом и ее братом, Е.Я. Хазиным, посвященный «проблеме переводов». «Евгений Яковлевич говорил, что на первое время это совершенно необходимо, а если «Вам противно, пусть переводит Наденька». О.М. утверждал, что не переносит этого занятия и не находит себе места, когда «переводит Наденька». Разрешил спор Луппол, главный редактор Гослита. Он сказал, что пока сидит за редакторским столом, Мандельштам не получит ни строчки переводов и вообще никакой работы». (Н.Я. Мандельштам. Воспоминания, с. 335—336)

А с конца февраля 1938 г. в Советской России поэт Осип Мандельштам перестал официально существовать и как переводчик — за два месяца до его ареста ГИХЛ (так с августа 1934 г. называлось издательство «Художественная литература») отказало Мандельштаму в последней в его жизни литературной «поденщине» — речь шла о переводе дневника Гонкуров.

Беседу ведет М.В. Радзишевская

В те годы, когда печатаные газеты были большой редкостью, каждый императорский двор на Западе имел при себе придворного писателя или журналиста, которому поручалось извлекать из разного рода прессы и слухов какие-то интересные новости

и составлять такие письменные газеты для королевской четы. Вот при малом дворе, при Павле Петровиче, будущем императоре Павле I, таким корреспондентом из Парижа состоял второстепенный поэт Блен де Сенмор *(Сенмор был корреспондентом Марии Федоровны, жены Павла I).* Он был поэт и поэтому все новости Парижа, Франции и Версаля *(с 1782 по 1791 г.)* сообщал в стихах. Стихи его были очень второсортные по своей версификаторской, поэтической данности, но, тем не менее, это поэт, который упоминается в словарях. И мне захотелось дать перевод его публикации тоже в стихах. Я это сказал одному совершенно второстепенному тоже поэту, имя которого уже забыл, находившемуся в дружеских отношениях с Осипом Мандельштамом. И вдруг в один день у меня в редакции *(«Литературного наследства» (Страстной бул., 11))* появился Мандельштам, очень плохо одетый, в грязной белой сорочке, не очень бритый, и говорит, что ему о моей затее рассказывали. Я спросил: «Что же, возьметесь?» — «Покажите мне это. Я очень нуждаюсь в заработке». Он приехал, насколько я понимаю, нелегально. Оказывается, он тогда был в ссылке в Воронеже *(1934—1937 гг.).* И приезжал оттуда нелегально, на день-два, в расчете на заработок. Но он был человек принципиальный. Просидел у меня часа полтора, просмотрел все эти донесения стихотворные де Сенмора и сказал, что нет, он не берется за эти переводы, потому что это просто очень плохие стихи и что переводить такие плохие стихи ему, Мандельштаму, совершенно невозможно. Вот такое было мое короткое, на час — полтора, знакомство с Мандельштамом. А стихи эти в конце концов перевел *(в прозе)* тот человек, который меня с ним свел, и они в печати есть. *(Готье Ю. Литературная корреспонденция Блена де Сенмора в Россию // Литературное наследство. Т. 29/30 («Русская культура и Франция»), 1937 (В выходных данных тома указано, что издание «подготовил к печати С.А. Макашин»).)*



Рисунок Анны Ахматовой. Конец 1950-х гг. Архив Н.Н. Глен

(Рабочий экземпляр)

ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА

.... 28 июля 1957

... и смерть Лозинского каким-то таинственным образом оборвала нить моих воспоминаний. Я больше не смею вспоминать что-то, что он уже не может подтвердить /о Цехе поэтов, акмеизме, журнале "Гиперборей" и т.д./. Последние годы из-за его болезни мы очень редко встречались, и я не успела договорить с ним чего-то очень важного и прочесть ему мои стихи тридцатых годов. (т.е. Реквием) От этого он в какой-то мере продолжал считать меня такой, какой он знал меня когда-то в Царском. Это я выяснила, когда в 1940 г. мы смотрели вместе корректуру сборника "Из шести книг".

....

Что-то в этом роде было и с Мандельштамом, но по-другому. Он вспоминать не умел, вернее, это был у него какой-то иной процесс, названья которому сейчас не подберу, но который несомненно близок к творчеству. /Пример – Петербург в "Шуме Времени", увиденный сияющими глазами пятилетнего ребенка/.

Мандельштам был одним из самых блестящих собеседников: он слушал не самого себя и отвечал не самому себе, как сейчас делают почти все. В беседе был учтив, находчив и бесконечно разнообразен. Я никогда не слышала, чтобы он повторялся. С необычайной легкостью О.Э. выучивал языки. "Божественную комедию" читал наизусть страницами по-итальянски. Незадолго до смерти просил Надю выучить его английскому языку, которого совсем не знал. О стихах говорил ослепительно, пристрастно и иногда бывал чудовищно несправедлив, например к Блоку. О Пастернаке говорил: "Я так много думаю о нем, что даже устал" и "Я уверен,

Анна Ахматова. Листки из дневника.
Авторизированная машинопись. Архив Н.Н. Глен

Когда же он написал ~~таинственное~~ смутное (или очень удачное) стихотворение про черного ангела, Надя утверждает, что оно как-то относится ко мне, и исходит от моих строк

„Черных ангелов крылья остры,
Скоро будет последний суд
И малиновые костры,
Словно розы в снегу растут)

Я это вкраплю. 10.

Свода дата из Черного ангела.

Артур Сергеевич Лурье рассказывал мне (10[-х] год), что шел с Мандельштамом по Невскому и он встретил невероятно великолепную даму. Осип находчиво предложил своему спутнику: „Отнимем у нее все и отдадим Анне Андреевне“. Зап. 17 дек. 1962 г.) (Точность можно еще проверить у Лурье.)

Это был мой первый Мандельштам. Автор зеленого „Камня“ *) (изд. „Акмэ“) с такой надписью: [Цитата].

Я вижу его, как сквозь редкий туман — Вас. Ост.**) в ресторане бывш. Кинши (где когда-то по легенде Ломоносов пропил казенные часы) (куда мы (Гумилевы) иногда ходили завтракать с „Тучки“.

Этот Мандельштам — щедрый сотрудник, если не соавтор „Антологии античной глупости“, которую члены Цеха поэтов сочиняли (почти все, кроме меня) за ужином.

[Цитаты: „Лесбия, где ты была“, „Сын Леонида был скуп...“ „Я был в гостях у Шилея“ —] но он же был автором

„Странник! — откуда идешь? — Я был в гостях у Шилея,
Дивно живет человек — за обедом кушает гуся,
Книги коснется рукой — сам зажигается свет...
Если такие живут на Четвертой Рождественской людям,
Странник, ответствуй мне — кто же живет на Восьмой?“

таинственные, (короткие) и совершенно ни на что не похожие стихотворения, которые всем нашим поколением пронесено в сердце все эпохи

... сквозь все:
Со смертной его сонорной...

[Цитаты].

*) Осип рассказывал, что старый еврей — хозяин типографии, где печатался „Камень“, поздравил его с выходом книги, пожал ему руку и сказал: „Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше“.

**) Угл. 2-ой лин. и Бол. Просп. Теперь там парикмахерская.

Анна Ахматова. Листки из дневника.
Авторизованная машинопись. Архив Н.Н. Глен

что он не прочел ни одной моей строчки".x/ О Марине: "Я - антицветаевец". В музыке О. был дома, и это крайне редкое свойство. Больше всего на свете боялся собственной немоты. Когда она настигала его, он метался в ужасе и придумывал какие-то нелепые причины для объяснения этого бедствия. Вторым и частым его огорчением были читатели. Ему постоянно казалось, что его любят не те, кто надо. Он хорошо знал и помнил чужие стихи, часто влюблялся в отдельные строчки, легко запоминал прочитанное ему.

Я познакомилась с О. Мандельштамом "на башне" Вячеслава Иванова весной 1911 года. Тогда он был худощавым мальчиком с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с ресницами в полщеки.

В десятых годах мы естественно всюду встречались: в редакциях, у знакомых, в "Бродячей собаке" /где он, между прочим, представил мне Маяковского, о чем очень потешно рассказывал Харджиеву в 30-х годах/, в "Академии стиха" /"Общество ревнителей художественного слова", где царил Вячеслав Иванов/ и на враждебных ~~им~~ этой Академии собраниях Цеха Поэтов, где ~~он~~ М. очень скоро стал первой скрипкой. Гумилев ~~очень~~ рано и хорошо оценил Мандельштама. Символисты никогда его не приняли. Приезжал О.Э. и в Царское. Когда он влюблялся, что происходило довольно часто, я несколько раз была его конфиденткой. Первой на моей памяти была Анна Михайловна Зельманова-Чудовская, красавица-художница. Она написала его на синем фоне с закинутой голо-

---

x/ Будущее показало, что он был прав /см. Автобиографию Пастернака, где он пишет, что в свое время недооценил 4-х поэтов: Гумилева, Хлебникова, Багрицкого и Мандельштама/.

(и его там поразившего (это помнит и М.А.З.)) (о котором все говорили — Георгий Иванов)

(В Варшаву О.Э. действительно ездил, но самоубийство его с попыткой — плод вымысла, как и о дочке Липочке, даже надо не ... которую она якобы родила...)

вой. Анне Михайловне он стихов не писал, на что сам горько мне (Ещё не умел писать любовные стихи). жаловался. Второй была Цветаева, к которой обращены [redacted] крымские и московские стихи, третьей Саломея Андроникова (Андреева), которую Мандельштам обессмертил в книге "Tristia" /"Когда соломинка ..."/. В начале революции /1920/ в то время, когда я жила в полном уединении и даже с ним не встречалась, он был одно время влюблен в Ольгу Арбенину (актр. Ал. т-ра, ставшую женой Ю. Юркуна) и писал ей стихи („За то, что я руки твои ... и т.д."). Рукописи пропали во время блокады. Замечательные стихи обращены к Ольге Ваксель (и к ее тени: „В холодной стокгольмской ...").

Всех этих дореволюционных дам он через много лет назвал (Вот, что, между прочим, и ...) „нежными европеянками." (в мех.), [дать цитату].

В 1933-34 гг. Осип Эмильевич был бурно и коротко и безответно влюблен в Марию Сергеевну Петровых. Ей посвящено, вернее к ней обращено стихотворение "Турчанка" /заглавие мое - А.А./, („Мастерица виноватых взоров") —) лучшее на мой вкус любовное стихотворение 20-го века. Надеюсь, можно не напоминать, что этот дон-жуанский список не означает перечня женщин, с которыми Мандельштам был близок...

Дама, которая "через плечо поглядела" - это так называемая "Бяка", тогда подруга жизни С.Ю. Судейкина, а ныне супруга Игоря Стравинского.

Легенда о его увлечении Анной Радловой ни на чем не основана. Пародию на ее стихи /"Архистратиг вошел в иконостас"/ он сочинил из веселого зловредства, а не par dépit или (и) притворным ужасом. Это-то шепнул мне: „Архистратиг пищит!"

Десятые годы - время очень важное в творческом пути Мандельштама и об этом еще будут много думать и писать /Чаадаев, Вийон, католичество/... О его контакте с группой „Гилея" см. воспом. Зенкевича.

Революцию М. встретил вполне сложившимся и уже, хотя и в узком кругу, известным поэтом.

—) Мария Сергеевна (1962 г.) говорит, что было еще одно совершенно волшебное стихотворение о белом цвете. Рукопись повидимому пропала. Несколько строк М.С. знает на память.

II

Особенно часто я встречалась с М-ом в 1917-18 гг., когда жила на Выборгской у Срезневских /Боткинская 9, не в сумасшедшем доме, а в квартире старшего врача Вяч.Вяч. Срезневского, мужа моей подруги Валерии Сергеевны/.

М-ам часто заходил за мной и мы ехали на извозчике по невероятным ухабам революционной зимы среди знаменитых костров, которые горели чуть ли не до мая, слушая неизвестно откуда несущуюся ружейную трескотню. Так мы ездили на выступления в Академию Художеств, где происходили вечера в пользу раненых и где мы оба несколько раз выступали. Был со мной О.Э. и на концерте Бутомо-Названовой в консерватории, где она пела Шуберта (См. „Нам пели Шуберта"). К этому времени относятся все обращенные ко мне стихи: "Я не искал в цветущие мгновенья" (все 1917 г.), "Твое чудесное произношенье", "Это ласточка и дочка" и м.б. "Откажется попробовать его" x/ . Мандельштам одним из первых стал писать стихи на гражданские темы. Революция была для него огромным событием и слово н а р о д не случайно фигурирует в его стихах.

Примерно в марте М. исчез. Тогда все исчезали и появлялись и никто этому не удивлялся. В Москве М. становится постоянным сотрудником "Знамени Труда".

Снова и совершенно мельком я видела М. в Москве осенью 1918 года. В 1920 он раз или два приходил ко мне на Сергиевскую (и там мы [illegible]), когда я работала в библиотеке Агрономического института (в 1920 году). Тогда я узнала, что в Крыму он был арестован белыми, в Тифлисе - меньшевиками. Летом 1924 года О.М. привел ко мне /Фонтанка, 2/ свою молодую жену. Надюша была то, что французы называют

---

x/ Кроме того, ко мне в разное время обращены четыре четверостишия: 1/ "Вы хотите быть игрушечной" /1911/; 2/ "Черты лица искажены" /10-е годы/; 3/ "Привыкают к пчеловоду пчелы"/30-е г/ 4/ „Знакомства нашего на склоне" (30-е годы)

4

(...) Одну зиму Мандельштамы (из-за Надиного здоровья) жили в Царском Селе, в Лицее. Я была у них там несколько раз. Жить там Осипу не нравилось. Он люто ненавидел так называемый царскосельский снобизм Голлербаха и Рождественского и спекулянтов на имени Пушкина. К Пушкину у Мандельштама было какое-то небывалое, почти грозное отношение — в нем мне чудится какой-то венец сверхчеловеческого целомудрия. Всякий пушкинизм был ему противен. О том, что

Вчерашнее солнце на черных носилках несут —

Пушкин — ни я, ни даже Надя не знали, и это выяснилось только теперь из черновиков (50-е годы). У меня он сам взял на столе «Последнюю сказку», прочел и сказал: «Прямо — шахматная партия».

Сияло солнце Александра,
Сто лет тому назад сияло всем. (дек. 1917)

конечно, тоже Пушкин.

Вообще же темы — Мандельштам в Царском Селе нет и не должно быть. Это были корни не для него.

2

Были и у М. в Китайской деревне (где они жили с Лифшицами). В комнатах абсолютно не было никакой мебели и зияли дыры прогнивших полов. Для О.Э. нисколько не было интересно, что там когда-то жили и Жуковский и Карамзин.

Уверена, что он, приглашая меня (нарочно) вместе с ними идти покупать папиросы или сахар, говорил: «Пойдем в европейскую часть города», будто это Бахчисарай или что-то столь же экзотическое.

Жить они хотели в полуциркуле Большого дворца, но над ними текла крыша. Таким образом в бывшем Лицее.

laide mais charmante. С этого дня началась моя с нею дружба и продолжается она по сей день.*)

Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно. Когда ей резали апендикс в Киеве, он не выходил из больницы и все время жил в каморке у больничного швейцара. Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов о каждом слове в стихах. Вообще я ничего подобного в своей жизни не видела. Сохранившиеся письма М-ма к жене полностью подтверждают это мое впечатление. В 1928 г. М-мы были в Крыму. Вот письмо Осипа от 25-го августа:

Дорогая Анна Андреевна,

Пишем вам с П.Н. Лукницким из Ялты, где все трое ведем суровую трудовую жизнь.

Хочется домой, хочется видеть вас. Знаете, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми – с Николай Степановичем и с вами. Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется.

В Петербург мы вернемся ненадолго в октябре. Зимовать там Наде не велено.

Мы уговорили П.Н. остаться в Ялте из эгоистических соображений. Напишите нам.

Ваш О. Мандельштам

Попытки устроиться в Ленинграде были неудачными. Надя не любила все, связанное с этим городом и тянулась к Москве, где жил ее любимый брат Евгений Яковл. Хазин. Осипу казалось, что его кто-то знает, кто-то ценит в Москве, а было как раз наоборот. В этой биографии поражает одна частность: в то время как /в 1933г./ О.Э. встречали в Ленинграде как великого поэта,

[Мандельштам пишет, что М. был у Волошина драгоценное издание — драгоценное издание Данта, а было это драгоценное издание франко-итальянским. Как надо было, чтобы называть такое издание драгоценным. Словно это Альд!

Подарок Надя из больницы

После сравнительно долгого перерыва я встретилась с Мандельштамами после их последнего крымского лета («Сольем твою лазурь и наше черноморье»[x]) когда он приехал выступать в Ленинграде. Они остановились в «Евр. Гост.» Осип весь горел Дантом: он только что выучил итальянский язык — читал «Божеств. Комедию» днем и ночью. Показал мне что-то из «Purgatorio». Я стала читать наизусть явление Беатриче. (Чистилище, XXX …)

Sopra candido vel, cinta d'oliva
Donna m'apparve sotto verde manto
Vestita di color di fiamma viva.

Он заплакал. Я — испугалась: «Что?» — «Нет, ничего, только эти слова и вашим голосом.» Это если Надя хочет — пусть вспоминает я не должна. Потом мы часто вместе читали Данта.
вспоминает

1964. Рождество.
Гавань
Последний День
Больница

5
x) Их и море было ему почти так же необходимо, как (синего ~~черного~~ моря,) на игольник Надя. (На вершок от мне только ушко!)

Примерно тогда же возникла его теория знакомства слов. Много позже он утверждал, что стихи пишутся только как результат сильных потрясений, как радостных так и трагических. О своих стихах, где он хвалил Сталина, он сказал мне: Я теперь понимаю, что это была болезнь.

persona grata и т.п. к нему в Европейскую гостиницу на поклон пошел весь тогдашний литературный Ленинград /Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский, Вольпе/ и его приезд и вечера были событием, о котором вспоминали много лет. В Москве его никто не хотел знать и кроме двух-трех молодых и неизвестных ученых-естественников О. ни с кем не дружил, /Знакомство с Белым было коктебельского происхождения/. Пастернак как-то мялся, уклонялся, любил только грузин и их "красавиц-жен". Союзное начальство вело себя подозрительно сдержанно. О. был в ярости

Осенью 1933 г. Мандельштам, наконец, получил /воспетую им/ квартиру в Нащокинском переулке и бродячая жизнь как будто кончилась. Там впервые у Осипа завелись книги, главным образом старинные издания итальянских поэтов /Данте, Петрарка/. Он в то время переводил Петрарку. На самом деле ничего не кончилось: все время надо было куда-то звонить, чего-то ждать, на что-то надеяться. И никогда из всего этого ничего не выходило. Кругом завелось много людей, часто довольно мутных и почти всегда ненужных. Несмотря на то, что время было сравнительно вегетерианское, тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме. Жить в общем было не на что - какие-то полупереводы, полурецензии, полуобещания. Пенсии едва хватало, чтобы заплатить за квартиру и выкупить паек.

К этому времени М. внешне очень изменился: отяжелел, поседел, стал плохо дышать - производил впечатление старика /ему было 42 года/, но глаза попрежнему сверкали. Стихи становились все лучше, проза тоже.

Тринадцатого мая 1934 года его арестовали. В этот самый день я после града телеграмм и телефонных звонков приехала к

*) Григорий Александрович бывал у Мандельштамов и в Москве. [illegible]

Мандельштамам из Ленинграда /где незадолго до этого произошло его столкновение с Толстым/, Мы все были тогда такими бедными, (Орденский знак „Обезьяньей" Палаты – последний дар Рем. в Пасс[illegible]) что для того, чтобы купить билет обратно, я взяла с собой статуэтку /работы Данько 1924 г./ для продажи. (ее купила Е. Толстая для музея О. [illegible]) Ордер на арест был подписан самим Ягодой. Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, (ходили по выброшенным из сундучка рукописям) Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. За стеной у Кирсанова играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел "Волка" и показал О.Э. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в семь утра. Было совсем светло. Надя пошла к брату, я к старым друзьям, и мы условились где-то встретиться. Вернувшись домой вместе, убрали квартиру, сели завтракать. Опять стук, (опять они) опять обыск. Ев. Як. сказал: "Если они придут еще раз, то уведут вас с собой". Пастернак, у которого я была в тот же день, пошел просить за М. в "Известия" к Бухарину, я – (он был довольно весел, но сразу спросил: „А никому больше [illegible]) в Кремль к Енукидзе. (Тогда проникнуть в Кремль было почти чудом. Это устроил Русс[illegible]) Этим мы ускорили и, вероятно, смягчили развязку. /Приговор – 3 года Чердыни, где Осип выбросился из окна больницы (потому что ему казалось, что за ним приходят (См. Стансы строфа 4)) и сломал себе руку. Надя послала телеграмму в ЦК. Сталин велел пересмотреть дело и позволил выбрать другое место, потом звонил Пастернаку. Остальное слишком известно/.

Навестить Надю из мужчин пришел один Перец Маркиш. Женщин приходило много. Мне запомнилось, что они были красивые и очень нарядные – в свежих весенних платьях: еще не тронутая бедствиями Сима Нарбут, красавица "пленная турчанка" (как мы ее прозвали) – жена Зенкевича, ясноокая и стройная Нина Ольшевская. А мы с Надей сидели в мятых вязанках, желтые и одеревеневшие.

Через 15 дней рано утром Наде позвонили и предложили, если она хочет ехать с мужем, быть ~~вечером~~ этим[*] на Казанском вокзале. Все было кончено. Нина (Ардова) и я пошли собирать деньги на отъезд.

*) Все связанное с этим вокзалом требует особого рассмотрения и не может войти в этот краткий очерк.

[illegible handwritten marginal note]

Давали много. Ел. Серг. Булгакова заплакала и сунула мне в руку ~~не считая, нужн денег.~~ все содержимое своей сумочки.

На вокзал мы поехали вдвоем. Заехали на Лубянку за документами. Осипа очень долго не везли. Мой поезд /с Ленинградского вокзала/ уходил, и я не дождалась. Евг. Як. и Ал. Эм. проводили меня, вернулись и только тогда привезли Осипа, с которым уже не было разрешено общаться. Очень плохо, что я его не дождалась и он меня не видел, потому что от этого ему в Чердыни стало казаться, что я непременно погибла.

В феврале 1936 года я была у М. в Воронеже и узнала все подробности его "дела". Он рассказал мне, как в припадке умоисступления бегал по Чердыни и разыскивал мой расстрелянный труп, о чем громко говорил кому попало. Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах М-ма именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен.

В начале двадцатых годов он дважды очень резко нападал на мои стихи в печати /"Русское Искусство" №№ 1, 2/. Этого мы с ним никогда не обсуждали. x/

Там /в Воронеже/ его с не очень чистыми побуждениями заставили прочесть доклад об акмеизме. Не должно быть забыто, что он сказал /1937/: "Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых".

На вопрос: "Что такое акмеизм?" М. ответил: "Тоска по мировой культуре".

Все, что пишет о Мандельштаме в своих бульварных мемуарах "Петербургские зимы" Георгий Иванов, который уехал из России

x/ Но и о своем славословии моих стихов он тоже не говорил и я прочла его только теперь.

в самом начале двадцатых годов и зрелого Мандельштама вовсе не знал, мелко, пусто и несущественно. Сочинение таких мемуаров дело немудреное. Не надо ни памяти, ни внимания, ни любви, ни чувства эпохи. Все годится и все приемлется с благодарностью невзыскательными потребителями. Хуже, конечно, что это иногда попадает в серьезные литературоведческие труды. Вот, что сделал Леонид Шацкий /Страховский/ с Мандельштамом: у автора под рукой две-три книги достаточно "пикантных" мемуаров /"Петербургские зимы" Г.Иванова, "Полутораглазый стрелец" Бен. Лившица, "Портреты русских поэтов" Эренбурга, 1922/. Эти книги использованы полностью. Материальная часть черпается из очень раннего справочника Козьмина "Писатели современной эпохи", М., 1928. Затем из сборника Мандельштама "Стихотворения" /1928/ извлекается стихотворение "Музыка на вокзале" - даже не последнее по времени в этой книге. Оно объявляется вообще последним произведением поэта. Дата смерти устанавливается произвольно - 1945 г. /на семь лет позже действительной смерти - 27 декабря 1938 года/. То, что в ряде журналов и газет печатались стихи Мандельштама - хотя бы великолепный цикл "Армения" в "Новом мире" в 1930 г., Шацкого нисколько не интересует. Он очень развязно объявляет, что на стихотворении "Музыка на вокзале" Мандельштам кончился, перестал быть поэтом, сделался жалким переводчиком, опустился, бродил по кабачкам и т.д. Это уже вероятно устная информация какого-нибудь парижского Георгия Иванова.

И вместо трагической фигуры редкостного поэта, который и в годы воронежской ссылки продолжал писать вещи неизреченной красоты и мощи - мы имеем "городского сумасшедшего", проходимца, опустившееся существо. И все это в книге, вышедшей под эги-

Много говорила с Натали (Штемпель), с кот. дружили в Воронеже (- - - - -)

дой лучшего, старейшего и т.п. Университета Америки /Гарвардского/, с чем и поздравляем от всей души лучший, старейший университет Америки.

IУ.

Чудак? Конечно, чудак! Он, например, выгнал молодого поэта, который пришел жаловаться, что его не печатают. Смущенный юноша спускался по лестнице, а Осип стоял на верхней площадке и кричал вслед: "А Андрея Шенье печатали? А Сафо печатали? А Иисуса Христа печатали?". x/ С. Липкин и Тарковский и посейчас охотно повествуют, как Мандельштам ругал их юные стихи.

~~Но совсем не в этом дело.~~ Почему мемуаристы ~~этого~~ склада /Шацкий, Страховский, (Миндлин, С. Маковский) Г.Иванов, Бен.Лившиц/ так бережно и любовно собирают и хранят любые сплетни, вздор, главным образом обывательскую точку зрения на поэта, а не склоняют головы перед таким огромным и ни с чем несравнимым событием, как явление поэта, первые же стихи которого поражают совершенством и ни откуда не идут?

У Мандельштама нет учителя. Вот о чем стоило бы подумать. Я не знаю в мировой поэзии подобного факта. Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама!

А в это время гостила у Ардовых в том же доме. Осип был уже больным xxx/, много лежал. Прочел мне все свои новые стихи, не переписывать (из Воронежа) [illegible]

В мае 1937 года Мандельштамы вернулись в Москву - к "себе" в Нащокинский. Одна из двух комнат была занята человеком, который писал на них ложные доносы и скоро им стало нельзя показываться в этой квартире. Это год, как все на [illegible] бушевал вокруг террор.

x/ Там фигурирует "Саратовская" деревня Блока, рыжий Комаровский и я, собирающая подаяние.

xxx/ Отметь эту встречу. Я - у Ардовых. Осип больной, много лежит. Перестал давать стихи списывать. Вокруг бушует - террор.

x) Тогда же (в 1933-1934 г.) нас приглашали на вечер Булгаковы. Осип взволновался: "Вас хотят сводить с московскими литераторами!" Тогда его успокоили и придумали оказию: "Вероятно там будет кто-нибудь из МХАТа". Осип совсем рассердился. "Ну, Б. сам [illegible]. Как оторвать Ахматову от МХАТа?" (Записывать) Он бегал по комнатам и кричал: [illegible] Осип прозвал — Капище. Свою называл комнатку (будущую кухню) [illegible] А Надю называл — Машинка. (Наша мама)

Х. сказал ему: Вы слишком нервны!

Разрешения остаться в столице Осип не получил. Работы не было. Они приезжали из Калинина и сидели на бульваре. Это, вероятно, тогда Осип говорил Наде: "Надо уметь менять профессию. Теперь мы-нищие" и "Нищим летом всегда легче".

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и голодом, и вьюгой.

Последнее стихотворение, которое я слышала от Осипа: "Как по улицам Киева-Вия". Фонтанный дом /1937/.+)

Так они прожили год. Осип был уже тяжело болен, но он с непонятным упорством требовал, чтобы в Союзе Писателей устроили его вечер. Вечер был даже назначен, но, повидимому, "забыли" послать повестки и никто не пришел. О. по телефону приглашал Асеева. Тот ответил: "Я иду на Снегурочку", а С., когда Мандельштам попросил у него, встретившись на бульваре, денег, дал три рубля.

В последний раз я видела Мандельштама осенью 1937 года. Они - он и Надя - приехали в Ленинград дня на два. Время было апокалипсическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. У Мандельштамов не было денег. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню куда. Все было как в страшном сне. Кто-то пришедший после меня сказал, что у отца Осипа Эмильевича /у "деда"/ нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу. Мой сын говорит, что ему во время следствия читали показания О.Э. о нем и обо мне и что они были безупречны. Многие ли наши современники, увы, мо-

+) Это было так. Мандельштамам было негде ночевать. Я оставила их у себя. Постелила Осипу на диване. Зачем-то вышла, а когда вернулась он уже засыпал, но очнулся и прочел мне стихи. Я повторила их. Он сказал: Благодарю вас, и заснул.

гут сказать это о себе.

Второй раз его арестовали 2 мая 1938 года в нервном санатории около станции Черусты /в разгар ежовщины/. В это время мой сын сидел на Шпалерной (с Шпалерной) уже два месяца. О пытках все говорили громко. Надя приехала в Ленинград. У нее были страшные глаза. Она сказала: "Я успокоюсь только тогда, когда узнаю, что он умер".

ххх

В начале 1939 года я получила короткое письмо от московской приятельницы*): "У подружки Лены**) родилась девочка, а подружка Надюша овдовела", - писала она.

Анна Ахматова

ххх

Вставка к стр. 11

В то же время мы с ним одновременно читали "Улисса" Джойса. Он в хорошем немецком переводе, я в подлиннике. Несколько раз мы принимались говорить об "Улиссе", но было уже не до книг.

**) Лены — жены художника А.А. Осмеркина. Теперь известный

*) Эммы Григорьевны Герштейн, лермонтоведки.



Александр Иосифович Немировский

В первом номере (январь-февраль) за 1966 г. воронежского журнала «Подъем» **Александр Иосифович Немировский** (специалист по античной истории, поэт, прозаик, переводчик) опубликовал небольшую подборку из «Воронежских тетрадей» О. Мандельштама. Это была одна из первых советских публикаций наследия опального поэта, в то время как ожидаемому с месяца на месяц сборнику стихотворений Мандельштама под редакцией Н.И. Харджиева еще семь долгих лет предстояло лежать в недрах издательства «Советский писатель». По свидетельству А.И. Немировского, в СССР публикация имела мощный общественный резонанс — сотни почитателей поэта, среди которых были и серьезные исследователи его творчества, стремились пройти по воронежским адресам Мандельштама.

Не осталась незамеченной она и на Западе. Так, уже в 1967 г. в комментариях к первому тому Собрания сочинений О.Э. Мандельштама (под. ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова. — Нью-Йорк, 1967) Г. Струве отметил, что «стихотворениям в "Подъеме" предпослана вступительная заметка, подписанная "А. Немировский, доктор исторических наук"». Условно разделив ее на две части (мемуарную и литературоведческую),

Г. Струве полностью вводит в текст своего комментария мемуарную, как «представляющую» несомненный «биографический интерес». Не исключено, что Г. Струве причислил автора публикации к узкому кругу воронежских друзей Мандельштама — точная фактография статьи Немировского, предваряющей стихотворную подборку, позволяла сделать такой вывод. Возможно, Глеба Струве мистифицировал следующий текст: «В памяти людей, знавших Осипа Эмильевича в те годы, он сохранился прямым, с выправкой офицера <...>, с гордо закинутой головой, с быстрыми движениями, с нервным профилем...». Струве мог тогда не знать, что Немировский говорит с «чужого голоса», воспроизводя воспоминания человека, действительно близко знавшего Мандельштама в период его воронежской ссылки, — Натальи Евгеньевны Штемпель.

Ко второй части статьи Струве предпослана короткая, с оттенком недоумения, аннотация: «Немировский говорит вкратце о поэзии Мандельштама, подчеркивая его обращение «к земле» в воронежский период <...>, останавливаясь на теме Рима в поэзии Осипа Эмильевича. Ничего особенно оригинального и ценного в этих замечаниях Немировского нет». И далее (мы приводим здесь полностью заключительный абзац комментария к стихотворению «Твоим узким плечам под бичами краснеть...»): «Отметим, что Немировский ни словом не обмолвился о том, что Мандельштам жил в Воронеже **в ссылке**, и что говоря о недоступности читателю большинства стихотворений воронежского периода, он игнорирует заграничные издания сочинений Мандельштама и такие издания, как «Воздушные пути», где многие из этих стихотворений были напечатаны еще в 1961 г.» (с. 519).

Отметим и мы, что советский читатель-шестидесятник должен был быть благодарен Немировскому за проявленное им «невежество» — ведь только из-за отсутствия в его статье отмеченных Струве «крамольных» реалий подъемовская публикация смогла состояться. Советскому человеку, свободно владеющему русским языком и в совершенстве — эзоповым, она сказала достаточно много. У западного — вызвала недоумение.

Известно, что еще в семидесятые годы А.И. Немировский, один из первых слушателей «разговорных пластинок» Натальи Евгеньевны, неоднократно пытался подвигнуть ее на писание мемуаров. Исчерпав все доводы, он сам зафиксировал ее рассказ почти дословно. Прочитав эту запись, Наталья Евгеньевна сочла

ее слишком открытой и темпераментной. За «дерзостью» воплощения чувствовался характер ее «автора» — Александра Иосифовича Немировского. «Резолюция» была лаконичной — «не для печати». Спустя короткое время она напишет свой «канонический» текст, прошедший строгую автоцензуру. По мнению Немировского, он сильно пострадал (прежде всего композиционно) от новомировской редактуры (Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже // Новый мир. — 1987. — № 10. — С. 207—234).

А годом раньше, в 1986 г., в «Автобиографии» Наталья Евгеньевна вернется к истории написания этих мемуаров, появившихся в печати только благодаря и вопреки усилиям Немировского. Здесь же она даст следующий — крупным планом — портрет своего друга. «Александр Иосифович талантливый и на редкость одаренный человек — ученый, писатель, переводчик. Не одну из своих монографий, повестей и рассказов из истории древней Италии он написал у меня дома. ИФЛИец, учившийся вместе с П. Коганом, Н. Майоровым, он хорошо знает несколько языков, включая итальянский, латынь, древнегреческий, что дает ему возможность переводить тексты древних авторов и стихи поэтов нового времени. По натуре это человек эмоциональный, порывистый, горячий. Его небезразличие ко всему **и даже способность на необдуманные поступки мне глубоко импонируют** *(выделено нами)*» (Цит. по: Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже, с. 92).

Уже после смерти Н.Е. Штемпель, в прощальном слове этой «третьей плакальщице» (Образ и прототип // Слово и судьба. Осип Мандельштам) А. Немировский попытается прежде всего «дать образ Натальи Евгеньевны». В том же 1991 г. состоится разговор Немировского с ученицей Дувакина В.Ф. Тейдер, посвященный Н.Е. Штемпель. К этим фономемуарам при подготовке настоящего издания мы сочли необходимым сделать уточняющую запись, осуществленную в июне 2000 года.

Беседу ведет В.Ф. Тейдер (Уточняющая запись О. Фигурновой)

<...>

В середине шестидесятых годов моя семья была в Москве, а я жил в Воронеже и, как шутил один мой студент, в Москву ездил, как на трамвае. Очень часто приезжал. И вот во время од-

ной из таких поездок в купе поезда, который шел в Воронеж, я заметил пожилую женщину. *(Н.Е. Штемпель датирует встречу с Немировским 1960 годом (Автобиография // Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже, с. 92).)* Она ничего не сказала, но было видно, что на верхней полке ей было невозможно, — и я уступил ей место. Ночь или полночи прошли в разговоре. Я о Мандельштаме раньше, конечно, знал. Но даже не думал, что Воронеж каким-то образом с ним связан. Жил в этом городе — и никакого представления... И вдруг для меня открылось, что, оказывается, здесь, по этим улицам... — это было полной неожиданностью.

Потом через некоторое время я пришел к Наталье Евгеньевне. А потом она уже пришла ко мне. Мы жили неподалеку друг от друга: я — на улице Фридриха Энгельса, как раз напротив того дома *(№ 13)*, где одно время жил Осип Мандельштам *(с февраля по осень 1936 г.)*. Она — на Никитинской *(дом 38а, 3 этаж)*. И очень большая дружба у нас завязалась. Она как-то сразу вошла в нашу семью, и никого, даже мою жену покойную, не удивляло, что она к нам так часто приходила, хотя у нее была отдельная квартира, а у нас — одна комната; и она с нами — прямо вот так и лежала на полу. Когда мы ездили куда-то... в Киев, в Ригу, в Таллинн, она тоже всегда была с нами.

Конечно, провинциальный город имеет какие-то свои особенности ... Как-то я одной из учениц профессора Козо-Полянского рассказал с восторгом, что знаком с Натальей Евгеньевной. Она сказала: «А! Это та дама, которая держит салон». А однажды я получил письмо, в котором говорилось, что как не стыдно мужчине в цветущем возрасте ходить с какой-то хромоножкой... Вот такая история.

Она воспитывала моих детей, всем нам помогала. Когда умер мой отец — вы представляете, какая героическая она была женщина, — если спустилась за ним в морг? Там не могли его найти, и я весь дрожал; она отодвинула меня: «Шура, отойдите в сторону!», — спустилась вниз и нашла его лежащего голым там, в этом морге — вот такая картина. Это была женщина бескорыстная совершенно, любящая животных: кто-то собаку бросит, полуглухую, — она берет ее, маленькую белую собачку, хромую, с одним глазом *(речь идет о болонке по кличке Белка)*, она ее обожала; кошек всех... Весь двор с ужасом смотрел, как она, хромая, идет с кормом для кошек, а кошки, дикие кошки, бегут за

ней. Она кормила весь этот кошачий двор. Кстати, у нее, кроме собачки, жил кот. Она звала его «Кисёнышный». Меня Кисёнышный почему-то невзлюбил. Только при упоминании моего имени вставал и уходил. Помню еще, как однажды мы с женой играли в шахматы. Наталья Евгеньевна смотрела на нас, смотрела, а потом и говорит: «У коняшек такие красивые ушки!»

Она работала преподавателем в авиационном техникуме, была вместе с ним эвакуирована, и когда уже город горел... Я потом скажу, что она там оставила. Это страшно. Она стала бы самой, может быть, знаменитой женщиной XX века, — если бы взяла...

Наталья Евгеньевна была дочерью сельской учительницы *(М.И. Штемпель, урожд. Левченко).* Отец — Евгений Штемпель, из дворян, их оставил *(в 1925 г.)* и уехал в Ростов к другой семье. В Воронежской области, кажется, даже до сих пор есть деревня Штемпелевка. Кстати, об отце она мне вот что рассказывала: однажды он напрямую воспользовался своими дворянскими и служебными привилегиями (он служил в управе — *был непременным членом Губернского правления*) и отчитал избившего лошадь кучера, пригрозив ему, что оставит его без работы. Вот только эту историю она и хранила в памяти об отце. *(В. Гыдов (март 1982 г.): «Она* [Наталья Евгеньевна] *никогда не скрывала своего дворянского происхождения. «...Я во всех анкетах и автобиографиях социальное происхождение не скрывала, писала — дворянка. Это помогло удержаться во время чисток, т.к. с работы выгоняли тех, кто скрывал. Но из-за социального происхождения меня не приняли в аспирантуру»» (Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже, с. 141).)* Наталья Евгеньевна обожала свою мать. Много раз говорила мне: «Шура, Вы же в это время были в Воронеже — какая жалость, что Вы не видели мою маму!». *(В. Гыдов (июнь 1984 г.): «Наталья Евгеньевна говорила, <...> что не может найти у мамы недостатков. "Сильный характер и лиризм". На замечание, что у нее тоже сильный характер, ответила: "Не слабый"» (Там же, с. 141).)* Я знал ее брата Виктора. Такой, знаете, швед... Преподаватель Сельскохозяйственного института, прошел всю войну. Он, конечно, в литературе ничего не понимал и Наталью Евгеньевну называл «Мандельштамша».

Я хочу попытаться дать образ Натальи Евгеньевны... Ее уроки в техникуме состояли в том, что она пересказывала произведения русских классиков. Не знаю, как это образовалось, воз-

можно, оттого, что она преподавала людям, которым было не до литературы, где никто Толстого и Тургенева не откроет и не будет читать. Рассказывала она великолепно — это был настоящий художественный рассказ. И поэтому ее любили... Библиотека у Натальи Евгеньевны была очень большая, она собирала книги. Но читала, скорее всего, только новые журналы, чтобы быть в курсе литературы. Насколько я знаю, никогда в жизни ничего не писала — даже письма писать крайне не любила. Она была для меня примером такого... бесписьменного человека. Я — как раз наоборот. Вот мы идем с нею, где-то километра полтора, от Фридриха Энгельса до Никитинской, и она рассказывает, что было в ее техникуме: кто был одет как, кто пришел, что сказал... Иногда я шутил, прерывая ее: «Наталья Евгеньевна, что-то Вы такое...» Она прекращала, а потом начинала этот разговор сначала: понимаете, не могла даже какой-то кусок выбрать — для нее важен был только полный такой рассказ. И мне кажется, что в какой-то степени это объясняет, почему так поздно появились ее мемуары *(Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже // Новый мир. — 1987. — № 10. — С. 207—234).*

Я часто бывал у нее дома, иногда фактически жил в маленькой комнатке. Там была и большая, куда приходили гости и где была библиотека и висели портреты — Пастернака, Ахматовой. В кадке стояла пальма — предмет постоянной заботы Натальи Евгеньевны. Недавно я побывал в Воронеже, посетил эту квартиру и с грустью увидел, что там не осталось и следа от обстановки Натальи Евгеньевны, все уничтожено.

Когда я в первый раз опубликовал стихи Мандельштама *(10 стихотворений под общим заголовком «Из “Воронежских тетрадей”»)* в воронежском журнале «Подъем» *(1966, № 1 (янв/февр))*, многие искали меня. Им указывали на университет, потом я приводил их к Наталье Евгеньевне. Очень часто стали приезжать... Из разных городов, из Омска — отовсюду ехали... И представьте, каждый день я все ее воспоминания должен был выслушать сначала.

Начинала она обязательно с того, как пришла к Осипу Эмильевичу домой, на улицу Фридриха Энгельса *(в начале сентября 1936 г.)*, и он ее спросил: «Вы знаете мои стихи?» — «Знаю». — «Какое стихотворение Вы любите?» — «Я люблю “Я потеряла нежную камею...”». Он не дослушал, стал кричать и топать ногами: «Как Вы могли выбрать самое худшее

из моих стихотворений!». Тогда Надежда Яковлевна стала гладить ее, как ребенка, приговаривая: «Ося плохой, Ося злой». В общем, с этого и пошло все. Она обязательно, когда рассказывала, начинала именно с этого. Ну, потом, видимо, поняв, что я это выучил наизусть, уводила своих «экскурсантов» и где-то по дороге с ними говорила, показывала Воронеж, мандельштамовские места.

Я ей без конца говорил: «Наталья Евгеньевна, Вам нужно написать воспоминания». А она меня уверяла: «Шу-у-у-ра, ну как я напишу? Это же нескромно. Как я буду писать о нем? Мне же тогда придется написать и о себе». Теперь я понимаю, что в восприятии людей у нее не было иного ракурса, чем личный. Любой человек, с которым она в какой-либо мере сближалась, становился частью ее биографии. Вот в этом-то факте и заключается высочайшая достоверность ее воспоминаний. А тогда я ей только сказал: «Наталья Евгеньевна, Вы ведь не о себе пишете. Вы напишите знаете что — о Воронеже времени Мандельштама, о людях, с которыми он встречался, об обстановке, атмосфере». Сказал — и ничего, никаких следов... Она по-прежнему говорила одно и то же, а писать не бралась.

И странная история. Должен сознаться, — я на такой эффект не рассчитывал. Я говорю: «Наталья Евгеньевна, давайте я напишу, напишу Ваши мемуары. Я же хорошо помню, что Вы рассказываете». Она так посмотрела: «Давайте, Шура, пишите». И где-то, наверное, за два дня я эти мемуары написал. Но, понимаете, у меня всегда было, как, между прочим, и у Осипа Мандельштама, к ней немножко какое-то нежно-ироническое отношение. Ее даже у нас дома звали «Нататик». Вот в этом имени оно тоже, видимо, сказалось. Ну, и были другие моменты, которые повлияли на ее отношение к «моим мемуарам», то есть к моей записи ее мемуаров.

Я запомнил: она рассказывала: «Шура, мы шли с Осипом Эмильевичем в Третьяковскую галерею *(в июле 1937 г.)*, а ему Катаев недавно подарил штаны, очень длинные, и он все время клал ногу на приступку и их закатывал». А я добавлял: «Закатаем Катаева»». Этого, конечно, она не говорила, она вообще ведь шутки не очень понимала. В ее представлении мемуары — это буквальное изложение всего того, что она запомнила. И мое изложение ей казалось, видимо, чудовищным.

Рассказывала она еще и вот что: Осип Эмильевич часто приходил к ней домой. И вот однажды зашел и ходит, ходит по комнате... Потом спокойно так открывает ящик письменного стола, вынимает оттуда какое-то письмо, начинает читать и вдруг восклицает: «А! Вот кто ее...» И тут на глазах Натальи Евгеньевны рождается эпиграмма: «Источник слез замерз и весят пуд оковы // Обдуманных баллад Сергея Рудакова». (Это было письмо со стихами к ней Рудакова.) Я потом рассказал эту историю Надежде Яковлевне. А та откомментировала так: «Это чисто еврейское нахальство».

Наталья Евгеньевна вспоминала и другой момент — когда в университет в дни Пушкинского юбилея *(февраль 1937 г.)* пришел Осип Эмильевич и заметил, что из стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» выброшены строки: «есть Божий суд...». Ну, и он им устроил... Она рассказывала: «Он устроил скандал, и эту строку восстановили». Я говорю: «Наталья Евгеньевна, а что он говорил?» — « Шура, я же говорю, он устроил ска-а-ндал». А я в тех мемуарах написал так, что «он, увидев, стал кричать: «А «птичку Божию» вы тоже выкинете из Пушкина, да?». Но она осталась этим очень недовольна.

А Вы ей прочитали?

Я ей эти мемуары оставил целиком. Она мне сказала потом: «Шура, Вы из меня дурочку провинциальную сделали!». Но после этого она как-то очень быстро написала сама. *(В 1974—1975 гг. Исправления и добавления вносились в 1983 г. Наиболее сильной правке текст подвергся в 1986—87 гг. См. следующую запись Натальи Евгеньевны, сделанную во время работы над мемуарами: «Воспоминания мне не нравятся, но переделывать я не умею, писать заново нет времени и сил» (Из письма к П. Нерлеру от 5 марта 1987 г. // Мандельштам в Воронеже, с. 101).)* Кое-что из моих записей вошло в ее воспоминания: какие-то вещи, где я дал свое понимание историческое... Кстати, ни разу после того случая она не говорила мне, что пишет мемуары. Вы понимаете? Ни разу! У нас были прекрасные отношения, но об этом разговор кончился. Всё! И я только потом узнал, что она их сдала в «Новый мир», где все перекорежили и выбросили кое-что из того, что она мне говорила.

А может быть, и сама она выбросила. Кстати, взять и привезти свои авторские экземпляры она попросила меня. Таким образом, моя роль гонца в этой истории была выполнена пол-

ностью. Мне сейчас кажется, что это слово «гонец» я употребил не случайно. Помните, у Мандельштама «И нет ко мне гонца, // И дом мой без крыльца...» *(«Я около Кольцова...»)*?

Кстати, о письмах, которые писал ей Осип Эмильевич, я узнал только после публикации ее мемуаров. Она, видимо, считала, что об этом не следует писать. Узнал случайно, во время одного из разговоров с ней. Она сказала, между прочим: «Он мне писал письма». Я говорю: «Как, Наталья Евгеньевна, он Вам письма писал? Откуда? Вы же оба жили в Воронеже!» Она несколько растерялась: «Ну да, Шура, он мне писал очень длинные письма». — «Наталья Евгеньевна, а что он Вам писал?» — «Вы знаете, Шура, у него ведь такой неразборчивый почерк...» И добавила: «Там было очень много стихов...» — «Где же эти письма?» — «Когда я уходила (Вы знаете, в каких условиях я уходила из Воронежа?) *(в 1942 г., за несколько часов до прихода немцев в город)*, я решила оставить там то, что относится лично ко мне и никому больше не интересно». А вот то, что касается Надежды Яковлевны: жалкие записки о гонорарах, которые можно было бы и не брать, — она взяла с собой, взяла и стихи Осипа Эмильевича *(а также письма Осипа Эмильевича к Надежде Яковлевне)*. А письма оставила. Я ей сказал: «Что же Вы сделали, Наталья Евгеньевна! Вы же были бы Лаурой. Вы были бы Беатриче». А она оста-ви-ла! Ну и, пропало все, конечно. Какие-то каракули — кто будет их смотреть... Об этом она не написала в своих мемуарах.

Это та ценность, о которой Вы говорили?

Та самая ценность, которая...

...утрачена. Вдруг она еще выплывет?

Никогда она не выплывет, что вы! Какие-то письма...

Вообще она для меня была живым источником сведений о 20-х годах. Помню забавную историю, которая говорит о нравах этого провинциального города, который чуть ли не хотел быть столицей РСФСР — Воронеж, мечтания какие-то... Был какой-то юбилей университета... Университет очень интересный, потому что в него влился эвакуировавшийся Тартуский университет *(февраль-март 1918 г.)*. Кстати, многие профессора, приехавшие из Эстонии, перемерли буквально где-то в 1918—1919 году.

Но некоторые остались, и среди них был известный античник Михаил Никитич Крашенинников, человек легендарный.

Он был византинист, писал свои статьи большей частью по-латыни, по-гречески и по-древнегречески. Когда по указанию Ленина были закрыты все исторические факультеты в нашей стране — то он, знаток языков, остался при филологическом факультете читать курс общего языкознания. Жилось ему очень трудно. У него была жена в Таллинне, а здесь — любимая кошечка. Он был самым крупным кошатником в Воронеже в те годы, когда даже на людей не обращали внимания. То есть в этом отношении ученица пошла в учителя. Мне говорили о нем: «Знаете, он очень хороший человек, но у него одна слабость: приходя в гости, спрашивает: «У вас косточек нет для кошечки?». Я спросил у Натальи Евгеньевны о Михаиле Никитиче. — «Я болела, и пришла сдавать ему домой, в профессорскую квартиру. Первый вопрос его был такой: «Вы не родственница баронессы Штемпель?» (*Смеются.*) Она говорит: «Нет». Ну, какие-то там еще вопросы задал, и они расстались. «А лекции его помните?» — «Да нет, Шура, не помню. Он только спорил все время с кем-то на лекциях». Вся его лекция представляла сплошной спор. А с кем — она не запомнила. Остается догадываться, кто это был, Моммзен или Зелинский.

Кстати, Зелинский написал рецензию на магистерскую и докторскую диссертации Крашенинникова. А тот ответил на нее целой ядовитой книгой. В те годы в воронежской многотиражке «Красный университет» постоянно ругали Крашенинникова, называя его буржуазным ученым и антимарксистом. Дальше для Крашенинникова все сложилось трагически. Он был арестован. Распространили слух, будто он убивал своих кошек. Кошечка там у него на столе стояла — скелетик самой любимой кошечки...

<...>

Наталья Евгеньевна много могла рассказать. Она встречалась и с биологом, профессором Б.М. Козо-Полянским. Козо-Полянский ее всегда спрашивал: «Что нового на цветочном рынке, Наталья Евгеньевна?». Вот об этом она не написала. Буквально всех она знала...

А однажды она мне рассказала вот что. Она ведь в детстве болела туберкулезом, и у нее на ноге образовалась довольно большая опухоль. И кто-то из врачей, профессоров, у которых она лечилась, посоветовал повезти ее в Митрофаниевский монастырь на молебен. И вот на этом молебне опухоль с ноги спа-

ла *(у Натальи Евгеньевны начиналась гангрена, прогрессировал туберкулезный процесс)*. Понимала ли она, что это чудо? — Нет. Ее чистота была подобна ангельской. И она сочла, что то, что с ней произошло — естественно, и только так и может быть.

И еще я помню историю, связанную с отношением Анны Андреевны Ахматовой к Наталье Евгеньевне. В отсутствие Натальи Евгеньевны Надежда Яковлевна рассказывала мне, как Анна Андреевна топала ногами и кричала: «Какой-то Наташе написать такие стихи!» *(«К пустой земле невольно припадая...»; «Есть женщины, сырой земле родные...»)*.

Человек Анна Андреевна была очень своеобразный, интересный, и Наталья Евгеньевна вспоминала, что Осип Эмильевич постоянно с восторгом говорил о ней, но... в общем, такая ее реакция на Наталью Евгеньевну мне не совсем понятна.

У Натальи Евгеньевны в Москве был свой круг?

Да. Я сейчас хочу рассказать о нем. Среди друзей Натальи Евгеньевны была подруга воронежских лет... Перкон Евгения Николаевна *(педагог, преподавала в Театральном училище им. Щукина)*. Очень интересная женщина. Она преподавала русскую литературу в Театре Революции. Вот она мне тогда о Наталье Евгеньевне, ее манере говорить сказала: «Она как чукча», — то есть рассказывает все от начала до конца. Мы часто встречались у Евгении Николаевны где-то там у метро «Рязанский проспект». Когда Наталья Евгеньевна приезжала в Москву, она всегда останавливалась у Перкон. Это до того, как у меня появилась квартира в Медведкове. Так вот. На квартиру к Е.Н. Перкон приходил и В.С. Розов *(ученик Е.Н. Перкон)*. Помню, что при нем Наталья Евгеньевна читала свои мемуары *(По свидетельству В. Гыдова, читала она их и Надежде Яковлевне (в марте 1975 г., в Москве): «...Она говорила (июнь 1986 г.), что не хочет писать о том, как прочитала в первый и последний раз Надежде Яковлевне свои воспоминания. «Надежда Яковлевна начинала слушать с прохладцей, потом была просто поглощена. Не пропустила ни одного слова, переспрашивала: «Ну-ка-ну-ка, какая я была?...». В конце сказала: «Ося у вас получился живой. У меня этого нет...» И больше никогда не заводила речь об этих воспоминаниях...»» (Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже, с. 134).)* Она уже начала их переделывать.

Она читала все это, рассказывала и однажды говорит: «Мы сидели на скамейке у памятника Кольцову, и вот тут Осип Эми-

льевич и написал о Кольцове». Помните, «Я около Кольцова // Как сокол закольцован...». Я тогда сказал: «Наталья Евгеньевна, Вы же этого никогда раньше не говорили». И она так пунцово покраснела... Это был единственный случай такого наивного ее, что ли, вымысла. Был и другой случай. Она читала мне стихи «Когда щегол в воздушной сдобе...», дошла до строчки «...И есть лесная Саламанка // Для непослушных умных птиц!». Я в шутку спросил ее: «Наталья Евгеньевна, а что такое "Саламанка"?». И она совершенно серьезно ответила: «Это птичка такая».

Она помнила Мандельштама как человека, которого хорошо знала, с которым встречалась. Помнила, что когда на обкомовской площади он ей читал «Стихи о Наташе» («Клейкой клятвой пахнут почки...») *(написаны 2 мая 1937 г.)*, то поцеловал ее в лоб. Она говорила, что «Стихи о Наташе» сначала были написаны так, что она там фигурировала совсем по-другому, а потом он их переделал и всякие биографические сведения устранил. То есть было два варианта стихотворения. Первый зеркально отражал ее тогдашнюю семейную ситуацию: брат, мать и будущий муж. Во втором варианте появились совершенно неузнаваемые детали. И Осип Эмильевич тогда объяснил: «Стихи не должны буквально следовать за жизнью». *(О. Мандельштам в письме к Надежде Яковлевне от 2.05.1937 г.: «Для общезначимости пришлось приписать Наташе старшего брата и сестру и постулировать характер будущего мужа. Но, что я ее уговариваю выйти замуж, это вполне реально» (Мандельштам О. Собр. соч. в 4-х томах. Т. 4, с. 193). В. Гыдов приводит следующий комментарий Натальи Евгеньевны к этим строкам: «"Да ничего он не уговаривал!" На вопрос: это он для жены написал? — ответила, засмеявшись: "Да, для Надежды Яковлевны".» (Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже, с. 133).)* И еще он сказал ей, что это любовное стихотворение. Понимаете? Любовное. *(В. Гыдов: «Наталья Евгеньевна рассказывала <...> (июнь 1986), что незадолго до отъезда из Воронежа, уже после написания стихотворения-завещания («К пустой земле невольно припадая...»* [4 мая 1937 г.]*) Осип Эмильевич был у нее дома, на улице Каляева* [возможно, 6 мая, если судить по письму Мандельштама Надежде Яковлевне от 7.05.1937 г., в котором Осип Эмильевич, в частности, пишет: *«Вчера раскачался даже к Наташе» (Мандельштам О. Собр. соч. в 4-х томах. Т. 4, с. 196).*] *, и когда она пошла его проводить, по дороге на трамвайную остановку он ска-*

зал, что любит ее. «Мы с вами будем жить, где вы захотите, хотите в Москве, хотите — на юге». Наталья Евгеньевна заплакала и сказала: «Как жалко, что все было так хорошо, и теперь все рухнуло». <...> Для Натальи Евгеньевны признание поэта казалось невозможным. В ее сознании Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич были неразделимы. «Я не могла себе представить одного без другого, скорее могла представить ее без него, но не его без нее. Мне с ними двумя было хорошо. После этого случая Осип Эмильевич как-то сумел себя повести, что я забыла обо всем. И никогда сама с собой это не вспоминала. И вообще никому, кажется, этого не рассказывала» (Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже, с. 133—134).)

Рассказывала она и о встрече с ним в Савелове *(около 15 июля 1937 г.)*, и какие-то другие вещи. Много рассказывала. И не только о Мандельштаме, а о всех людях, с которыми он встречался и которых помнила она. Она всегда жила интересами других людей. Когда она умирала и уже была в беспамятстве, мне сказали: «Она все время говорит о Вас и о Вашей дочери».

То есть Ваша семья была ей очень близка?

Очень. Мы постоянно всюду ездили и считали, что как будто мы все одна семья. Но посторонним это казалось...

...странным.

Здесь в Москве я встречался с ней у Надежды Яковлевны бесконечное количество раз, и в доме Шкловского, и потом в Черемушках. Я помню, у меня тогда была новая шуба и на лестничной площадке Надежда Яковлевна вдруг мне сказала: «Какая шуба! Какая шуба! Это мещанство — иметь теплую шубу!» (*Смеется.*) Я как-то совсем опешил, а Наталья Евгеньевна на нее набросилась: «Что Вы? Зачем обижаете Шуру?».

Встречалась Наталья Евгеньевна здесь и с Ахматовой и хотела обязательно познакомить с ней меня. Но в тот день, когда я должен был к ней прийти (на квартиру к Ардовым), она, как ни странно, переела раков... Вот такой был эпизод.

А у Надежды Яковлевны мы были в этой квартире ее, однокомнатной, и в Воронеж она приезжала. Помню, как в Воронеже она мне однажды сказала (у меня тогда с воспитанием детей было плохо): «Шура, Вам нужно английскую бонну». Чтоб, значит, у меня была бонна! (*Смеется.*) «Они хорошо воспитывают». Многое, конечно, ей было непонятно, не только в моей жизни, но, мне кажется, и в жизни Осипа Эмильевича. Во вся-

ком случае, когда она в своих мемуарах пишет, что он пришел к еврейству через мировую культуру, то, видимо, как-то переносит на него свое видение. Она ведь в богатой буржуазной семье жила, а он — в семье человека, который едва не стал раввином. То есть совсем иная среда...

Однажды Наталья Евгеньевна передала мне слова Надежды Яковлевны, меня чрезвычайно удивившие. Она спросила Наталью Евгеньевну: «Почему Шура не купит Вам дачу или что-то еще?» А меня Надежда Яковлевна заставляла, чтобы я занялся темой Рима в творчестве Мандельштама. Я не сразу последовал ее совету. Я занялся сначала Грецией в его стихах, именно ранней... У меня об этом статья есть. Она фактически называется не «Обращение...» (они там испортили название), а «Возвращение к античности» *(в сб.: Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. — Воронеж, 1990)*. И это было возвращение уже не к Риму, а к Элладе, причем к ранней Элладе, к доклассической Элладе, к микенской Элладе, к Терпандру, к рождению музыки...

А какие были отношения Натальи Евгеньевны с Надеждой Яковлевной? Вы наблюдали их?

Наблюдал много раз. Как к ребенку Надежда Яковлевна к ней относилась, ахматовского пренебрежения не было и в помине, понимаете, постоянное такое, очень ровное, спокойное, как к прекрасному наивному человеку отношение и никогда никакого раздражения. *(В. Гыдов (март, 1982): «Наталья Евгеньевна говорила <...>, что за все годы общения с Надеждой Яковлевной не было между ними ни одной размолвки; что Надежда Яковлевна была с нею и ее друзьями кроткой» (Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже, с. 139).)*

А Надежда Яковлевна могла раздражаться. Однажды я привел к ней очень интересного человека, такой писатель был — Шер Израилевич Шаров. Это был не только мой знакомый, но и Натальи Евгеньевны. Она часто бывала у Шаровых в писательском доме на Аэропорте и рассказывала им о Мандельштаме. Фактически они были для нас окошком в московскую писательскую среду. Так вот, когда Надежда Яковлевна узнала, что Шаров — член Союза писателей, то так на него набросилась! А он был человек очень какой-то рассеянный, застенчивый. Достаточно было на него взглянуть, чтобы понять, что он никакого отношения к писательским интригам не имеет. И с шубой тогда она на меня напала, то есть могла на человека про-

сто ни за что наброситься. А с Натальей Евгеньевной она была очень ровная, и «Наташа» ее называла, и всё как-то... — очень хорошо к ней относилась.

Надежда Яковлевна читала при Вас воспоминания?

Воспоминания она мне не читала никогда. Заставила меня прочесть стихи Осипа Эмильевича, я их читал в свое время. Я Вам рассказывал, что у меня были записи, где Наталья Евгеньевна читает стихи Мандельштама? У нее был какой-то магнитофон, и на нем делались эти записи. Видимо, они находятся у Татьяны Олимпиевны Муштавинской.

Наталья Евгеньевна была удивительной доброты человек. Она вообще в жизни никаких денег не имела. Всем раздавала. Один раз к ней пришел какой-то бывший ученик... (вообще у нее были хорошие ученики, а этот, видно, попался жулик) и забрал у нее все наличные деньги... Она не могла не дать.

Значит, это Наталья Евгеньевна читала стихи Мандельштама?

Да, стараясь передать, как он читает. Скажем, я читал «Скрипачку» *(«За Паганини длиннопалым...»)*, стараясь выделить звуки:

... гордячка,
Чей звук широк, как Енисей, —
Утешь меня игрой своей:
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка...

И Наталья Евгеньевна меня просила: «Ну, Шура, прочтите “Скрипачку”, — и объясняла Надежде Яковлевне. — Шура очень хорошо читает Мандельштама». (*Смеется.*) Я прочел. Надежда Яковлевна сказала — даже не догадаетесь что. Не то, что я плохо читаю, нет, она сказала: «Это стихотворение нельзя читать серьезно. Это же, ну, игралка, что ли». Но может быть, она считала, что это несерьезно, потому что другой женщине посвящено? Что нужно его как шуточку какую-то читать. Кстати, она не выносила страшно ту женщину, которая умерла в Норвегии *(О. Ваксель)*, всегда говорила о ней, передергивая плечами: «Авантюристка какая-то...». И лицо сразу становилось каким-то холодным, вытянутым... *(В феврале 1969 г. Н.Я. Мандельштам встретилась с сыном О. Ваксель — А.А. Смольевским.*

Перед этой встречей Е.Э. Мандельштам предупредил Смольевского, что «Надежда Яковлевна проявляет беспокойство, поскольку здесь она, очевидно, претендует на "монополию"». По свидетельству Смольевского, «об Ольге Ваксель она говорила очень тепло: "То была какая-то беззащитная принцесса из волшебной сказки, потерявшаяся в этом мире. Она переживала тогда трудную пору и каждый вечер приходила рыдать на моем плече..."» (Ольга Ваксель — адресат четырех стихотворений Осипа Мандельштама // Литературная учеба. — 1991. — Январь/февраль (№ 1). — С. 166). Этой встрече предшествовал разговор, состоявшийся в присутствии Р. Орловой в 1967 г. между Н.Я. Мандельштам и Н.И. Харджиевым: «Слушая этот разговор, я [Р. Орлова] *поражалась терпимости Надежды Яковлевны, ведь она говорила о сопернице, пусть и давней.*

— Сейчас я понимаю Осипа, Ольга была красавица, а я — обезьяна.

— Наденька, ты была не обезьяной, а обезьянкой, чувствуешь разницу? — галантно поправляет Николай Иванович.

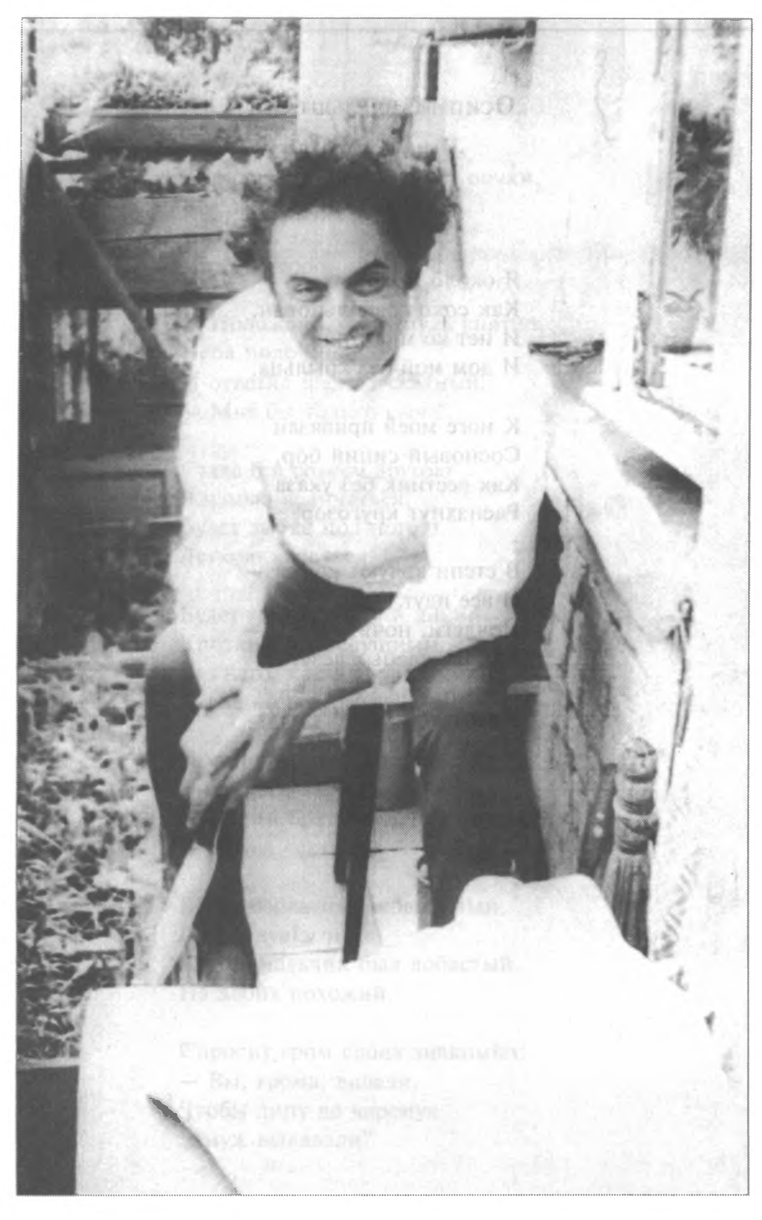
Она редко бывала милостива к соперницам» (Орлова Р. Вызволяя себя из прошлого, с. 68).

«Я никогда не любила его [О. Мандельштама] *женщин», — скажет Надежда Яковлевна Кузину в письме от 16.07.1940, сделав единственное исключение для Н.Е. Штемпель. — «А Наташу люблю» (Б. Кузин. Воспоминания..., с. 628).*

Наталья Евгеньевна постоянно всем помогала, и деньгами, и успокаивала. Ее дом был всегда открыт для очень многих несчастных людей. *(В. Гыдов: «Наталья Евгеньевна* [июнь 1984 г.], *говоря о том, что Надежда Яковлевна была в последние годы истовой христианкой, вспомнила, как сказала ей однажды: «Почему вы меня не обращаете в христианство?» «А ты и так христианка», — ответила Надежда Яковлевна» (Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже, с. 141).)* Среди ее «подопечных» был один мальчик из Саянска... совсем безумный, из сумасшедшего дома вообще редко выходил, и другие такие... Она просто не чувствовала в них какой-то непохожести, дефекта. Виктор, ее брат, прикладывал палец к виску и говорил: «Ну, матушка, у тебя все такие». Она ему: «А Шура тоже?». Это сама Наталья Евгеньевна мне рассказывала. А он: «Конечно, в какой-то мере и он. Ведь гвоздя вбить в стену не может». (*Смеется.*)

Помню еще, как Наталья Евгеньевна рассказывала, что возвращалась откуда-то очень поздно, и к ней пристали настоящие бандиты. И она им предложила: «Давайте, — говорит, — я вас поведу к себе домой». И по дороге рассказывала им что-то о поэзии. Пришли, поднялись. «Хотите вас чаем напою?», — и все говорит о своих интересах, о своей жизни, что она всю жизнь детей учит. Ну и, один из бандитов не выдержал: «А я, — говорит, — всю жизнь ворую». Потом махнул рукой, и они ушли, ничего у нее не тронув.

Когда Наталья Евгеньевна заболела *(в январе 1988 г. у Н.Е. Штемпель случился инсульт)*, помню, весь двор (а двор-то был как одна семья) нес ей продукты... Таким вот значимым, необходимым для всех она была человеком.



А.И. Немировский. Воронеж. 1960-е гг.

Осип Мандельштам

* * *

Я около Кольцова
Как сокол закольцован,
И нет ко мне гонца,
И дом мой без крыльца.

К ноге моей привязан
Сосновый синий бор,
Как вестник без указа
Распахнут кругозор.

В степи кочуют кочки —
И все идут, идут
Ночлеги, ночи, ночки —
Как бы слепых везут...

9 января 1937

* * *

Клейкой клятвой пахнут почки,
Вот звезда скатилась —
Это мать сказала дочке,
Чтоб не торопилась.

— Подожди, — шепнула внятно
Неба половина,
И ответил шелест скатный:
— Мне бы только сына!

Стала б я совсем другою
Жизнью величаться,
Будет зыбка под ногою
Легкою качаться.

Будет муж прямой и дикий
Кротким и послушным —
Без него, как в черной книге,
Страшно в мире душном.

Подмигнув на полуслове,
Запнулась зарница,
Старший брат нахмурил брови,
Жалится сестрица.

Ветер бархатный крыластый
Дует в дудку тоже,
Чтобы мальчик был лобастый,
На двоих похожий.

Спросит гром своих знакомых:
— Вы, грома, видали,
Чтобы липу до черемух
Замуж выдавали?

Да из свежих одиночеств
Леса — крики пташьи, —
Свахи-птицы свищут почесть
Льстивую Наташе.

И к губам такие липнут
Клятвы, что, по чести,
В конском топоте погибнуть
Мчатся очи вместе.

Все ее торопят часто:
Ясная Наташа,
Выходи за наше счастье,
За здоровье наше!

2 мая 1937

* * *

За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскую гурьбой —
Кто с чохом чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской чемчурой.

Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей, —
Утешь меня игрой своей —
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.

Утешь меня Шопеном чалым,
Серьезным Брамсом — нет, постой, —
Парижем мощно одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой —

Вертлявой, в дирижерских фрачках,
В дунайских фейерверках, скачках,
Иль вальс, из гроба в колыбель
Переливающий, как хмель.

Играй же, на разрыв аорты,
С кошачьей головой во рту, —
Три черта было, — ты четвертый:
Последний, чудный черт в цвету!

апрель — июль 1935



Наталья Евгеньевна Штемпель

О Наталье Евгеньевне Штемпель еще будут и будут вспоминать. Ее имя и слава неразрывно связаны с Осипом и Надеждой Мандельштамами. Произнесенные по отдельности их имена зовут и притягивают друг друга... Так, вспоминая Осипа Эмильевича и Надежду Яковлевну, мы поминаем и ее. С тем же чувством восхищения и благодарности, с каким она вспоминала и поминала их.

Трудно сказать, кем была она для Мандельштама — Другом, Хранителем, человеком, поставленным на самой границе двух миров...

> «Сопровождать воскресших и впервые
> Приветствовать умерших — их призванье...»

— такими увидел Мандельштам ее родных сестер-плакальщиц, мудрость которых не связана со временем и не во времени растит свои силы.

Знакомство Натальи Евгеньевны и Осипа Эмильевича началось на выстуженной изгнанием, чуждой поэту земле, ставшей родиной его бессмертных Воронежских стихов. Это о них,

уже на краю гибели, de profundis (из бездны), Мандельштам сказал: «Это — прорыв... Куда-то прорыв...» (Свидетельство Д.И. Злотинского // Нерлер П. «С гурьбой и гуртом...». — М. 1994. — С. 42).

Глаза Натальи Евгеньевны, подобно глазам Ахматовой, способны были различить двух невидимых спутников поэта, повсюду сопровождавших его —

«А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета».

Но, верная своему предназначению, Наталья Евгеньевна запомнила и приветствовала торжество Музы над страхом, победу бессмертного над смертным:

«Он *(Мандельштам)* кинулся <...> к городскому автомату, набрал какой-то номер и начал читать стихи, затем гневно закричал: «Нет, слушайте, мне больше некому читать!». Я стояла рядом, ничего не понимая. Оказывается, он читал следователю НКВД, к которому был прикреплен» (Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже // Осип Мандельштам. Воронежские тетради, с. 238).

После гибели Осипа Эмильевича, хранив и сохранив частично оставшийся на ее руках архив Мандельштама, она долго не решалась о поэте писать. А написав, сохранила за собой право остаться в памяти потомков лишь слушателем (не адресатом) обращенных к ней стихов: «К пустой земле невольно припадая...»; «Есть женщины, сырой земле родные...». В своем единственном — об этих стихах — разговоре с Н.Е. Штемпель Надежда Яковлевна указала ей на надмирную, горнюю природу бессмертного диптиха: «Наташа, <...> это не прощальные стихи. Ося возлагал на Вас большие надежды». И повторила строчки: «Сопровождать воскресших и впервые // Приветствовать умерших — их призванье» (Там же, с. 238). Только после этих слов Наталья Евгеньевна позволила себе восполнить лакуны в уже написанных ею воспоминаниях о поэте.

Мемуары, которые мы помещаем ниже, приближают к нам образ Натальи Евгеньевны, делая почти зримой ее милую тихую тень.



А.И. Немировский, Н.Е. Штемпель.
Воронеж 1960-е гг. Архив Н.Н. Самохиной

Встречи с Осипом Мандельштамом

Воспоминания Н.Е. Штемпель в записи А.И. Немировского (РГАЛИ, фонд А.И. Немировского (не разобран))
Авторизированная машинопись.[1]

Мандельштам и Воронеж! Многим это сочетание может показаться случайным и неестественным. Автор строгих, гулких, как античная колоннада, строк и зеленый, тихий провинциальный город... Но так случилось, что Воронеж стал последним городом Мандельштама, местом его поэтической свободы, родиной лучших стихов. И тем, кто знал Мандельштама в Воронеже, остается положиться на свою память и попытаться с ее помощью очертить его облик, рассказать о встречах с людьми и, самое главное, восстановить ту обстановку, в которой рождались стихи. Ведь как бы своеобразно ни воспринимались они каж-

[1] В квадратных скобках восстановлен текст, вычеркнутый Н.Е. Штемпель

дым из нас, какие бы они ни будили ассоциации, имеются точные обстоятельства места и времени, которые открывают критику и просто любителю поэзии путь к пониманию творчества.

1

Мы много ходили по городу. Осип Эмильевич шагал, словно не замечая ничего вокруг, поглощенный собственными мыслями или разговором с собеседником. Прямой, с запрокинутой назад головой, он мог показаться тем, кто его не знал, надменным, заносчивым. Как-то из оравы мальчишек вылетела реплика: «Генерал идет!» И тем удивительнее оказалось то, что наши почти каждодневные прогулки по чужому и, как я считала, мало интересному для него Воронежу легли в строки стихов.

Сразу же от проспекта Революции, который у меня дома по неискоренимой привычке еще называли Большой Дворянской, вправо, влево, вниз тянулись тихие улочки с вереницами сходивших к реке одноэтажных и двухэтажных кирпичных или деревянных домов. Если удалить столбы с проводами, здесь можно было бы снимать кинофильмы по сюжетам пьес Островского и рассказам Гоголя. Булыжная мостовая, заборы и заборчики, ворота с калитками и на перекрестке немыслимое в наши дни сооружение — красная кирпичная водокачка с широким деревянным желобом для потока воды. К ней сходились пять улиц, в своих названиях запечатлевших еще более далекую старину — Семинарская гора, Дубницкая, Поднабережная, Венецкая, Мясная гора. По улицам спускались люди с ведрами. Остановившись у водокачки, они стучали в застекленное оконце, и невидимый водолей открывал кран.

Стоило немного пройти по Ленинской, являющейся как бы продолжением Проспекта, и город обрывался глубоким оврагом с позеленевшими прудами и тенистыми деревьями. По ту сторону оврага тянулись опытные поля Сельскохозяйственного института. Я знала, что здесь, еще до нашего знакомства, Осип Эмильевич написал свой «Чернозем». Он воспринимал свежевспаханную землю как древнюю, великую, освобождающую стихию, в отличие от моря недвижимую и молчаливую. Но молчание Чернозема — это поэзия труда, переворачивающего пласты: «Как на лемех приятен жирный пласт», это его вечность, уводящая к « Трудам и дням» Гесиода, и безгранич-

ность: «Тысячелетия распаханной молвы: // Знать, безокружное в окружности есть что-то».

Сразу же за железнодорожными путями тянулся Привокзальный поселок с еще более жалкими домиками Троицкой слободы. Здесь прошли детство и юность Андрея Платонова, выросшего в семье слесаря ремонтных мастерских. Здесь, в первый год своего пребывания в Воронеже *(в середине октября 1934 г.)*, поселился Осип Эмильевич *(2-я Литейная, д. 4)*: «Я живу на важных огородах». По рассказам его супруги знаю, что дом находился на Транспортной улице, неподалеку от сквера, известного коренным воронежцам под именем Брикмановского сада. Сейчас по субботам и воскресеньям тут шумит самодеятельный книжный базар. В первые дни после выхода однотомника О. Мандельштама в большой серии «Библиотеки поэта» *(речь идет о 1973 г.)* здесь имя Мандельштама звучало особенно призывно. Поклонники его поэзии, отчаявшись приобрести книгу в магазине, заполнили Брикмановский сад. По всей видимости, мало кто из них знал, что на этой тихой, заросшей травой и бурьяном улице началась воронежская эпопея Мандельштама, что именно здесь он встретился с Анной Андреевной Ахматовой, с которой его связывала долгая дружба.

2

Я впервые увидела Осипа Эмильевича *(в начале сентября 1936 г.)* в доме на углу улицы Фр. Энгельса и Итээровского переулка *(ул. Ф. Энгельса, д. 13, 5 под., 2-й эт., кв. 39 — комната снята Мандельштамами в марте 1936 г. (нумерация современная))*, как в то время называлась улица Чайковского. [Я сообщаю точные адреса домов, где жил Осип Эмильевич, так как мне известно, что из разных городов нашей страны люди приезжают в Воронеж только для того, чтобы увидеть мандельштамовские места.] Людям младшего поколения новообразование ИТР, может быть, ничего не говорит. ИТР *(инженерно-технический работник)* — это то, что теперь называют технической интеллигенцией. ИТР получали особый паек и пользовались иными благами, недоступными простым смертным. Что касается переулка, то он получил название по четырехэтажному дому работников ИТР. Здесь жили мои знакомые, Нора *(Н.Я. Эпштейн)* и ее муж — главный врач клинической больницы. Нора, уже немолодая женщина, держала себя с достоин-

ством жены работника ИТР, носила лакированную сумочку, ярко красила губы. У Норы была сестра Лена *(Е.Я. Маранц)*, жена агронома *(Ф.Я. Маранца)*. Комичность этих женщин, относивших себя к сливкам общества, не ускользнула от острого взгляда Осипа Эмильевича. Так родилась эпиграмма:

О, эта Лена, эта Нора,
О, эта Этна — И.Т.Р.,
Эфир, Эсфирь, Элеонора —
Дух кисло-сладкий двух мегер.

О том, что Осип Эмильевич живет в Воронеже, я узнала от молодого ленинградца Сергея Борисовича Рудакова. Рудаков с детства был воспитан на всем, что поэтизировало неповторимый облик старого Петербурга. Отсюда его обожание автора «Камня». Я знала, что Сергей Борисович, мой ровесник, бывал у Мандельштама ежедневно. Он сумел передать мне свою влюбленность в поэта. От него я впервые услышала стихи, созданные Мандельштамом в Воронеже. Как-то я задала своему другу вопрос: «А Осип Эмильевич хороший человек?» Сергей Борисович весь подался вперед, лицо его преобразилось, глаза — их особенную красоту оценила А.А. Ахматова («рудаковские глаза») — засветились: «Ну, чудный!»

Когда появилась возможность, Сергей Борисович покинул Воронеж *(в июле 1936 г.)*. Перед отъездом он взял с меня обещание, что я не буду знакомиться с Мандельштамом, до сих пор не могу понять, почему. Но я нарушила слово. В воскресный сентябрьский день 1936 года я поднималась по лестнице большого каменного дома на углу Ф. Энгельса и Итээровского переулка. Мне открыла дверь хозяйка квартиры и объяснила, что Мандельштамы в Задонске *(с 20 июня по начало сентября 1936 г.)*. Мой следующий воскресный визит оказался удачнее. Надежда Яковлевна, супруга поэта, провела меня в комнату направо. Осип Эмильевич встретил нас стоя. Мое появление его удивило. Из моих первых сбивчивых слов он смог понять, что я имела какое-то отношение к Рудакову. Знакомое имя вызвало неожиданное оживление.

— Ах, вот кого он прятал! — лукаво воскликнул Осип Эмильевич.

Вскоре зашел разговор о летних впечатлениях. Я, захлебываясь, стала рассказывать о своем посещении конесовхоза в

Хреновом, об орловских рысаках и белых першеронах, об их необыкновенной красоте, о потомственных конюхах, ведущих свою родословную от крепостных графа Орлова, о директоре совхоза, москвиче, влюбленном в свою профессию и бросившем ради нее столицу и семью: «От лошадей уйти нельзя». Осип Эмильевич, как мне показалось, слушал с большим интересом.

Впечатления Надежды Яковлевны от увиденного в Задонске вылились в этюды-акварели. Осип Эмильевич разложил их прямо на полу, и мы ходили вдоль этой импровизированной домашней галереи. Глубокая синева Дона оттеняла золото листьев. Среди черных крестов старинного кладбища высились белокаменные стены монастыря.

Осип Эмильевич спросил, знаю ли я его стихи наизусть. И когда я ответила, что знаю, он сказал:

— Прочтите, пожалуйста. Я так давно не слышал своих стихов.

Надо же было мне вспомнить стихотворение: «Я потеряла нежную камею...»!

В декламаторском рвении или, может быть, смущении я не заметила, как вытягивалось лицо Осипа Эмильевича. И тем неожиданнее для меня была его реакция. Он просто орал. Это была ярость человека, задетого за самое живое. Мне запомнилась фраза: «Вы прочитали самое плохое стихотворение!»

Сквозь мои рыдания он услышал более чем наивное оправдание: «Я же не виновата, что Вы его написали!» Тут вмешалась и Надежда Яковлевна:

— Ося! Не смей обижать Наташу.

Это заступничество вызвало новый поток слез. Меня усадили на кровать. Осип Эмильевич ходил из угла в угол, стараясь все же не наступать на этюды. Надежда Яковлевна открыла один из чемоданов, сложенных у двери. И еще через несколько минут я уходила с мокрым лицом и альбомом французских импрессионистов, компенсацией за обиду.

3

Я долго не решалась принять настойчивое приглашение супругов и посетить их еще раз. Мне казалось, что меня зовут из долга вежливости. Тогда я еще слишком мало знала Осипа Эмильевича, чтобы понимать, насколько ему чуждо такое обычное понятие, как вежливость. Он бы не стал ничего говорить или делать

вопреки своему внутреннему ощущению. Это был человек предельной искренности. Мне трудно себе представить, чтобы Осип Эмильевич мог бы пожать руку тому, кто был ему чужд или неприятен, даже если бы от рукопожатия зависела его жизнь. Эта бескомпромиссность была источником многих конфликтов.

Из запомнившихся мне примеров расскажу о нашем общем посещении фундаментальной университетской библиотеки, которую он, кстати, весьма ценил. В холле была развернута юбилейная пушкинская выставка. Сотни людей прошли мимо плакатов с цитатами из стихотворений и витрин с книгами. Среди них были и мои коллеги-филологи. Но никто не обратил внимания на «маленькую вольность» в передаче лермонтовского стихотворения «На смерть поэта». Организаторы выставки выбросили не устраивавшую их строку: «Но есть и Божий суд, наперсники разврата».

Реакция Осипа Эмильевича была мгновенной. Он учинил в храме науки настоящий публичный скандал. <...>

Собралась толпа. Выбежала директор библиотеки Софья Панфиловна и, дабы успокоить разбушевавшихся посетителей, обещала восстановить справедливость.

4

Из квартиры на ул. Фр. Энгельса Мандельштамы перебрались *(осенью 1936 г.)* в одноэтажный домик на ул. 27 февраля *(д. 50, кв. 1)*. Здесь не было никаких удобств. Окна поднимались не более чем на полметра от земли. К тому же во дворе хозяйничал бесцеремонный петух с голосом глашатая, будивший на заре поздно ложившихся квартирантов. За домиком была площадка, откуда открывался вид на дали, на просторы, занесенные снегом и запряженные, как в сбрую, огоньками окон. Осип Эмильевич сравнивал эту картину с полотнами фламандских художников. Вбирая полной грудью воздух, он писал: «равнины дышащее чудо» *(«В лицо морозу я гляжу один...»)*.

Отношение поэта к Воронежу было двойственным. С одной стороны, это был город, который поэт не может покинуть по собственной воле:

Я около Кольцова
Как сокол закольцован.

Но, с другой стороны, поэт сознавал, что Воронеж дает ему широкое дыхание, простор, обогащает его чем-то новым и радостным:

К ноге моей привязан
Сосновый синий бор.
Как вестник без указа
Распахнут кругозор.

(«Я около Кольцова...»)

Эту же противоречивость мы находим и в другом стихотворении о Воронеже:

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выбросишь меня или вернешь, —
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож...

Осип Эмильевич, насколько я помню, ясно сознавал, что с Воронежем связан новый период его творчества. Поэтому появление в его стихах названия города не случайно. «Уронишь ты меня иль проворонишь?» — это не праздный вопрос.

«Читателя! советчика! врача! На лестнице колючей — разговора б». Это стихотворение *(«Куда мне деться в этом январе?»)* он прочитал в конце января 1937 г. И к этому же времени относится его письмо *(от 21 января 1937 г.)* к Ю.Н. Тынянову. В нем обида поэта, которого уже не принимают в расчет, слита с уверенностью в будущем воронежских стихов. «Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но в последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе».

По своему характеру Осип Эмильевич менее всего походил на нытика. Он умел заразительно смеяться. И несмотря на всю тяжесть своего положения, оставался человеком живым и веселым.

Его не трогала неустроенность быта. [Осип Эмильевич был совершенно равнодушен ко всем удобствам и мог прийти в ярость, когда кто-либо из его знакомых жаловался на отсутствие

условий для работы и творчества. «Это чепуха! — кричал он, бегая по комнате. — Если есть, что сказать, скажете! Еще лучше напишете! Отберете самое главное!» *(В письме к В. Гыдову от 7 сентября 1987 г. Наталья Евгеньевна указывает, что эти слова Мандельштама были обращены к С.Б. Рудакову (Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже, с. 111).)*] Деньги, как и удобства, не имели для него значения. Он их тратил с беззаботностью ребенка. Вспоминается такой эпизод. Осип Эмильевич с женой шли по проспекту Революции. Им встретилась женщина с корзиной лиловых ирисов.

— Надюша! Купи! — попросил Осип Эмильевич.

Надежда Яковлевна взяла несколько цветков. Осип Эмильевич очень огорчился.

— Все! — сказал он.

— Но у нас нет денег, Ося! — возразила Надежда Яковлевна.

— Все или не надо совсем! — настаивал Осип Эмильевич.

В дни, когда не было денег и на хлеб, относили книги в букинистический магазин на проспекте, под кино «Пролетарий», где сейчас булочная. Магазином заведовал Яков Андреевич *(Чернышев)*, уже немолодой человек, прекрасный знаток книги. Он когда-то работал у Сытина. Лишиться книг было для Осипа Эмильевича настоящим мучением. Каждый, кто переживал подобное, хорошо это поймет! Яков Андреевич принимал книги. Но когда откуда-нибудь появлялись деньги, Мандельштам шел к Якову Андреевичу выручать «старых друзей». Книги, как ни странно, оказывались непроданными и возвращались к владельцу. Осип Эмильевич, сияя, нес их под мышкой. Это была одна из немногих радостей его воронежской жизни.

Осип Эмильевич любил пошутить. Не раз я невольно давала темы для его эпиграмм. Помнится, я пришла к Осипу Эмильевичу в слезах. Весь класс в техникуме на контрольной работе по моей вине написал вместо «в полдень» — «вполдень». Осип Эмильевич откликнулся тут же:

Наташа, как писать «балда»?
Когда идут на бал, то: «да»,
А «в полдень» — если день — то вместе,
А если ночь — то не скажу, по чести...

С этим же казусом связана и другая эпиграмма:

Если бы проведал Бог,
Что Наташа педагог,
Он сказал бы: «Ради Бога,
Уберите педагога!»

Были и другие эпиграммы.

Как-то придя ко мне, Осип Эмильевич натолкнулся на розовые листки со знакомым ему почерком. Это были стихи Рудакова. Полагаю, что это было первое его знакомство с творчеством моего молодого друга. Среди лирических стихотворений было одно, довольно выспреннее, посвященное мне. Оно называлось «Баллада о движении». Там было выражение «источник слез», связанное с одной из наших прощальных встреч. Осип Эмильевич бегло просмотрел стихотворение и, сразу поняв, кто его адресат, тут же набросал эпиграмму:

«Источник слез» замерз,
И весят пуд оковы
Обдуманных баллад
Сергея Рудакова.

Среди немногих воронежцев, общавшихся с Осипом Эмильевичем, был мой университетский наставник профессор Павел Леонидович Загоровский. В конце 20-х годов сразу после выступления перед аудиторией с ним и другими воронежскими литераторами встретился Владимир Маяковский. С Осипом Мандельштамом Павел Леонидович познакомился у меня в доме. Среди всех, кого я знала в те годы, Павел Леонидович единственный не уступал Мандельштаму в эрудиции. Я точно не помню, о чем у них были беседы, но у меня осталось ощущение того, что они говорили так, словно изголодались в долгом одиночестве от отсутствия равных себе по уму и образованности. Павел Леонидович был очень мягким и вежливым человеком с доброй, застенчивой улыбкой. В одной из эпиграмм Осип Эмильевич назвал его «божьей коровкой», обычно же именовал «бархатным профессором».

Наташа! Ах, как мне неловко,
На Загоровского, на маму —
То бишь на божию коровку
Заказывает эпиграмму.

Одна из эпиграмм связана с литературной жизнью Воронежа тех лет. Мой знакомый, очень милый человек, назовем его

Олег Постовский *(в действительности, Вадим Покровский)*, иногда печатал свои стихи в альманахе «Литературный Воронеж», которым фактически руководил ректор Воронежского пединститута филолог Стоичев. Я хотела познакомить Олега с Мандельштамом и неудачно. Оказалось, что Осип Эмильевич уже имел вполне определенное суждение о стихах Олега. И он выразил его в эпиграмме:

Искусств приличных хоровода
Олег Постовский не спугнет
(«Вадим Покровский не спугнет» — т. 4, с. 157):
Под руководством куровода, —
За Стоичевым год от года
Настойчивей кроликовод.

Чтобы понять эту эпиграмму, надо знать, что Постовский в силу своей профессии делал опыты над кроликами, а Стоичев, как уверяли злые языки, разводил кур.

Осип Эмильевич живо возбуждал интерес простых людей, хозяев и хозяек, у которых квартировал, соседей. Вместе с Сергеем Борисовичем на улице Достоевского *(переулок Достоевского, д. 24)* жил молодой парень, пекарь Троша. Наслышавшись от Сергея Борисовича о Мандельштаме, он решил, во что бы то ни стало, «заиметь» книгу с автографом поэта. И вот беда! Не только в магазинах, но даже в городских библиотеках не нашлось ни одной книги Мандельштама. Как-то Троша получил путевку в ближайший к городу дом отдыха имени Горького. И там в библиотеке оказался наиболее полный сборник стихотворений Осипа Мандельштама 1928 г. издания *(Мандельштам О. Стихотворения. — М.-Л., 1928)*. Недолго думая, Троша похитил библиотечную книгу и передал ее Мандельштаму для получения автографа. Осип Эмильевич был озадачен. Ему никогда не приходилось подписывать краденых книг. Тем временем Трошу направили налаживать производство хлеба в один из районов области. И Осип Эмильевич решил подарить книгу мне. В ход была пущена резинка хозяйского мальчика Вадика. А потом появилась эпиграмма:

Эта книга украдена Трошею в СХИ,
И резинкою вадиной для Наташи она омоложена,
И ей дадена
В день посещения дядина.

На самой же книге — она у меня сохранилась, — Осип Эмильевич написал: «Рад, что нашлась хоть такая книга, которую можно подарить. Обещаю таких книг никогда не писать...» В книге было много пометок, сделанных его рукой. Некоторые стихотворения он вычеркнул целиком. Другие — дописал. Третьи — исправил. Эта надпись лишний раз подтверждает его мнение, что в Воронеже начался новый, высший период его творчества. И с достигнутых им высот он критически оглядывал свое прежнее творчество.

[У Осипа Эмильевича было много друзей. И вспоминал он о них с большой теплотой. Часами он мог говорить о Марине Цветаевой, показывая в ее сборнике «Версты» стихи, посвященные ему, и читая крымские и московские стихи, написанные ей. Мандельштам и Цветаева были не только друзьями, но и поэтами, близкими по силе и страстности. Трагическими оказались и их судьбы. И в то же самое время он мне говорил: «Я антицветаевец». В этом сказывалась свойственная Осипу Эмильевичу пристрастность к поэзии, не допускавшая никаких компромиссов. Цветаевская манера письма была чужда Мандельштаму. Он вспоминал и коктебельские встречи, Максимилиана Волошина, который вырвал его из врангелевской контрразведки, Андрея Белого и других.]

6

Все два года воронежского знакомства я была слушательницей, почти единственной, стихов О.Э. Мандельштама. Признаюсь, что многого в них я тогда не понимала. Осип Эмильевич, мне кажется, не мог об этом не догадаться. Но, оторванный от друзей, он не отвергал моего общества, и оно вскоре стало ему необходимым. Когда появлялось новое стихотворение, он тотчас же приходил или ко мне домой, или к проходной Авиационного техникума, где я работала. Он вызывал меня и читал, не обращая внимания на охрану, на входящих и выходящих людей.

Он почти никогда не создавал своих стихов с пером в руках. Они возникали «на голос», как он сам писал: «У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архивов. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голосу» *(«Четвертая проза»)*. Сначала было невнятное бормотание, потом из хаоса звуков прорезывались слова, литые мандельштамовские строки. Их нельзя было сдвинуть и заменить.

[Мандельштам слагал стихи на слух, бродя по комнате с папиросой в зубах, весь обсыпанный пеплом, или сидя с поджатыми ногами на койке, облокотившись рукой о ее спинку и запрокинув назад голову. В эти мгновения он был похож на щегла, которому посвящен цикл воронежских стихов.]

Готовое стихотворение он обычно диктовал Надежде Яковлевне, и тут же, наклонившись над листком, его внимательно прочитывал. Он говорил: «Стихи, записанные Надей, равноценны моей рукописи». Своей рукой он ставил лишь дату (год, месяц), букву «В.» (Воронеж). К этим обозначениям времени и места он относился с непонятной мне щепетильностью.

В его правой руке всегда была папироса, иногда погасшая. Он ходил, осыпанный пеплом. Костюм был старым, поношенным. Но благородство всего его облика заставляло забывать об изъянах одежды. Он мне казался человеком светским, даже аристократичным. Я никогда не видела его без пиджака и галстука.

Он читал стихи, энергично подчеркивая их звукопись и ритмическую сторону. У него был густой, красивый голос, глубокое дыхание. Обычно он при чтении запрокидывал голову, и тогда он напоминал щегла из одноименного воронежского стихотворения:

Мой щегол! Я голову закину —
Поглядим на мир вдвоем:
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоем?

(«Мой щегол! Я голову закину...»)

Видимо, до этого, в Петербурге или Москве, ему не приходилось видеть щеглов. А тут на снежных дорожках между серыми и невзрачными домиками воронежской окраины птичка с черно-желтым хвостиком и малиновой грудкой могла показаться особенно красивой. К тому же у хозяйского мальчика Вадика вскоре появился пленник — щегол с Сенной площади, где продавалась всякая живность.

Разносторонность интересов Осипа Эмильевича, глубина его познаний поражали меня. Живопись, архитектура, музыка, философия... Что в этом сонме искусств и наук было главным? На первое место я поставила бы архитектуру. Интерес к ней был характерной чертой его поэтической манеры с особым внима-

нием к структуре стиха. Он ощущал стихотворение как бы в пространстве, выделяя каждую его деталь так, что она становится зримой. В отличие от символической расплывчатости он ценил четкость, определенность, тяжесть и весомость слов. Вспомним его раннее стихотворение:

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра, —
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам...

(«Notre Dame»)

В воронежских стихах пристрастие поэта к архитектуре нашло выражение в отдельных деталях, как бы в архитектурных символах. Поэт забыл о своем желании творить из «тяжести недоброй». Архитектурные детали стали частью вечно движущегося и изменчивого мира:

Если я не вчерашний, не зряшный, —
Ты, который стоишь надо мной,
Если ты виночерпий и чашник —
Дай мне силу без пены пустой
Выпить здравье кружащейся башни —
Рукопашной лазури шальной...

(«Заблудился я в небе — что делать?..»)

Среди воронежских книг Мандельштамов были альбомы с изображениями архитектурных памятников Древнего Рима, Италии, Франции, Испании, Японии. Он мог часами рассматривать их, почти по-детски восторгаться точностью орнамента, изяществом какой-нибудь крепиды, портала. И ему казалось, что его собеседник должен испытывать тот же восторг.

После одного из таких путешествий в архитектуру итальянского Возрождения возникло стихотворение:

Я видел озеро, стоявшее отвесно, —
С разрезанною розой в колесе.
Играли рыбы, дом построив пресный.
Лиса и лев боролись в челноке...

(«Реймс-Лаон»)

К Италии той же эпохи он переносился и в других стихотворениях, ощущая ее искусство и поэзию как противовес своему

вынужденному воронежскому бытию. Однако оно со всеми своими деталями ассоциативно входило в этот воображаемый прекрасный мир, и создавался сплав необычайной торжественной силы:

Я обращался к воздуху-слуге,
Ждал от него услуги или вести,
И собирался в путь, и плавал по дуге
Неначинающихся путешествий.
Где больше неба мне — там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

(«Не сравнивай: живущий несравним...»)

С архитектурой соперничала сестра ее музыка. Мне кажется, что Осип Эмильевич не мог без нее жить. Концерты местного симфонического оркестра, выступления московских и ленинградских исполнителей давали ему ту свободу и раскованность, без которой немыслима поэзия.

Мы слушали с ним концерты Шопена. Он любил, насколько я могла заметить, также и торжественные фуги Баха и героическую музыку Вагнера. Из исполнителей классической музыки он ценил Галину Баринову, приезжавшую в Воронеж. Ей посвящено стихотворение «Скрипачка» с его удивительной звукописью:

Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей, —
Утешь меня игрой своей:
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей.
Смычок твой мнителен, скрипачка...

(«За Паганини длиннопалым...»)

Увлекала Осипа Эмильевича и живопись. В книгах, привезенных из Москвы, были альбомы импрессионистов, он восторгался Рембрандтом, Рафаэлем. В моей библиотеке был гетевский «Фауст» с иллюстрациями Делакруа. Он дал им очень высокую оценку.

Осип Эмильевич часто посещал воронежский Музей изобразительных искусств. В нем, наряду с русской живописью

XVIII и XIX вв., была несколькими картинами представлена и зарубежная. Запомнила, что он стоял перед полотнами Дюрера и Рембрандта. Он не раз возвращался в античный зал, где были выставлены краснофигурные и чернофигурные вазы VII—V вв. до н.э. Это был мир той Эллады, которую он воспел в «Камне». Теперь же он своим поэтическим зрением открывал его новые стороны.

Хочется немного сказать о стихотворениях, связанных с моим именем. Так же, как в стихи вошел Воронеж, вошли и его люди — Нора из дома ИТР, хозяйский мальчик Вадик с его щеглом и резинкой и я, его неизменная слушательница, а затем друг.

Стихотворение, начинающееся словами «Клейкой клятвой пахнут почки...», было написано после нашей прогулки по парку культуры и отдыха. Тогда я сказала Осипу Эмильевичу, что выхожу замуж, и вскоре познакомила его со своим будущим мужем Борисом *(Б.Е. Молчановым)*. Я помню два варианта этого стихотворения. Первый был ближе к истинным фактам моей жизни. Там фигурировал младший брат. Осип Эмильевич был с ним знаком. Во втором варианте младший брат стал старшим и появилась сестрица. Осип Эмильевич объяснил переделку тем, что желал избежать автобиографичности.

[Эту мысль он повторил мне позднее, прочитав прекрасное стихотворение о своем отношении ко мне. Он тут же его уничтожил. Я не запомнила из него ни одной строки.]

В одном из стихотворений Осип Эмильевич нарисовал меня такой, какой видел. Мне трудно судить, насколько точен портрет:

К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой
Она идет — чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И кажется, что ясная догадка
В ее походке хочет задержаться...

(«К пустой земле невольно припадая...»)

В этом портрете важны не внешние детали (моя хромота), а предчувствие нашей разлуки. Это были стихи прощания. Обыч-

но Осип Эмильевич не комментировал своих стихов. Но на этот раз он сказал: «Это лучшее из мною написанного. Я не буду читать этого стихотворения Надежде Яковлевне, хотя она знает, что оно есть».

Дав стихотворение, написанное тушью на суперобложке от томика Баратынского, он добавил: «Отправьте его, когда я умру, в Пушкинский дом, как завещание».

Пытаясь прочитать стихотворение, я ничего не разобрала и пожаловалась автору на его почерк. Осип Эмильевич счел нужным переписать стихотворение карандашом на листке из тетради одного из моих учеников, взятой на проверку. Суперобложка и этот листок у меня сохранились. Через много лет я их передала, нарушив волю поэта, его вдове *(в 1948 г., во время одного из приездов Надежды Яковлевны в Воронеж).*

7

После отъезда Осипа Эмильевича из Воронежа наша дружба не оборвалась. Я встречалась с ним в Москве в квартирах В. Шкловского и фотографа М. Наппельбаума *(16 июля 1937 г.; ул. Воровского, д. 12, кв. 1)*, дававших приют бездомным супругам Мандельштамам. Они во время своего пребывания в Воронеже потеряли московскую квартиру. Мы вместе ходили на выставки и концерты, навещали их друзей.

Мне запомнилось посещение Третьяковской галереи. По этому случаю Осип Эмильевич надел недавно ему подаренный более удачливым литературным собратом, если не ошибаюсь В. Катаевым, костюм. Первый владелец костюма был человеком высокого роста. Осип Эмильевич несколько раз подвернул брюки. Материя была плотной и упругой. Брюки разворачивались, и Осип Эмильевич, ставя ногу на лестничную ступеньку, с ними упорно воевал. Минуя любимые мною картины, Осип Эмильевич направился в зал древнерусского искусства и, к моему удивлению, провел немало времени у расписных досок Рублева. За этим он и шел.

Из московских друзей Осипа Эмильевича наибольшее впечатление произвел на меня Яхонтов. Раньше я видела знаменитого чтеца лишь с мест для зрителей в воронежских концертных залах. Теперь я побывала у него дома *(возможно,*

ул. Петровка, д. 19, кв. 13). По дороге Осип Эмильевич рассказал мне о своей давней дружбе с Владимиром Николаевичем и о том, что последний почему-то считал его учителем, хотя в манере чтения стихов у них не было ничего общего.

Комната второго этажа старинного особняка была залита светом. Владимир Николаевич стоял между двух зеркал в голубом джемпере, светло-серых брюках и лакированных туфлях. Вероятно, шла репетиция. Яхонтов кинулся к Осипу Эмильевичу, не дав раздеться (на Осипе Эмильевиче была длинная, тоже с чужого плеча, куртка мехом наружу), обхватил его и начал с ним кружиться. У Яхонтова пробыли несколько часов. Он расспрашивал меня о Воронеже, показал нам тексты своих композиций: длинная лента в несколько метров, состоящая из склеенных листов.

На стол подавала Лиля, как я поняла, жена Владимира Николаевича. Очень красивая женщина, строго одетая, тихая, спокойная, молчаливая, лишенная кокетства, так она держала себя при нас. Она даже не включилась в общий разговор. Ее поведение почему-то меня удивляло, и в то же время я любовалась ею.

По комнате летали два попугая, голубой и зеленый. Клетки не было, они сидели, где им хотелось. На небольшом столе был цветок почти без листьев. Он, очевидно, изображал елку, потому что был обвешан лентами из цветной бумаги и какими-то игрушками. А вообще комната не давала ощущения обжитости, и, конечно, ее убранство не носило отпечатка индивидуальности хозяина. У меня было ощущение, что все мы здесь случайные люди, как в гостинице, и от этого, несмотря на всеобщее оживление, становилось грустно.

Повел меня Осип Эмильевич и к Харджиеву *(июль 1937 г.; Александровский переулок, д. 43, кв. 4).* Целую стену его почти пустой неуютной комнаты занимал огромный стеллаж с книгами — несравненная подборка поэзии начала XX века. Большой комод у противоположной стены был набит папками, письмами, рукописями и фотографиями. Харджиев в то время занимался Хлебниковым. Он показывал мне редкие фотографии поэта, читал его стихи и сравнивал некоторые из них с напечатанными ранее. По словам Харджиева, рукописи Хлебникова читаются с трудом, и поэтому многие стихи искажены издателями до неузнаваемости.

Во время нашей беседы Осип Эмильевич, как это было всегда, ходил из угла в угол. Всюду он оставался самим собой, не приспосабливался к вкусам и привычкам хозяев дома. К Осипу Эмильевичу Харджиев относился, как я могла заметить, с большой теплотой.

8

После зимних мытарств наступила летняя благодать. Можно было снять под Москвою комнату и иметь над головой свою, хотя и временную, крышу. Осип Эмильевич любил Волгу. Может быть, поэтому его привлекло Савелово. *(Мандельштамы выехали в Савелово в конце июня 1937 г.)* Или из-за отдаленности от столицы дачи там были дешевле?

Я долго не могла найти нужный мне номер дома. *(Н.Е. Штемпель приехала в Савелово 15 июля 1937 г.)* В поисках я взглядом обшаривала и окна, пока не натолкнулась на дорогое мне лицо. Осип Эмильевич, прижимаясь лбом к стеклу, таинственно поднес палец к губам. Я до сих пор не могу понять, что означал этот жест.

Через несколько мгновений я уже была в комнате. Не знаю, кто из супругов обрадовался мне больше.

Мы бродили по берегу Волги весь вечер. Мне надо было ехать в Москву. Осип Эмильевич уговорил остаться до утра. Все это время он читал новые стихи. Кажется, их было не менее десяти. Много лет позднее я узнала, что Надежде Яковлевне не удалось их сохранить. Она почему-то не помнила их наизусть, как все воронежские. В основном, это была любовная лирика. [Я сразу же узнала их героиню — это была Лиля Яхонтова (Попова).] Но более мне запомнилось по необычности сюжета политическое стихотворение: где-то, кажется в Союзе писателей, Осип Эмильевич встретил адепта смертной казни *(В.П. Ставского).* Со свойственной ему горячностью Мандельштам тут же заявил, что не приемлет казни ни при каких условиях. А потом развил мысль в стихотворении... *(Упоминаемое Натальей Евгеньевной стихотворение не сохранилось.)*

9

Местом одной из наших последних встреч был зимний, занесенный снегом Калинин *(в Калинине Мандельштамы прописались 17 ноября 1937 г. по адресу: 3-я Никитинская ул.,*

43 (дом Травниковых)). Помню комнату на городской окраине, чем-то напоминавшую виденные мною ранее воронежские «апартаменты» Мандельштамов.

Надежда Яковлевна отправила меня и Осипа Эмильевича на рынок за мясом. Я отнеслась к поручению достаточно серьезно и обходила ряд за рядом, чтобы отыскать заказанную часть. Осип Эмильевич шел сзади, и я не заметила, как он исчез. Ликующий крик «Наташа!» заставил меня поспешить на его голос. Осип Эмильевич наклонился над корзинкой с восковыми утятами самых невообразимых оттенков — малиновыми, ядовито-зелеными, желтыми. Ликуя, он брал их одного за другим, пока не опорожнил всю корзинку у удивленной торговки. Денег, выданных нам на мясо, едва хватило, чтобы рассчитаться с торговкой. Но что деньги, этот бумажный мусор, перед яркими фигурками, брошенными в пространство между оконными рамами. И когда, уходя, я оглянулась, чтобы отыскать с улицы окно моих друзей, я отличила его среди многих. И облик Осипа Эмильевича, умевшего находить радость даже в самые тяжелые годы своей жизни и обучившего этому искусству радости других, не померк в потоке отделяющих нас лет.

Осип Мандельштам

Чернозем

Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор —
Комочки влажные моей земли и воли!

В дни ранней пахоты — черна до синевы,
И безоружная в ней зиждется работа —
Тысячехолмия распаханной молвы —
Знать, безокружное в окружности есть что-то!

И все-таки земля — проруха и обух
Не умолить ее, как в ноги ей не бухай:
Гниющей флейтою настраживает слух,
Кларнетом утренним зазябливает ухо.

Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте...
Ну, здравствуй, чернозем, будь мужествен, глазаст —
Черноречивое молчание в работе.

Апрель 1935

* * *

— Я потеряла нежную камею,
Не знаю где, на берегу Невы.
Я римлянку прекрасную жалею —
Чуть не в слезах мне говорили вы.

Но для чего, прекрасная грузинка,
Тревожить прах божественных гробниц?
Еще одна пушистая снежинка
Растаяла на веере ресниц.

И кроткую вы наклонили шею.
Камеи нет — нет римлянки, увы!
Я Тинотину смуглую жалею —
Девичий Рим на берегу Невы.

1916

* * *

Мой щегол, я голову закину —
Поглядим на мир вдвоем:
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоем?

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва в краску влит —
Сознаешь ли, до чего, щегол, ты,
До чего ты щегловит?

Что за воздух у него в надлобье —
Черн и красен, желт и бел —
В обе стороны он в оба смотрит — в обе —
Не посмотрит — улетел!

Декабрь 1936

Notre Dame

Где римский судия судил чужой народ —
Стоит базилика, и радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом — дуб, и всюду царь — отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

1912

* * *

Заблудился я в небе... Что делать?
Тот, кому оно близко, ответь.
Легче было вам, дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть,
Задыхаться, чернеть, голубеть.

Если ты не вчерашний, не зряшный,
Ты, который стоишь надо мной,
Если ты виночерпий и чашник,
Дай мне силу без пены пустой
Выпить здравье кружащейся башни
Рукопашной лазури шальной.

Голубятни, черноты, скворешни,
Самых синих теней образцы,
Лед вчерашний, лед вышний, лед вешний,
Облака — обаянья борцы —
Тише! Тучу ведут под уздцы.

9 марта 1937

Реймс-лаон

Я видел озеро, стоящее отвесно.
С разрезанною розой в колесе
Играли рыбы, дом построив пресный,
Лиса и лев боролись в челноке.

Глазели внутрь трех лающих порталов
Недуги — недруги других невскрытых дуг,
Фиалковый пролет газель перебежала,
И башнями скала вздохнула вдруг.

И влагой напоен, восстал песчаник честный,
И средь ремесленного города-сверчка
Мальчишка-океан встает из речки пресной
И чашками воды швыряет в облака.

4 марта 1937

* * *

Не сравнивай: живущий несравним.
С каким-то ласковым испугом
Я соглашался с равенством равнин,
И неба круг мне был недугом.

Я обращался к воздуху-слуге,
Ждал от него услуги или вести,
И собирался плыть, и плавал по дуге
Неначинающихся путешествий.

Где больше неба мне — там я бродить готов —
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим — яснеющим в Тоскане.

18 января 1937

1

К пустой земле невольно припадая
Неравномерной сладкою походкой,
Она идет, чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И, кажется, что ясная догадка
В ее походке хочет задержаться —
О том, что эта вешняя погода
Для нас — праматерь гробового свода,
И это будет вечно повторяться.

2

Есть женщины сырой земле родные,
И каждый шаг их — гулкое рыданье,
Сопровождать умерших и впервые
Приветствовать воскресших — их призванье.
И ласки требовать от них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня — ангел, завтра — червь могильный,
А послезавтра — только очертанье.
Что было — поступь — станет недоступно,
Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И то, что будет — только обещанье.

4 мая 1937



Софья Игнатьевна Богатырева

Слово о «третьей плакальщице»

(*13 октября 2000 г. мы попросили С.И. Богатыреву рассказать о встречах с Н.Е. Штемпель. Запись О. Фигурновой.)*

Поминки по Надежде Яковлевне Мандельштам были в доме Наталии Владимировны Кинд *(ул. Дмитрия Ульянова, д. 4, корп. 2, кв. 226)*, куда все мы съехались после похорон *(2 января 1981 г.)*. Когда улеглась неизбежная в таких случаях суета с шубами, шапками и обязательными хлопотами вокруг кухни, все расположились за большим просторным обеденным столом. Народу собралось так много, что сидели мы в два ряда — помню чью-то руку, осторожно протянувшуюся над моим плечом, а потом уплывшую назад с ломтем хлеба, и тарелки, которые мы передавали назад,«в амфитеатр». В конце концов, благодаря усилиям хозяйки, все устроились, каждому нашлось место.

И вот тут наступило молчание.

В тишине все взгляды обратились к Наталье Евгеньевне Штемпель. Мало кто из присутствовавших был с нею знаком: жила она в Воронеже, в Москве почти не бывала. Но ее узнали.

Узнали еще раньше, на кладбище, когда расходились от свежей могилы к автобусам и машинам. Угадали по строкам Мандельштама

К пустой земле невольно припадая
Неравномерной сладкою походкой...

Как это нечасто бывает, ее хромота — то, что, строго говоря, надо было бы назвать недостатком, воспринималось скорее как отметина, отличавшая ее от других:«стесненная свобода одушевляющего недостатка...» Я шла не совсем за нею, между нами было довольно много народу. Стояла зима, дорога была трудная, скользкая, в колдобинах, кочках, и все же в нашей оскользающейся толпе «неравномерную сладкую походку» Натальи Евгеньевны не узнать было невозможно. Вероятно, эти строки пришли на память не мне одной.

Когда мы увидели ее за столом, то, пожалуй, самым ясным ощущением было то, что она стремится от наших взглядов спрятаться — спрятаться было совершенно некуда, потому что то было открытое оголенное пространство комнаты, комнаты ярко освещенной, где все отчетливо видели друг друга. Не знаю, как другим, но мне подумалось, что это она теперь «на роковой стоит очереди» *(из стихотворения Ф.И. Тютчева «Брат, столько лет сопутствовавший мне...»)*. Ведь тот мир, мандельштамовский мир, к которому она принадлежала, с уходом Надежды Яковлевны опустел, почти оборвался. Наталья Евгеньевна стояла на границе этого мира и публики, которая собралась в доме. Тогда прозвучал голос Юрия Львовича Фрейдина, который произнес слова, которых все ждали:

— Мы вас слушаем, Наталья Евгеньевна.

В секунды, которые предшествовали этой фразе, мы успели ее разглядеть: она была очень тихая, очень сдержанная, эта сдержанность и тишина как-то особенно подчеркивались тем вниманием, которое было на нее обращено. Потому что это была московская публика, достаточно уверенная в себе, собрание ярких и блестящих людей. Когда Наталья Евгеньевна услышала обращенные к ней слова: «Мы вас слушаем», она попыталась спрятаться от внимания, сказала, что не готова, что не собралась с мыслями... И мне очень запомнилась следующая реплика Фрейдина (он ведь не только литературовед, он врач

по своей первой специальности). Голосом врача, успокаивая, но и настаивая, он веско сказал, приказал:

— Так соберитесь.

Она покорно встала — маленькая, строгая, прямая. Негромким голосом, ровным и спокойным, заговорила — то была речь о подвиге сотрудничества, жизненном пути Надежды Мандельштам. И о своей благодарности судьбе, подарившей ей эту дружбу. *(Н.Е. Штемпель: «Юра Фрейдин предложил мне сказать несколько слов. Это естественно, но для меня оказалось неожиданно, очевидно, я была слишком потрясена случившимся.*

«Я что-то не соберусь с мыслями», — попробовала я слабо возразить. — «Ничего, мы подождем, соберитесь», — ответил спокойно Юра. Пришлось встать.

Закончила я свою речь стихами Осипа Эмильевича, обращенными к Надежде Яковлевне:

Еще не умер ты, еще ты не один...

<...> *Потом безо всякого на то приглашения один за другим начали вставать люди и наизусть читать стихи Мандельштама, стихи разных лет.*

И перед взволнованными, пораженными неожиданностью слушателями предстал во весь рост поэт — Осип Мандельштам. Никогда, наверное, не было такого вдохновенного литературного портрета, прозвучавшего как реквием.

И уже нет ни смерти, ни горя. Какая побеждающая сила поэзии!

Какое торжество!

Именно так надо было почтить память этих двух людей, неотделимых друг от друга» (Памяти Надежды Яковлевны Мандельштам // Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже, с. 82).)

Пока она говорила, впечатление от ее облика незаметно для нас всех изменилось. Уже через минуту никакого смущения мы не видели. Напротив, ощутили тайную силу, от нее исходившую, спокойную и ровную, как ее голос, и с готовностью этой силе подчинились. Слушали ее с глубочайшим вниманием, никто не посмел не то что прикоснуться к тарелке, притронуться к вилке — перевести дыхание. Удивительно, но в тоне ее света было больше, чем тени — радость от общения с Осипом и Надеждой Мандельштамами звучала слышнее горечи разлуки с

ними. Нет,«радость» в таком контексте — неуместное слово. Надо бы сказать: любовь. Любовь к тем, с кем она в тот день прощалась, — поминки по Надежде Яковлевне были для всех и поминальным днем Осипа Мандельштама; к каждому из нас, собравшихся тут. Желание, чтобы мы смогли разделить ее чувства, прикоснуться к ее воспоминаниям. К светлой радости, присущей ей даже в горе.

Мне посчастливилось видеть Наталью Евгеньевну и раньше, за много лет до того. Я часто бывала в Воронеже, у меня есть там очень близкие друзья — германист Алла Борисовна Ботникова и ее муж, театровед Зиновий Яковлевич Анчиполовский. Они были хорошо знакомы с Натальей Евгеньевной, но каждый раз, когда я приезжала *(речь идет о периоде с 1968 по 1972 год)*, они как-то не решались лишний раз ее побеспокоить. Однажды я все же настояла на встрече, и Алла Борисовна повела меня, пропадающую от смущения, к Наталье Штемпель. Когда мы пришли, то смущение, с которым я боролась всю дорогу, окончательно меня затопило, и я принялась длинно, невнятно, путано извиняться перед Натальей Евгеньевной за свое вторжение, сознавая в то же самое время, что надо было одно из двух: или не приходить, или не извиняться, — утонула в собственных словах и, наконец, замолчала — деваться было уже некуда... И тут в тесной прихожей я увидела замечательную вещь: я увидела, что Наталья Евгеньевна смущена ничуть не меньше меня, что ей ужасно неловко: хочется мне помочь, но она, понятия не имея о том, кто и зачем к ней явился, не знает, как это сделать. Тогда я сразу осмелела, назвала свое имя и имя моего отца, сказала, что у нас хранился архив поэта, а мои родители были близки с Надеждой Яковлевной. Услышав простые человеческие слова и внятную речь, Наталья Евгеньевна просияла, всплеснула руками и воскликнула: «Господи, так *все* же ходят, что же *вы-то* робели?!»

Она нас пригласила в комнату, и, как водится, на столе появился чай с булочками и вареньем... А потом на том же столе, убрав чайную посуду, показала посвященный Мандельштаму альбом *(фотоальбом «Осип Эмильевич Мандельштам в Воронеже» (июнь 1934-май 1937 гг.)», в 1986 г. был передан Натальей Евгеньевной в ЦГАЛИ (ныне РГАЛИ))*, над которым работала. Я помню, каким это было для меня потрясением! В то время

Осипа Мандельштама еще и не прочли толком, самое имя его произносилось с оглядкой... А тут, в уютной воронежской квартирке, с пальмой и домашним вареньем, методично собирали, собрали по крупицам свидетельства его пребывания в городе. Собирали тщательно и бережливо, скрупулезно хранили все, что хоть отдаленно имело к нему отношение: фотографии, записки, афиши... В Москве еще только боролись за издание воронежских стихов поэта, а здесь к ним готовили пространный, щедрый комментарий.

Наталья Евгеньевна показывала альбом с гордостью, она ею просто светилась, но гордость была направлена не на нее самое, женщину, которая внушила Мандельштаму едва ли не лучшие его любовные стихи; то была гордость за ее помощников, мальчиков и девочек, которые готовы взахлеб читать Мандельштама и трудиться во имя его памяти.«Вот ведь какие чудесные люди живут в моем чудесном городе!» — стояло за ее улыбкой.

В этом она была вся, по-моему.

Позднее, когда я читала ее воспоминания, я поняла, что общение с ней, очень короткое, было от первой и до последней секунды праздником. *(Н.Е. Штемпель: «Я сообщила О. Мандельштаму, что разошлась с Борисом* [Б.Е. Молчановым]*, он очень расстроился. <...> Потом успокоился и сказал, что ему ясно, почему мы разошлись: «Борис не способен на праздник, который вы несете».» (Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже, с. 21).)*

Больше после поминок по Надежде Яковлевне я ее не видела. Когда я в следующий раз приехала в Воронеж (а я очень готовилась к встрече с Натальей Штемпель, нашла какие-то вещи, связанные с Мандельштамом и его окружением, — то, что могло быть ей интересно), она уже тяжело болела, и прийти к ней было уже невозможно.

Федор Тютчев

* * *

Брат, столько лет сопутствовавший мне,
И ты ушел, куда мы все идем,
И я теперь на голой вышине
Стою один, — и пусто все кругом.

И долго ли стоять тут одному?
День, год-другой, — и пусто будет там,
Где я теперь, смотря в ночную тьму
И — что со мной, не сознавая сам...

Бесследно все — и так легко не быть!
При мне иль без меня — что нужды в том?
Все будет то ж — и вьюга так же выть,
И тот же мрак, и та же степь кругом.

Дни сочтены, утрат не перечесть,
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я как есть,
На роковой стою очереди.

11 декабря 1870

Наталья Николаевна Самохина

О Наталье Евгеньевне Штемпель: штрихи из 2001 года

Наталью Евгеньевну я узнала в 6 своих лет, в 22 ее. Дело в том, что Наталья Евгеньевна и моя мама Евгения Николаевна Перкон (тогда — Женя Самохина) обе учились на педфаке Воронежского университета, обе окончили его в 1930 году; учась на педфаке — дружили, были очень близки.

После окончания университета связь мамы и Натальи Евгеньевны прерывается на долгие годы и возобновляется уже только после войны (мы жили к этому времени в Москве, Наталья Евгеньевна — в Воронеже). Особенно тесной эта связь стала после того, как мы переехали в шестидесятые годы в более просторную квартиру, и Наталья Евгеньевна, наведываясь в Москву, уже всегда останавливалась у нас. С этого времени я, собственно, и помню ее уже очень хорошо, и могу поделиться не столько какими-то новыми фактами, сколько своим общим впечатлением от этого прелестного человека, «Наташи», как звали ее все до самой старости.

Две страсти было у Натальи Евгеньевны — стихи и интересные люди. К людям — особенно чем-то интересным, она ис-

пытывала буквально жадность — всегда помню ее в окружении людей у нас дома (или у нее в Воронеже), или спешащей на встречу с кем-то. Нам казалось, что это должно быть страшно утомительно для немолодой уже и не очень здоровой Наташи, но это был ее «образ жизни». Да и к ней, конечно, тянулись, особенно молодежь шестидесятых годов — Наталья Евгеньевна всегда была в «ореоле» Мандельштама... Мне кажется, людей она предпочитала книгам (но не стихам). Кажется еще, что узнав человека, «исчерпав» интерес к нему, она нередко к нему охладевала... (Хотя, конечно, существовали и «дружбы всей жизни».)

О стихах. «Всепоглощающим» поэтом был, конечно, Мандельштам, — стихи перепечатывались, переписывались, дарились (именно от Натальи Евгеньевны мы узнали и получили в подарок подборку «Воронежских тетрадей»). Стихи постоянно читались вслух (по ее приезде из Воронежа — чуть ли не «с порога»). Кто слышал чтение Натальи Евгеньевны, у того, конечно, навсегда сохранилась в памяти ее неповторимая интонация, манера чтения (может быть, она в чем-то даже подражала чтению самого Мандельштама).

Из других поэтов — никогда не слышала, чтобы она читала кого-либо из «старых» поэтов. А из поэтов XX века больше других читала (с машинописного текста), пожалуй, Гумилева, немного — Цветаеву (хорошо помню ее чтение «Попытки ревности»), никогда — Пастернака, да и чтения Ахматовой не помню (но здесь я могу ошибиться). Читались стихи обычно «с листа» (не наизусть). Но зато на втором месте (после Мандельштама) были стихи (если их рассматривать, так сказать, «суммарно») многочисленных молодых поэтов — они всегда толпились вокруг Натальи Евгеньевны, часто читали их сами; приходившие к Наталье Евгеньевне поэты (или считавшие себя таковыми) все несли ей стихи «на суд», все хотели знать ее мнение, и, надо сказать, она была щедра на оценки.

Возвращаясь к Мандельштаму, надо сказать, что для восприятия Натальей Евгеньевной его стихов было характерно невнимание, даже, пожалуй, безразличие к содержанию стиха (вернее, отсутствие стремления «все понять», «разложить по полочкам», расчленить, литературоведчески истолковать, найти литературные реминисценции и т.п. — все, что так характерно для наших «мандельштамоведов»). Помню, мать моя, в общем

не любившая «непонятных» стихов, все добивалась у Натальи Евгеньевны — что это за «кошачья голова во рту» в стихотворении «Скрипачка». Наталья Евгеньевна на это только застенчиво улыбалась, как бы говоря: «Какое это имеет значение?» (а может быть, и напрямую так говорила — не помню). Но, может быть, это и есть выражение истинной любви к стиху? *(Н.Я. Мандельштам: «Легче ему* [О. Мандельштаму] *было с Наташей, которая принимала стихи вне их смысла...» (Из комментария к воронежским стихам // Осип Мандельштам. Воронежские тетради. — Воронеж, 1999. — С. 221).)*

Сказанное не сильно противоречит произведенному в ее воспоминаниях комментированию: намерению «привязать» стихотворение к определенным реалиям — объяснить (если возможно), по какому поводу, в какой обстановке, на какой улице, месте написано стихотворение, кому посвящено и т. д. — но это комментирование всегда носит бытовой характер.

Говоря о Наташе как о человеке, хочется прежде всего сказать об ее обаянии, о пленительной женственности, если хотите. Тихий голос, обворожительно-мягкие, напевные интонации речи — доверительные, душевные... Но — и способность говорить иногда жестко, в голосе появлялись какие-то резкие и даже властные ноты... И это, конечно, было проявлением того, что под мягкой внешностью скрывался достаточно сильный, волевой характер... А вот Надежду Яковлевну она слегка «побаивалась» (да это и неудивительно).

Речь ее отличала большая обстоятельность, желание в рассказе на любую тему изложить все в мельчайших деталях; неторопливость, отсутствие спешки, отсутствие «дерганья» (что так контрастировало с нашим московским бытом). Обстоятельно убрать квартиру, полить домашние цветы (их Наташа была большой любительницей — вспомним ее воронежскую квартиру), неспешно протереть вещи от пыли... Очень большое внимание к тому, как выглядит, как причесана, что надеть в гости, на вечер, на заседание. И была совершенно неутомима, — куда только ни мчалась из нашего кузьминского «далека», несмотря на внешнюю хрупкость, болезненность...

И еще об одном, для многих, может быть, особенно в наши дни, неожиданном. Наталья Евгеньевна была абсолютно не религиозна. Если продолжать эту тему немного с другой стороны, — помню, как она была удивлена, когда узнала, что Ахма-

тову (с которой была немного знакома через Надежду Яковлевну) отпевали и похоронили по церковному обряду (конечно, не порицала этого в людях, религиозность которых знала, ту же Надежду Яковлевну, хотя и здесь, мне кажется, она не без внутреннего удивления воспринимала ее религиозность).

Мне кажется, в Наталье Евгеньевне было много от старой провинциальной (в хорошем смысле слова) интеллигенции, от поколения русских педагогов. Ведь и мать ее, которую она безгранично почитала, была простой русской учительницей.

Варвара Викторовна Шкловская-Корди

Весной 1937 г. в центре Москвы, в Лаврушинском переулке, заканчивалось строительство кооперативного писательского дома. Оцепенело стоящую, еще без лестничных перил, громадину — каменную бабу «Лавруху» — потянулись заселять писатели и писательские семьи. Одними из первых ее жильцов стали Шкловские. С лета 37-го квартира Шкловских — Лаврушинский переулок, дом 17, кв. 47 — становится тайным убежищем для О.Э. и Н.Я. Мандельштамов. (В конце июня 1937 г. им, недавно вернувшимся из воронежской ссылки, было приказано в срочном порядке покинуть Москву.) После гибели О. Мандельштама вплоть до середины шестидесятых «Лавруха» служила временным приютом уже для одной Надежды Яковлевны, жившей все эти годы «на бескрайних просторах родины».

«А мы думали, что вы будете первой...», — такими словами ее, впервые пришедшую в этот дом вдовой, простодушно приветствовали лаврушинские консьержки.

В декабре 1940 г. после трехдневного пребывания в Москве Надежда Яковлевна уже из Калинина напишет Б. Кузину: «Они *(Шкловские)* из кожи вон лезли, чтобы все было хорошо. То есть

не засыпали, не убегали, не купали собаку <...> После пяти минут разговора Витя *(В.Б. Шкловский)* убегает спать. Гости ждут. Потом он опять вбегает и т.д. Они чудные добрые люди. Лучших я не знаю. <...> Если бы я осталась на дольше, началась бы забота (и оба были бы очень рады). Кушай — пей. Постель тебе постелят. Проверят, есть ли носовой платок и белье на смену. Главное — чтобы я была домочадцем — живущей. Но я не живущая, не домочадец, а приходящая <...> Я их люблю...» (Кузин Б. Воспоминания..., с. 636—637).

Это была та нагретая домашним теплом атмосфера семьи Шкловских, так запомнившаяся Н.Е. Штемпель, которой своим последним общим летом 1937 г. Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна «дарили Москву»:

«Виктор Шкловский встретил нас в трусах, что меня несколько шокировало. Но действительно жара стояла невыносимая. Первое впечатление от Виктора Борисовича: веселый круглый человечек, круглая, очень круглая голова, круглые глаза, а веселость так и брызжет, искрится. Он все время острил. <...> Мне очень понравилась Василиса Георгиевна, жена Шкловского. От нее веяло мудростью, спокойствием, грустные большие глаза смотрели на вас с сочувственным вниманием, а главное, меня поразила какая-то высокая простота и естественность. И — сияющая Варя, дочь Шкловских, таких сияющих глаз, кажется, я ни у кого не видела, они освещали все лицо...» (Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже // Осип Мандельштам. Воронежские тетради, с.228—229).

С годами поток посетителей в Лаврушинский к Надежде Яковлевне, обитавшей там в комнатке за кухней, набирал центростремительную силу. По свидетельству М.К. Поливанова, «хотели повидать ее многие, и пришедшие раньше были вынуждены выходить, чтобы дать место другим и дожидаться вновь своей очереди на кухне. Потом В.Г. Шкловская приглашала всех за обеденный стол пить чай» (Юность. — 1988. — № 8. — С. 35). Сюда, в Лаврушинский переулок, к Надежде Яковлевне часто приезжала и А.А. Ахматова. Н.Н. Глен в беседе с авторами этих строк вспоминала, что каждого нового гостя Василиса Георгиевна встречала со спокойной невозмутимостью и неизменной доброжелательностью. В ее ровном отношении к людям не было различия между новыми знакомыми и старыми друзьями дома.

С 1953 г. (еще до первой, частичной, реабилитации О. Мандельштама) Шкловские начинают хлопотать о постоянной московской прописке для Надежды Яковлевны. А спустя четыре года А. Сурков даст ей твердое обещание: им вместе с А.А. Ахматовой в Москве будет предоставлена двухкомнатная квартира. Окрыленная этим «грандиозным проектом», Надежда Яковлевна напишет Ахматовой из Вереи: «Вопрос о квартире возник, когда Сурков, разговаривая со мной, спросил про Вас. Из общей ситуации он сам сделал вывод, что Вам нужна комната для работы <...>, на следующий день меня вызвал некий Воронков, расспросил и заявил, что у меня с Вами будет двухкомнатная квартира <...> Воронков только спросил, какие у нас отношения и не сочтете ли Вы такую квартиру коммунальной, на что я нагло объяснила, что мы обожаем друг друга <...> Он для нас намечает новый дом у Белорусского вокзала. Сурков же клялся, что все будет сделано по первому классу» (Письма Н.Я. Мандельштам к А.А. Ахматовой // Литературное обозрение, с. 98—99).

В 1958 году этот «первоклассный» проект «злого гения» Ахматовой (так Анна Андреевна за глаза именовала Суркова), не успев материализоваться, бесславно лопнул, оставив в качестве утешительного приза 200 рублей, переведенные Литфондом на псковский адрес Надежды Яковлевны.

На эти деньги она приобрела экземпляр «Камня» («с грудой» вписанных туда «стихов»), ранее принадлежавший С.П. Каблукову, и до конца своих дней считала, что это было «хорошее употребление денег, выданных грязным учреждением» (Мандельштам Н. Вторая книга, с. 479).

И вновь начались скитания между Псковом, Москвой, Вереей, Тарусой... Только в 1964 г. Шкловским удалось, наконец, завершить эпопею с московской пропиской. Надежду Яковлевну Мандельштам, «непрописуемую Надежду», на правах «дальней родственницы» прописали в их квартире в Лаврушинском переулке. Так сухим бюрократическим документом были подтверждены давние родственные узы, связывавшие Надежду Яковлевну с тремя поколениями семьи Шкловских.

В феврале-апреле 2000 г. мы (О. и М. Фигурновы) записали воспоминания дочери В.Б. и В.Г. Шкловских **Варвары Викторовны Шкловской-Корди** и ее мужа поэта **Николая Васильевича Панченко**.

Беседу ведут О. Фигурнова, М. Фигурнова при участии поэта Николая Васильевича Панченко

I

Варвара Викторовна, из памяти Ваших родителей, унаследованной Вами, расскажите о Доме Искусств, бывшем Елисеевском дворце, где, кажется, у Шкловского была спальня, а, по воспоминаниям Вашей матери, у Мандельштама — подвальная комната, хотя он сам в очерке «Шуба» упоминает железные перила черной лестницы, по которой подымался на какой-то, стало быть, этаж. Это зима 1920/21 гг., о ней почему-то все вспоминали очень хорошо, и анекдотов тоже много ходило. Например, знаменитое: «Мандельштам жабу гладят», и когда Мариэтта Шагинян вышла единственная на уборку снега, а остальные саботировали это дело. К этому времени относится и история с порванными штанами Осипа Эмильевича. Расскажите, пожалуйста. Дом Искусств...

В Доме Искусств у Шкловских была отнюдь не спальня, а гардеробная, то есть комната за туалетом, которая со всех сторон была окружена шкафами, и в одном из них по ночам кричали от одиночества единственные штаны Шкловского. (Днем он в них ходил.) Выход был через роскошную туалетную комнату, где была, очевидно, ванная, — естественно, она, наверное, не работала. Они жили весело и радостно. И, может быть, потом вздыхали о том времени. Они отбросили все буржуазные предрассудки типа ванной, хорошей еды и всего прочего. *(См. статью О. Мандельштама 1921 г. «Слово и культура»: «Светская жизнь нас больше не касается, у нас не еда, а трапеза, не комната, а келья, не одежда, а одеяние. Наконец, мы обрели внутреннюю свободу, настоящее внутреннее веселье» (Мандельштам О. Собр. соч. в 4-х томах. Т. 1, с. 212); а также следующее высказывание Надежды Яковлевны в записи Р. Орловой: «Идея равенства захватила меня, так же как ранее Осипа. Нам тоже было присуще традиционное для русской интеллигенции чувство вины за привилегии» (Вызволяя себя из прошлого // Страна и мир. — 1984. — № 10. — С. 65).)* И Шкловский даже вспоминает такую деталь *(в «Сентиментальном путешествии»)*, что там был тренажер в виде велосипеда, который стоял, и можно было крутить педали. Шкловский работал и крутил педали.

С Мандельштамом они были знакомы до того, как он женился на Надежде Яковлевне.

Это в 21-м году случилось. Официально — в 22-м. *(В конце февраля — начале марта 1922 г. в Киеве.)*

Да.

Осип Эмильевич привозит ее в Петербург...

Он привел свою молоденькую жену познакомиться с друзьями: с мамой и с отцом. Я не знаю, в этот ли день были порваны штаны или это случилось в другой приход, но он держал шляпу, закрывая порванные штаны, и мама сказала: «Осип Эмильевич, снимите, завернитесь в полотенце, я Вам зашью». Надя возразила: «Ни в коем случае! Он поймет, что это можно зашивать». Она к этому была совершенно не готова. *(Н. Тихонов: «<...> Мандельштам все время, я обратил внимание, старался держаться, прикрывая спину. Как-то даже непонятно, почему он жмется к стенке. Но его жена сказала:*

— Не обращайте на него внимания. Он не может повернуться, потому что у него разорваны брюки сзади и такая громадная дыра, что он прикрывается газетой» (Цит. по: Лекманов О. Осип Мандельштам: Портреты словами // Даугава. — 1995. — № 1. — С. 149).)

Шкловские жили в гардеробной, а Мандельштам — там, где прислуга Елисеева, на первом этаже. А вот кто жил в настоящей спальне, этого я не знаю. И где жила Мариэтта Шагинян?..

«С монашеской глухотой», как сказал Мандельштам.

Надо сказать, что с Мариэттой моя мама и тетка *(Н.Г. Корди)* учились в одной гимназии *(гимназия-пансион Ржевской)* и вспоминали ее всегда очень весело, потому что та была большая выдумщица. Она уже была глуха в 16 лет.

В 16 лет?

Мама была моложе нее, а тетушка старше, значит, она была между ними. У Мариэтты были всегда романы, после которых она вешалась и топилась, в том числе, она пыталась повеситься на почве какой-то неудачной влюбленности в девичьем сортире, после чего там сняли крючок. А когда был 905 год, она вывесила свои красные панталоны в качестве флага, и гимназистки потребовали крючок в женскую уборную. Надо сказать, когда она писала мемуары, там было две страницы (это «Новый мир», как сейчас помню), про маму и тетку *(фрагмент воспоминаний Шагинян о сестрах Корди см. в ее кн. «Человек и время». М.,*

1980. — С. 176—177). Мариэтта про них довольно так... ласково написала. Они очень смеялись и говорили: «Ну, все соврала! Ну, ни одного слова правды! Ну, хоть бы что-нибудь — ну, все не так!». В том числе, кстати, и про эти штаны. Мариэтта написала про них в революционном ключе. Это была у нее революция, понимаете?

У меня вот о Шагинян в памяти, что в октябре 1956 г. в Англии она увидела толпу, которая целенаправленно куда-то двигалась. Она в нее влилась и даже пошла в первых рядах, потрясая клюкой, а потом оказалось, что толпа направляется к советскому посольству выражать свой протест относительно венгерских событий. Мариэтта срочно ретировалась.

Да. Кстати, в этих же мемуарах она написала: «Почему-то директриса меня любила и брала с собой в театр, в ложу, и я слушала...» По-моему, Шаляпина она слушала. Мама сказала: «Так она же была племянницей директрисы». А Мариэтта в этих мемуарах продекларировала свое рабоче-крестьянское происхождение. Причем надо сказать (заканчивая с Мариэттой), она прогуливала огромную собаку этой директрисы, и на маму, которая не боялась собак, науськала эту собаку. Мама протянула руку — и та вырвала кусок руки ей вместе с ватной курткой, так что у мамы всю жизнь был шрам, даже такая выемка.

А что Шагинян? Ведь в некотором роде это ее укус.

Она оценила... Она не сказала, что науськала. Ну, ей интересно было, они же всё пытались испытать. Она сказала, что мама не проронила ни одного звука. Мама, вообще, была в некотором роде спартанкой по своему происхождению *(предки сестер Корди по отцовской линии происходили из Греции).*

Варвара Викторовна, давайте вернемся к Мандельштаму. У нас еще брючный эпизод не закончился. У меня такое ощущение, что Мандельштам — какой-то самый бесштанный человек в русской литературе. Помните, ему Горький выдал свитер и отказал в брюках. Брюки ему отдал Гумилев, и Мандельштам даже говорил, что чувствовал себя необыкновенно мужественным в брюках Гумилева. Потом брюки ему, кажется, давал Катаев...

Да. Кстати, о Катаеве... Надо сказать, он много наврал в «Алмазном венце». У него было дикое бешенство. Все умерли, а он себя назначил таким советским Вальтер Скоттом и преуспел, он и Каверин. А потом оказалось, что вот эти люди интереснее

для читателя: тот же Олеша, которому он давал три рубля на опохмелку. Или не давал. Бабель, Мандельштам...

Нет, принципиально вторых штанов у них не было, «не тем они торговали», как говорил мой отец: «Не тем торгуют». У отца они появились, наверное, после 70-ти, вторые штаны. *(Н.Я. Мандельштам: «Походив по квартире Шкловского, Катаев удивленно спросил: «А где же вы держите свои костюмы?» А у Шкловского еще была [речь идет о 1937 г.] одна, в лучшем случае две пары брюк» (Воспоминания, с. 332).)*

Варвара Викторовна, что-нибудь еще о том времени? Ведь ходили легенды о крайней беспомощности Мандельштама: не умел топить печки, постоянно подвергался нападкам каких-то насмешников и от этого, дескать, страдал. В последнее не очень верится. Сам был человеком, умеющим и дразнить и, когда нужно, «отбрить»...

Конечно. Да нет, это имени Эммы Герштейн — все эти слухи. Он был совершенно очаровательный. Они никто не умели топить печку. Конечно, Виктор Борисович веселее ломал стулья и бросал их в буржуйку, просто потому что он другой конструкции был.

Н.В.П.: Это было искусство, как с одного удара сломать стол или кресло, чтобы сразу можно было его реализовать в буржуйку. Молодые.

В 21 году Мандельштам приезжает из Киева с Надеждой Хазиной. В Петербурге шок — Мандельштам женился... Почему-то его не представляли связанным семейными узами.

Не знаю. Не знаю. У мамы не было шока. Она сразу с Надей подружилась, и так эта дружба и была всю жизнь, и к нам перешла. Тогда вообще они... это уже Надино поколение, считали, что это всё буржуазные предрассудки: замужество, семья. Такое время было.

Варвара Викторовна, давайте проговорим «кузинский сюжет». Вышла книга *(Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б. Кузину. — СПб, 1999)* **и сразу попала в разряд «нехороших» сенсаций...**

Двойное предательство было. Предательство его, когда он не уничтожил письма, и предательство издательства, которое их напечатало. Что касается их отношений, — я не знаю, какие они были. Что касается темперамента Надиных писем, то если Вы посмотрите письма мне или маме, — этот темперамент везде. Скажем, она пишет о том, что не доварила варенье из той

земляники, которую, уронивши ребенка, принесли в дом, и что надо его переварить, и чтоб мы это обязательно сделали. И все это с тем же темпераментом. Поэтому, я думаю — это вот такое у нее было страшное одиночество, и жизнь в письмах как-то его скрадывала. Может быть, я не права, я Кузина не дочитала, разозлилась на него.

Н.В.П.: Это не должно было... Если было что-то интимное, то не должно было выйти за пределы без решения двух, а со стороны Нади совершенно ясная позиция, она сказала: «Сожгите эти письма». *(Н.Я. Мандельштам: «Я требую, чтобы были уничтожены мои письма. Требую этого категорически. Это одно из требований, которые мужчины выполняют, если у них есть сколько-нибудь ясные представления о чести» (Там же, с. 583).)*

В.В.Ш.-К.: А потом его простила и продолжала с ним переписываться.

Н.В.П.: Вполне возможно, что ничего и не было. Вполне возможно, что был какой-то порыв, так сказать, от одиночества, от чего-то...

— Он же считался другом вроде как. Осип Эмильевич интересовался им, интересовался. Вот у него есть стихи о Ламарке, пламенном Ламарке:

Он сказал: довольно полнозвучья, —
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил...

(«Ламарк»)

и так далее. Это, значит, разговоры с Кузиным о биологии, которая, как и все, Осипа Эмильевича интересовала. И дружба... «Я дружбой был, как выстрелом, разбужен...» — это, как вы, наверное, помните, Осип Эмильевич [сказал] в стихотворении, посвященном Кузину *(«К немецкой речи»)*. Ну, а какой это был человек? Не знаю. Любищев был очаровательный человек. Он бывал и живал в Тарусе. Наденька ему снимала там светелку. И они приезжали с женой *(Ольгой Петровной)*. Он показывал нам, как выглядят микроскопические рачки — это потрясающей красоты, вся микрофауна потрясающей красоты.

По-моему, кузинский сюжет в жизни Надежды Яковлевны — попытка совершенно затравленного человека уйти... даже не уйти, а хоть на какое-то время укрыться от судьбы. В общем, это была

помянутая ею та самая «боковая дорожка». И какое было жестокое разочарование, когда...

Да. Он ее оттолкнул.

Просто испугался.

Н.В.П.: Он ее обманул. Произошло то, что для Нади было совершенно недопустимо. Она никогда не обманывала и к себе тоже требовала честного отношения. Вот здесь это было нарушено. Может быть, именно поэтому она хотела что-то скрыть. Она почувствовала, что слишком сильно открылась там, где не следовало открываться.

— Что он на такие отношения не тянет.

Ей отогреться хотелось.

Н.В.П.: Да. Не тянет — и все. Ну что делать? Ну, бывает — вот рванешься, а потом отойдешь, думаешь: «Господи, да что же это я...»

А потом она его оставила на тех ролях, на которые «тянул».

Да-да. Причем она так же могла написать моей тетке — старшей своей подружке: «Мы еще переспим с Вами на этом диванчике». Был такой крошечный у нас диванчик, полметра на метр шестьдесят.

Н.В.П.: Он у детей сейчас.

О! Сейчас бы Эмма Григорьевна из этого такой сюжет сделала...

Да. Значит, из переписки с моей теткой тоже можно сделать такой вывод, а они, сидя на этом диванчике, разговаривали о варке варенья, о литературе и о французских романах...

А что это за набоковские простыни, на которых Надежда Яковлевна возлежала?

Это были простыни с синтетикой, то есть их можно было выстирать (стиральных же машин не было в те времена), тут же повесить и тут же постлать.

Н.В.П.: Желтые с цветами.

— Да. Наденька очень любила купаться, любила, чтобы всё было чистое. Всё это, конечно, было прожжено, поскольку...

Н.В.П.: Она все время курила. Всегда «Беломорканал».

— Тем более, когда есть синтетика, то такие получаются хорошие дырки. Так что были набоковские простыни.

Это дар Набокова ей?

Да. Но, как правило, она все это (уже на нее была мода и к ней приезжали) тут же дарила, причем все обижались, конечно.

Передаривала?

Тут же, тут же!

Н.В.П.: Мы не успевали уйти — а то, что мы подарили, уже ушло.

— Да. Она тут же это пристраивала. *(Р. Орлова: «Н. Мандельштам часто и охотно делала подарки, с легкостью раздавала деньги, всячески помогала людям» (Вызволяя себя из прошлого // Страна и мир, с. 70).)*

Как Ахматова... Ей дарят дорогую ручку, она честно предупреждает: «Я ее передарю». Даритель так на секунду задумывается, а потом все же отдает. Значит, это второй человек, руки которого передаривали ...

К вещам она относилась совершенно равнодушно. Вот пара простыней, которые можно тут же выстирать и высушить, — это, конечно, была ценность.

Варвара Викторовна, как Вы оцениваете мемуары Эммы Герштейн?

Моя мама говорила, что есть правда и есть правда-матка. Вот про кривые ноги Надежды Яковлевны, что кривые ножки были — это типичная правда-матка. Столько она сделала, такого ума была человек, стольким людям она помогла, и вырастила, и огромное количество людей выучила. А Эмма этого ничего не помнит. Она, кстати, рассказывала мне, что, вот, она однажды вошла в комнату Мандельштамов — Шкловский сидел по-турецки (он любил сидеть по-турецки) на кровати Мандельштама, а Мандельштам бегал, бегал, они спорили о литературе... Какой-то у них был замечательно интересный литературный спор. Я, говорит, стояла в полном оцепенении и восхищении. Это был блистательный разговор. (Они, кстати, были последние разговорщики. Дальше уже люди не разговаривали, а только подавали реплику — и не всегда получали ответ.) И она мне сказала: «Знаете, Варя, я ничего не помню из того, о чем они разговаривали». Так она и написала. Вот это очень характерно, понимаете? Она не помнит, ей не хватило ума записать после того, как она вышла. А вот помнит она всякие глупости, сплетни, а сплетни, я думаю, они в человека входят не через лобные доли, а, наверное, как-нибудь через позвоночник, так, как вот поп-музыка. Это мне объясняли композиторы.

Варвара Викторовна, Мандельштамы возвращаются из Воронежа и даже у вас боятся останавливаться, поскольку им предписано Москву покинуть...

Да. Вот тогда они и ездили в Марьину Рощу. К моей тетке Наталье Георгиевне. Потому что наш дом «просвечивался».

Надежда Яковлевна вспоминала, что три дня, по-моему, они выдерживали, не приходили, а потом Мандельштам позвонил, и Шкловский сказал: «Приходите — Василиса тоскует».

Да, мама места себе не находила.

И они пришли...

Пришли. Вот я помню свое детское затруднение... (Надя, по-моему, это вспоминает (*Вторая книга, гл. «Несовместимость»*).), что пришли Мандельштамы... Лаврушинский это был, уже Лаврушинский. Значит, это 37-й год. Мне 10 лет. Осип Эмильевич принял ванну. Я его кормлю в комнате за кухней, такая была у нас столовая... А Наденька, которая обожала мыться — всю жизнь ей этого не хватало, — она плескалась в ванной... Пришла соседка-стукачка. Это была Лёля Поволоцкая. Были две сестры — дочки царского генерала, которые кончили Институт благородных девиц. Я помню ее портрет, декольтированный, — очаровательной, красивой девочки 16-ти или 15-летней. Потом ее, естественно, взяли в жомы. У них выбор был небольшой, как Вы понимаете, у этих девочек. Рядом с нами в Лаврушинском *(в кооперативном писательском доме)* должен был жить Бруно Ясенский, который не доехал до этой квартиры, а отправился в Сибирь. А там образовалась коммунальная квартира *(№ 48)*, в том числе Лёля Поволоцкая с мужем Гоффеншефером жила в двух комнатах. Она уже была такая огромная 120-килограммовая (нельзя себе было и представить ее хорошенькой девочкой)...

Н.В.П.: Все время ломала кресла.

— Да. Она садилась в кресло, подвигалась вместе с ним...

Н.В.П.: Подниматься ей было трудно — она так двигалась.

Замечательно плавала в Коктебеле. Они ходили взвешиваться раз в неделю с мамой, и каждый раз она рыдала — толстеет. Вот она и «присматривала» за нами... За нашей квартирой. Вот она вошла, когда Мандельштамы были. Значит, мне нужно было, чтобы она, с одной стороны, не обнаружила ни Надю, ни Осю, а с другой, — чтобы она не рылась в отцовских рукописях.

И это могло быть?

Естественно. Она, конечно, все переворачивала, смотрела письма... А я прыгала на одной ножке, изображая детскую игру.

Театр одного актера шел.

Конечно. И ничего. Даже дружба была, ну такая...

Н.В.П.: ...«соседская».

Она была не худшая соседка.

То есть как-то Ваше сознание это принимало?

Да. Ну, такая жизнь нам была предложена. Никакой другой у нас не было.

Н.В.П.: А потом, когда Сталина...

Да. Когда Сталин умер, она пришла, рыдая, и спросила моих маму и тетушку: «Почему вы не плачете?».

Наверное, басом?

Да. «Я знаю, вы его никогда не любили». Они не заплакали. Потом уже она сказала, что «я никогда *там* про вас плохого ничего не говорила». В связи с этим вспоминается такая история. Отцу во время войны приказали уехать в эвакуацию. Ведь нельзя было остаться, потому что это означало, что «ждешь немцев». Значит — он должен был уехать. Поехал он в Алма-Ату с киношниками, которые его любили, в отличие от писателей. А до этого его вызвали в Союз, чтобы сжечь архивы. А он очень быстро читал. Когда он читал, то у Вас было впечатление, что он просто медленно листает рукопись — такой у него был глаз.И он жег личные дела писателей (сжечь в печке — значит оторвать корку картонную, смять листы) и просматривал дела. И вот ему попался очень толстый том, один из самых толстых, — доносов на него. Я спросила: «Папа, что ж ты не оставил себе?» — «Зачем? Там было столько знакомых». Он его просмотрел и радостно сжег вместе со всем остальным. Так что вот такая была жизнь, которую, по счастью, вы уже представить себе не можете. Я этому рада.

Возвращаемся к Поволоцкой. Значит, она вас заверяла, что «*там* ничего плохого о вас не говорила»?

Это было много позже. После 20-го съезда.

Н.В.П.: Считалось, что это были, как говорила Анна Андреевна, относительно вегетарианские времена.

— Времена, да. Надо сказать, что после смерти Лёли ее сестра пригласила Никиту выбрать себе что-нибудь из книжек на память о ней. И он достал оттуда «Камень» Мандельштама. А за это, между прочим, при Сталине семь лет можно было получить. Ну, ей, может быть, и можно такое было держать.

Варвара Викторовна, какое впечатление на Вас производили Мандельштамы как семейная пара?

Надо вам сказать, что тогда были сильные мужчины, при которых женщинам умничать не полагалось. Как говорила Анна Андреевна: «Пока были живы наши мужчины, мы сидели на кухне и чистили селедку». *(«Аничка, почистите селедку» — излюбленное обращение Н. Пунина к Ахматовой в присутствии гостей.)* И когда однажды Надежда Яковлевна что-то позволила себе... какое-то высказывание, Осип Эмильевич сказал: «Дай телеграмму в Китай китайцам: «Очень умная Даю советы Согласна приехать». Потом он уже просто говорил: «В Китай китайцам». Вот так. Умных жен ведь переносят очень немногие. Зачем им напрягаться дома? Так что жены показали свой ум только на старости лет. Причем надо сказать, что Надежда Яковлевна... В общем, ее образование было (она из интеллигентной семьи) — хорошая гимназия *(киевская женская гимназия А.В. Желиной).*

Н.В.П.: Мужская причем. *(Н.Я. Мандельштам: «Я училась в одной из немногих [гимназий] с мужской программой» (Третья книга, с. 85).)*

— Она, кроме женской, сдала за хорошую мужскую гимназию *(а в 1917—1918 гг. «почти два семестра проучилась на юридическом факультете Киевского университета Святого Владимира»* (*Фрезинский Б. Университетское личное дело Н.Я. Хазиной // «Сохрани мою речь...» Вып. 3. Часть 2. — М., 2000. — С. 258*).). И этого ей хватило, чтобы экстерном во время войны *(с 1944 по 1946 г.)*, поскольку надо было жить и сохранять эти рукописи, сдать за филологический факультет университета в Ташкенте. Взаправду она сдавала экзамены, целиком курсы сдавала *(в Среднеазиатском государственном университете (САГУ), где Надежда Яковлевна преподавала (еще без диплома) английский язык на кафедре иностранных языков).*

То есть она имела хорошую память и...

...во-первых, языки.

Вот в это, согласно Надежде Яковлевне, Ахматова не верила. «И никаких языков они не знают».

Языки Наденька знала. *(Н.Я. Мандельштам: «Нужно изучать чужие языки. Это как воздух, а то задохнешься» (Запись В. Берестова. Мандельштамовские чтения в Ташкенте во время войны «Отдай меня, Воронеж...», с. 355).)* Причем был такой способ. Ее возили родители и выпускали гулять, скажем, в Швейцарии. Она говорила: «Я до сих пор помню отвращение: спускаешься в классики попрыгать, а оказывается, что опять другой язык».

То есть такая методика была, чтобы ребенок...

Да. Погружение так называемое. И очень быстро она...

Н.В.П.: Уже через две — три недели свободно болтает с детьми.

Да. И в классики прыгаешь тут же, и все усваиваешь... Это был очень распространенный способ.

Английский она знала с детства. А так владела?..

Ну, французским они все... Кстати, моя мама и тетка французский знали очень хорошо. Немецким владела. Испанский выучила зачем-то, что-то ей понадобилось прочесть...

Н.В.П.: Потом приезжала к ней шведка — она и с ней разговаривала. Я спросил: «Наденька, сколько языков Вы знаете?» Она сказала: «Как?». — «Ну, чтобы читать, чтобы бытовой разговор, так сказать... не чувствовать себя чужим». Она стала считать, сбивалась... «Ну сколько? Наверное, около 30-ти». *(А. Гладков. Запись 1966 г.: «Н<адежда> Я<ковлевна> <знает> более 20 <языков>» (Я не признаю историю без подробностей // In memoriam, с. 573); Н.Я. Мандельштам: «Сейчас я знаю языков 20, но большинство древних» (Третья книга, с. 84).)*

Это же тоже всем вокруг обидно, когда человек знает 30 языков, а ты, кроме матерного, ничего.

Варвара Викторовна, если можно, мы сейчас вернемся к двадцатым годам. В это время Мандельштамы перебираются в Москву, а Ваши родители? Чем был занят Ваш отец?

В 23-м году отец вернулся из Германии. Родители жили в Ленинграде. В привычной среде. Среди друзей. Но вскоре пришлось переехать в Москву. Тогда началась многолетняя переписка Шкловского с Эйхенбаумом и Тыняновым. К сожалению, до сих пор неизданная... А в середине тридцатых годов он поехал на Беломорканал, на свидание с братом *(Владимиром Борисовичем Шкловским)*, вытащил его оттуда *(Вл.Б. Шкловский был освобожден в 1934 г.)*, и за это отредактировал им этот толстый том *(Беломоро-Балтийский канал имени Сталина. История строительства. — М., 1934. В. Шкловский участвовал в написании девяти глав этой книги.)*, откуда пошло, что Шкловский ездил туда с Горьким. Он был вообще мастер монтажа, гениально все это монтировал: брал ножницы и... Не буду говорить кого, но он скроил две самые знаменитые книжки лауреатов наших — просто взял ножницы и перекроил их, и сделал интересные книжки, за которые они получили славу. И то же самое в кино: это

была одна из его профессий — снимать с полки погубленные фильмы, совершенно уже несъедобные, которые выбрасывали. Брал, и с помощью монтажа реанимировал. Когда он был на Беломорканале (он все-таки гостем был там, командированным), его спросили: «Как Вы себя чувствуете у нас?». Он сказал: «Как живая чернобурка в пушном магазине».

Н.В.П.: Ну, остроумный человек, он не может... если ему пришло в голову...

Да, кстати, за это остряки поехали первыми, и Виктор Борисович не сел только потому, что они говорили: «Да мы Вас всегда успеем». Он был у них на виду, но из Питера ему пришлось уехать в 23-м году, ему сказали: «Виктор Борисович (у него поклонники были в разных местах, в том числе и в любимом учреждении), уезжайте, а то мы Вас посадим». И он уехал в Москву. В Питере уже было жить невозможно.

Варвара Викторовна, какой Вы запомнили внешность Осипа Эмильевича?

(Указывает на портрет Мандельштама работы Л. Бруни.) Вот примерно таким я его и помню. Причем, надо сказать, я видела, как Осип Эмильевич работал. (Маленькая когда была). Он... недели две ходил с одним стихотворением в зубах, садился, записывал — один, пятый, десятый варианты. Конечно, огромная разница, как всегда, была между, там, одиннадцатым и окончательным.

Он очень, между прочим, был внимателен к людям. Осип Эмильевич разговаривал с людьми.

То есть ему был интересен собеседник.

Да. Я помню, что он с моей двоюродной сестрой *(речь идет о Василисе Михайловне Бобрик)*, которая в это время училась играть на скрипке и на альте, разговаривал о музыке. Ласковый мой отец, который всегда жил внутри себя, людей не запоминал. Когда человек скажет: «Виктор Борисович, нас с Вами знакомят семнадцатый раз». Он говорил: «Хорошо — я Вам привяжу бантик». Он как-то через литературу всё воспринимал, а Осип Эмильевич людьми интересовался, он их видел. Это далеко не все умеют.

Вы помните Надежду Яковлевну после получения вести о гибели Мандельштама?

Наверное, кто-то пришел *(Е.Я. Хазин)* и сказал, потому что мы близкие были люди. И Наденька сразу постарела.

То есть изменилась сразу...

Страшно сразу постарела. Ей 37 лет было. Она 900-го... Целый этап в жизни. Дальше ей надо было сохранить то, что написал Осип Эмильевич, что было очень трудно.

А после войны, когда она приехала уже с дипломом, то ходила в Министерство, там такие же горемыки, как она, стояли вдоль стены, без стула, целый день, чаще два дня. И их вызывали и давали им направление в педагогические вузы. Наденька на все соглашалась. Она была неприхотлива. Требовала только одного. Она не могла сидеть в сортире на 12 персон без перегородок, со студентками. Первое, что она завоевывала себе, — ключ от преподавательского сортира. Никаких других претензий, по-моему, у нее не было. Но больше двух лет она нигде не работала, потому что всегда было одно и то же. Ну, может быть, были какие-нибудь указания, чтобы она не пускала корни. Но в общем, сразу, после первого показательного урока (об этом, кстати, в ее письмах к нам есть), куда приходили зав. кафедрой и другие преподаватели, становилось ясно, насколько она образованна, какой уровень. И начиналась бешеная ревность. Все студентки (это все женские коллективы были) бегали слушать к ней. Подсидеть она никого не могла, но каждый раз у зав. кафедрой начиналась истерика, и через два года опять она приходила в Министерство, стояла двое суток на ногах в коридоре и получала следующее направление. А потом они приезжали к ней, девочки эти, уже кончившие вузы, которые понимали, что им солнце на голову надели вместо шляпы. Она к своей работе относилась очень серьезно.

В те времена нас за людей, пока мы не защитились, не считали: денег не платили... А куда денешься, особенно преподавателю. И Наденька написала одну диссертацию *(«Исследование древнегерманских языков»)*, которую должна была защищать в университете *(в 1953 г. в Институте языкознания АН СССР)*. Там такая была Ахманова. Она *(и М.В. Левковская)* ее по совокупности зарубила и за фамилию, и за национальность *(а также за «марризм» и «потебнизм»)*. Это был хорошенький... что-то 49-й год. Тогда Надя написала вторую диссертацию и защитила ее *(26 июня 1956 г. в Ленинградском государственном педагогическом институте (ЛГПИ) им. А.И. Герцена)*.

Помотало ее.

Да, конечно. Причем у нее всегда был страх... Ну, это у всех нас — первое, когда Вы видите человека, думаете — можно с ним разговаривать или нет. От этого только совсем недавно мы избавились. Вот я помню, в Чебоксарах *(в Чебоксарах Надежда Яковлевна жила в 1957—58 гг.)* к ней пришел Женечка Левитин...

Н.В.П.: Покойный уже. Он работал научным сотрудником в...

— ...в Пушкинском музее. Она его проэкзаменовала по стихам Мандельштама... стоя, значит, он в дверях прочел два десятка стихотворений, после чего она его впустила. Они оба об этом рассказывали. *(М. Поливанов: «Несколько раз она устраивала мне нечто вроде скрытого экзамена по Мандельштаму» (Юность, с.35).)*

А вообще, основные даты жизни Надежды Яковлевны, «Труды и дни», они же до сих пор все не собраны. Кончается все смертью Осипа Эмильевича, которая знаменует начало ее «частной» жизни. Соответственно, и статус меняется: из жены поэта она становится вдовой. Вот все эти «до» и «после» здесь очень условны — ведь смерть Мандельштама не прекращала жизни Надежды Яковлевны ни в русской поэзии, ни в русской литературе.

Конечно, конечно. Я думаю, мало что осталось бы, если бы Наденька не сохранила.

И я думаю, что хронику ее жизни после 1938 г. нужно составить с максимальной подробностью вплоть до того дня, когда она ушла из жизни.

А как же комментарии к книжкам Надежды Яковлевны?

Хроника должна быть составлена отдельно, за пределами комментария.

Надо было бы, конечно... Я, например, не все помню.

Вот, кстати, у нее был любимый брат, Евгений Яковлевич Хазин. Они были очень близки всю жизнь. И он много сделал, помогая Мандельштаму в беде. И потом — для сохранения его рукописей. Он был писатель. Однажды Хазин, подставляя ведра, тазы и корыта под текущую крышу, упал с чердака вместе с прогнившей балкой *(в марте 1947 г.)*.

Н.В.П.: А потолки были очень высокие.

4—5 м, наверное. Он сломал позвоночник *(из письма Н.Я. Мандельштам к Б. Кузину от 12.VII.47 г.: «У меня было большое несчастье: страшно болел, чудом спасен Женя. Несчастный случай: рана в висок, перелом таза <...> Сейчас он на костылях. <...> Помнит все, кроме болезни»* (*Б. Кузин. Воспоминания..., с. 746*).).

И я не помню, когда это было — до или после того, когда шла волна «космополитизма». Тогда *(в докладе А.А. Жданова на собрании ленинградских писателей 16 августа 1946 г.)*, не назвавши имени, обругали Хазина *(поэта и драматурга Александра Абрамовича Хазина)*, Евгений Яковлевич не мог доказать, что он не тот Хазин, так что его перестали публиковать...

Н.В.П.: У него много рукописей осталось. *(Часть коллекции по воле Н.Я. Мандельштам перешла к А.Ж. Аренсу.)*

Варвара Викторовна, Анна Андреевна Ахматова подметила в Надежде Яковлевне качество, которое назвала «даром снижения».

Не знаю.

Глаза Надежды Яковлевны ведь необыкновенно острые были.

Она была художником. Характер у нее был мужской. Она по-мужски работала: много. И никаких вышиваний, никаких... Нас с мамой она обвиняла: «Вы не умеете отношения с людьми выяснять до конца». Я говорю: «Наденька, но это же надо тогда жить в атмосфере непрерывного скандала, если выяснять».

Но в общем Наденька все-таки любила ясность в отношениях, очень была преданным другом — дружба была настоящая. С мамой они дружили всю жизнь. Мама, действительно, обладала даром дружбы. Во-первых, она была очень умна, ей нельзя было ни по какому поводу навязать общего или чужого мнения. Она всегда думала. Не ленилась. И когда я как-то сказала, что я из принципа не буду чего-то делать, она ответила мне: «Принципы придумали ленивые люди». Что значит принцип? Нет двух одинаковых случаев. Каждый раз надо включить мозги — подумать и поступить в соответствии с обстоятельствами. При этом она была железной кротости человек — я ее никогда не видела разозлившейся. Это я уже от отца получила бешенство...

Н.В.П.: Это шкловское?

— Да. А Наденьку я попросила: «Выучите ленивого ребенка английскому» *(речь идет о сыне Варвары Викторовны — Никите Шкловском-Корди)*. Она ответила: «Очень трудно, очень трудно своих учить». Я спросила тогда: «Кто маленького ребенка ронял из коляски?» И она, изменившись в лице, вспомнила, как мы с ней ходили собирать землянику, и ребенок кувырком летел из коляски. В общем, она его научила языку. А бабушка (железная кротость бабушки)... она его учила французскому. Он сопротивлялся бешено. Она говорила: «Хорошо. Ты можешь

мне уделить 15 минут?». А 15 минут — абзац хорошей книжки. Будильник звонил — он бежал по своим делам, четырехлетний. Или она прочла ему первый раз «Одиссею» в четыре года, а потом в шесть — и он в Гомере — дома, в отличие от меня, потому что мною мама не могла так заниматься, у нее был Виктор Борисович, который дома работал.

Н.В.П.: О Надечкином характере. Она была совершенно прямой человек. Вы понимали по ее отношению, что она знает про Вас, что она думает про Вас и что она не хочет Вам сказать. Нельзя было усомниться в ее к тебе отношении. Вот. Иронистка, но незаметно. Когда я с ней встретился...Мы пришли в Тарусу делать «Тарусские страницы» *(единственный выпуск сборника вышел в 1961 г. в Калуге)*, собрали хороших людей, и первая из хороших людей была Надежда Яковлевна *(в «Тарусских страницах» были опубликованы три очерка Надежды Яковлевны «Хлопот полон рот», «Птичий профессор», «Куколка» под псевдонимом «Н. Яковлева»)*. Потом она сказала: «Колька, прочитайте свои стишки». А я был молодой и ответил: «Я пишу не стишки, а стихи». «А Оська писал стишки», –ответила она, невинно глядя на меня *(Н.Я. Мандельштам: «...Другого слова для стихов у нас вообще не существовало. «Послушай стишок, — говорил О.М., — Как он? Ничего?» (Воспоминания, с. 188))*. И я ей почитал, и понял, что она не совсем меня отвергла, но и не приняла сразу. Что-то было не то. А потом через несколько месяцев в Тарусе на чердаке я написал одно стихотворение, и Надежда Яковлевна зашла: «Что Вы здесь пишете? Покажите мне». Потом сказала: «О! Это хорошее стихотворение». Позже, когда она как-то появилась в Москве, а я собрался в Ленинград, сказала: «Колька, зайдите к Анне Андреевне». Я: «У меня никакого дела к ней нет». — «Ну, почитаете ей свои стихи — вот это, это и это». То есть она всё запомнила, она была внимательна к людям так же, как Осип Эмильевич. Но прошло несколько лет, пока она на моей рукописи написала: «Колька, я в Вас всегда верила». Я догадывался об этом, но с уверенностью сказать этого не мог.

— Надо сказать, что слух на стихи у нее был замечательный.

Н.В.П.: Она большую роль сыграла в моей жизни, потому что у нас почти никто из поэтов, особенно военного времени, не имел школы. Призыв ударников в литературу, еще что-то — черт знает что! Мальчики на войне писали, потому что не мог-

ли не писать. Как? Что? Почему? чему они учились? И очень часто мы не знали, что пишем. И... может быть, несколько раз начинался человек, но не знал, что это он начинается. Однажды я написал какие-то стихи, я сам не понимал что... А она приехала из Тарусы... Она жила у нас в маленькой комнате за кухней...

— В «Лаврухе».

Н.В.П.: В «Лаврухе». Я ей прочитал два стихотворения. Потом на следующий день — третье. Она сказала: «Колька, из Вас, как сказал бы Оська, лезет книга. *(«Из Вас лезет книга» — прижившееся в «домашнем языке» Мандельштамов высказывание армянского поэта Е. Чаренца в ответ на прочитанный ему цикл стихов об Армении.)* Это совершенно новые стихи». Действительно, вылезла книга! У нее была очень хорошая школа. То ли это ее собственное приобретение... А что такое собственное приобретение — это ведь сколько возьмешь... Можно быть с Осипом Эмильевичем — и ничего не взять, как Эмма Герштейн. В Надиной жизни была и Анна Андреевна, и другие люди... В общем, у нее абсолютный слух на стихи был. И она ни разу не соврала. Когда я приводил к ней своих учеников и они читали, она говорила: «Колька, вот этих не надо больше ко мне приводить, а вот эта — колдунья, приходите с ней еще раз». Я спросил ее: «А что, как мне им сказать?» — «Так и скажите».

— Она могла сказать: «Это говно зачем Вы мне принесли?».

Н.В.П.: А однажды зашел спор между некоторыми людьми, имеющими отношение к литературе, в том числе покойная Женя Ласкина, которая занималась поэзией в журнале «Москва», еще там кто-то. Пошел разговор об Иване Жданове. Что это за поэт? А я знал, что Жданов в компании находится с покойным Марком Рихтерманом и Ларисой Миллер. Взял их три рукописи, большие, и ей принес. «Колька, идите в кухню, не мешайте мне». Она обычно лежа читала.

Лежачий стиль.

Н.В.П.: Да, стиль лежачий. Потом она позвала меня, довольно быстро (она тоже стихи читала быстро), и сказала: «Это очень талантливый человек (Рихтерман). Но в нем откроются какие-то еще грани. Это (Лариса Миллер) способный человек. А вот это Вы зачем мне принесли? (Ивана Жданова)» Я говорю: «Вот затем и принес. Как раз о нем-то мне и надо было узнать, потому как все говорили, что это «очень — очень — очень». — «Я за

Вас спокойна, раз Вы так не считаете». Она была абсолютно демократичный человек, абсолютно! Для нее ранговых иерархий не существовало. Она разговаривала с Александром Александровичем Любищевым, профессором, который всю жизнь боролся с Лысенко, разговаривала с иностранцами, с Полюшкой Степиной, у которой снимала квартиру в Тарусе, — это был один уровень отношений. Не было так — тут она, дескать, снижается, там поднимается. Нет! Это был совершенно, абсолютно внутренне демократически выстроенный человек. Это старая культура.

Мой отец *(Василий Васильевич Панченко)* был охотник. Я помню, как он разговаривал с крестьянами... Не было разницы: он с ними говорит или с Циолковским, или со своим приятелем, тоже бывшим математиком, Бурцевым, скажем. Один и тот же разговор. Никакого снижения. Демократизм в Наденьке был полный. И если она видела, что это человек с червоточиной, она говорила: «Колька, больше не приводите его ко мне». Я не буду называть — этот человек сейчас известный в литературе и демократ, и все прочее... Он пришел, подарил ей книжку. Она сказала: «Больше не приводите ко мне». Я удивился. А я очень скоро понял, что этот человек... мягко говоря, разноплановый.

Ну, это ее глаза!

Да.

Н.В.П.: Она видела человека, и его, и под ним метра на два.

Кстати, ее глаза очень схожи с ахматовскими, в смысле зоркости беспощадной, хотя Надежда Яковлевна считала, что Ахматова в старости это свое «хищное» зрение зашоривала и обольщалась людьми.

Н.В.П.: Ну, старость есть старость. Надежда Яковлевна говорила Варе: «Варька, если я буду себя вести, как Анна Андреевна, скажите мне». *(В «домашнем лексиконе» А. Ахматовой и Н. Гумилева такое поведение называлось «пасти народы». Запись Л. Гинзбург: «Н. Гумилев — А. Ахматовой: «Когда ты заметишь, что я начинаю учить — отрави меня, пожалуйста» (Записные книжки, с. 432).)* А Варя обычно отвечала: «Надечка, я скажу, но Вы не поверите».

В.В.Ш.-К.: Ну, Анне Андреевне уже было... Ей нужно было окружение, и она назначала их талантливыми. Поэтов тоже перехваливала, потому что это были ее мальчики.

Н.В.П.: Они согласны были около нее плясать...

Но было что хорошо? — Надя иногда немножко распускалась (а она озорница была большая), больше чем в ее возрасте положено. Но когда ты хотел с ней поговорить серьезно (это до последних дней), ты звонил днем, приходил, когда обычно никого не было (начинали собираться после работы), и шел совершенно серьезный разговор, и никакого Надиного возраста не чувствовалось. И только в последнее время приходили люди такие, каких она раньше бы не пустила.

— Тогда она уже в моду вошла. *(После публикации на Западе первых двух книг Надежды Яковлевны (в Союзе более известных по самиздатовским спискам) ее популярность была настолько велика, что по воспоминаниям Н.А. Кривошеиной, «[Надежда Яковлевна], открывая утром входную дверь, находила на площадке букеты цветов, зеленые растения в цветочных горшках, конфеты, письма, всякие наивные и трогательные сувениры; частенько в дверь звонили молоденькие девушки, предлагали ей помощь по хозяйству, пойти в лавку, сготовить обед...» (Неожиданные встречи в Ульяновске // Звезда. — 1999. — № 10. — С. 123).)*



В.В. Шкловская-Корди
с Полюшкой Степиной. Таруса. 1960-е гг.

Осип Мандельштам

Ламарк

Был старик, застенчивый как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх...
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну, конечно, пламенный Ламарк.

Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет, — ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья, —
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал превыше наших сил.

И от нас природа отступила —
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех...

7—9 мая 1932

К немецкой речи

Б.С. Кузину

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.

Есть между нами похвала без лести
И дружба есть в упор, без фарисейства —
Поучимся ж серьезности и чести
На западе у чуждого семейства.

Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера,
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера.

Еще во Франкфурте отцы зевали,
Еще о Гете не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И, словно буквы, прыгали на месте.

Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой вы располагали,
Какие вы поставили мне вехи.

И прямо со страницы альманаха,
От новизны его первостатейной,
Сбегали в гроб ступеньками — без страха,
Как в погребок за кружкой мозельвейна.

Чужая речь мне будет оболочкой,
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится.

Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.
Бог-Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык — он мне не нужен.

Бог-Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился, слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.

8—12 августа 1932

январь 1946 г., Ташкент

Люля дорогая! Я ничего не знала и ничего не получала от вас. Несколько раз я писала вам. Несколько раз Жене *(Е.Я. Хазину)*, — когда узнала про его болезнь. Спрашивала его, где вы. Думала, что вы уехали. Случайно получила от одной знакомой телеграмму из Таллина и гадала, от кого она (подписи не было), и решила, что от вас.

Почта работает ужасно: от вас я ничего не получала, и ни вы, ни Женя не получали ничего от меня. Я и сейчас пишу и не знаю, дойдет ли. Жене послала телеграмму на Новый Год. Тоже не получил. Сейчас пошлю вам и Жене телеграммы. В Москву поехал один мой знакомый мальчик *(Э.Г. Бабаев)*. Я дала ему немножко рису и очень плохого компоту. Просила узнать, в Москве ли вы, и поделить между вами и Женей. Нашел ли он вас? Я понимаю всю трудность вашего положения. Но отчасти хорошо, что вы не поехали в Ташкент: вам бы сейчас пришлось уезжать отсюда в Самарканд. Я, признаться, не ожидала, что вы останетесь в Москве. Все-таки это плюс.

Люля, милая, когда и при каких обстоятельствах умерла мама *(Е.П. Пионткевич)*? Болела ли? Как вы все это перенесли? Беднушка вы, милая, сейчас вам еще тяжелее.

Как Витина нога *(речь идет о В.Ж. Аренсе)*? Я ведь ничего не знаю. В последнем письме вы писали, что он вернулся домой на костылях. Как теперь? У меня трудный и безденежный год. Мне пришлось отказаться от всех заработков, чтобы сдать экстерном за филологический факультет. Я начала в августе. 1 февраля последний экзамен. Я сдавала «целыми науками», а не разделами. Например, всю историю, всю философию, всю лингвистику. Было около 30 экзаменов. Иначе было бы до 50. Остаются государственные. Это чепуха. А дальше защита диплома и защита диссертации (здесь или в Москве) — и тогда я доцент. Это очень все трудно. Но через год кончится. И тогда я буду устраиваться в каком-нибудь городе вроде Воронежа или Калинина. Если к тому времени вы не устроитесь в Москве *(летом 1945 г. Аренсы вернулись из эвакуации (Бемыж, Удмуртия) в Москву, где некоторое время жили у приютивших их Осмеркиных)*, поселимся вместе, хорошо? Что с Леной Осмеркиной?

Передайте ей привет. И нашей общей подруге Эмме *(Э.Г. Герштейн)*. Пишите, Люля, я вас очень люблю.

Надя.

8 августа [1964 г., Таруса]

Люлечка! Милая! Вы знаете, мы опять одновременно вспомнили друг друга. Я написала вам записочку, как раз в тот день, когда вы мне. Сейчас у меня до 16-го Варюшка *(В.В. Шкловская-Корди)* с Никитой *(Н.Е. Шкловским-Корди)*. Они на террасе. Можно, конечно, переночевать в проходной комнате, но это не очень удобно. Второй вариант — вы можете побыть в моей... Буду рада вас видеть. Алеша *(А.Ж. Аренс)* мог бы пожить в гостинице, но там часто нет номеров. Отвез бы он вас и вы бы пожили несколько дней. Как?

Зиму думаю жить в Тарусе, потому что работаю и сейчас почти целыми днями, и зимой буду тоже.

За приглашение спасибо...

Целую вас крепко
Н.М.

Анне Львовне напишу. Но методики я не знаю и тщательно ее всегда избегала.

Письма Н.Я. Мандельштам к В.Г. Шкловской-Корди 1952—54 гг.

Комментарий В.В. Шкловской-Корди

Конверт: [Ульяновск] — зачеркнут; Москва,
Лаврушинский пер. № 17 кв. 47 (дом Писателей)
Василисе Георгиевне Шкловской
Штемпель: Верея Моск. обл. 15.7. 52 — 16.7. 52.

Датируется: 15 июля 1952

Дорогая моя Люся!

<...>

<...> Здесь рай и смешно то, что я впервые спокойно легла на воду (помните зимний разговор о плавании) и не считаю нуж-

ным быстро плыть, что для сердца утомительно, а просто валяюсь на спине и радуюсь жизни. Женя *(Е.Я. Хазин)* и Лена *(Е.М. Фрадкина)* чирикают и уже успокоились. Я поругиваюсь, но мало. Третьего или четвертого буду в Москве, а может и раньше. Здесь я не могу взять себя в руки и начать работать, а мой срок надвигается отчаянно.

Почему Андрюшка *(А. Перепелкин, сын В.М. Бобрик)* еще в городе?

Увижу ли я Варюшу в начале августа? Мне эту девочку хочется видеть.

Даже я бы взяла ее себе в дочки.

Если вам понадобится моя юристка, ее телефон Д1-77-57 — Катерина Моисеевна Гинзбург или Гауберг. Если б вы ей позвонили и сказали; что я просила узнать, как ее дела, я была бы вам очень благодарна. Все-таки я знала ее с 15—16 лет до войны (до этой войны)- т.е. лет 25. Она когда-то дружила с женой Эренбурга *(Л.М. Козинцевой)*. И хороша была все эти годы к Осе.

Что с Соней[1]? Я Жене ничего не сказала. У меня к вам просьба — передайте ей мою записочку — я обещала ей написать, но не знаю ни номера квартиры, ни того — Вишневецкая она или Вишневская. Упростительно она для меня Сонька. <...> Лена должна была вам позвонить, но она меня уверяла, что ни вас, ни Тали *(Н.Г. Корди)* не было дома. Я не очень верю.

Как решили вы делать с квартирой? Ждать возвращения героя *(В.Б. Шкловский окончательно оставил семью уже в 1950 г.)* или дать уже какие-нибудь объявления? Конечно, хорошо было бы уже к Васюшиному *(В.М. Бобрик, дочь Н.Г. Корди)* декретному... и рожать-то тоже было лучше здесь.

Целую вас очень и очень.

---

[1] Софья Касьяновна Вишневецкая — первая жена Евгения Яковлевича Хазина, впоследствии жена и вдова Всеволода Вишневского, художница, подруга Елены Михайловны Фрадкиной. Делали вместе театральные постановки. Кажется, они вместе учились у Экстер. Или решается вопрос — кто будет вдовой. *(После смерти В.В. Вишневского статус вдовы, не будучи его последней женой, получила С.К. Вишневецкая.)*

В<асилиса> Г<еоргиевна> пробовала зарабатывать машинописью и брала работу у С<офьи> К<асьяновны> — дневники Вишневского времен блокады Ленинграда, из которых С<офья> К<асьяновна> вычеркивала, что он ел, и упоминания о женщинах.

Мне очень хочется с вами поговорить. Обидно, что Варя так далеко, но зато как хорошо...

Целую всех. Люсю — первую. Варюшу — отдельно. Талечку отдельно. Андрюшку отдельно. Кто остался?

Надя.

Люся, прочтите мою записку Соне и напишите мне. Хорошо?

Письмо без конверта.

Датировка: август? 1953 г.

Люсе.

Главное — варенье не доварено[1]... Таля, это все вы — теория 45 минут... Я ужасно волнуюсь... И еще теория — если долго варить — теряется запах... И еще — недолго ему стоять... Мое завещание — надо варить на глазок, а не по правилам. Кто первый приедет, пусть переварит — надо прокипятить минут 15—20. Моя душа кипит...

Нынче я еду. Через час — два зайду к Анне *(А.А. Ахматовой)* проститься и поеду готовиться к отъезду. Еще ничего не куплено в дорогу.

---

[1] Письмо, по-видимому, относится к августу 1953 г. Наденька уезжает преподавать в Читу.

Мы на даче в поселке «Заветы Ильича» Ярославской ж.д. Никитке 10 мес. Нас с Ефимом *(Е.А. Либерман — отец Н. Шкловского-Корди)* уже выгнали из лавки Сережи Берия *(почтового ящика № 1323)* (сперва — его, потом меня).

Наденька приезжала к нам на дачу. Помню, как собирали с ней землянику, и я дивилась ее темпераменту и страстности — подоткнув мокрые края синего плаща, она ползала на четвереньках часа 2—3, собирая землянику в высокой траве. Никитка стоял в коляске. На обратном пути, на ухабе, он вылетел из нее. Когда через много лет Наденька сердилась на недостаточные успехи Никитки в английском (она немного занималась с ним), то я спрашивала: «А кто его в детстве уронил?», и она затихала. Варенье было сварено из той земляники.

К этому времени мы с Наденькой заново подружились. Я в интервале 14—22 года была довольно вздорной, кокетливой и эгоцентричной.

Потом, получив несколько раз сапогом в морду от окружающей меня действительности и узнав, почем фунт лиха, с удивлением огляделась, включила мозги и сделала переоценку своих близких, в том числе мамы и Нади.

Ужасно было трудно в Москве. Все время я разрывалась между близкими мне людьми и чувство недостаточности огромно...

10 месяцев ждать. Какая тоска...

Мы очень хорошо встретились с Варюшей. Последняя ночь проведена в «мало-сне». Она спокойна и настоящая дочь Люси. Я рада.

Тучи ушли куда-то.

Люся — у Варюши припадки страха жизни. Она мне сказала, что в эти дни из горла, носа и ушей вылезают предки[1]. Но предки выскакивают легко, если взять ватку с одеколоном. В посторонней помощи она не нуждается — сама это делает. Но страхи надо убрать, чтобы предки не лезли. Нет основания такой победительнице бояться жизни. Как объяснить ей, что она создана для побед?

Мне очень жалко, что я не помогала вам делать ее. Я ее очень люблю. Но я хочу, чтобы она была лучше всех. Она и есть самая лучшая. А лихорадка бывает у всех. Ведь и мы лихорадим достаточно в своей жизни. Она еще меньше других. Кстати, это разница между матерью и чужой — мать любит всякую, а чужая только лучшую. Я не знаю, права ли я, но я всегда довожу все до конца и выясняю отношения. Вы нет[2]. Я никогда не бываю уверена в своей правоте, но это (все до конца, не отходя от кассы) мое свойство, победить которое я не могу. Мне кажется, после первой волны, что пусть бы все было заперто в ящике. Но потом, кажется, лучше.

Как изображается святая Варвара? Не случайность ли, что родные Варвары — бабушки и внучки имеют одних святых.

---

[1] К этому относится и разговор о предках, лезущих из ушей — в юности мне были знакомы приступы шкловского бешенства очень короткие, но до темноты в глазах. Вели мы их от очень злой бабушки Варвары Карловны, матери отца, В.Б. Шкловского. Бабушка была существом на редкость злобным, властным и эгоистичным. Она, например, не разрешала своим детям жениться (их было 4: 3 мальчика и 1 девочка) и так и не простила отца (В.Б.) и мать за то, что они поженились. После ареста дяди Влад. Борисовича и ее *(В.К. Шкловской)* высылки в 37-м году из Ленинграда, когда отец (В.Б.) упросил отдать ему мать 75-ти лет, она долго жила у нас в Москве, в эвакуации, а потом умирала постепенно от 4-х инсультов ("ударов", как тогда говорили) на руках у мамы и тети Тали, но так никого и не простила, всегда старалась сказать гадость, поссорить меня с матерью, возбудив ревность к брату *(Никите)* и т.д.

[2] Наденька упрекала нас с мамой, что мы не выясняем отношений. Сама всегда это делала очень решительно. У нее, во всяком случае после смерти О.Э., был мужской ум и мужской характер.

Я хотела бы знать, в какой момент внучки выгоняют тень бабушки, влезшую в ухо... Я этого момента не наблюдала. Это произошло без меня.

Люся, страшно важно, чтобы вы жили[1]. Я не говорю, как важно это для меня — вы знаете, что такое для меня голубой глаз. Но Варя, Варя... Вы то, на чем она стоит. Она еще становится. Но у меня чувство, что вы позволяете старости хватать лишнее. Прежде всего — движение. О ногах. Эмме *(Э.Г. Герштейн)* (артрит в какой-то сверхтяжелой форме, ноги и т. п.) врачи говорят, что необходимо ходить, гулять (вечером — главное) — через боль, через все. Кроме того, это ослабляет сердце (т. е. топанье и лежание). Милый, заботьтесь о себе. Не запускайте себя. Никитке нужна бабушка. Он должен запомнить свою бабушку. Люся, будьте жизнеспособной, Люся, Люся...

Надя.

Конверт: Москва
Лаврушинский 17 кв. 48 (ошиблась)
Василисе Георгиевне Шкловской
Чита. Пединститут
Мандельштам
Штемпель: Чита 17-9. 53-14 — Москва 19.9 53 13
16 сентября.

Датировка: 16 сентября 1953 г.

Милая моя летящая Люся!

Как вы перетащите через Байкал не летающую часть семьи? Что же мне делать? Переведите...

Здесь очень мило. *(Это первое письмо Надежды Яковлевны из Читы, где она преподавала с сентября 1953 по август 1955 года).)* Надеюсь, так и будет. Но не верю в это. Город хорош. Работа лучше обычной[2]. Снабжение хорошее, только нет при-

---

[1] В эти годы у мамы было ужасное обострение спондилоартроза, сопровождавшееся сильными болями в спине и ногах. Спала она сидя, а несколько месяцев и сидеть не могла — стояла, держась за высокую спинку кресла. Ее лечили рентгеном.

[2] Летом, возвращаясь из очередного города *(Чите предшествовал Ульяновск, где в 1949—53 гг. Надежда Яковлевна работала старшим преподавателем Ульяновского педагогического института)* и пединститута, Наденька выстаивала несколько дней (стульев не полагалось, очередь была стоячая) в Министерстве за направлением в очередной пединститут. На этот раз — в 1953 г. — досталась Чита.

личной одежды, а то я могла бы приодеться. Да видно не суждено[1].

Что делает моя незаконная семья[2]? (Законная — все-таки истратила трешку на телеграмму).

Как ТалечкаВасяЕфимВарюшаНикитка и юный Перепелкин — моя любовь и мое мученье? Что вы сказали, узнав, что я убралась в Читу? Знаете ли вы, где это? Представляете ли вы себе старушечьи кости, пролетающие над Байкалом? Когда это стало вполне осязаемой реальностью, я поняла, что без этого жить нельзя. Подумайте, что почти никто этого не видел... Даже я об этом много думаю.

Целую вас, милые мои, и жажду отчета о семье[3].

Надя.

Талечка, все же мы провели вместе ночку.
Местные жители добродушные и медленные.

---

[1] Помню, как мы отчаянно собирали Наденьку в эту поездку — мы были очень бедные и раздетые, а там — мороз. В результате на Наде была облезлая сусликовая шуба, кроличья муфта — под леопарда, рейтузы были одни на всю семью — они поехали в Читу.

Помогать в сборах пришла Люля *(Е.М. Аренс)*, старая приятельница, очень верная в дружбе, басовитая, длинноногая. Она доставала из антресолей керосинку, еще что-то.

[2] Законной семьей Н.Я. называла семью брата — Евг. Як. Хазина и его жену Ел. Мих. Фрадкину.

Незаконной была наша семья.

[3] Дома в это время было трудно.

Отец ушел из дома, и Серафима Густавовна *(Суочек, вторая жена В.Б. Шкловского)* старалась, чтобы он с нами хамил. Ей это удавалось. Я поступила преподавателем физики в Институт легкой промышленности на 1/2 ставки. Кадры отнеслись ко мне недоверчиво — была я с Ефимом не зарегистрирована (не помогло, с работы все равно выгнали), спрашивали — по какой статье сидит муж. Ефим работал лаборантом в Институте рентгенологии и радиологии, мама болела, Вася, дочь Тали, уехала на Дальний Восток с мужем, оставив нам Андрея 3-х лет от роду, ребенка очень активного, великого пакостника, очень обаятельного, даже красивого. (Об А. Перепелкине см. также в воспоминаниях Надежды Яковлевны: «Я пришла к ней [Ахматовой] с хорошеньким мальчиком Перепелкиным, внучатым племянником Василисы Шкловской. Ахматовой очень понравился трехлетний красавчик, и она сказала мне при следующей встрече: «Вот трагедия, если умрет такой Перепелкин.» <...> Ахматова настаивала, что именно в гибели или, точнее, в смерти нерасцветшего заключается сущность трагедии.» (Вторая книга, с. 287).)

Конверт: Москва
Лаврушинский пер. № 17 кв. 47
Василисе Георгиевне Шкловской
От Н.Я. Мандельштам. Чита
Чкалова 140. Пединститут
Штемпель: Москва 29. 9.53.12.
25 сентября

Датировка: 25 сентября 1953 г.

Милая моя большая семья.

Очень уж приятно получить Ваше общее письмо. Я целую всех вместе и каждого по отдельности.

Комнатка у меня в общежитии при Институте (на усадьбе Института). Сейчас студенты с пением и шумом уехали в колхоз на две недели — и я с десятком больших девочек сижу в трехэтажном недостроенном доме. Сейчас пережили вторую атаку пьяных хулиганов, и к нам приезжала милиция (телефона у нас нет). Не рассказывайте об этом Жене — это не страшно. А он может испугаться. Хулиганы просто наслаждались тем, что пугали девушек. Про Читу я писала — это чудный город, красив и необыкновенен. Дорога меня потрясла. Я действительно испытала «судьбы развязку». Здесь мне пока хорошо. Хотелось бы побольше покоя. Может будет... но я в это не верю. Пока дышу. Что за личные листки для Благого[1]? Что это значит?

Вы отправили мне письмо 13-ого, оно пришло 23-его — 10 дней. Сейчас авиапочта уже не такая быстрая вещь.

Сегодня пишу и Васе[2]. Если поезд пройдет Читу не ночью и не в учебные часы, я выйду встречу ее. Будет очень приятно повидать ее.

---

[1] После ухода отца мама (В.Г.) пыталась зарабатывать, печатая на машинке (пенсии у них с Таличкой никогда не было — начали работать еще в XIX веке, но бумажек не собрали), в т.ч. записи Д.Д. Благого. Это быстро кончилось — мама пропустила строчку, последовал грубый выговор от жены Д.Д., и мама перестала брать работу. К тому же они были очень прижимисты.

[2] В.М. Бобрик, впоследствии Перепелкина, едет с мужем — военным — на Дальний Восток (в Аян) через Читу.

Погода здесь просто жаркая. Сегодня холоднее, но в комнате я в ситцевом платье.

Мне очень хочется видеть младшее поколение[1], я все же немножко влюблена в обоих.

Климат Читы (800 метров высоты) почему-то мне не вредит. Я дышу хорошо.

Одежку мне действительно нужно справить (пуховый платок, башмаки на меху, штаны, юбку и муфту). Список вещей получен у старожилов. Я думаю — в Москве это полторы тысячи. У меня они есть (т. е. сейчас на книжке тысяча, а первого октября будет полторы). Большое спасибо за ваше предложение«выручить». Если Лена или Люля найдут что-нибудь из этого списка — прошу Вас — дайте им денег, а мне телеграмму, а я в тот же день вышлю. Здесь я не достану ничего кроме платка. В Москве, я думаю, можно купить за 500 платок. Здесь 800. Штаны нужны шерстяные, где их взять? Вообще как-то так обернулось, что я ни одного дня не сидела без денег. По моему, это гениально. Тьфу, тьфу... не сглазить. Здесь я на пристойной ставке.

Что за история, Варюша, у вас в Институте[2] — ничего просто не понимаю. Как вы устраиваетесь? Как Ефим? Устроился? Где? Неужели на заводе?

---

[1] Младшее поколение — мой сын Никита и Андрей Перепелкин, сын Васи, воспитывающийся у нас, пока родители были на Дальнем Востоке.

[2] История в Институте легкой промышленности обычная. На кафедре физики мной довольны (хотя никто не проверял, как я веду семинары), а для отдела кадров — я еврейка (должна сказать, что это относится ко всем отделам кадров в моей жизни, хотя я квартеронка — у меня один дед еврей, другой — грек, но отдел кадров нюхает меня и говорит: "Фу!") и мать-одиночка (их предположение, что муж сидит). А на кафедру пришел мужчина средних лет — предложил себя на ассистентскую должность, которую я занимала. И меня, естественно, поперли.

Здесь, нужно сказать, мне повезло с работой единственный раз в жизни — я поступила инженером к приятелю отца Андрею Конст. Бурову (архитектору) в Лабораторию анизотропных структур АН СССР. Академик-секретарь Топчиев дал талантливому архитектору лабораторию для лечения рака с помощью ультразвука. Бред, конечно. Но А.К. Буров был талантлив, прекрасный организатор, конструктор, демократ, так что работать у него было одно удовольствие, хотя мы с ним и ссорились. Это было возможно, поскольку он был демократом. Так что единственную хорошую и новую работу я сделала именно у Бурова. Это 1954—57 гг.

Напишите мне, милые, подробно обо всем. Как отец? Появляется?

Еще, что бешено нужно — это керосинка. Свет портят жуликами и три раза в неделю я иду на работу без чаю.

Если увидите — купите, умоляю...

Лена *(Е.М. Фрадкина)* или Люля пошлют.

Еще позвоните Эмме (В—14390 — Эмма Григорьевна) — пусть она напишет мне свой адрес.

Целую вас еще один дополнительный раз.
Не забывайте Надю.

Письмо без конверта
2 октября.

Датировка: 2 октября 1953 г.

Дорогие мои большая семья!

Я писала вам, писала Васе — но, очевидно, вы можете оторваться от Никитки и красавца *(А. Перепелкина)* лишь раз в год — больше вы уж меня никогда не вспомните, а как же я буду жить, не зная, что у вас делается? 1) Как работа Варюши? 2) Что делает Ефим? 3) Как растут мужчины? 4) Когда приезжает и что пишет Вася? 5) Как здоровье Люси и Талечки? 6) Появляется ли бывший отец? 7) Жив ли Благой? 8) Что делается на лестнице? (кстати, привет Леле[1]) 9) Кто первый принесет девочку Лизочку[2]? 10) Как живете, о чем говорите, что делаете...

Спасибо за керосинку, но может можно купить... Купите, если увидите... Я выслала Лене 3 окт. 800 р. (на себя 600) и 18 вышлю еще 600 (400 и 200), т. что у нее уже будет моя тысяча. Ей почти хватит на мои покупки, т. к. платок я куплю здесь послезавтра (воскресенье, толкучка). Отчаянно готовлюсь к зиме, какой еще не переживала (40° — 50° без снега)[3]. Уже мне мыли окно.

---

[1] Леля — Елена Валерьяновна Поволоцкая — соседка (кв.48) по Лаврушинскому дому. Заведовала плакатами (давала советы художникам-плакатистам), присматривала за нашим домом — после смерти Хозяина признавалась в этом, говоря: “Я ничего плохого там про вас не говорила”.

[2] Наденька думала, что мы с Васей (Бобрик) надумаем еще рожать, но мы не собрались.

[3] Впоследствии Надежда Яковлевна говорила, что читинский мороз переносить трудно — он сразу обжигает легкие.

Сегодня вернулись студенты, и через час иду на работу. Пока жила как на курорте.

Я даже не знаю, истребила ли Люся в «Заветах» муку... Какие были пироги Талечка, а когда вы напишите?

Я скоро приеду (июль) и поссорюсь с вами, если вы меня забудете.

Пишите скорее и сообщите, когда вы получили письмо. Может, пора перестать разоряться на авиапочту.

Целую
Надя.

Я еще пойду к вам в няньки. Это будет, когда Никитка будет ходить на двух ногах и плевать на всех.

Конверт: Москва
Лаврушинский пер. № 17 кв. 47.
Василисе Георгиевне Шкловской
Н.Я. Мандельштам.
Чита 161053-5. Москва 23105312
Штемпель: Чита 161053-5. Москва 23105312
14 X.

Датировка: 14 октября 1953 г.

Дорогие мои! Получила от Вас большое общее письмо. Даже не знаю, в каком порядке отвечать. Внуки чудесны. Андрей действительно позирует, и очень удачно. А Никитка — показательное чудо. Но он очень добрый на снимке. Не поверить, что он топает ногами и скандалит. Напишите мне про чудеса, которые они устраивают. Хотела бы я их повидать. Миля *(Эмилия Васильевна Гринберг)* тосковала по Андрюшке как о любимом мужчине. Должно быть, она никогда так не нежничала со своими детьми. Я все же их считаю просто произведением искусства. Ведь это так.... От Васи я ничего не получила (Я писала). Что-то она скажет, когда увидит своего архангела.

О вещах. Спасибо вам, дорогие, что вы так деятельно участвовали в моем одевании. Что за муфта? (Василиса дала — пишут мои) — умираю, хочу видеть.

Керосинку, я понимаю, еще можно было достать — они бывают раз в год, но как Варюшка достала рейтузы? Т. е. штаны — я в восторге и целую за это в первую очередь доставателя и всех, всех...

[Приписка сбоку на 1-й стр. письма] :

Люсик, пошлите Варю к юристам, меняйте квартиру, живите долго и не пускайте Симку в жены, будьте молодцом.

Н.М.

Мне что-то кажется, что я не замерзну.

Здесь, кстати, бывают очень красивые еноты — большие шкуры по 300 р. Загляните в моск. магазин, есть там или нет. Может привезти? Мне очень нравится, но, говорят, они желтеют. Много рыжих лисиц. Кто любит рыжих лисиц? Это относится к Варюшке — мы из лисьего возраста вышли. Что Варюша предпочитает? Платок я куплю здесь. По воскресеньям хожу на толкучку...

Как экзамен Ефима[1]? Обязательно напишите... Неужели завалил язык... Какая обида. Я не верю.

Милые, любите меня — это так хорошо чувствовать, что есть семья — дети, внуки, сестры.

Варюшка, за земляникой еще придется походить. Как ваше переустройство? Почему вы не попробовали держать в аспирантуру? Не подготовились? А хорошо бы, пока есть возможность продержаться год-другой. Пишите подробно.

Но самое главное — ваше единственное богатство — квартира. Что за юристка? К Лене Осмеркиной тоже ходила юристка, которая устраивала разные достаточно подлые дела. (У Осмеркина вторая жена *(Н.Г. Навроцкая)* — «святая». Она прославилась тем, как она ходила за ним во время болезни. Но дела все же делала — а там были еще маленькие девочки *(Таня и Лиля Осмеркины)* и полупарализованный отец *(В 1947 г. после обвинения в формализме А.А. Осмеркин перенес инсульт, от которого не оправился до конца жизни.)*.)

<...>

---

[1] Наши блистательные мальчики — Ефим, Мика Бонгард и многие другие, отвечающие на пятый пункт анкеты со вздохом «да», пытались в эти годы поступать в аспирантуру, но их заваливали, правда, не без труда, техника завалов тогда еще не была так отлажена — на это требовалось иногда 3—4 часа («Я бы завалил его, профессора, гораздо быстрее», — говорил Мика).

Второе — квартира[1]. Это ваше устройство на всю жизнь. Вы все время закрывали глаза на то, что отец заберет комнату. По фадеевскому списку не получил никто (первая в нем стоит Анна Андреевна) — и было ясно, что не получит. Уже больной Фаде-

---

[1] Перечитала это письмо через 29 лет *(речь идет о 1982 г.)*, и руки стали дрожать, и холодный булыжник в горле — так всех стало жалко — маму, отца, себя.

Нужно ли ворошить прошлое? Писать правду?

У отца и С.Г., вернее у С.Г., а отец повторяет, есть отработанная легенда: мама его не понимала, не ценила как писателя... «Ты изменяла мне с детьми» (с его детьми), — это уже отец сам. И отчасти прав. Мама нас с братом очень любила и нами занималась.

А было так: когда мы с мамой и Никитой-старшим (Китей) приехали к отцу из Чистополя в Алма-Ату в 1943 г., С.Г. уже его заарканила. Внедрилась в подруги к маме. Поехала с нами из эвакуации в Москву. Жила у нас — без карточек, без прописки, на правах маминой подруги, и ждала... Мама узнала обо всем поздно — году в 48-м; знал, наверное, Китюша, но не решился сказать маме. (Помните Надю: «Вы не выясняете отношений...»).

В 1945 г. 8 февраля Китя погиб под Кенигсбергом. Мама кричала от боли. Отец поплакал и быстро успокоился, сказал: «Ну сколько можно плакать?..» На руках мамы и Тали медленно умирала Варвара Карловна — мать отца — 4 удара (инсульта), а сердце — хорошее; лежала бревном, не помня как нас зовут, забыв алфавит. Только глаза злобно сверкали — это не проходит. Умерла она в 1948 г.

Космополитизм. Статья в «Учительской газете» с упоминанием «Гамбургского счета» — книжки отца 1927 г.: «пасквильная книжонка»; отец потерял почву под ногами, телефон умер. Продали рояль Варвары Карловны — съели, потом отец продал свою библиотеку. Мама на недостроенной даче в Удельной сажала овощи, даже некоторое время была корова Магазинка (точнее 1/2 коровы — вторая половина принадлежала Брагину). Молока давала 2 литра — была испорченная.

Чтобы стать благополучным и печататься, нужно было уступить давлению советской власти. Около мамы это было невозможно. С С.Г. — легко. Впрочем, жениться на ней отцу не хотелось. А после малоприличной, вероятно, жизни С.Г. подумывала о почтенной старости.

То, что ей удалось подчинить себе и увести отца из дружной, веселой, несмотря на несчастья, семьи, мы с мамой объяснили его привычкой с детства подчиняться чужой злой воле — матери, которая его не любила (любила, воспитывала, занималась образованием, гордилась старшим — Владимиром — лингвистом, расстрелянным в 1937 г.). Отец был обязан служить матери и старшему брату. И подчинился. Матери боялся. И не мудрено — очень она была злая. Эту способность подчиняться чужой злой воле отец генетически передал и мне, так, что я его понимаю «изнутри».

Взяла его в острый клюв и С.Г... Конечно, тогда, в 50-е годы, они все не знали, что будут жить так долго (кроме С.Г. — она и сейчас надеется, что бессмертна и, со стулом преодолевая 12 шагов до сортира и готовясь к 80-летию, почти слепая и постинсультная, собирается на заграничный курорт).

ев впал в сентиментальность и из больницы давал обещания. Оставаться отцу в клетке тоже нельзя. <...> Если просто выделить комнату, потеряется большая радость — дом, семья, все на свете. Вы не знаете, что такое эта постороняя семья. <...> Выход обмен — я в этом уверена. Но для этого нужна энергия — и ее нужно найти. <...> Ради бога, Варюша, устраивайте обмен вы. <...> Спешите, Варюша. Да возьмите Ефима за бока — пусть и он побегает. Напишите, что вы думаете.

Целую всех. Надя.

[Приписки сбоку]:

Таличка, голубонька моя, я вам не писала отдельно — меня беспокоит ваша вся ситуация. Я очень, очень вас люблю. Ждите сейчас Васю, а потом меня. Я так хочу вас видеть.

Надя.

С квартирой все получилось, как по писаному (Надей). Уходя, отец поклялся, что разводиться и разменивать квартиру не будет. Потом все сделал, как велела С.Г. Отец нанял юриста и развелся с мамой (со второй попытки) — мама развода давать не хотела: считала, что это окрылит всех авантюристок, кружащихся вокруг Лаврухи, и отца жалела — уже знала крепость когтей и клюва С.Г.

С квартирой мы потрепыхались, конечно, нужно было сразу ее разменивать, но не было сил, времени, денег и, главное, воображения — я-то в коммуналке еще не жила. Кроме того, возник еще Анчутка (так в Калуге называют черта) — Аркадий Николаевич Васильев — он тоже разменял семью и нужно было дожить до кооператива на Черняховского в удобном месте. Разумеется, он дал честное КГБ-вское, что согласится потом на любой наш обмен. Он тогда был большой либерал (1957 г.), рассказывал, что пришел (мобилизован) в литературу из КГБ (там имел генеральский чин, если не врал), трезво оценивал свои литературные данные. Потом он жил в нашей квартире со своей женой (озлобленной стервой, дочерью посаженного в сталинские времена НКВДиста), сдавал комнату разным малоприятным людям и, наконец, подселил (поменявшись) стукачку. Она стучала в церкви «Всех Скорбящих Радость», заодно и на нас — в стену, по-видимому, был вмонтирован магнитофон, который должен был записывать наши разговоры — после размена в 1968 г. зашедший в ее опустевшую комнату мой приятель-электронщик, посмотрев следы монтажа на стене, пренебрежительно сказал: «старая конструкция».

Эта соседка сильно нас потрепала: водила общественников — старух-маразматичек, обожающих вмешиваться в чужие дела и распоряжаться (как в молодости привыкли), для уточнения, например, что хочет платить за электричество не 1 р. в месяц, а 20 коп. «Что же вы мне этого не сказали?» — спрашиваю. — «Я гордая!» — и т. д.; раздел стенных шкафов, кухни. Мы едва от нее уползли в уютную засранную трущобку на Петровке, предоставив ей единственную в Лаврухе однокомнатную квартиру — иначе она не соглашалась. Так что Наденька как в воду глядела.

Эммин телефон В.14391 — вы ошиблись на единицу.

Я встретила в Москве сумасшедшую Олю[1] — она меня спросила про мое отношение к Симке. Я ей сказала. И она очень взволновалась и говорила о подлости. Сама она от них отошла. Но это, конечно, на время.

Конверт: Авиапочта
Москва
Лаврушинский 7 кв. 48 — все равно дошло
Василисе Георгиевне Шкловской
Чита. Пединститут. Чкалова 140
преп. Н.Я. Мандельштам
Штемпель: Чита 271053—1, Москва 291053—8

Датировка: 25 октября 1953 г.

Люсинька! У вас еще вчера — а у меня уже сегодня, 25 октября.

(Вася не ответила на письмо).

Люсик — сколько вы на меня истратили?

Почему вы не берете у Лены *(Фрадкиной)* — ведь я ей послала на посылки. Возьмите, Люсик...

Получили ли мое письмо, где я много писала о разном. Меня беспокоит, что у Вас. Как квартирно-юристские дела. Я почему-то боюсь этой юристки[2]. Есть какая-то юристка (одесситка!), которая поджуливала с Леной Осмеркиной.

---

[1] Ольга Густавовна Олеша — сестра Серафимы. Она была самой доброй и совестливой из 3 сестер. Серафима очень ее обижала... Впоследствии они опять были дружны, но Ольга, конечно, всегда была в полном подчинении у Серафимы.

[2] Юристку прислал отец.

Что толку вспоминать сейчас обещания?

Мы въехали в коммуналку. И прожили, выдержали 10 лет. Потом уползли в трущобку, но отдельную, здесь соседей, правда, хорошо слышно, но хоть не видно. Это замечательно.

У Серафимы Густ. (С.Г.) замечательный вычислительный аппарат в голове: кто? с кем? зачем? почем? кому? Добивалась своего грубо. Получала удовольствие, обидев кого-нибудь. В старости, больная, задыхаясь, спрашивала совершенно, по-видимому, искренне: «За что мне такое наказание? Я в жизни никому ничего плохого не сделала». Неужели забыла?

Как обстоит сейчас? Очень прошу, пишите. Я только понимаю, что Симка двинулась в путь и думает о честной старости. Не путайте честной старости и комнаты.

Здесь чудная осень уже с морозами.

Но солнце всегда, а снега вообще не бывает. Я боюсь именно отсутствия снега — сумасшедшая штука — мороз без снега.

Посылкой я потрясена[1]. Как Варюшка достала такие штаны? Целую ее сто раз. За муфточку — вас. И за керосинку тоже. Считаю керосинку совершенно неслыханной красавицей, а фитилей мне хватит на всю жизнь. Спасибо, милые за заботу. Только возьмите у Лены деньги, которые вы истратили. В крайнем случае пишите мне, сколько прислать.

Как дети. Никитка чудно смеется. А Андрюшку отдадим в кино.

Я по вас скучаю. Пишите мне.

Я«домочадка». Да?

Как экзамены Ефима?

Куда он держит? В МГУ? Институт? Принят? Пишите скорее.

Талечка, как Вася? Она уже скоро должна приехать. И не написала.

Целую всех
Надя.

---

[1] Посылки тогда, по-моему, посылали из-за города. Из Москвы не разрешалось.

Наденька волнуется, что мы потратились. Знает, что мы бедные. Чувствует и считает себя «моим отцом». Помогает.

Мы действительно бедные, но доставать Наденькины деньги из ее невестки Елены Михайловны Фрадкиной — вещь немыслимая. Она жадная. Как то: приехав в Москву, Наденька, чуть не плача, сказала маме, что Елена Михайловна украла ее сберкнижку (взять с нее деньги не могла, это была, если так можно выразиться, бескорыстная гадость), сказав: «Мы сидели без денег, теперь посиди ты». [Причем Н.Я. всегда посылала им деньги, снимала на лето дачу в Верее (и жила там в проходном чулане, чернавкой — ходила на базар, готовила, мыла посуду), в Переделкине, Тарусе].

«Что делать, Люсинька?» — «Украсть!»

То же сказала ей и Анна Андреевна Ахматова. Она так и сделала и не была прощена никогда.

Конверт: Москва
Лаврушинская 17 кв. 47
Василисе Георгиевне Шкловской
Штамп: Чита.....12.53—1; Москва 21.1253.19
14 декабря

Датировка: 14 декабря 1953 г.

Люсик и вся моя незаконная семья (а еще целую Талечку, Варюшку, Васю, детей и жму руку толпе зятей).

Я получила ваше письмо и читала его с тревогой. Как Вася? Где она сейчас... Андрюшка... Квартира (советов не даю) Лауреатник (темно...) Юристка [!] Юрист (хорошо... единственная тень совета).

Ничего тут не решишь. Все очень сложно.

Были ли какие-нибудь новые шаги со стороны старика? (Таличка, я все понимаю и мне очень грустно. Я вас очень люблю).

О себе. Я чувствую себя мерзко. Но это не впервые. Продолжаю курить, хотя пора бросить.

Кстати, дня через два вышлю 120. Я уже раз пять посылала Жене и Лене, чтобы они вам передали, но они, очевидно, так запутаны, что не могут. Я только вчера узнала, что деньги вам не возвращены. Глупо только, что я вам их не послала прямо. Если мои дурачки вам вернут, вы им отдадите полученные. Простите, это вышло не по моей вине.

Мне сейчас все дается трудно. Худо, что болит живот[1]. Нужны яблоки (это и есть елексир жизни, жень-шень и т.д.), а есть бананы и мандарины в неограниченном количестве. Я их сейчас не ем, но уже истратила на них целое состояние.

Самое худшее, что по занятости своей я могу сварить себе кусок мяса и все. Без супа болит живот, а от супа (мясного) болит печень. Кроме того, до сих пор я ходила два раза в неделю в баню (до 30°). Но если будет 50°? У нас есть душ, но, очевидно, только для красоты.

Это вышел отчет о животе и животных интересах. Работы много (нетрудной), но еще больше возни с молодыми учителями, с общежитием, и масса заседаний. На этой неделе 3—4 ве-

[1] У Н.Я. начинается язвенная болезнь, которая мучила ее до самой смерти.

чера проведу в институте. Экз. сессия начинается 15 января. Еще месяц работы — потом отдохну...

Целую всех Н.М.

Конверт: Москва
Лаврушинский 17 кв. 47
Василисе Георгиевне Шкловской
Штампы: Чита 19.12.53.20 — Москва 26.12.53.10
18 декабря.

Датировка: 18 декабря 1953 г.

Василисушка! Вчера выслала 120, т.к. узнала, что мои запутавшиеся дурачки не отдали. Простите, что так задержала. От вас опять нет писем. Все же совет даю — лучше меньше света, чем жилец полноправный на голове[1]. Вы забыли, как это трудно. Вы будете мирной, но он не может.

Сейчас иду в институт (у вас 2 часа дня, а тут 8. — Я живу до вас.)

Завтра у меня будет, когда вы еще моете посуду и слушаете советы Ефима. Что он думает делать?

Как Варюшка и Вася?

Какие были отношения? Все-таки страшно Андрюшке ехать [в] такую даль[2] и нельзя его больше грузить на мою Талечку.

Я очень по вас всех скучаю.

---

[1] Идет речь, не обменяться ли нам в Лауреатник с Долматовским (где он живет с очередной толстоногой самоуверенной женой). Смотрели с мамой квартиру — 3 комнаты, лепной карниз, с гордостью показали нам вмурованный в стену (вырубили нишу) сейф, где Долматовский хранит партбилет. Очень темно — на юг — глубокий колодец двора Лаврушинского дома, на север — в нескольких метрах — мальчишеская уборная художественной школы (против Третьяковки). Когда достраивали Лауреатник, его удлинили против первоначального довоенного проекта (лауреатов много). А школу собирались разобрать, в нее попала большая бомба и снесла 1/3 — ближайшую к нашему дому. Вместо этого школу отстроили и надстроили эту сторону повыше. Школьным сортирам ничего, наверное, вид на Лауреатник даже был поучителен, а вот квартиры в Лауреатнике получились, как в колодце.

[2] Вася приезжала с Дальнего Востока в отпуск. Люди они с мужем не злые, но незнакомые. Андрюшку забрали с собой в Аян. Привез оттуда носоглоточный энцефалит. А муж Васи А.И. Перепелкин — спился.

О Тальке-голубке — отдельно и очень.

Пишите мне, милые, и я бегу.
Надя.

Мальчики очень мило вышли *(речь идет о присланной Надежде Яковлевне фотографии Никиты и Андрея)* — они со мной живут.

Конверт: Авиапочта Москва
Лаврушинский пер. № 17 кв. 47
Василисе Георгиевне Шкловской.
Н.Я. Мандельштам.
Чита Чкалова 140 Пединститут.
Штемпель: Чита 25—154—1. Москва 27.1.54

Датировка: 25 января 1954 г.

Варюшка! Вопрос о том, люблю ли я вас, и о том, что вы тоже человек, поставлен так прямо, что я пишу вам — а моим родным подружкам-старушкам вам придется от меня«передавать» привет.

Варюшка — о себе. Я как-то себя не интересую. Но сейчас я болела — у меня был припадок астмы. Видимо, легочной. Несколько часов подряд я хрипела, но знала, что это вполне безопасно. Теперь тихо сижу в своем углу. В нем четыре угла и 8 метров. Из коридора шум, который, я решила, меня не раздражает. Одно время не топили — вдруг перестали. Сейчас опять горячие трубы.

Завкафедрой уже взбесилась — после своего открытого урока я села на стул у стола, за которым давала урок, — и началось обсуждение. Она обвиняет меня в том (на кафедре!), что я заменяю собой ее... Например, села на председательское место... Это было сильно.

На самом деле происходит обычная история — ко мне лезут все члены кафедры за помощью, советами и все прочее. А к ней не обращаются. Я в этом не виновата и самой мне надоело давать советы. А она ревнует. Я пробую сохранить с ней хорошие отношения, но ничего не выходит. Видимо, она очень страдает, а так как она милая истеричная женщина, она дела-

ет бестактность за бестактностью и сильно осложняет положение. Боюсь, что и из Читы придется уезжать *(за Читой последовали Чебоксары (1955—1958 гг.), затем Псков).* Думаю, что весной я обращусь в министерство с просьбой о переводе в более мягкий климат, хотя мало городов на свете, которые бы мне нравились как Чита. Еще драма — завалены вторые (у нас старшие) курсы — малограмотны, и очень хороши первые, где работаю я и одна милая девочка, которую я летом привезу в Москву — параллельно со мной и в одну ноздрю. Третья драма — вскрываются прошлогодние завышения оценок... И т. п. Главное — кафедра состоит из 6 человек. Со мной — трое, с зав. к. — одна. Но они активные — делают пакости. А я еще ленюсь делать пакости и подумываю о том, что не мешает менять профессию.

Куда-то деваться?

Теперь я тоже хочу знать массу вещей. Как это Фимка *(Ефим Либерман)* процветает, что он делает, почему будильники?

Как у вас образуются отношения в вашем институте... У вас уже есть двухлетний стаж — значит, будет гораздо легче устроиться. Хорошо бы в МГУ.

А как мне поговорить с моими подружками первого призыва — под ревнивым оком моей Варюшки? Я держу мальчиков на столе — они меня утешают. Кто их снимает? Как уезжал Андрейка?

Подумать только, куда он уехал. А ему, конечно, нужен отец. Его озорство, наверное, смягчилось, когда он получил в собственность такого большого отца. Вы мне так и не написали, как это все произошло и как они встретились.

Талечка, кто выдумал про старушечью службу? Что это ночной сторож или нянька ходить за детьми. (Позвоните Анне *(Ахматовой)* к Ардовым — скажите, что я по ней скучаю).

Бедный мой зажиточный Люсик... Я скоро вас увижу — еще один семестр и я буду в Москве.

А Чита хороша.

Люсе, Тале, Варюшке — целую

Фиме и Никите — жму руки

Как домраба? Дает деньги отец или забыл? Как его дела?

У меня, говорят, здоровое сердце.

От чего же я умру?

Надя.

Конверт: Авиа, Москва, Лаврушинский 17 кв. 47
Василисе Георгиевне Шкловской
Н.Я. Мандельштам Чита Пединститут
Штамп: Чита 15.2.54...; Москва 18.2.54—8
14/II

Датировка: 14 февраля 1954 г.

Варюшка и мои большие подруги!

Письмо было чудное, большое. Я оказалась сразу в своей незаконной семье. Никитка стоит передо мной на столе и я нагло говорю — один из моих внучат.

О мудрости Варюши[1] — все верно — это у меня общее с Ефимом. Сейчас скандал уже громкий[2].

Но я сидела на хвосте, виляла хвостом, умилялась.

Но 1) меня неумеренно хвалили (я не виновата)

2) я поставила 6 двоек (виновата)

3) ко мне бегают учиться (я не виновата)

— Это после открытого урока. Поехало.

А у нее здоровая ревность и климакс.

Она учинила два-три скандала, за которые ей попало. Меня просили (официально) не обращать внимания. Как будто дают нового зава. Вот и все. Но что будет, не знаю. Если не успокоится, буду просить о переводе под предлогом климата. Подумайте, так далеко, а и то я «вумная». Еще не надо было учиться — это вредно на наших кафедрах.

Так или иначе, идет новый семестр, а я не отдохнула. Усталость страшная, и я не сплю. Вернее, я засыпаю часов в 12 по-Московски — т. е. в 6 по-Читински. Это с первого дня. Снотворное не действует.

Я в ужасе, а тут я еще имела глупость пойти по врачам, и невропатолог нашел (нашла), что у меня церебральный склероз[3]. Первый признак — потеря памяти!!! Это у меня-то... Ну, если уезжать — это пригодится.

---

[1] Это я давала совет — не показывать свой ум, образованность, не давать советов.

[2] Тут все понятно: завкафедрой — баба. Ревнует к Н.Я. студентов и преподавателей, бегающих к ней учиться. Надина железная кротость ее не смягчает. Так было везде. Ее съедает непосредственное некомпетентное начальство.

[3] Врач загнул. Памяти у Н.Я. хватит еще на много лет, и ума тоже.

Я очень по вас скучаю. Ищу мех — но видела только желтую лису (как относится к ним наша общая дочь?) Есть ли они в Москве? Я думаю, в Москве они лучше. Вообще, специфики здесь нет.

Еще о чем. Половина срока прожита.

Еще 5 месяцев и я буду в Москве.

Мы будем — 3 старые девочки — есть орехи вечером. Да?

Целую вас, дорогие.
Надя.
Умоляю пишите.
1954 г.

Конверт: Авиапочта
Москва
Лаврушинский 17 кв.47
Василисе Георгиевне Шкловской
Чита. Пединститут Мандельштам.
Штемпель: Чита 18—3. 54—4, Москва 20.3. 54.18.
16 марта.

Датировка: 16 марта 1954 г.

Люсинька! Я получила чудное письмо, где Варюшка смеется надо мной, что я не умею выигрывать[1]. До чего легкомысленны наши дети! Это вместо того, чтобы поблагодарить, что я вас научила выигрывать. Ефим-то понимает — просит, чтобы я и его научила. Гляньте-ка — вы никогда не выигрывали, а я привлекла выигрыш в ваш дом. Что мне за это будет? Перечисляю.

1) Чай с халвой на чистой простыне на незаконной семьи диванчике. Будет?

2) Лучшей трески полкило или пару сделанных Талей селедок.

---

[1] Произошло вполне невероятное событие — мама выиграла 25 тыс. руб. на свою единственную облигацию. Ее подписывали на заем как домохозяйку, и стоимость облигации входила в квартплату. После маминого выигрыша отец вернулся домой. Но уже другой. Да и С.Г. не дремала — врывалась пьяная в дом, кричала: «Витя, пойдем!» Таля как-то даже стукнула ее зонтиком, отгоняя, пьяную, от квартиры.

Отец и сейчас считает, что это он выиграл. У него много таких легенд. Или у Серафимы, а он повторяет...

3) Земляничного варенья собственного навару.

4) Ласки... Дружбы... Твердого понимания, что это я научила. Варюшка — та это поймет — а вот вы — наверное, думаете, что это вульгарный случай, хотя посылали Ефима за вечеркой с должным объяснением.

Люсинька, моя Чита лопается[1], потому, что я самая умная. Интересуются и еще кое-чем... Скоро заедят. Еще нет. Но я постараюсь выкрутиться. Пока учу и учусь.

Про мостовую нельзя.

Целую Варюшку. Она пишет прелестные письма. Люблю вас.

Талечка, а вас отдельно — я жду мою тяжеловесную подружку на диване в 12 ночи 7 июля. Хо?

Подробнее про Никитку. Похвалы ничего не объясняют.

Ефиму......

Штаны уже не ношу — тепло.

Конверт: Авиапочта Москва
Лаврушинский 17 кв. 47
Василисе Георгиевне Шкловской
От Н.Я. Мандельштам
Чита Чкалова 140 Пединститут
Штемпель: Чита 23.3 54—1 Москва 25.354.12

Датировка: 23 марта 1954 г.

Милая незаконная семья — вся оптом!

Выигрывальщики... бабушки... внуки... действующее поколение... Что у вас слышно? Почему вы так не хотите к Долматовскому?

Не лучше ли к Долматовскому[2] (сколько там комнат?), чем получать сантиментальные письма от папы?

---

[1] Так было в каждом пединституте. Пахло от Надиньки не тем, и была слишком умная. Подробностей не помню.

[2] Наденька волнуется не зря, надо было меняться и ехать в этот склеп со сталинской лепниной по карнизам и сейфом в стене. Соседство с А.Н. Васильевым и дальнейшее оказалось гораздо хуже, что она и предвидела. Но тогда было жаль запихивать бабушек в темноту, они же полугречанки, любили солнце, а мама ходила уже плохо.

Зачем вам солнце? Зачем вам чужой человек?

Помните, как Симка будет передвигать мебель?

Сколько месяцев В.Б. не будет давать вам денег за то, что вы выиграли?

Все очень интересно.

Я очень хочу все знать... Варюша, ау... Что делает Никитка, которому все можно? (Я себе представляю, как Люся хохотала, когда она выиграла, и как хохочет, когда Никитка рвет бумаги Благого).

Да, можно я пришлю вам деньги, чтобы вы мне на лето купили туфли — какие их там, вроде маминых красных, на маленьком каблуке, но не без каблука от 70 до 200 (№ 36). *(Тут рисунок.)*

А может, схватите где — выложите детки — я верну, а то летом опять не будет.

Хо?

Ленка не купит. Хо?

Пишите мне обо всем.

Что вы знаете про Анну? Не позвоните ли вы Ардовым? или Эмме?

Целую вас всех. Надя.

Конверт: Авиапочта Москва
Лаврушинский пер. № 17 кв. 47
Василисе Георгиевне Шкловской
от Н.Я. Мандельштам.
Чита Пединститут Чкалова 140.
Штемпель: Чита 13.4.54-01 Москва 15.4.54.18
12 апреля

Датировка: 12 апреля 1954 г.

Люсинька, Варюшка, Таля!

Все мои милые друзья.

Диванчик мой — я приеду на него[1].

---

[1] Диванчик узенький краснодеревый. Он ездил с нами с квартиры на квартиру. На нем Мандельштам бормотал — писал стихи и спали гости (малогабаритные) — это символ уюта и устойчивости жизни.

Я буду есть селедку, изготовленную Талиными руками[1]...

Я познакомлюсь с новым Никиткой и он меня обольстит, как обольстил старый.

Скоро — 2 месяца осталось.

Я устала. Я хочу спать. Я видела Два Гроша[2] — и обольстилась влюбленной девочкой.

Если бы я была молода, я бы побежала за кем-нибудь по этому рецепту. Она вырастет в его маму...

Я не видела Рима[3]. Он шел только 4 дня. Пойдем в Москве в«Повторное кино».

Мне надо идти на занятия. Но я решила сразу ответить на письмо — мне его сейчас принесли — воскресенье оно пролежало в Институте.

(Мы получаем письма через библиотеку).

Писать подробно буду в воскресенье, а сейчас просто объясняюсь в любви.

Надя.

Письмо без конверта.
24 (?) По-видимому, 24 апреля 54 г.

Датировка: 24 апреля 1954 г.

Люся, дружок! Получила ваше односпальное письмо. Еще месяц — и я не приеду, а выеду. Курортом мне будет поезд — две недели в два приема. В Москве, значит, буду меньше 6 недель. Спасибо за босоножки[4] — прислать или привезти деньги? Привезу... Но как ходить по облакам? А по земле можно?

Я, кстати, согласна, что вы выиграли мало. Это звучит, но ничего особенного из этого не получается. Вы получили зарплату за год. Но так как на следующий год вы ее не получите, то никакого богатства тут нет. А Витя знает? Он, наверное, считает,

---

[1] У Тали (Н.Г. Корди) было несколько обязанностей: чистить селедку, варить борщ и клюквенный кисель, ходить на охоту за продуктами, вышивать крестиком, штопать, мыть посуду. Остальное время она читала.

[2] «Два гроша надежды» — итальянский фильм.

[3] «Рим в 11 часов» — итальянский фильм.

[4] Босоножки для Наденьки мы купили хорошие, но белые, нежные. И мама написала ей, что в них нужно ходить по облакам.

что может прекратить пенсию, раз вы получили зарплату[1] — т. е. одно на одно с маленьким «прикушем». Но все же приятно — почаще бы. Единственное, что ощущение выигрыша вызывает чувство, что теперь-то денег много и надолго — роковая ошибка. (Перефразируя — что выигрыш? — обыкновенная заплата на ветхом рубище выигравшего).

Вот теория выигрыша.

Мне странно, что я приеду, и Никитка будет большой и разговорчивый. Ведь пантомима сопровождается, наверное, восхитительными звуками. Мне, боюсь, надо будет с ним заново знакомиться. Жаль, что Андрюши не будет, чтобы представить меня.

Да, у меня мелкое огорчение. В нашу бухгалтерию приехал ревизор и велел забрать у меня 1.500 подъемных. Их выдали по незнанию. А надпись, которую мне сделали в Министерстве, означала: дуре денег не давать, а сунуть ей в зубы поменьше. Перед самыми каникулами из меня вынимают 1.500 — ужас. А я мало отложила в этом году (посылала Лене)[2]. Но, в общем, это отразится только на пальто, которое мне уже пора купить, да еще на пирах[3].

Не знаю, лететь или ехать. Лететь 1) дорого (1.000 — билет в мягком 700) 2) Долго — сутки 3) Не знаю, как сердце, но надеюсь, выдержит 4) Наверное, будет очень трудно достать билеты (это главное). Это мне экономия 6 суток поездного курорта (2 недели на курорт в поезде!) в два приема!

Ну вот — это ответ Люсе. Талечку целую. И Варюшку с семейством. Я здесь очень тоскую.

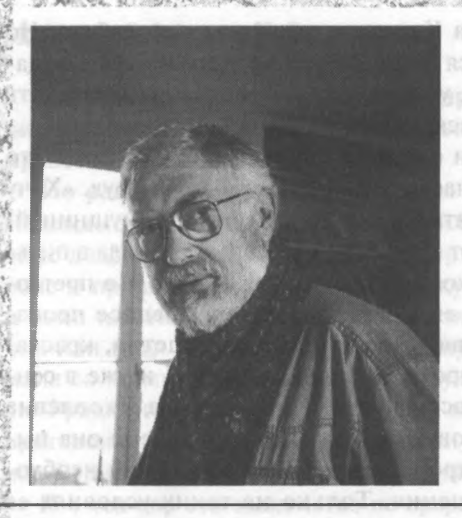
Надя.

---

[1] Отец считал, что это он выиграл, и деньги маме давать перестал. Но вообще он платил маме пенсион (мама пенсии не имела, работала на него), и, нужно думать, это было ему не легко, принимая во внимание скупость С.Г.

[2] Н.Я., пока работала, много помогала семье брата Е.Я. Хазина, за что его жена Е.М. Фрадкина платила ей черной и раздраженной неблагодарностью.

[3] Пиры Н.Я. закатывала замечательные. На теперешние деньги — рубля на 3, не больше, — покупалась ветчина, косхалва. Пили чай. Когда Никитка подрос, его посылали «за пиром». Ощущение праздника — «пира» — у нас с Никиткой осталось и сейчас от тех застолий.



Алексей Жанович Аренс

Воспоминания **Алексея Жановича Аренса**, сына близкой подруги Н.Я. Мандельштам Е.М. Аренс, восходят к Калинину конца тридцатых годов, куда вслед за ранее высланной семьей Аренсов в мае 1939 г. (уже после гибели Мандельштама) вернулась Надежда Яковлевна. Ее приезду предшествовал следующий эпизод: на перроне вокзала, перед самым отходом поезда она узнала, что в Калинине (где Мандельштамы жили с ноября 1937 г. до марта 1938 г.) через несколько дней после ареста Осипа Эмильевича за ней, уже одной, «приходили с ордером», но решила не менять маршрута.

В своих первых калининских письмах Надежда Яковлевна (подразумевая захолустную окраину города, закуток в щелястой деревенской избе) жалуется Б. Кузину на «исключительно неудачный выбор места». Но здесь (Калинин—7, деревня Старая Константиновка, д. 90) с двумя маленькими детьми и матерью уже около года жила ее подруга Люля — Елена Михайловна Аренс. И это обстоятельство искупало крайне неустроенный быт.

Первым местом работы в Калинине (с 22 мая 1939 г.) для Надежды Яковлевны стала артель детской игрушки. «Роспись

игрушек, — сообщала она Кузину, — очень милая работа. Но каждую штучку приходится брать в руки 14 раз — и раз 50 ударять штампом <...> Пока у меня нет скорости, но заработать можно рублей двести в месяц». (Борис Кузин. Воспоминания.., с. 589.) В скором времени она стала брать работу на дом. Это был многочасовой, по 14 часов в день, изнуряющий труд. «Хочу быть надомницей (не путать ни с домовым, ни с домушницей) по 17 копеек за штуку... Вот мое кредо», — горько шутила в письмах к друзьям Надежда Яковлевна. (Там же, с. 597.) Но претворить это «кредо» в жизнь ей так и не удалось. Вредное производство в домашних условиях (эфирные лаки, ацетон, краска) вызвало категорический протест хозяев квартиры, и уже в сентябре, не имея возможности переехать, Надежда Яковлевна была вынуждена искать новую работу. Какое-то время она пыталась устроиться медсестрой, но это влекло за собой необходимость двухлетнего обучения. Только на таких условиях ее допускали «ставить больным клизмы».

В ноябре 1939 г., когда Надежде Яковлевне удалось устроиться на преподавательскую работу в школе, ее финансовое положение несколько улучшилось. Она, наконец, смогла перебраться на новую, лучшую квартиру (Школьный переулок, д. 23, кв. 10), где вместе с приехавшей к ней в Калинин матерью занимала две комнаты с кухней. Ее «нормированный» рабочий день длился с двух до восьми часов, по шесть уроков ежедневно (не считая подготовки к занятиям), остальное время она по-прежнему отдавала росписи деревянных игрушек. В январе 1941 г. Надежда Яковлевна записывается на заочное отделение Московского института иностранных языков, четырехлетний курс которого она намеревалась пройти за два года (без диплома о высшем образовании не разрешалось преподавать даже в школе). Однако этим планам, все крепче связывающим ее с жизнью, не суждено было сбыться — в августе 1941 г. Надежда Яковлевна срочно, «диким способом», «сгружая вещи в проходящие теплушки» и не выпуская из рук сумку с архивом Мандельштама, эвакуируется из Калинина накануне его оккупации гитлеровской армией.

До февраля 1942 г. она ничего не знала о судьбе Аренсов. Связь между ними, по-видимому, восстановилась лишь в конце 1942 г., когда Надежда Яковлевна была уже в Ташкенте, и с тех пор не прерывалась до конца ее жизни.

Алексей Жанович, в каком году произошло знакомство Надежды Яковлевны с Вашей матерью, Еленой Михайловной Аренс?

По рассказу Елены Михайловны Фрадкиной, жены брата Надежды Яковлевны, они познакомились у нее в гостях в середине двадцатых годов. Мама моя вернулась из поездки по Европе и пришла в гости на Пушкинскую площадь к Фрадкиной, и была там Надежда Яковлевна (не знаю, с Осипом Эмильевичем или нет). Фрадкина, увидев маму, обрадовалась, познакомила со всеми, и маму сразу же окружили мужчины. А родители Фрадкиной сказали после ухода мамы: «Дура ты, Леночка, пригласила такую красивую женщину, что все мужики вокруг нее были, так ты никогда замуж не выйдешь».

И с тех пор это знакомство не прерывалось? Или...

Нет, потом, видимо, знакомство с Надеждой Яковлевной на некоторое время прервалось, так как мама уехала работать на Урал (была там она редактором газеты «Уральский рабочий») и вышла замуж за Жана Львовича Аренса, который раньше был советником посольства во Франции, а на Урале находился вроде как в ссылке — директором строительного банка в Магнитке. Но когда мама приезжала в Москву, она всегда встречалась с Надеждой Яковлевной. В 1935 году родители мои уехали в Америку. Отца назначили консулом в Нью-Йорке.

В США наша семья жила открытым домом, в гостях бывали Алберт Рис Вильямс, Давид Бурлюк, Ильф и Петров и многие другие представители интеллигенции, а также советской власти. Они дарили родителям свои картины, книги с трогательными надписями. Кое-что чудом уцелело.

Весной 1937 г. отец был вызван в Москву, вся семья была уже там.

В августе 1937 г., спустя два месяца после моего рождения, отца арестовали. Маму сутками мучили допросами в НКВД на Лубянке, держали в камере-одиночке по щиколотку в воде, не давали спать. Она была кормящей матерью и истекала молоком, что было особенно бесчеловечно со стороны чекистов.

Следователи неожиданно увозили маму из дома и также неожиданно привозили.

Как мы узнали много позже, отец был осужден по статье 58, хотя никаких обвинений не принял. 7 января 1938 года «тройкой» он был приговорен к расстрелу, и в тот же день приговор привели в исполнение. Место его захоронения неизвестно и не установлено.

Мама не отреклась от мужа и не дала компрометирующих показаний (их не было), но все равно мы получили 8 лет ссылки, которая проходила сначала в Калинине, а когда немцы подступили к Калинину, нас этапировали в Удмуртию.

Поэтому мои первые детские воспоминания связаны как раз с Калинином и с Надеждой Яковлевной Мандельштам.

Она уже одна приехала туда в мае 39-го года.

Да, в тридцать девятом.

У Надежды Яковлевны в письмах к Кузину есть такая фраза: «Она *(Е.М. Аренс)* **приехала в Калинин из-за нас, а я уже потом из-за нее».**

Что имела в виду Надежда Яковлевна? Наверное, мама ей обещала, во-первых, работу, во-вторых, недорогое жилье, но главное — в Калинине была возможность получить высшее образование...

Мама очень хорошо знала английский, но у нее был только диплом школы-студии Завадского, и здесь, в Калинине, она сразу поступила на вечернее отделение пединститута. И, видимо, написала Надежде Яковлевне: «Приезжайте, здесь можно и жить, и работать, и учиться в пединституте». Именно поэтому, как я считаю, Надежда Яковлевна приехала в Калинин. Мама моя окончила институт в 1941 году, а Надежда Яковлевна, приехавшая позже, не успела.

В 1939 году адрес у Надежды Яковлевны был, по-моему, такой: Калинин 7, деревня Старая Константиновка, дом № 90. А Вы свой адрес в Калинине помните?

Помню. Старая Константиновка, дом номер... 90... Ведь Надежда Яковлевна сначала жила с нами. В ее письмах к Кузину есть такая фраза: «Мальчик Алеша... орет за перегородкой... Если б Вы знали, как он орет. К несчастью, у него есть старший брат, которому бабушка весь вечер читает рассказы про животных...» То есть перегородка наша, видимо, была фанерной. И часто Надежда Яковлевна, желая меня хоть как-то утихомирить, разрешала мне рисовать на своих бумагах...

Да, на одном из ее писем к Кузину были каракули Ваши.

Так что Надежда Яковлевна одновременно и хорошо относилась к детям своей «лучшей подруги», как она пишет в дарственных надписях, и, конечно, досадовала, что дети мешают ей работать. Ей, вероятно, хотелось переехать в другое место. Константиновка — это ведь пригород Калинина. Я помню, что мы потом тоже переехали куда-то. Помню большой дом, кинотеатр. У нас не было там постоянного места жительства, потому что заработки были очень низкие, и мама с Надеждой Яковлевной, чтобы заплатить за квартиру и прокормиться, расписывали игрушки...

...в артели деревянных игрушек...

Еще какие-то цветы там они делали.

Так значит, они работали в одной артели?

Да-да, конечно. Поскольку денег все равно не хватало, им пришлось искать такое жилье, которое было бы и дешевым, и сносным, и поближе к работе, а, главное, поближе к пединституту, ведь Константиновка — это самая дальняя окраина Калинина, ну, как в Москве, например, Мытищи.

Надежда Яковлевна все время подчеркивала в тех же письмах к Кузину, что Вашей маме тяжелее, чем ей: двое детей, а она одна и только за себя отвечает. Еще она называет ее «моя прекрасная калининская приятельница».

Да, мать была очень красива и, как считали ее современники, в ней удивительно совмещались красота, спокойствие и ум. По-моему, это редкостное сочетание. А с двумя детьми, конечно, ей было тяжело, тем более, что один еще грудничок. Потом к нам бабушка *(Екатерина Павловна Пионткевич)* приехала из Москвы, мамина мать, и жила с нами целый год. Ясно, что маме было безумно трудно.

То есть прокормить троих...

Совершенно верно. Бабушка не работала. Но во время войны, когда нас переслали в Удмуртию, она зарабатывала гаданием. За это ей яички приносили. Жили-то мы в селе.

Мама преподавала английский язык с 1941 по 1945 год. Село называлось Бемыж. Даже название само, по-моему, говорит о какой-то заброшенности, отдаленности. Бемыж... Война... Мать преподавала в школе, а потом, в летние каникулы, работала землемером. Я помню, как мы полынь сушили на крыше, потом мешали с зерном, и бабушка пекла хлеб. К ней ходило с округи множество женщин, не имевших вестей с фронта. Они

просили ее: «Катя, погадай». Та и гадала, но народ-то нищий: кто яичко даст, кто два яичка, кто принесет кулечек пшена... Но она очень хорошо гадала... я, вот, помню, что одной женщине она сказала: «Твой жив, но придет инвалидом...». В общем...

...сбывалось, да?

Да, часто сбывалось.

Алексей Жанович, возвращаясь к Калинину: что Вам еще, связанное с Надеждой Яковлевной, запомнилось там?

Вспоминаю еще один эпизод, когда к нам приехал мамин брат *(Владимир Михайлович Пионткевич)*, и Надежда Яковлевна со всей нашей семьей пошла купаться на Волгу. Лето было жаркое, 1941 года, дядька мой, дядя Володя, очень здоровый мужчина был, говорит: «Алеша, хочешь я тебя на спине покатаю?». Я сказал: «Хочу». Он посадил меня на спину, и мы поплыли. Он заплыл очень далеко, мне стало страшно, я держался за его шею и кричал; и плакал, и кричал. В конце концов он повернул обратно и доплыл до берега. Я ревел и ревел и долго не мог успокоиться. Потом плюхнулся между мамой и Надеждой Яковлевной, и она гладила меня по голове и успокаивала: «Алешенька, Алешенька...» Я помню ее внимательные, нежные, удивительно умные глаза. Я порыдал еще немножко, потом затих, и Надежда Яковлевна села играть в шахматы с Володей. Они закурили, и мы продолжали слушать плеск Волги. Вот, пожалуй, единственное мое младенческое воспоминание о Надежде Яковлевне.

А внешность ее помните?

Видите ли, когда человека знаешь всю жизнь, то не замечаешь в нем никаких метаморфоз. Впрочем, лучше всего я ее помню сразу после войны, когда Надежда Яковлевна была очень изящна. Возможно, она не была идеалом красоты. Ахматова пишет *(«Листки из дневника»)*, что Надежда Яковлевна была некрасива, но обворожительна. И потом, дети не очень-то замечают внешность тех, кого они любят, и тех, кто любит их самих: они видят душу. А я с детства обожал Надежду Яковлевну, и она относилась ко мне воистину по-матерински. На первой изданной после войны книге Мандельштама «Разговор о Данте» *(М.: Искусство, 1967)* она написала: «Алеше Аренсу, любимому всю его жизнь».

Как война разлучила Вашу семью с Надеждой Яковлевной?

Когда начали бомбить Калинин, то к нам пришли из НКВД, посадили в машину, потом на поезд и отправили в Удмуртскую АССР, а Надежда Яковлевна уехала в Ташкент. *(Надежда Яковлевна покинула Калинин в августе 1941 г. В Ташкенте, при помощи А.А. Ахматовой, она оказалась только в июле 1942 г.)* Писем, к сожалению, не осталось. Хотя они во время войны с мамой переписывались.

Держали связь?

А.А.: Да-да, держали связь. Мама знала, что она в Ташкенте. А Надежда Яковлевна, стало быть, знала, что мы в Бемыже, в Удмуртии. Осталось только одно дедушкино письмо, видимо, многие письма изымались цензурой. Кстати, я помню, как к нам в Бемыже пришел какой-то тип и отобрал пишущую машинку и американский приемник.

Просто так? Вот так среди бела дня отобрал?

Нет, не просто так: вероятно, ссыльным не положено было иметь пишущей машинки, приемника, а возможно, и писем.

А после войны, отбыв срок, мы приехали в Москву.

В каком году?

В 1945 году, летом, мы приехали в Москву, и так как никто нас не прописывал, мы поселились сначала у Осмеркиных *(ул. Кирова (Мясницкая), д. 24, кв. 105)* и жили там месяца три, потом мама начала искать работу. Ее приняли в среднюю школу преподавать английский язык (у нее уже был диплом); и для того, чтобы прописаться, она поступила изучать французский на вечерний факультет в областной пединститут имени Ленина и получила временную прописку, так как была студенткой. Мы жили тогда то в Хлебникове, то в Тарасовке, то на Сретенке, то на Пушкинской улице, и к лету 1947 года мама наконец добилась постоянной прописки благодаря тому, что была хорошо знакома с Москвиным, народным артистом СССР, и писала письма Микояну. Микоян, когда бывал в Америке, часто общался с моими родителями и, несмотря на то, что отца расстреляли, Микоян, по словам мамы, помог ей с пропиской.

А Надежда Яковлевна после войны работала по всей России: в Ульяновске, в Чите, в Пскове, но на лето всегда приезжала в Москву и снимала дачу в Тарасовке или в Верее. Как правило, она снимала. Я часто играл с ней в шахматы, потом она научила меня играть в «66» и в «501». Играли мы всегда на деньги, и она мне, по-видимому, специально проигрывала...

нет, не в шахматы, а в дурака, в «66», в «501», и когда отдавала деньги, всегда говорила: «Алеша, это тебе на мороженое, это тебе на орехи, это тебе на пирожное». Я как сейчас помню их вкус... Жили мы нищенски: в 11-метровой комнате, коммуналке, окно выходило в стенку, маминого заработка хватало только на щи... Я помню, что мы завтракали, обедали и ужинали щами. И первые визиты к нам Надежды Яковлевны после войны у меня связаны с вкусовыми ощущениями. В Удмуртии мы пили чай с сахаром вприглядку, то есть он (кусок нерафинированный) лежал на столе, и можно было только смотреть. Иногда лизнуть. Однажды, я помню, Надежда Яковлевна принесла халву, огромный кусок халвы, которую... мы ели с чаем: пьешь чай, ешь халву, и хочется все время это есть-есть-есть. В результате мы всю эту халву и съели. В другой раз она принесла миндальные пирожные. Тоже удивительно вкусные, и мама моя сказала, что до войны они были гораздо вкуснее, а до революции — еще вкуснее...Я не помню, чтобы Надежда Яковлевна приходила к нам в гости с пустыми руками.

Позже, когда благодаря заработкам мамы и старшего брата *(В.Ж. Аренса)* в 60-м году мы купили машину, я часто возил Надежду Яковлевну и в Тарусу, и в Верею, и мы с мамой ездили в гости к ней...

Это Вы в Тарусе чуть не перевернули машину вместе с Надеждой Яковлевной?

Нет-нет-нет, не я. *(Улыбаясь.)* Наверное, это Елена Константиновна *(Гальперина-Осмеркина)* перевернула. *(Из письма Н.Я. Мандельштам от 8 октября [1959 г.]: «Сын Елены Михайловны* [В.Ж. Аренс] *— красавец. Рожденный быть шофером знатной дамы, — сбросил меня в канаву» (Письма Н.Я. Мандельштам к А.А. Ахматовой, с. 100).)*

В начале сороковых годов Надежда Яковлевна принесла нам машинописного Мандельштама. Вот до сих пор он хранится, с правкой Надежды Яковлевны: там Воронежский цикл и последние стихи. Частенько Надежда Яковлевна звонила и спрашивала: «Алеша, ты что там в пятницу делаешь? Ты не мог бы меня отвезти?» Я всегда с удовольствием это делал, потому что... ну, потому что мы были просто друзьями. Я ездил с ней к Меню *(о. Александр Мень)*, в Пушкино, но она меня с собой не брала, а говорила: «Ты тут посиди в машине, отдохни, я пойду с отцом Александром поговорю и вернусь».

Он был ее духовником.

Да. Я видел его несколько раз у нее дома, но, Вы знаете, некоторых гостей, которых я не знал, я стеснялся и шел на кухню или в магазин за продуктами.

Ведь когда Надежда Яковлевна получила квартиру, она уже была на пенсии. Кстати, когда это было? В конце шестидесятых?

В 1965 г.

В 1965 г. Черемушкинская квартира была на первом этаже и состояла из одной комнаты метров 17 и кухни метров 9, да еще «гаванна», так называли совмещенный санузел. Налево в комнате стояла кровать, покрытая пледом, который прислал Набоков. У кровати была тумбочка с пепельницей и папиросами «Беломорканал», на полке лежали книги. Направо в углу платяной шкаф. Несколько стульев. В изголовье кровати иконы. На стенах полотна Б. Биргера и В. Вейсберга. На кухне стол, диван, стулья, полки с посудой. Совсем маленький холодильник — «Север» или «Саратов». Все было просто, уютно, лишнего ничего. Магазинов по близости не было — новый район. Мы часто навещали ее.

Помню, как она стала давать читать маме главы своей первой книги. Я тоже, конечно, читал и признался ей, что мы даже фотографируем текст и даем читать другим. Она ответила: «Ты с этим делом подожди и будь осторожен». Помню еще, как однажды я привез маму и Елену Константиновну к Надежде Яковлевне, видимо, это был 1968 год, потому что первая книга уже была закончена. Она говорит: «Завтра буду отправлять, Люленька, Вы... Можно фамилию Вашу упомянуть или Вы боитесь?». Мама сказала: «Я-то не боюсь, но сын у меня старший — доктор наук и партийный. Лучше, Наденька, не пишите моей фамилии». — «Леночка, а Вы?», — спросила Надежда Яковлевна Осмеркину. А Елена Константиновна говорит: «Надя, ну что Вы, разве можно писать мою фамилию: ведь Таня *(Т.А. Осмеркина)* работает в Центральном доме моделей, не делайте этого ни в коем случае». Сейчас это может показаться странным, даже шокирующим, но невытравимый страх заставлял людей перестраховываться, непрерывно думать об участи своих родственников, и близких, и дальних.

В те времена нельзя было даже позвать в гости иностранцев. Кстати, иностранцы у нас как раз всегда были, так как сестра

мамы в двадцатых годах вышла замуж за итальянца и преподавала в Падуе в университете русскую литературу. И уже после войны, когда Катя (Кися), мамина сестра *(Екатерина Михайловна Вараскини)*, в конце пятидесятых нашла нас через Красный Крест, началась переписка. Кстати, в анкете надо было указывать, есть ли у тебя родственники за границей, и встречаешься ли ты с ними. Положительный ответ грозил большими неприятностями. Меня два раза выгоняли с работы или за то, что я давал читать самиздат, или за то, что я встречался с иностранцами.

Иногда тетушка передавала нам через нарочных подарки и книги. Однажды в Москву приехала Мариолина Ронкале (ученица моей тетки). Мы познакомились, поговорили, посидели, и она вдруг спросила маму: «А Вы не знаете Надежду Мандельштам?» — «Как не знаю? Знаю!» — «Мне надо с ней познакомиться». — «Пожалуйста». Предварительно позвонив, мы поехали к Надежде Яковлевне втроем. Приезжаем — Надежда Яковлевна полулежит на кровати, а рядом на стуле сидит жена Синявского, Розанова Мария, Маша. Мариолина — эффектная женщина, высокая, очень красивая (у нее бабушка из Одессы), разодетая ... тогда мало было иностранцев, и она ярко выделялась. Познакомились. Маша сидела здесь же в комнате, мать моя пошла на кухню что-то готовить: чай, какую-то холодную еду. И вдруг Надежда Яковлевна спрашивает: «Мариолина, Вы богаты?» Та отвечает: «Да, у меня есть дом в Милане, дворец в Венеции». — «А Вы замужем?» — «Замужем и дети есть». (Муж — один из ведущих итальянских архитекторов.) «А что, — говорит Надежда Яковлевна, — у Вас там такое на шее? (А на шее у нее были три низки бус.) Подойдите сюда». Мариолина подошла. «А это, вот, Маша — жена Синявского, писателя, которого посадили, и она осталась без работы. А это что у Вас за камни?». Мариолина начала перечислять: «Это у меня...» Ну и назвала какие-то драгоценные и полудрагоценные камни. «Они Вам очень нужны? — спрашивает Надежда Яковлевна. — Вы можете их отдать?» И, не дожидаясь Мариолининого ответа, сняла с нее бусы. «Лучше, — говорит, — мы это Маше отдадим, потому что она сейчас зарабатывает тем, что делает ювелирные изделия и таким образом и мужу помогает, и сама с голоду не умирает». Мариолина очень смутилась, но сказала: «Да-да-да-да».

А Надежда Яковлевна перевела разговор на Данте: «Почитайте мне Данта по-итальянски». Та так растерялась, что начала читать очень скверно. «Что, — говорит, — у вас Данта в школьной программе нет?» — «Есть, но я уже все забыла, я давно школу кончила...» — «А Мандельштама?» Ну, Мандельштама она что-то такое пробовала переводить. И Надежда Яковлевна снисходительно сказала: «Спасибо».

Эта история имела продолжение, которое тоже, по-моему, заслуживает внимания. Однажды мне позвонили. Женский голос: «Альоша? Аренс?». Я говорю: «Да». (А жил я тогда в коммунальной квартире на Маяковской.) Женский голос: «Нам надо встретиться, у меня для Надежды подарок от Мариолины». Я говорю: «Чудесно». Она: «Но мне надо и с Надеждой увидеться». Отвечаю: «Хорошо». Мы договариваемся встретиться в метро. Женщина сказала, что будет в шубе. Она оказалась похожей на Буратино, с длинным носом, такая смешная, и в шубе расклешенной — наверное, ондатра или что-нибудь в этом роде. Короткий такой мех, блестящий, очень красивый. Мы поехали на метро к Надежде Яковлевне. Конечно, я предварительно предупредил ее, что приеду с гостьей. И когда мы приехали, то эта итальянка (к сожалению, не помню ее имени) сказала: «Надежда Яковлевна, у Вас есть ножницы?» Потом она разрезала подкладку, достала три экземпляра первого тома Мандельштама *(имеется в виду издание: Осип Мандельштам. Собрание сочинений в 3-х томах / Под ред. проф. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова. — Нью-Йорк, 1967—1971; 4-й дополнительный том / Под ред. Г. Струве, Н. Струве, Б. Филиппова. — Париж, 1981)*, проговорив: «Видите, как я легко обманула ваших таможенников. Один экземпляр, Мариолина сказала, — Алеше, а два других Вам». Ну, мы посмеялись, поговорили, попили чай. Итальянка торопилась в Большой театр. Надежда Яковлевна была очень благодарна ей.

Потом Надежда Яковлевна надписала мой экземпляр: «Алеше моему милому и сыну моей лучшей подруги Люли. Н.М. Алеша, ты забыл, как ты крошечный кусался».

У Надежды Яковлевны мы познакомились и сдружились с художниками Биргером и Вейсбергом, с писателем Шаламовым, которому мама перепечатывала его рассказы, мы слушали его чтение у Надежды Яковлевны и у нас на Маяковской.

Шаламов вел аскетический образ жизни, в гостях пил только чай с черным хлебом. Переписка его с Надеждой Яковлевной вскоре переросла в тесную дружбу. Шаламов был человек угрюмый, как правило, недружелюбен к новым людям. Зек с огромным стажем, он многих подозревал в стукачестве, чаще всего несправедливо. К концу жизни он оглох, но говорил, что это даже ему нравится, поскольку он перестал слышать радио, непрерывно включенное у соседей.

В последние годы он уже не бывал у Надежды Яковлевны, они повздорили, не сойдясь во взглядах не то на Языкова, не то на Батюшкова.

В последний раз я его встретил в метро, в переполненном вагоне, но вокруг Шаламова людей не было — он страдал ярко выраженным паркинсонизмом, он непроизвольно размахивал руками. Я проводил его домой.

Алексей Жанович, расскажите о приходе к Шкловским Ахматовой.

Один раз я имел счастье видеть Анну Андреевну. Пришли мы с мамой к Шкловским, чтобы навестить Надежду Яковлевну, которая в то время жила у В.Г. Шкловской. У Василисы Георгиевны была красивая гостиная, вся в стеллажах, огромный стол в центре. Дома были Надежда Яковлевна, Василиса Георгиевна, ее сестра *(Н.Г. Корди)* и внук Никита. Мы сели за стол, попили чаю, потом раздался звонок, Василиса побежала к дверям со словами: «Это, наверное, Аннушка». И вошла Анна Андреевна, удивительно величавая, значительная, невозмутимая... На столе появилась бутылка вина и бутылка водки. Никита тут же залез под стол и начал щекотать за ноги гостей. Надежда Яковлевна сказала: «Алеша, возьми Никиту и идите играть в коридор». Мы вышли. Обидно, что я не видел, как Анна Андреевна ушла, но и по сей день помню ее величавость.

Вы только один раз ее видели?

Да. Ну, что мне было? ...наверное, лет 14—15. Но с Ахматовой у меня связано еще вот что. Когда Евгений Яковлевич Хазин ушел из жизни, Фрадкина осталась одна и очень худо себя чувствовала... Я жил на Маяковской, она — на Пушкинской, а работал я на Покровском бульваре в издательстве «Советская энциклопедия» и каждый день по пути навещал ее. Ей становилось все хуже, и Надежда Яковлевна решила, что ее следует устроить в Дом престарелых. Я это сделал, и все, что было в ее комнате, Надежда

Яковлевна распорядилась, чтобы я взял себе вместе с Поляковым (у Фрадкиной был такой приятель, художник). И до сих пор у меня хранится книга Ахматовой 1958 года *(Стихотворения / Под общ. ред. А.А. Суркова. — М., 1958)* с авторской правкой. Она подарила этот возмутительно изуродованный цензурой томик Хазину с надписью: «Милому Евгению Яковлевичу Хазину, чтобы он вспомнил наши беседы ташкентских лет. Дружески. Ахматова. 17 декабря 58-го года. Москва».

А еще есть у меня портрет Надежды Яковлевны, это пятидесятые годы, рисовала ее Фрадкина. Очень хороший портрет.

Замечательный совершенно.

Этот портрет нигде не выставлялся. Я случайно нашел его среди работ Фрадкиной.

После публикаций на Западе у Надежды Яковлевны наконец-то завелись деньги. Щедра она была поразительно. Когда маме было 70 лет, а мне — 35 (это 1972 год), Надежда Яковлевна приехала днем к нам на Маяковскую и говорит: «Люлечка, что Вам подарить?», а мать отвечает: «Да ничего не нужно. У меня дети взрослые, оба работают — не надо решительно ничего». Но так было всегда... Сколько раз были мы у Надежды Яковлевны после выхода ее «Воспоминаний», она неизменно спрашивала мать: «Что Вам надо?» Мама же всегда отвечала: «Не надо ничего».

А однажды мы приехали к Надежде Яковлевне с Е.К. Осмеркиной. Надежда Яковлевна достала очки и говорит: «Вот, Леночка, Вам очки». Елена Константиновна смутилась: «Что Вы, Наденька, они же так дорого стоят». А у Елены Константиновны очень сложные были стекла. Конечно, она приняла этот подарок: «Наденька, не знаю, уж как Вас отблагодарить». А Надежда Яковлевна говорит: «Да за что меня благодарить?».

Помню еще, что получая какие-то английские книги из-за рубежа, Надежда Яковлевна тут же читала их и передаривала. Деньги она дарила мне бессчетно, и не советские деньги, а сертификаты с чертой «Д». Когда я приходил в гости, она обычно спрашивала: «Ну, как там дети у тебя, как жена *(Людмила Александровна Аренс)*?». Я: «Все хорошо». А жена у меня, кроме работы, пела в церковном хоре, и это Надежде Яковлевне очень нравилось. Она говорила: «Ну, ладно, на тебе...» Не помню, уж сколько раз это было, во всяком случае, на эти деньги можно было купить и рубашки для меня, и дорогие платья для жены.

Сам я не ходил в эти «Березки», предпочитая походы в продовольственные магазины, где продавался джин и всякие вкусности, которые иногда Надежда Яковлевна просила меня купить. И вот, когда маме было 70 лет, днем к нам *(ул. Б. Дмитровка, д. 7, кв. 76)* зашла Надежда Яковлевна и между прочим сказала: «Алеша, а у тебя вечером гости будут?». (А мы с мамой родились в один день. За два месяца до своего ареста отец в этот день принес матери букет роз, а мама написала ему в записке: «Спасибо. Это оказалось не мне, а сыну Алеше».) — «Да, придут, конечно, вечером». — «Возьми деньги и сбегай на Большую Грузинскую, в «Березку»». Мне чуть дурно не стало при виде такой уймы денег. Я говорю: «Надежда Яковлевна, это много». Надежда Яковлевна: «Бери, бери, тебе же исполнилось 35 лет, маме — 70 — погуляйте!». Я, конечно, проводил ее до метро и побежал (там рядом, два квартала), набрал джина и всякой всячины, и мы очень хорошо погуляли.

Всегда, когда мы приходили к Надежде Яковлевне, у нее был джин, а тоником мы никогда не пользовались, пили чистый и запивали чаем, закусывая медовыми пряниками. Мама приносила ей пироги собственного изготовления, особенно Надежда Яковлевна любила пирог с лимоном и орехами.

Однажды я сопровождал Надежду Яковлевну в консерваторию, мы ехали на метро, поднимались на эскалаторе на станции «Охотный ряд», и она сказала: «Алеша, посмотри, что они сделали с народом. Одни рожи, ни одного лица».

Шкловские говорят, что Надежда Яковлевна вообще многих одевала. У того же, кто дарил ей, была одна забота: успеть досидеть, пока она эту вещь не передарила.

Да, это она любила.

И не что-то такое простое, а вещь значимую, хорошую...

Я помню, как плед она показывала, очень красивый плед, который прислал Набоков.

Плед? Я знаю только о существовании набоковских простынь.

Нет. Плед, и к тому же шикарный. Он был очень красивый, квадратный, красно-черно-желтый — яркие такие цвета.

Еще вот такой эпизод. Я познакомил Надежду Яковлевну с Сереной Витале, известной итальянской слависткой. Мы приходили с ней к Надежде Яковлевне несколько раз. Серена перевела стихи Мандельштама 1921–25 годов, читала их наизусть и книжку с параллельными переводами *(Osip Mandel'stam poesie*

1921—1925 A kura di Serena Vitale. Quanda. 1976. Milano) подарила Надежде Яковлевне и мне тоже.

Надежда Яковлевна сказала полулежа (она плохо себя чувствовала в то время): «Как хорошо Вы перевели». Чувствовалось, что ей действительно понравился перевод. У меня сохранился первый том из зарубежного мандельштамовского четырехтомника с правкой Надежды Яковлевны. Серена собиралась его перевести на итальянский язык. Мы как-то пришли к Надежде Яковлевне, и Серена попросила ее, чтобы та сделала правку, но так как серенин экземпляр был в Милане, Надежда Яковлевна сказала: «Пусть Алеша принесет свой». Я принес, и она внесла в него свою правку. Так что у меня сейчас хранится самый, я считаю, ценный экземпляр первого тома этого четырехтомника.

Первую книгу воспоминаний Надежда Яковлевна подарила мне с надписью: «Алеша, узнай, что мы пережили. Ты, слава Богу, был мал». А вторую книгу просто с надписью: «Милому Алеше».

Алексей Жанович, говорят, что для людей незнакомых, дом Надежды Яковлевны не был открытым.

Да-да-да. Никто с улицы не мог к ней прийти, только знакомые. И когда мы пришли с другом из Ростова *(Леонидом Григоряном)*, то, конечно, ее предупредили.

Помню, как-то мы пришли с мамой к Надежде Яковлевне, она говорит: «На днях ко мне подослали гэбэшника, который наизусть знает всего Мандельштама, даже прозу. Как долго его учили?! У него фантастическая память». А это был Сережа Василенко, позднее видный мандельштамовед. Надежда Яковлевна долго ему не доверяла, но потом относилась благосклонно. С улицы Надежда Яковлевна никого к себе не пускала.

У меня сохранилась фотография Надежды Яковлевны с подписью: «Моей дорогой подруге Люле Аренс». По-видимому, Надежда Яковлевна фотографировалась на какой-то документ. И еще 21 ее письмо. Кстати, Надежда Яковлевна очень редко датировала свои дарственные надписи и письма. Почему? Не знаю.

Помнится, одновременно с рукописями Надежды Яковлевны мы с мамой часто получали свежие страницы Солженицына, которые приносила Надежда Васильевна *(Бухарина)*, обаятельнейшая женщина, которая ухаживала за детьми Александра

Исаевича. Весь машинописный текст мы фотографировали, печатали и давали читать друзьям.

В последние годы жизни Надежда Яковлевна почти не выходила из дома, она часто повторяла: «Сейчас уже год идет за три, а то и за пять лет, как в детстве, но с обратным знаком». Когда Надежда Яковлевна серьезно заболела, близкие люди организовали круглосуточное дежурство у нее.

Печальное известие о кончине Надежды Яковлевны застало маму серьезно больной. Елена Константиновна Осмеркина тоже хворала, но они сочли невозможным не приехать на похороны. Я посадил их в машину, мы поехали прощаться с Надеждой Яковлевной на Речной вокзал, в Аксиньенскую церковь, где было отпевание. Как мне кто-то сказал, было только датское телевидение. И когда мы уже попрощались и вышли на улицу, то я помню, что после пролитых слез очень светло стало. И вот это ощущение осталось во мне до сих пор, когда я хожу на кладбище к маме или Надежде Яковлевне. Потом мы поехали на Старо-Кунцевское кладбище, где разрешили похоронить Надежду Яковлевну. Было очень много снегу, и люди, спотыкаясь, пробирались между могилами...

Помню, что видел там Ахмадулину... ну и, конечно, близких Надежде Яковлевне людей. Меня поразило, что стояла полная тишина. Я все ждал, что кто-то что-то скажет, но никто не выступил. Чувствовалось, что кругом шныряли чекисты. Потом многие поехали, по-моему, к Юре Фрейдину на поминки *(поминки по Н.Я. Мандельштам происходили на квартире Н.В. Кинд (ул. Дмитрия Ульянова, д. 4, корп. 2, кв. 226); у Ю.Л. Фрейдина отмечались «9 дней» со дня ее смерти)*, а мы — к моей маме, и там Елена Константиновна, я и мама помянули Надежду Яковлевну.

Квартиру Надежды Яковлевны потом опечатали?

Квартиру опечатали, но... Я так понимаю, что и Саша Морозов, и Юра Фрейдин все рукописи уже забрали и... Кто-то мне говорил, что они в Принстоне, да?

Да, в Принстонском университете. Ну, то, что она передала еще при жизни.

При жизни, да. *(Боясь ареста архива Мандельштама (об этой возможности напомнил ей после похорон Ахматовой Бродский: «Вы помните, что произошло с архивом Пастернака, когда он умер? И с архивом Сологуба? <...> Они были немедленно аресто-*

ваны властями» (Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским, с. 254)), Надежда Яковлевна, по свидетельству Ю.Л. Фрейдина («Остаток книг». Библиотека О.Э. Мандельштама // Слово и судьба. Осип Мандельштам: Исследования и материалы, с. 236), «...в течение многих лет не держала у себя ни <...> книг, ни рукописей и документов из архива поэта». В конце семидесятых годов, после того, как были сделаны фотокопии с рукописей, архив Мандельштама, по решению Надежды Яковлевны, был передан в библиотеку Принстонского университета.) Помню, что как-то, когда мы приехали к Надежде Яковлевне в гости, она сказала: «Теперь я могу умереть спокойно. Архив Оси далеко и в надежных руках».

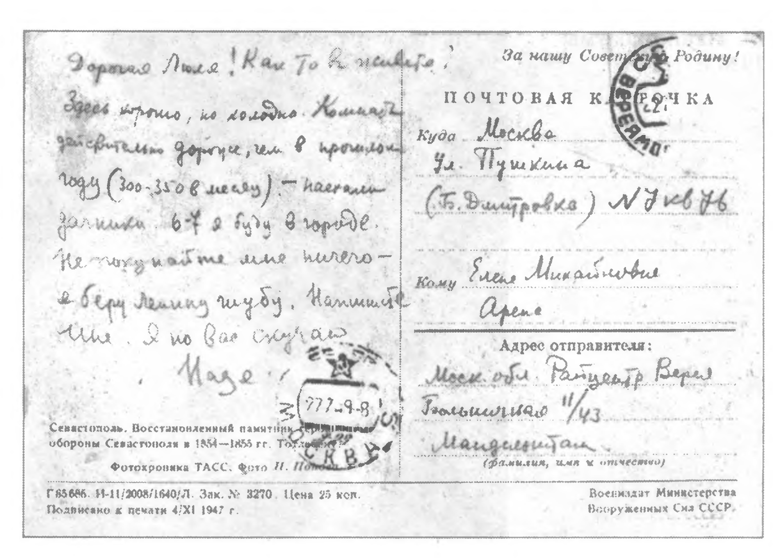


Е.М. Аренс. Рисунок А.А. Осмеркина. Середина 1920-х гг.



Е.М. Аренс.
Фото
М. Наппельбаума.
1920-е гг.

Е.М., Ж.Л. Аренс. Нью-Йорк. Февраль 1937 г.



Дорогая Люся! Как то вы живете?
Здесь хорошо, но холодно. Комнаты действительно дороже, чем в прошлом году (300-350 в месяц) — наехали дачники. 6-7 я буду в городе. Не покупайте мне ничего — я беру Ленину шубу. Напишите мне. Я по вас скучаю.
Надя

За нашу Советскую Родину!

ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА

Куда Москва
Ул. Пушкина
(Б. Дмитровка) № 7 кв 76

Кому Елене Михайловне
Аренс

Адрес отправителя:
Моск. обл. Райцентр Верея
Больничная 11/43
Мандельштам
(фамилия, имя и отчество)

Севастополь. Восстановленный памятник героической обороны Севастополя в 1854—1855 гг. Тотлебену.
Фотохроника ТАСС. Фото Н. Попова

Г 65686. Н-11/2008/1640/Л. Зак. № 3270. Цена 25 коп.
Подписано к печати 4/XI 1947 г.

Воениздат Министерства
Вооруженных Сил СССР.

Письмо Н.Я. Мандельштам к Е.М. Аренс.
Автограф. Архив А.Ж. Аренса



В.Ж., Е.М. и А.Ж. Аренс.
1950-е гг.

Алеша, узнай, что мы пережили. Ты, слава Богу, был мал.
Н.М.

НАДЕЖДА
МАНДЕЛЬШТАМ

НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМ

Милому Алеше
Н.М.

ВТОРАЯ КНИГА

11, rue de la Montagne - St. Geneviève - Paris 5
YMCA-PRESS

Алеше Аренсу, которого я люблю всю его жизнь
Н. Мандельштам

«ИСКУССТВО», МОСКВА, 1967

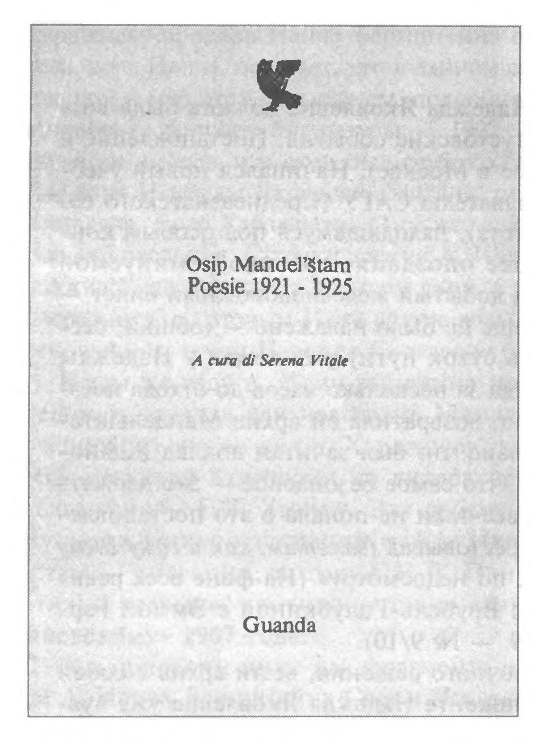
Книги с дарственными надписями, подаренные Н.Я. Мандельштам А. Аренсу



Портрет Е.М. Фрадкиной работы А. Тышлера.
1960 г. Архив А.Ж. Аренса



Серена Витале. Милан. 1960-е гг.



Osip Mandel'štam
Poesie 1921 - 1925

A cura di Serena Vitale

Guanda

Титул книги стихов О. Мандельштама в переводах С. Витале



Софья Игнатьевна Богатырева

В конце лета 1946 г. Надежда Яковлевна должна была возвращаться в Ташкент (августовские события: Постановление и доклад Жданова застали ее в Москве). Начинался новый учебный год, и ей как преподавателю САГУ (Среднеазиатского государственного университета), находящемуся под особым контролем властей, малейшее опоздание грозило неминуемой потерей работы. С трудом добытый железнодорожный билет — сообщение с Ташкентом еще не было налажено — (общий, бесплацкартный вагон, пять суток пути) уже лежал у Надежды Яковлевны в кармане, когда за несколько часов до отхода поезда Э.Г. Герштейн внезапно возвратила ей архив Мандельштама. Опасаясь обыска (только что был зачитан доклад Жданова), Герштейн рассудила, «что самое безопасное — это держать *[архив]* у вдовы, которая все-таки не попала в это постановление и которую никто не арестовывал *(заметим, как и саму Эмму Григорьевну)*, может быть, по недосмотру» (На фоне всех ревизий века / Беседа Ирины Врубель-Голубкиной с Эммой Герштейн // Зеркало. — 1999. — № 9/10).

Ситуация требовала срочного решения, везти архив с собой было невозможно — в Ташкенте Надежда Яковлевна уже чув-

ствовала за собой слежку. Теперь к будущему хранителю архива предъявлялись «особые» требования: он должен был быть не только лицом надежным, но и жить неподалеку от Страстного бульвара, где в то лето Надежда Яковлевна обитала в квартире своего брата Е.Я. Хазина. Память подсказала ей имя лингвиста Сергея Игнатьевича Бернштейна, жившего в те годы в Столешниковом переулке. От его решения, которое следовало принять в считанные минуты, зависела судьба мандельштамовского архива. Четверть часа быстрой ходьбы — и Надежда Яковлевна стояла на пороге квартиры Бернштейна. «Сергей Игнатьевич выслушал меня и взял папку. *(По свидетельству С.И. Богатыревой, архив был передан ему 26-го или 27-го августа.)* Она пролежала у него и его брата Сани Ивича (И.И. Бернштейна) все опасные годы послевоенного периода». (Н. Мандельштам. Третья книга, с. 116)

Осенью 1957 г., по свидетельству А. Ивича, ему позвонил Н.И. Харджиев с просьбой передать архив Мандельштама. Из воспоминаний Н.Я. Мандельштам следует, что передать архив Харджиеву просила Ивича-Бернштейна она сама. С.И. Богатырева, дочь Ивича, полагает, что в данном случае «могло быть и то, и другое». (Об этом эпизоде см. подробнее: Богатырева С.И. Завещание // Вопросы литературы. — 1992. — № 2. — С. 250—276). Ей запомнилось, что отец был глубоко обижен как небрежностью тона Надежды Яковлевны («Саня, передайте то, что я у вас оставляла, Коле Харджиеву» (Там же, с. 273)), так и бестактностью ее поведения. С точки зрения А. Ивича, Н.Я. Мандельштам должна была прийти за архивом сама, а не прибегать к услугам посредника, с которым Ивич долгие годы находился в натянутых отношениях, о чем Надежде Яковлевне было хорошо известно.

В том же году А. Ивич выполнил просьбу Надежды Яковлевны и передал для нее архив Мандельштама (с описью и распиской), но не лично Харджиеву, а секретарю только что образованной Комиссии по литературному наследию Мандельштама — Е.Я. Хазину. Эти события привели к взаимному охлаждению отношений между Ивичем и Н.Я. Мандельштам — ситуации, которую Н.В. Панченко определил как «тихий разрыв», противопоставив его «громкому» — «харджиевскому» 1967 года.

Мы приводим ниже два фрагмента из воспоминаний дочери А. Ивича-Бернштейна **Софьи Игнатьевны Богатыревой**, по-

священные периоду 1946—1957 гг. — времени хранения архива Мандельштама (28 листов прижизненной машинописи, 58 автографов, не считая альбомов) в доме Бернштейнов.

Беседа II (ведет Л.А. Шилов)

Сегодня 8 января *(1991 г.)*, **я в доме у Софьи Игнатьевны Богатыревой, но я ее, может быть, буду называть Соня. А она отказывается записываться, и мы просто говорим о том, что стоило бы записать, потому что это интересно, наверное, не только мне. Соня, с какого времени хранились рукописи Осипа Мандельштама в вашем доме, у вашего отца и дяди?**

Архив хранился у моего дяди Сергея Игнатьевича Бернштейна и у моего отца Игнатия Игнатьевича Ивича-Бернштейна, начиная с 1946 года. Более точно эту дату, то есть месяц, мы можем посмотреть у Н.Я. Мандельштам: все это описано в «Книге третьей», несмотря на некоторую, вежливо говоря, субъективность оценок. Впрочем, мне, наверное, грех так говорить, потому что как раз о моем отце и о моем дяде Надежда Яковлевна пишет очень хорошо, но других вполне достойных людей она позволяла себе оценивать — скажем так: не по заслугам.

Это был 1946 год — время постановления о Зощенко и Ахматовой *(доклад секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Жданова на собрании ленинградских писателей 16 августа 1946 г. и Постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. «О журналах «Звезда» и «Ленинград»», в результате которых А. Ахматова и М. Зощенко были преданы литературной опале)*. Тем, кто не жил тогда, трудно даже вообразить это жуткое время. Представить себе, как мы внутри его существовали. Я училась в школе, пятый класс закончила в том году. Постановление вышло летом, мы жили на даче, и взрослые, которые не обращали внимания на нас, ребят, его горячо обсуждали. Конечно, я с интересом прислушивалась к разговорам молодых людей — они мне казались какими-то бесконечно взрослыми, а было им лет по 20—25. Вдруг один из них, летчик, заметил меня и спросил: «А что говорит твой папа о постановлении?» В ту же минуту этот человек, возле которого я вечно крутилась, потому что он мне ужасно нравился — еще бы, такая романтическая профессия! — перестал для меня су-

ществовать. Больше я никогда не оставалась в его обществе, для меня он сразу стал провокатором. Наверное, в том, что он спросил, никакого подвоха не было, ему на самом деле было интересно услышать мнение писателя о литературных делах. Но мы были воспитаны так: все, что говорится дома, — это табу. Все, что касается профессиональных интересов отца и его друзей, а пуще того, их разговоров на политические темы, не должно выноситься за пределы дома. С детской жестокостью считали провокатором, предателем всякого, кто вообще позволял себе задавать подобные вопросы.

Тогда, кстати, очень мне нравился крошечный рассказ раннего Чехова «Знамение времени». Молодой человек объясняется в любви юной девушке. Ее брат заглядывает в дверь, вызывает сестру в соседнюю комнату и говорит, что не намерен, мол, вмешиваться в ее дела, но должен предупредить: этот господин — доносчик, будь осторожна, говори с ним только о любви. Она выслушивает до конца признание, она соглашается выйти замуж... Но помятуя предупреждение брата, она была осторожна: говорили они только о любви. Это «говорили только о любви» стало неким эпиграфом — может, не ко всей нашей молодости, но к отрочеству, к началу юности.

Чьей —«нашей»?

Девочек и мальчиков из тех семей, где не верили газетам. Где думали и говорили не так, как учили в школе. В некоторых домах от детей скрывали свое отношение к происходящему, в некоторых — нет. В нашем не скрывали.

Погодите, вы в пятом классе, и все так вот и ощущалось вами, девочкой, как Вы говорите сейчас?

Это ощущалось гораздо раньше. Абсолютно точно ощущалось. Это ощущение я помню отчетливо лет с пяти. С 1937 года, когда стали исчезать папы знакомых ребят. Мы жили на первом этаже и по ночам, если под окном останавливалась машина, я просыпалась от ужаса: не за моим ли папой? А у Вас не было такого?

Нет.

Ну, это вам просто повезло. А я вот очень рано привыкла разграничивать, что можно говорить и чего нельзя, при том, что у меня от природы очень общительный характер; как-то это уживалось, хотя бывало трудно. В детстве не так, трудно было в юности. Хотелось и дружить, и откровенничать, и обсуждать

все на свете со всеми на свете. И всех тащить в свой дом. Но всегда существовала черта, которую нельзя было переступать. Особенно с тех пор, когда в нашем доме поселилась настоящая *тайна*: архив Мандельштама.

Надежда Яковлевна появилась у нас летом 1946 года. На меня она произвела огромное впечатление. Во-первых, она стала мне говорить «вы», что было очень странно. Это сразу определило, что у нас с ней особые,«взрослые» отношения, больше никто меня в то время«на вы» не называл. Отнеслась она ко мне сурово: учинила экзамен по английскому языку, которого я не знала совершенно, как и полагалось ученице пятого класса советской школы. Как сейчас помню, я запнулась на слове «said», и она произнесла с уничтожающим сочувствием: «Да, конечно, трудное слово, редко встречается». Затем последовала проверка знания русской поэзии, тут я себя почувствовала увереннее, и даже мелькнула надежда, что я как-то смогу взять реванш за провал с английским, но она меня опять отправила, что называется, в нокаут следующей фразой: «Русскую поэзию я изучала в постели». Сказано это было нарочно, для того, чтобы вот такую розовую девочку, какою, к своему стыду, я тогда была, смутить. И я ужасно смутилась. Никаких сомнений насчет того, что это значит, у меня не было, а смутилась я потому, что на нее посмотрела и — не поверила. Она показалась мне ужасно старой, ей было «за сорок» *(в 1946 г. Н.Я. Мандельштам было 46 лет).* Мне стыдно стало за нее, что она позволяет себе в *таком* возрасте говорить на *такие* темы.

Она где-то ведь в другом городе жила? *(В 1946 г. Надежда Яковлевна жила в Ташкенте.)*

Она все время жила очень далеко, но иногда оказывалась чуть-чуть ближе, то есть приезжала не из такого безнадежно далекого места, как Чита, а, скажем, из Ульяновска... Это всегда было летом, и мы всегда жили на даче, что было очень удобно, потому что на даче мы жили вместе с Сергеем Игнатьевичем.

А где вы жили на даче?

Это были разные дачи в ближнем Подмосковье, они снимались каждый год на одно лето — могла быть Валентиновка, могло быть Болшево... вот, кажется, именно эти два места в конце сороковых. Позднее, в пятидесятых — Звенигород, Переделкино, Мичуринец. Там, на веранде, на каком-нибудь просторном столе происходила работа с полным собранием неопубликован-

ных стихов Осипа Мандельштама. Это одно из самых интересных моих воспоминаний, одно из самых драгоценных.

Отец доставал стихи, которые были расположены в строгом порядке, и...

Архив хранился в ящике, чемодане, или это был портфель, папка?

Нет, это была папка, там лежали автографы, несколько листков прижизненной машинописи, а также тексты«Новых» и «Воронежских стихов», записанные Надеждой Яковлевной. Папку строго-настрого запрещалось трогать, что казалось мне страшным унижением. Слушаться — я не слушалась, а обижаться — обижалась. Однажды зимой — это был, наверное, год 1947—1948 — отправилась к Сергею Игнатьевичу (Сергей Игнатьевич жил в Столешниковом переулке, мы — в Замоскворечье), и он оказался более демократичным, чем мой отец. У отца хранился экземпляр, переданный Надеждой Яковлевной, а у Сергея Игнатьевича — стихи, переписанные от руки или на машинке. Сергей Игнатьевич тогда достал для меня свои списки, за несколько вечеров я их аккуратно своим ученическим почерком переписала. Привезла домой, показала гордо отцу и хранила потом у себя в письменном столе среди любимых стихотворений.

Так вот, начиная с 1947 г., каждое лето, когда Надежда Яковлевна приезжала, на веранде отец раскладывал — конечно, не автографы из той драгоценной папки, а тексты, перепечатанные моей мамой *(А.М. Бамдас)* на машинке, — вынимал оттуда по одному листочку, произносил... даже не первую строчку, иногда лишь первое слово, и Надежда Яковлевна дальше читала наизусть. А отец следил по тексту.

(В декабре 2000 г. мы (О. и М. Фигурновы) попросили Софью Игнатьевну рассказать о своей матери подробнее.)

Мою маму, о которой мне самой хотелось бы сказать подробнее, чего я не сделала, постеснявшись излишних семейных воспоминаний, звали Анна Марковна Бамдас.

Она работала в «Огоньке» с Михаилом Кольцовым. После его ареста *(в конце 1938 г.)* маму «вызывали» не раз, пытались «привлечь к сотрудничеству», стращая участью Кольцова (он к маме хорошо относился). Кто-то надоумил маму разыграть «там» истерику: «они», мол, не любят связываться с истеричками. Мама послушалась совета и — помогло! На нее махнули рукой и оставили в покое.

Все это я помню с тех времен. Просыпалась ночью, разбуженная шагами отца, он ходил взад-вперед по квартире, и тем, что везде, кроме моей детской, горел свет. Засыпала, потом меня будила мама — она бросалась ко мне, когда возвращалась, должно быть, уходя, навсегда прощалась. За плотно закрытой — от моих ушей — дверью, сквозь которую мне все было слышно, рассказывала отцу — что именно, я не запомнила, да и не могла запомнить, потому что не понимала. Помню четко только про истерику — с подробностями: как сломала ручку, которую сунули, чтобы«подписала», шваркнула о стену чернильницу, как потекли чернила. Чернила на стене меня потрясли: моя мама совершила нечто непозволительное — поверить невозможно! Не оттуда ли пришли детские страхи ареста родителей, обыска?

После ареста Кольцова редакцию «Огонька» разогнали. Маму взял на работу немецкий антифашистский журнал«Дас Ворт» *(«Слово»)*, издававшийся в Москве, — она хорошо владела немецким. Затем — война, эвакуация в Чистополь, работа в колхозе и все тяготы, выпавшие на долю наших мам, которым мы по малолетству не в силах были помочь. В эвакуацию мама догадалась захватить портативную пишущую машинку — на этой машинке она, кстати сказать, отпечатала Борису Леонидовичу Пастернаку перевод «Ромео и Джульетты», — и ее взяли в Горсовет на какую-то должность, где требовалось печатать. По возвращении из эвакуации, с 1943 г., мама работала в журнале«Знамя», это была ее последняя служба: вернувшись с фронта, отец уговорил ее остаться дома, с ним и со мною.

Память Надежды Мандельштам служила не только хранилищем ненапечатанных стихов ее мужа. Это был еще и центр мандельштамоведения — там шла постоянная исследовательская работа. Отыскивались — в глубине памяти, а, может быть, в глубине подсознания — варианты, отвергнутые редакции, они сравнивались, оценивались, из них выбирались и утверждались окончательные. Самодельная книжечка — не книжка даже, стопка листков — на нашем дачном столе, думаю, была для Надежды Мандельштам прообразом будущего академического собрания сочинений. Там следовало учесть все.

А для меня в ту пору новые варианты были сущей трагедией. Я до сих пор помню, как было ужасно, когда Надежда Яковлев-

на прочла «Волка» *(«За гремучую доблесть грядущих веков...»)* с вариантом: «И неправдой искривлен мой рот». Я не могла оценить значительность этого варианта, который сейчас мне, пожалуй, даже ближе. Но тогда, поскольку это стихотворение я любила и знала наизусть с последней строкой «И меня только равный убьет», для меня это была такая трагедия, как если бы по любимому лицу вдруг прошел шрам — уродство, искажение! Я не могла к этому привыкнуть и долго ревновала один вариант к другому. Варианты возникали и менее значительные, это могло быть слово, даже часть слова: приставка, суффикс — все это отец тут же вносил в текст.

В первые посещения Надежда Яковлевна привозила строки, даже целые стихотворения, отсутствовавшие в нашем собрании. Сначала явились стихи, обращенные к Наталье Штемпель, потом — «Детский рот жует свою мякину...», «Я скажу это начерно, шопотом...», пропущенные строки в «Стихах о неизвестном солдате», строфа в «Канцоне». Вот эти подарки Надежда Яковлевна вписывала сама, своей рукой. Надо сказать, что отец и Сергей Игнатьевич дополнениям радовались, а к исправлениям и к новым вариантам относились не всегда с должным доверием, полагая, что, может быть, это ошибки памяти Надежды Яковлевны: она думает, что вспоминает, а на самом деле — фантазирует. В то время их сомнения казались мне кощунством. Но позднее, когда я занялась изучением«рабочего» экземпляра стихов — а он сохранился, — и у меня закралось подозрение, что она иногда позволяла себе вмешиваться, в частности, брала на себя смелость выбирать окончательный текст.

После каждого ее отъезда папка опять убиралась, пряталась. Что это значит? Увозили с дачи в город, а там ... Перекладывали с книжной полки в письменный стол, в третий нижний ящик, для них отведенный. Ну, где в московской квартире было прятать? Известно, что даже когда прятали рукописи надежно, как Корней Иванович Чуковский в 1941 году знаменитую свою «Чукокколу», всегда находился тот, кто мог их откопать. По-видимому, интеллигенты, литераторы не созданы для того, чтобы играть в хранителей кладов. Но Бог хранит рукописи.

Да нет, и не искали. Я думаю, что это не представляло интереса.

Прийти с обыском могли по любому другому поводу. Ведь это было тогда лотереей...

Хранить архив стало особенно опасно, когда отца объявили космополитом *(в 1949 г.)*, что для профессионального литератора означало гражданскую смерть. Помню: я шла, возвращаясь домой из школы (я училась тогда в девятом классе), по Новокузнецкой улице, там висело очень много стендов с сегодняшними газетами. Бывают такие места в Москве, где много-много газет... Я их, конечно, не читала, я только пальцем водила, выбирая знакомые фамилии: что про папу пишут, что про Виктора Борисовича Шкловского, что про папиного ближайшего друга Ивана Халтурина *(в конце сороковых годов оба преследовались за «формализм» и «космополитизм»)*. Все следовало хорошенько запомнить, потому что вечером отец звонил из Малеевки, где они с моей мамой тогда жили, и я ему пересказывала, что про кого прочитала. У моего отца был титул (кажется, лично Фадеевым придуманный) «враг номер один в детской литературе», а у Лидии Корнеевны Чуковской — «садист-формалист». Это уж было нечто, чего никто не мог понять, безумное, кретиническое соединение двух слов, не имеющее никакого смысла и относящееся к человеку настолько достойному, настолько прекрасному, настолько талантливому! Театр абсурда... Тогда не было выражения — «театр абсурда», да и людям, которые были невольными актерами этого театра, было не до смеха. Но как раз они (я очень хорошо это помню) не только не теряли достоинства, но и сохраняли чувство юмора. Лидия Корнеевна, отец и их общий друг Иван Халтурин со вкусом (наверное, не самое подходящее слово, скажем,«с выражением») декламировали друг другу, что о ком написано. Образцы достойного поведения мне в то жуткое время посчастливилось наблюдать.

Именно в то время я впервые увидела Лидию Корнеевну Чуковскую (это не имеет прямого отношения к нашему сегодняшнему разговору, но мне просто хочется воспользоваться возможностью и вспомнить один эпизод). До того, как отец был объявлен космополитом, дом наш был необыкновенно открытым. Ходило такое шуточное выражение, пущенное чуть ли не Ираклием Андрониковым, — «как в лучшем доме у Игната». А это был просто московский хлебосольный, любящий гостей дом. После первых окриков в центральных газетах («Правда» посвятила моему отцу специальную статью, объясняя всем, какой он преступник: похвалил в печати книгу«Охотники за мик-

робами», написанную американцем Полем де Крюи, и тем оскорбил всю русскую литературу) в доме перестали бывать люди и перестал звонить телефон. В шестнадцать лет, кстати, трудно понять, почему это происходит. А Лидия Корнеевна Чуковская, до того никогда у нас не бывавшая, стала регулярно, два раза в неделю, приходить в гости. Она уже тогда не очень хорошо видела, а мы жили в каком-то навсегда затемненном переулке. Там был очень трудный путь через проходной двор от метро. Конечно, Лидии Корнеевне все это давалось нелегко, тем более, что приходила она после рабочего дня *(в 1949 г. Л.К. Чуковская работала в «Пионерской правде»)*, когда стемнело. Два раза в неделю она проводила вечер в нашем «зачумленном» доме. Надо сказать, что это был один из самых серьезных уроков, который я в своей жизни получила, куда более важный, чем вся университетская премудрость: когда в доме случается беда, а помочь ты не в силах, туда надо два раза в неделю приходить.

Удивительно, что в школе учителя делали вид, будто они не знают, что пишут о моем отце в центральных газетах. Но я слышала потом мнение, что тех, кого вот так поносили, изничтожали публично в печати, их-то как раз и не сажали. Не знаю, у меня нет достаточного материала, чтобы это проверить, может, оно и так. Возможно, они *там* занимались классификацией: одного следует оболгать, лишить работы, обречь на нищету, а другого — похвалить, наградить, а затем — расстрелять, как было с поэтом Львом Квитко *(расстрелян по делу «Еврейского антифашистского комитета» в 1952 г.)*.

Представители карающих органов не обошли вниманием наш дом, а явились вот по какому поводу. Поскольку хозяин дома был объявлен космополитом, он остался без заработка. Мало того: у него потребовали вернуть все, что он заработал за последние три года. Издательства расторгли с отцом договоры на те книги, которые он уже написал и за которые издательства выплатили ему положенный гонорар. Естественно, возвращать было нечего: на этот законный заработок много месяцев жила наша семья. Сбережений в то время ни у кого не водилось. Состоялся суд. Несмотря на очевидную беззаконность притязаний издательств, приказано было с отца заработанные им деньги взыскать. А если не заплатит немедленно, то придет судебный исполнитель, чтобы описать и забрать наше имущество. Вот вам еще одна страничка той жизни...

Позвонил Виктор Шкловский, отец с ним поделился новостью. Шкловский был невероятно энергичный человек, он немедленно примчался, огляделся и сказал: «Ну, здесь брать нечего». А дом наш был, мягко говоря, скромный. Все после войны жили небогато, но мы — особенно: в сорок первом во время бомбежки взрывной волной снесло стену нашего дома. Отец был на фронте, мы с мамой — в эвакуации. Дом простоял полуразрушенным года два. Наша квартира, на первом этаже, оказалась широко распахнутой: не дверь без замка — комнаты без стенки. Понемножку прохожие все вынесли оттуда, оставили нам какую-то рухлядь да еще огромный шкаф — слишком тяжел был, не сдвинешь с места. На это пепелище мы вернулись, когда окончилась война и отец с боевыми орденами и медалями демобилизовался. Шкловский посмотрел еще и изрек: «Шкаф. Немедленно убрать». Велел нам с мамой вынуть наши нехитрые пожитки и обнаружил то, о чем никто не догадывался: шкаф не сколочен, не склеен, он держится на винтах. В течение получаса, к моему восторгу, великий писатель Виктор Борисович Шкловский развинтил наш несдвигаемый шкаф, растаскал его на куски и распихал куски по углам.

Утром явился судебный исполнитель. Это была скромная и невероятно смущавшаяся женщина — похоже, она сознавала незаконность происходящего и стыдилась своей миссии. С нею в качестве понятого пришла дворничиха, она-то хорошо знала к нам дорогу, так как вечно брала у мамы трешку«до получки». Она ужасно расстраивалась: стояла, привалившись к притолоке, и так немножко картинно краем платка утирала слезы. Слез, по-моему, не было, но платок был, очень он мне запомнился. Растерянная судебная исполнительница, потыркавшись по нашему дому, сказала: «Нет, взять здесь нечего». Тогда моя честная мама подсказала: «Вот есть пишущая машинка». Судебная исполнительница замахала руками: «Нельзя, нельзя, это орудие производства!». Затем на каждый полуразвалившийся стул и колченогий стол прикрепила бляшку на веревочке — это значило, что мы теперь не имеем права их продать. А зачем? Во-первых, вряд ли кто-нибудь купил бы эту рухлядь, которую и задарма не взяли бы, а во-вторых, мы все-таки ею пользовались: то был наш стол и наши стулья. Однако момент был опасный, потому что пишущая машинка, которую признали «ору-

дием производства», стояла на том самом столе, в ящике которого, если бы догадались открыть, можно было найти архив Мандельштама.

Где дальше были рукописи?

Все в том же ящике. У меня нет точных воспоминаний на сей счет, но я почти уверена, что время от времени — в опасные минуты, когда отец ожидал обыска и ареста, рукописи жили у Сергея Игнатьевича Бернштейна, университетского профессора, которого позднее выгнали из университета — он оказался не космополитом, а врагом учения академика Марра. Вечно наша семья и близкие нам люди оказывались среди тех, кого выгоняли, лишали работы, с кем опасно было общаться...

Квартира Сергея Игнатьевича представляла собой библиотеку, приспособленную для жизни. Стеллажи с книгами занимали место не только от пола до потолка с небольшим проемом для окон, но и спальня была выгорожена шкафом с книгами, и письменный стол был окружен книжными полками. Сергей Игнатьевич, который производил впечатление небожителя, совершенно не имевшего ничего общего с реальностью, замечательным образом ориентировался не только в своих книгах, но и в том, что он в этой библиотеке прятал. А прятал он много чего, и мы, признаться, этим широко пользовались. Стихи и проза запрещенных авторов хранились у него на виду, только в чужой одежке. Очень он любил, чтобы это было что-нибудь марксистское:«Вопросы ленинизма»,«Учебник диалектического материализма» — аккуратненькие корочки, из которых аккуратно выдиралось содержимое. Не знаю, куда он девал потроха, где эта бедная книга валялась нагишом. Впоследствии, когда я была замужем за Константином Богатыревым, вокруг которого слишком часто собирались тучи, мы не раз отвозили к Сергею Игнатьевичу Бернштейну «сам-» и «тамиздатские» ценности, и он подбирал для них обложки. У него не бывало ни секунды раздумий: если попросишь нечто, что было ему отвезено, он тут же пододвигал свою стремяночку (жестко отвергая попытку ему помочь) и быстро по ней поднимался. Никогда не случалось, чтобы он ошибся, дотронулся не до того корешка; одним пальцем, очень ловко, не потревожив остальные книжки, вынимал нужную, не раскрывая, спускал вниз и отдавал тебе. Это было именно то, что ты ему за год или за несколько месяцев до того отдавал.

Когда приходила Надежда Яковлевна, читались стихи Мандельштама, значит, и ваш папа, и ваш дядя, и Надежда Яковлевна тем более прекрасно знали, как они должны звучать?

Да. Да.

И надо полагать, что в вашем доме жила более или менее правильная авторская интонация.

Ну, я думаю, что это уже слишком смелое предположение... «Сегодня дурной день, кузнечиков хор спит...». Вот это стихотворение я помню в чтении Сергея Игнатьевича...

Да-да, но все равно, ваше чтение было бы для меня наиболее авторитетным, поэтому я даю вам возможность. Пожалуйста.

/Читает/: «За гремучую доблесть грядущих веков...»,
«Жил Александр Герцович, еврейский музыкант...».
«Я скажу тебе с последней прямотой...»

Осип Мандельштам

* * *

Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант.
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.

И всласть, с утра до вечера,
Заигранную вхруст
Одну сонату вечную
Играл он наизусть.

Что, Александр Герцович,
На улице темно...
Брось, Александр Сердцевич!
Чего там, все равно...

Пускай там итальяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит.

Нам с музыкой-голубою
Не страшно умереть,
А там вороньей шубою
На вешалке висеть.

Все, Александр Герцович,
Заверчено давно...
Брось. Александр Скерцевич,
Чего там, все равно...

27 марта 1931



Материалы к передаче на телевидении 1997 г.

Руновский переулок, дом 4, квартира 1. Нормальный замоскворецкий жуткий подъезд. Место, которого не знал, по-моему, ни один человек в Москве, кроме тех, кто жил в этом переулке. Здесь прошло мое детство.

Тут жили мои родители: мой отец, Игнатий Игнатьевич Ивич-Бернштейн, моя мать, Анна Марковна Бамдас... ну, и я, естественно. И эта квартира однажды послужила приютом Мандельштаму *(в 1937 г.)*. А после его гибели в течение одиннадцати лет служила приютом его рукописям.

Они появились в нашем доме в 46-м году. Помню, как строго-настрого родители мне запретили говорить о том, что у нас появился *Архив*. Хорошо помню папку, толстую папку, которая была завязана шнурками с трех сторон, которую я прекрасно знала, что трогать нельзя, и, тем не менее, когда никого дома не было, все-таки позволяла себе это делать.

Во время Второй Отечественной войны наше государство было занято вопросом собственного выживания, а потому на время оставило Надежду Яковлевну Мандельштам в покое. Она воспользовалась этим, чтобы в Ташкенте, где она в то время находилась в эвакуации, собрать в своих руках как можно больше стихов и прозы Осипа Мандельштама. Надежда Яковлевна отдавала тогда на хранение только, как она пишет, альбомы.

Но к концу войны она стала чувствовать за собой слежку и в ответ на эту слежку решила, что все-таки следует снова отдать в надежные руки то, что собралось у нее. Анна Андреевна Ахматова, которая в то время тоже была в Ташкенте, собиралась в Москву и привезла туда рукописи, а также тексты неопубликованных стихов Осипа Мандельштама. *(Ахматова улетела в Москву 15 мая 1944 г. Там она передала архив Э.Г. Герштейн, которая тогда, по свидетельству Надежды Яковлевны, «вдруг решила заняться Мандельштамом». В августе 1946 г. Герштейн, опасаясь обыска, вернула его Н.Я. Мандельштам.)* Три месяца спустя они оказались в нашей семье.

Что там было? Сохранилась опись того, что Надежда Яковлевна дала на хранение моему отцу в 46-м году: 58 автографов, 28 листов прижизненной машинописи и все те тексты ненапечатанных стихов Мандельштама, которыми она к тому времени располагала — впоследствии все они вошли в книги «Новые стихи» и «Воронежские тетради». (*Список автографов и машинописных текстов см.: Богатырева С. Завещание, с. 258—259).*

Когда Надежда Яковлевна оставила драгоценную папку и уехала, то со всех автографов и с тех стихов, которые были перепечатаны на машинке, были сделаны копии. Мой отец в молодости, когда ему было двадцать лет и он жил в Петрограде, был издателем. До сих пор вспоминают его издательство под названием «Картонный домик» — оно выпускало изящные книжечки стихов с рисунками Головина, с маркой Головина. Я думаю, что когда «кучка стихов» Осипа Мандельштама (так часто называла архив Надежда Яковлевна) оказалась в его руках, отцу захотелось сделать красивую книжку. Была куплена какая-то особая почтовая бумага — очень плотная, чуть ли не с водяными знаками; каждое стихотворение, конечно, помещалось на отдельной странице. Сами страницы были короткие, небольшие — в половину обычного листа. Потом это все было сброшюровано, и получилась нарядная книжка, с самодельной бумажной обложкой, с оглавлением и алфавитным указателем стихотворений.

Тогда мы не знали слова «самиздат» — лишь много лет спустя я поняла, что то был первый «самиздат», который я держала в руках. Но эта книжка так существовала: ее читали, ею любовались, а работали всегда по второму экземпляру. Он был рабочий, его не сброшюровали. И он пополнялся постоянно.

Сначала Надежда Яковлевна привозила новые стихи. Среди них — одно из самых горьких воронежских стихотворений Мандельштама. Я думаю, может быть, она его даже не вписала сначала, потому что не сразу решилась доверить бумаге.

Лишив меня морей, разбега и разгона
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Стихотворение, впрямую обращенное к властям, которые пытались победить поэта и поэзию. (Я читаю его в том варианте, который у нас, публикуется обычно другой.) Следующим этапом было то, что Надежда Яковлевна уже не вписывала новых стихов и строк, а вносила исправления, диктовала новые варианты. Страницы со стихами на смерть Андрея Белого сплошь исписаны вариантами, которые она по памяти восстанавливает, а потом сама же зачеркивает, потому что ей это кажется неправильным. Казалось бы, странный способ работы над чужими стихами: она их дополняет, она вносит исправления... Я думаю, это очень сложный процесс, о нем стоит поговорить отдельно. Надежда Мандельштам, когда увидела стихи напечатанными, собранными пусть в рукописную, самодельную, но все-таки книжечку, как-то освободила свою память от верхнего слоя, от законченных стихов, которые должна была, обязана была помнить наизусть для их спасения, и из подсознания стали всплывать варианты, отброшенные строки. Она их вносила в текст, сомневаясь, часто не будучи уверенной в них. Менялся все время и порядок стихов, а Надежда Мандельштам вслед за Осипом Мандельштамом придавала очень большое значение тому, как стихи расположены. «Единицей поэзии» служило не стихотворение, а книга.

Надежда Яковлевна ведь не только хранила тексты в памяти, она все время работала с ними: вспоминала утраченное, сравнивала один вариант с другим. Работа эта происходила и в нашем доме. По счастью, мне удалось при том присутствовать. Не буду говорить, что меня, школьницу, звали принимать в ней участие, но — не прогоняли, а это уже была большая честь. На всякий случай я всегда держалась за

спиной у Надежды Яковлевны, чтобы не отправили в сад «подышать свежим воздухом».

Но наконец, настал такой момент, когда все исправления были сделаны, и последние годы, когда она приезжала, мне казалось, что она уже скорее проверяет свою память, а не вносит что-то новое.

Известно, что Мандельштам не любил черновиков, не любил хранить свои стихи. «Люди сохранят», — говорил он. Тут, конечно, сразу хочется вспомнить через много-много лет после того написанные стихи Пастернака:

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

По-видимому, великим русским поэтам свойственна такая черта. Но после первого ареста Мандельштама, во время обыска *(в ночь с 13 на 14 мая 1934 г., по данным НКВД — с 16 на 17 мая)*, когда незваные гости ходили сапогами по рукописям, которые они побросали на пол, и след солдатского сапога отпечатался не на одном из автографов Мандельштама *(по свидетельству Н.Я. Мандельштам, стихи Мандельштама десятых, двадцатых годов, впоследствии переданные С. Рудакову, были все «помечены» таким образом)*, о сохранении текстов нельзя было не задуматься.

Надежда Яковлевна по многу раз переписывала и стихи, и прозу Осипа Мандельштама, потому что у них даже не было пишущей машинки: пишущая машинка была слишком большой роскошью для них. Она переписывала так много раз, что запомнила наизусть не только все стихи, но и прозу. Эти списки она после ареста Мандельштама у себя старалась не хранить, а раздавала. Но стихи гибли. Они гибли у людей, которые сами погибали; они гибли у людей, которые не решались хранить их. И как мы можем осуждать кого-то, если на карту была поставлена жизнь семьи, детей? Кто-то выбирал стихи, а кто-то выбирал жизнь. Это естественное решение человека, не надо его ставить в такие экстремальные условия.

После смерти Сталина она приехала к нам в августе 54-го года. Тогда имя Мандельштама уже произносилось, хотя еще с

опаской. Я к тому времени окончила школу, меня уже не прогоняли с чтений, но я все-таки опасалась Надежды Яковлевны (я всегда ее побаивалась и, думаю, справедливо: она была человек острый, насмешливый, и с ней надо было держать ухо востро). И тут она совершенно поразила меня тем, *как* она ко мне обратилась, обратилась посреди разговора о публикации — в применении к поэзии Осипа Мандельштама это слово я тогда услышала в первый раз. В «рабочем чтении», как всегда, участвовали трое старших — мой отец, его брат Сергей Игнатьевич Бернштейн, моя мама — и я. Надежда Яковлевна резко сказала: «Нам с вами, Саня, — обращаясь к моему отцу, — не дожить». Потом взглянула на Сергея Игнатьевича, который был восемью годами старше, и сказала: «Тем более — Сереже». Затем, не оборачиваясь ко мне, через плечо ткнула в меня пальцем и сказала: «Она доживет». Подумала и уточнила: «Может дожить». Тут она вместе со стулом ко мне повернулась и очень торжественно — то был совершенно не свойственный нашим с ней беседам тон, потому что всегда были какие-то шуточки, насмешки, подкалывания — сообщила, что приняла решение назначить меня хранителем архива и своей наследницей, что я должна себя воспринимать как ее дочь, что у нее никогда не было детей и что теперь все наследство поэтическое Мандельштама будет всегда в моих руках и что она даже заготовила на сей счет бумагу.

Ну, можете себе представить, какое это должно было произвести впечатление на такую литературную девицу. Я, конечно, онемела, а она дала мне вот такой листок. Точнее, она мне его не дала, она мне его показала, как дети говорят, «из своих рук». То, что я держу сейчас в руках, — ксерокопия. На самом деле — это половина листочка, он синий и почему-то до сих пор не выгорел. Ярко-синяя почтовая бумага и по ней — лиловые чернила. В ксерокопии все выглядит гораздо скучнее. Она сказала, что этот листочек должен быть приложен к нашей самодельной книжечке и всегда там храниться. Написано было следующее:

«Это единственный проверенный и правильный экземпляр ненапечатанных стихов моего мужа. Я также прошу считать женщину, сохранившую этот экземпляр, собственницей этих рукописей. Именно ей должно принадлежать право распоряжаться ими.

Надежда Мандельштам, 9 августа 1954 года».

Понятно, что в те времена подобное завещание никак нельзя было официально оформить, поэтому она сказала, что должен быть другой листок, который она напишет, уже обращаясь ко мне, и который я обязана хранить. Тут она вернулась к своей обычной роли насмешницы и спросила: «Как же к ней обратиться? — она иной раз говорила со мной в третьем лице, когда иронизировала. — Начнет выходить замуж, менять фамилии». Я была очень оскорблена, потому что мне тогда казалось, что вообще выходить замуж — мещанство, что этого не следует делать. Потом — передумала.

В конце концов на таком же синем листке почтовой бумаги она написала:

«Уважаемая Софья Игнатьевна» (тогда, конечно, никто меня так не называл...). «Уважаемая Софья Игнатьевна, в ваших руках находится единственный проверенный и расположенный в правильном порядке экземпляр стихов моего мужа. Я надеюсь, что после моей смерти вам когда-нибудь придется ими распоряжаться. Я хотела бы, чтоб вы считали себя полной собственницей их, как если бы вы были моей дочерью или родственницей. Я хочу, чтоб за вами было закреплено это право.

Надежда Мандельштам, 9 августа 1954 года».

Это все настолько контрастировало — такая торжественность и серьезность — с насмешливым тоном, к которому она меня приучила, что... Меня даже уже и не удивило, когда она внимательно-внимательно близко посмотрела мне в глаза, чего тоже никогда раньше не бывало, и сказала: «Берегите их, девочка Заяц». Зайцем меня называли в детстве родители, под этим прозвищем упомянула меня Надежда Яковлевна в «Воспоминаниях».

И я их сберегла.

А потом она сказала нечто совершенно замечательное, на что не только я, но и старшие тоже не обратили внимания. А произнесла она следующее: «Воображаю, какие рожи *они* скорчат, когда я введу в комиссию по литературному наследству девчонку». (***Комиссия по литературному наследию О.Э. Мандельштама была утверждена 28 февраля 1957 г.***) Значит так: только что было сказано, что никто не доживет, только я; только что было написано, что мне после ее смерти распоряжаться. И тут же она заявляет, что сама будет составлять комиссию по литературно-

му наследству, и что она меня туда введет, и что я буду еще девчонкой — то есть, это всё должно скоро произойти. Совершенно загадочная фраза...

Тогда мне казалось, Надежда Яковлевна — это Надежда Яковлевна: у нее никогда неизвестно, что она думает. Теперь я понимаю, что на самом деле все обстояло сложнее. Она сделала то, что требовал от нее ее долг: она должна была обеспечить судьбу стихов после своей смерти. Но при этом душой, а не умом, она все-таки верила, что они увидят свет еще при ее жизни. Тогда в это было невозможно поверить, но это произошло. Она дожила до публикации, она держала в руках первое издание Мандельштама в «Библиотеке поэта» *(1973 г.)*. Она была им недовольна, она возмущалась там многим, но... она дожила до него. Она дожила до того, что не только Мандельштам был признан во всем мире (и, главное, что его прочли во всем мире),

Это единственный проверенный и правильный экземпляр ненапечатанных стихов моего мужа. Я заранее прошу считать женщину, сохранившую этот экземпляр, собственницей этих рукописей. Именно ей должно принадлежать право распоряжаться ими.

Надежда Мандельштам.

9 августа 1954 года

Завещание Н.Я. Мандельштам, составленное в пользу С.И. Бернштейн (Богатыревой) в августе 1954 г.

Уважаемая Софья Игнатьевна!

В ваших руках находится единственный проверенный и расположенный в правильном порядке экземпляр стихов моего мужа. Я надеюсь, что после моей смерти, вам когда-нибудь придется ими распоряжаться. Я хотела бы, чтобы вы считали себя полной собственницей их, как если бы вы были моей дочерью или родственницей. Я хочу, чтобы ~~вам~~ за вами было бы закреплено это право.

Надежда Мандельштам.

Сопроводительное письмо, переданное Н.Я. Мандельштам С.И. Бернштейн (Богатыревой) вместе с текстом завещания

(Н.Я. Мандельштам: «У меня нет никаких сведений о том, что он [О.М.] известен на Западе. В России — да. В России во всех домах интеллигентных есть списки его стихов» (Интервью Э. Де Мони с Н.Я. Мандельштам см. в наст. издании). В 1991 г. И. Бродский полагал, что на Западе «Мандельштам... известен... менее, чем Ахматова <...> Ведь Мандельштам переведен на английский из рук вон плохо...» (*Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским, с. 273*).) — она дожила до того, что написала свои книги. Она стала действительно свидетелем того времени, о котором сейчас написано много, но она-то была одной из первых.

Замечательная встреча с архивом состоялась у меня совсем недавно. Вы знаете, что Надежда Яковлевна передала большую часть архива библиотеке Принстонского университета: она считала, что это более надежно. В этом году я читала лекции в Принстонском университете, и мне показали архив. Я открыла, и на

папке рукой моего отца была написана огромная буква «М», как он помечал всегда рукописи Мандельштама. И то, что я увидела почерк отца в Принстонском университете, в 1996 году, на тех рукописях, которые были главным содержанием жизни моей семьи и моего детства, — это было настолько невероятно, что... как будто этого не могло быть, однако при этом все это так и существовало. Когда я заглянула внутрь (осторожно, стараясь не вынимать листочки, потому что они очень хрупкие), то я увидела, что и на листах пожелтевшей, когда-то белой бумаги, которыми переложены стихи, есть заметки моего отца.

Однажды, когда стихи Мандельштама были уже опубликованы, кто-то из друзей спросил моего отца очень осторожно: «Скажите, пожалуйста, Игнатий Игнатьевич, ну, если это бестактный вопрос, то не отвечайте, но я все-таки хочу спросить: где же вы хранили эти рукописи?» И отец показал на третий нижний ящик своего письменного стола, который по сей день стоит в нашей квартире *(в настоящее время передан в Мандельштамовский кабинет при РГГУ)*.

В жизнь нашего поколения, в мою жизнь, вместилось: гибель Мандельштама; хранение — в глубокой тайне — его стихов и прозы; публикация их; встреча с его архивом в Принстонском университете и, наконец, то, что я сейчас могу вам рассказать о том свободно.

Может быть, оно не такое уж потерянное, это наше «потерянное поколение»?..

Борис Пастернак

* * *

Быть знаменитым некрасиво.
Не это поднимает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

1956



Татьяна Александровна Осмеркина

Воспоминания дочери художника А.А. Осмеркина **Татьяны Александровны Осмеркиной** о Н.Я. Мандельштам были записаны нами в марте 2000 г. «Умной женщиной и глупой девчонкой» в свое время назвал Надежду Яковлевну С. Клычков, «вздорной и балованной девчонкой» — В.Г. Шкловская-Корди. Такой — иронично-насмешливой, верной «друзьям своих друзей» и суровому брандовскому принципу «все или ничего» знали «нежняночку» в ее нищую, трагическую молодость. Татьяна Александровна же запомнила Надежду Яковлевну в старости — в ореоле короткого триумфа. Это был один и тот же человек — «счастливый пленник» самоиронии и бескомпромиссности.

Их близкое знакомство началось в конце пятидесятых годов с Вереи — живописного старообрядческого подмосковного городка, на удивление не затронутого сталинским и постсталинским временем. Пощадив древние раскольничьи роды, оно, словно по невидимой границе, плавно обтекло их вотчину.

Надежде Яковлевне, с 1938 г. «стопятнице», лишенной возможности жить в столице, Верею «подарила» ее старая приятельница, актриса Е.К. Гальперина-Осмеркина. Deus loci —

гений этого места — она в свое время открыла его и для художника А. Тышлера, и для брата Надежды Яковлевны Е.Я. Хазина и его жены.

Воспоминания дочери Елены Константиновны, Татьяны Александровны, замечательны, пожалуй, тем, что, будучи человеком профессионально наблюдательным, она стала одним из последних бытописателей литературно-артистической Москвы шестидесятых годов — времени своей молодости. Ее глаз художника-модельера фиксировал манеру поведения, одежду, движения, смех Надежды Яковлевны, то есть ту внешнюю свободную раскованность, которая ее выделяла и навсегда отделяла от толпы. Татьяна Александровна вспоминала, что ее отец одно время мечтал написать портрет Надежды Яковлевны. «Такую модель, «с лица не общим выраженьем», художнику интересно рисовать», — говорил он. — «Это же раннее Возрождение! Прекрасное, умной красотой светящееся лицо».

Беседу вели О. Фигурнова

Татьяна Александровна, Эмма Герштейн в своих Мемуарах, в главе «Вокруг ареста и ссылки Мандельштама» говорит, что листок с автографом стихотворения Осипа Эмильевича «Откуда привезли? Кого? Который умер?..» она передала Вашей матери, Е.К. Гальпериной-Осмеркиной. И дальше...

Может быть.

...Герштейн приводится такая фраза Елены Константиновны: «Я его спустила в уборную» (о чем Эмма Григорьевна «с сокрушением» и сообщила Надежде Яковлевне). Вы могли бы это откомментировать?

Этого не могло быть, потому что это стихотворение среди других стихов Мандельштама мама стала читать нам, детям, наверное, с 1958 года, оттепели, и ни о каком уничтоженном автографе не упоминала. Кстати, я даже помню, как она показывала нам и его «сталинское» стихотворение — напечатанное плохо, третий вариант печати, мама держала его всю свою жизнь в ящике стола.

Вы имеете в виду «Горца»?

«Мы живем, под собою не чуя страны...». Я это стихотворение знаю прекрасно, со всякими даже вариантами.

В своих Воспоминаниях Надежда Яковлевна утверждает, вопреки версии Эммы Герштейн, что листок с уничтоженным автографом Мандельштама лежит на совести самой Эммы Григорьевны. Но ведь Герштейн переводит вину ...

...на маму...

...на человека, которого ко времени издания Мемуаров, то есть к 1998 году, уже не было в живых.

Вообще у нее какие-то странные воспоминания вдруг обнаруживаются...

Татьяна Александровна, а с Вашей мамой, Еленой Константиновной, Герштейн была знакома еще в «домандельштамовское» время?

Да-а-а. С детства, со школы... Они воспитывались в брюхоненковской гимназии, по тому времени очень прогрессивной. Там учились дети Троцкого, — в Эммином классе, там Москвина дети учились с мамой, еще кто-то. Они были знакомы, по-моему, с двенадцати лет... а может, даже раньше... по этой гимназии... а потом она всю жизнь была... безработная... такая... бездомная, и этот дом наш ее принимал, помогал ей, и Эмма в своих воспоминаниях везде пишет, что мама ее устраивала на работу и заботилась о ней, заботилась о ней и бабушка моя.

Вот так даже?

Да. Да. Да. Они ее жалели. Но там был такой случай... они разорвали отношения... это было из-за папиного ухода из семьи... Эмма тогда написала письмо к отцу, и оно почему-то ужасно обидело мою маму и бабушку, и мама с ней порвала после этого. Надолго. И помирились они, представьте себе, только, по-моему, чуть ли не в восьмидесятых годах... Папы не было в живых, конечно. Эмма тогда приняла очень активное участие в маминой болезни, искала ей врачей, но мама как-то...

Вероятно, для нее настораживающим моментом стало то, что Герштейн расценила как «ухаживания» за ней А.А. Осмеркина. Могу процитировать дословно: «За мной вдруг вздумал ухаживать Осмеркин».

О, вот этого не было. Это мы с сестрой *(Л.А. Осмеркиной)* можем опровергнуть. Папа так иронизировал над ней, он ее совершенно... не воспринимал как женщину. Во-первых, он был однолюб. Если он влюблялся, то влюблялся так, что бросал жену и уходил. У него не было вот этих современных отношений... к сексу... что ли... Он был очень предан женщине.

И все время третировал маму насчет Эммы: что ты с ней носишься, она такая унылая... А мама ее жалела.

Со слов Вашей сестры я помню фразу А.А. Осмеркина: «Когда входит Эмма, то кажется, что в комнате всегда идет дождь».

Да. Да. Да. Он все время говорил: уныние невозможное. Ну, у ней были все основания для уныния. А сейчас она что пишет... любовь втроем... какие-то сексуальные фигли-мигли... Я просто поражена, не знаю, что такое с ней стало.

Ну, по этим Мемуарам можно подумать, что и Ваш отец, и Осип Эмильевич только тем и занимались, что соблазняли Эмму Герштейн, заставляя ее жить втроем, вчетвером... и на это ушла вся их жизнь.

Я думаю вот что. Есть женщины, такие, как Анна Андреевна... роковые женщины, в них влюблялись, из-за них умирали... А у нее, вероятно, с юных лет был этот комплекс молодости ее неудачной, когда она просто не нравилась. Сейчас же она сама себя убедила в обратном, мне кажется, это так.

То есть Вы считаете, что Герштейн создала себе миф?

Да. Но миф с Осмеркиным настолько неудачный...

Татьяна Александровна, давайте теперь немножко поговорим о Надежде Яковлевне, о ее знакомстве с о. Александром Менем.

Вы знаете, она совершенно поменялась после этого: стала мягче, не такой язвительной и насмешливой, очень как-то доброй. Ей хотелось... хотелось всем помогать. Мама ее называла «бедолюб» и говорила, что Надя такого добра женщина... что все время ищет несчастных каких-то, стараясь им чем-то помочь. Давала вот эти деньги. Тогда никто не видел таких — это сертификаты, валюта... У нее ведь был гонорар за издание книги.

Это семидесятые годы?

Да. Да. И вот, когда Надежда Яковлевна получила деньги за издание, она, наверное, дала себе, ну, я не знаю, как по церковному — не зарок, а...

...обет.

Она дала обет отдать эти деньги своим друзьям и нуждающимся, а самой остаться, так сказать, непричастной к материальному выражению этой книги. Когда Надежда Яковлевна получила квартиру, то купила туда старую мебель, рухлядь такую. Тогда многие продавали, и довольно дешево это все ценилось. Но она ее почему-то не хотела реставрировать, а говори-

ла, что «так мне интересней, она напоминает мне время моего детства, как будто она мне досталась в наследство».

Надежда Яковлевна удивительно была... вот моя мысль... удивительно была правдива, искренна, и... критична, она не могла носить внутри себя никакую... неприязнь к человеку. И если что-то ей не нравилось, она «выпуливала» тут же. И эта вот черта... от нее как-то отдаляла многих... Она была — нелицеприятный человек. И я сейчас только понимаю, как это замечательно. Вот, когда вышла ее книга, официальная критика ее уничтожала. Говорили, что книга очень зла, что русской литературе несвойственна такая злость. А я вот думаю, что она имела право сказать всё это: как было уничтожено самое светлое в людях от страха, от того, что происходило. Сказать всё, как это есть, для истории, а совсем не... елейно описывать какие-то события. Ну, в общем, я косноязычна...

Замечательно все.

Теперь об о. Александре Мене. Из разговоров мамы и Надежды Яковлевны я слышала... о каком-то Александрове. Мы тогда были далеки от церкви, хотя в общем и мама, и моя семья — верующие. Но вот какой-то такой обрядности в семье не было. А Надежда Яковлевна стала ездить к нему...

К Меню?

Да. К Меню. И очень серьезно к этому относилась.

А раньше...

Ой! раньше среди этого круга... Надежда Яковлевна отнеслась к этому как к очень значимому событию. Почему-то она считала, что об этом говорить не надо... особенно о...

Мене.

Да. Да. Особенно о нем она упоминала как-то очень таинственно. Когда я заходила, они с мамой умолкали и не продолжали эту тему. Однажды я спросила маму: «А кто такой Александров?». «А это, — говорит, — священник, и Надежда Яковлевна крестилась». *(Н.Я. Мандельштам была крещена в детстве.)* Я так была удивлена и поражена... Но мне это очень както понравилось, потому что я сама хотела тогда креститься...

И вот что я еще вспоминаю. В семидесятые годы ставили на Таганке «Гамлета», а я была без работы, и одна моя приятельница сказала Высоцкому: «Вот, устрой Татьяну Александровну к Любимову художником». Он ответил: «Нет. Я никого не устраиваю». Ну, а потом каким-то образом он узнал, может, я

сказала, что у меня, точнее у мамы, есть приятельница — Надежда Мандельштам. Он так ко мне пристал, чтобы я их с Надеждой Яковлевной познакомила, обещал, что он и пить не будет... Он сказал мне так: «Стихи Мандельштама спасли меня от безумия и от смерти».

Это слова Высоцкого?

Да. Я это очень хорошо помню, он это мне сказал: «Я был в таком страшном, тяжелом состоянии, и мне попался томик Мандельштама. Это спасло меня от безумия и от смерти. Я бы отдал все, чтобы она выслушала меня». А Надежда Яковлевна сказала: «Кто? Какой еще Высоцкий?», — и вот тут она для меня опять стала прежней Надеждой Яковлевной. «Нет. Нет. Нет. Это не моего плана», и вообще: «Зачем это мне?».

То есть Надежда Яковлевна его к «эстрадникам» списала.

Да. Я так обиделась на нее. А главное — я ему-то обещала. Не потому, что там мне театр был нужен, он мне сам очень нравился. Мне нравились его вещи, и он так хотел с ней познакомиться... Я ужасно на нее обиделась. И маме это сказала. Та просила тоже, но Надежда Яковлевна была неумолима. И так небрежно о нем, как Анна Андреевна об Ахмадулиной, знаете...

Знаю.

Наверное, она и не знала его поэзию. Ну, отнесла его действительно к каким-то дворовым бардам... Кстати, в связи с этим мне вспоминается отношение Ахматовой к Вертинскому, которое я наблюдала в декабре 1951 г. на дне рождения моего отца.

Мы тогда ждали гостей, многие из которых специально пришли «на Вертинского» *(Из письма А.А. Осмеркина к В.А. Навроцкой [около 10 декабря 1951 г.]: «<...> Это было 6 декабря (по старому стилю 23 ноября), в этот день Александр, к которому я принадлежу. Мы с Надей* [Н.Г. Навроцкая — последняя жена А.А. Осмеркина] *сосчитали — было 30 человек. Было вино и очень весело. Из знаменитостей были Ирина Шаляпина* [И.Ф. Шаляпина — дочь Ф. Шаляпина], *Анна Ахматова, Вертинский. Были мои ученики, моя дочь Татьяна — ей сейчас 17 лет* [в следующем письме к Навроцкой (май 1952 г.) Осмеркин именует Татьяну *«поклонницей Вертинского»*]. *Нанесли всякой всячины, мы совсем не тратились. Все организовала молодежь <...> Был мой товарищ-иллюстратор по западной литературе художник Милашевский...» (Осмеркин А.А. Размышления об искусстве. Письма. Картины.*

Воспоминания современников. — М., 1981. — С. 113—114).) Он и раньше часто приходил к нам, и при его появлении все гости замирали. «Вершитель стола», он царил над ними... Все слушали только его, а он рассказывал нам о «чужих городах»: как там было жутко, как он умирал от голода, как ночами пел в ресторанах... То вдруг забывался и вспоминал, как в этих ресторанах было шикарно, и кого он там видел: и Шаляпина, и всех... В общем, все время по-разному рассказывал. Блистательный рассказчик, он каждую свою песню сопровождал маленьким комментарием, который был нам очень интересен. В общем, все слушали только Вертинского.

Вас что-то поразило в его внешности?

Меня поражали в нем удивительная подтянутость, чистота, вот эта выбритость, набриолиненные волосы... Я сама из среды богемы, повидала многое, но у нас таких людей не было. В нем было удивительное соединение лоска, элегантности и манерности. Такой... комильфо. И вот он рассказывает очередную историю о своих похождениях, и тут же оговаривается, что молва щедро приписывает ему победы — его донжуанский список совсем не так велик. Господи, как он упивался своей славой! Как ему нравилось быть знаменитым, нравилось, чтобы все замирали, когда он входил! Что ж, так оно и было.

Вы говорили, что на этот день рождения была приглашена и Ахматова. Вы помните ее среди гостей?

Да. Очень хорошо помню, как раздался звонок, открылась дверь и вошла Анна Андреевна. В своем знаменитом платке, в каких-то страшных стоптанных туфлях, полная. Уже совсем не декадентского вида, седая, полнеющая женщина. Она равнодушно обводит взглядом гостей, специально не останавливая его на Вертинском, садится за стол. И вдруг Вертинский ...замолкает. Он бросает расположившуюся вокруг себя стаю поклонниц — молоденьких папиных студенток, бросается к ней, называет «Анечка» *(Т.А. Осмеркина настаивает именно на такой форме обращения Вертинского, хотя, по мнению прот. М. Ардова и Н.Н. Глен, только несколько человек из близкого окружения Ахматовой называли ее на «ты». Вертинский в их число не входил.)* и пытается завязать разговор. Я никогда не видела, чтобы он с таким вниманием, интересом и подобострастием разговаривал с кем-то. Он — наш «марсианин», кусок Европы... А она — эта совершенно нищая, заму-

ченная женщина — так небрежно, величественно его слушает. Он спрашивает: «Аня, ты была на моих концертах?» — «Нет». — «Ты знаешь, Анечка, я там пою твою вещь — “Сероглазого короля”». А она ему так спокойно, даже как-то строго: «И не надо петь». И Вертинский совершенно теряется. Я была так удивлена этим контрастом — в первый раз мои глаза видели подобострастного Вертинского и величественно-равнодушную Ахматову.

Вам что-нибудь еще запомнилось из их разговора?

Он пытался ей говорить что-то: о двадцатых годах, о том, как она ему нравится как поэт, о том, что на его концертах безумствуют дамы, а вот она почему-то не приходит. А она невозмутимо спокойно, рассеяно так слушает и также спокойно пропускает его слова мимо. И тут я, к ужасу своему, понимаю что он и как поэт, и как человек ей совершенно безразличен. Он сыплет комплиментами, пытается смягчить разговор, вымученно шутит... Но ее лицо остается спокойным и величественным. Это поразительно, ведь прошло столько лет, но так оно и осталось у меня в памяти. Ведь она была для него той Россией, которая его знала в молодости, и эта Россия ему...

...не поклонилась.

Да, в ломаный грош не оценила весь этот его европейский лоск. И меня, девочку, которая видела весь ажиотаж вокруг его имени, его пластинок, его появления в Союзе, это просто потрясло. Меня тогда совершенно заворожило ее поведение. Теперь же, многие годы спустя, уже прочтя воспоминания Вертинского, я думаю, что оно вряд ли было справедливым. Но тогда меня потрясла брезгливость Ахматовой к той эстрадной славе, которой был увенчан Вертинский. А ведь она была наследницей особой, царскосельской, культуры, где не было ни тени хамства и пренебрежения к собеседнику, но спокойное равнодушие и нелюбопытство убивали. И кстати, я не знаю почему, она многих так отметала. У нее был какой-то особенный взгляд на людей, особый дар видеть в людях близкое ей и полное неприятие процветающих в те времена кумиров, официальных кумиров публики.

Татьяна Александровна, возвращаемся к Надежде Яковлевне. Скажите, людям со стороны к ней попасть было трудно?

Да. Да. Да. Попасть было трудно, но она очень легко общалась, вот там, в деревне, в провинциальных городах...

А, вот это интересно.

...С простым народом... Обожала мамины рассказы об этих самых... местных...

Аборигенах.

Мама тогда с юмором рассказывала об ухаживании хозяина, о ревности хозяйки. Ну, им было что-то по шестьдесят лет.

Вот так?

Старые, да. Рассказывала, как однажды в Верее хозяйка стала выгонять ее за то, что приревновала к мужу... Господи, я рассказываю так же, как Эмма Григорьевна... А Надежда Яковлевна с Фрадкиной, женой Евгения Яковлевича Хазина, все время просили маму: «Лена, ну, расскажите, расскажите еще про эти Ваши местные романы!». И тут я скажу Вам совсем... мама говорит: «Они меня называют "ента блядь"».

!!!

И так они трое хохотали, они очень любили эти рассказы. И Надежда Яковлевна обожала с местными говорить и очень любила рассказывать, как шла на рынок, а была она уже старая и некрасивая, и хозяйка, когда она приходила и жарила мясо, ей говорила: «Ну, Вы сегодня на базаре были ну самая красивая». Вот такими новеллами они и веселили друг друга. Но когда был какой-то бомонд светский или что-то, что Надежде Яковлевне казалось близко с ним связанное и имеющее отношение к... я уж не знаю, как это сказать...

Официозу.

Да, официозу, к каким-то постам или там Союзу писателей, или просто появлялся какой-то любопытствующий... у ней такое становилось каменное лицо, неприступное...

Татьяна Александровна, мне этой темы придется коснуться, и не только в разговоре с Вами. Вот, скажем, с Вашей матерью Надежда Яковлевна сохранила дружеские отношения до самой смерти, но со многими ее давними друзьями отношения были разорваны: Харджиев, Лидия Гинзбург, Герштейн... Раиса Орлова аргументирует это *(Вызволяя себя из прошлого, с. 70)*, и на мой взгляд, неубедительно, тем, что Надежда Яковлевна в старости пресекла отношения с людьми, которые напоминали ей о нищих годах, бедствиях...

Нет. Это глупость. Это такая глупость! Она, наоборот, любила очень бедных и нищих, она презирала людей, которые живут какими-то материальными достижениями, достатком.

Я вот Вам расскажу в этой связи историю, как она одевала это платье-то несчастное.

Она однажды пришла к нам, мы собирались на пляж...

Это какие годы?

Это, по-моему, пятьдесят седьмой год. Верея. *(В Верею Надежда Яковлевна впервые приехала летом 1957 г. Из письма Н.Я. Мандельштам к А.А. Ахматовой: «Устала я страшно. Сейчас верейская тишина меня чуточку успокоила» (Письма Н.Я. Мандельштам к А.А. Ахматовой, с. 99).)* Надежда Яковлевна жила тогда у Фрадкиных. Мама им нашла дом *(Больничная ул., д. 11, кв. 43).* Маму даже называли «мисс Верея», она туда всех друзей, и Тышлеров тоже...

...таскала.

Да. И вдруг видим — идет Надежда Яковлевна в каком-то безумном таком... платье, вроде ситца материал, цветастый, с какими-то буфами. Мама говорит: «Надя, в чем это Вы?» Та: «А что? Это французская модель». — «Какая, что, откуда?». Надежда Яковлевна отвечает: «Это воображение и творчество», — и называет какое-то имя... типа Иды... *(речь идет об Эмилии (Миле) Васильевне Гринберг)* В общем, какая-то женщина, приехавшая из Франции, репатриантка, стала ее подругой. Кто она, чья жена? Не знаю. Она там, во Франции, шила, при каких-то там диоровских мастерских. А здесь, будучи нищей, старалась куда-то устроиться, но никто ее не принимал, потому что она умела только возвышенно моделировать, а строчить ровно не могла. В общем, никому не нужна была. Но ей так хотелось открыть здесь французское моделирование... И ее единственной манекенщицей, кто ее принимал и давал работать с собой, была Надежда Яковлевна. Она, конечно, понимала, что это платье чудовищно, но носила его и хохотала. Иногда она говорила: «Ида, хватит, я устала от Ваших безумных работ». А та отвечала: «Ну Надя, меня же никто не понимает, только Вы». В общем, такое смешное, ужасное платье: расширенные буфы, рукава... Она была до того странная в нем, и мы смеялись очень. На пляже Надежда Яковлевна сняла это платье, мы посидели, позагорали, а потом она и говорит: «Ну, пора опять надевать этого... Диора». Мы тогда все трое шли с этой речки и хохотали, а она, значит, гордо так шла.

Вообще, Герштейн Надежде Яковлевне во вкусе не отказывает. Говорит, что она по возможности элегантно, но спортивно одевалась.

Ой нет.

Нет?

Я не знаю, она никак не одевалась. Просто никак.

А как одетой Вы ее помните?

Никак. Кофты, юбки... Никак. Вот Елена Михайловна Фрадкина, художница, действительно одевалась. Вот та была элегантная. А Надя — нет. Там вообще, по-моему, даже и интереса к одежде не было никакого.

Но оценить ее Надежда Яковлевна, тем не менее, могла, потому что Ахматову в старости поддразнивала за какие-то туалеты.

Наверное. Я думаю, когда смотрю на ее фотографии в молодости — в ней была какая-то элегантность, тем более что ее брат, Е.Я.Хазин, считался тогда одним из самых элегантных молодых людей...

Серьезно?

Да. Да. Золотая молодежь была такая. И красивым он считался, красавцем... Кстати, у Надежды Яковлевны тоже было очень интересное, в манере Джотто, необыкновенной лепки лицо: высоченный молодой лоб, широко поставленные раскосые глаза, в которых всегда жил лукавый огонек. Ослепительный цвет лица. Я думаю, что как невероятно деятельная натура (а может, это свойство всех холериков) она долго сохраняла свою молодость. Вот Е.М. Фрадкина в сравнении с ней старела очень быстро. Я не могу вспомнить Надежду Яковлевну в тяжелом унынии, нытье, жалобах на жизнь. Этого просто не было.

Теперь я Вам расскажу еще эпизод со скарлатиной.

Это тоже Верея?

Верея. Надежда Яковлевна там уже работала над книгой.

Наверное, это шестидесятые годы?

Да. Все тоже было очень таинственно, она никому ничего не говорила. И однажды, когда я приехала в Верею *(речь идет о 1963 годе)*, я увидела какие-то напечатанные на машинке листы, мама их читала. Я не в курсе была, только помню, что Надя говорила: «Аккуратнее, Лена, только аккуратнее», — потому что мама была ужасная неряха... в смысле быта. А тут довольно скоро к нам пришла телеграмма, что заболела моя дочка Аня (ей было три года), что у ней скарлатина, и она в больнице.

И Вы бросились обратно?

Да. Мы закрыли дверь, побежали сразу на вокзал, чтобы скорей-скорей уехать. Вдруг видим — у самой почти уже автобус-

ной станции — идет улыбающаяся Надя и спрашивает: «Что с Вами? Куда Вы?» Мы ей сказали. Она говорит: «Лена, вернитесь и отдайте мне рукопись». Мама: «Надя, ну, разве нельзя потом?» — «Об этом даже не надо говорить. Вернитесь и отдайте мне рукопись». Она резко повернулась, и мы пошли обратно.

То есть без разговоров.

Да. Без разговоров и пошли. Мама, конечно, обиделась, но потом это быстро прошло, и на эту тему они больше никогда не говорили. Даже мама ее как-то поняла и оправдала.

Татьяна Александровна, когда вышли две книги воспоминаний Надежды Яковлевны, Ваша мама была еще жива. Как она их оценила?

Мама читала с удовольствием, но Эмма ей стала звонить, и, вообще, со всех сторон стали говорить, какая ужасная, какая злая книга. Я помню единственное мамино замечание, она говорила: «Я ей только не могу простить Харджиева». Но Надежда Яковлевна ведь была удивительна! Она была настолько убеждена в своей правоте и настолько непреклонна ко всем, с кем рвала и кого, так сказать, отторгала, что в ее искренности нельзя было усомниться. Она не хотела ни видеть отвергнутого человека, ни говорить о нем. Но для нее это было все.

Еще помню такую ее фразу, видимо, в лесу или еще где-то она нам сказала: «Я ничего не боюсь... И потом, зачем им нужна старуха? Теперь уже совсем старуха. У меня одно только желание — успеть сделать и сказать». *(Н.А. Кривошеина: «<...> Про себя она как-то мне сказала: “Ну, а для себя самой я больше ничего не боюсь, ведь если уж захотят меня повесить вниз головой, то и повесят, конечно!”» (Неожиданные встречи в Ульяновске, с. 123).)* Вот... У нее было это чувство долга перед Осипом Эмильевичем, ее Оськой. Она все время говорила «Оська», никогда — «Осип Эмильевич» или «Ося», только «Оська». Ну, так я слышала. Так и маме она говорила.

А вообще в разговорах Надежды Яковлевны с Еленой Константиновной Осип Эмильевич присутствовал, она его часто вспоминала?

Я даже сначала не понимала, кто это «Оська» — мальчишка что ли какой-то... «Оська-Оська»... Потом узнала, что муж, что он погиб, но что это такая личность и такой поэт, я не знала. А она о нем говорила... все время, часто-часто. Она его вспоминала постоянно. И как-то так... у ней материнское даже что-

то проскальзывало. Какое-то... «вот Оська бы...». Иногда она хохотала, вспоминая его, иногда говорила о нем с грустью, но всегда как о самом близком ей человеке, как о своем втором «я». Сколько она без него продумала и прожила, а ощущала его так, как будто они были вместе.

То есть жила так, как будто он продолжал смотреть на этот мир ее глазами.

Да. Да. Как будто он был частью ее, которая почему-то исчезла, оторвалась... А в общем-то вся жизнь ее была с ним. Вот так она жила.

Там удивительно, помните, во Второй книге есть «молитва двоих»... Надежда Яковлевна просит в ней о встрече, которая будет...

Да. Да. Да. Она стала глубоко религиозным человеком...

А.А. Осмеркин. 1926—1927 гг. Автопортрет.



Е.Я. Хазин. 1960-е гг.



Т.А. Осмеркина 2001 г.
Фото А. Ляшкевич

6 сентября.

Никушка дружок! Как вы не понимаете, что я все волосы на своей лысой голове вырвала, потому что вы последний человек, к которому я могла бы позволить себе быть невнимательной. Слава Богу, что вы не сердитесь.

Я очень беспокоилась, смогу ли я быть в Москве вечером 12-го. Мне это необходимо. Сейчас получила вашу телеграмму. Ура!

Ехать ко мне так: по Минскому шоссе до Дорохова — это 85 километров и там у поворота памятник Зое Косм. Это поворот на Верею. Оттуда кажется 29 километров. В Верею вы въезжаете



к Гостиному Двору. Затем по Красной улице до Спартаковской (поворот направо) — 3-4 дома. Найти легко.

Никушка, немедленно телеграфируйте мне
а) приблизительно когда въедете
б) как зовут вашу подругу и ее мужа...

Приезжайте обязательно с ними.
Надя.

Письмо с планом Вереи, Н.Я. Мандельштам к Н.Н. Глен. Автограф. Архив Н.Н. Глен

Осип Мандельштам

* * *

А. Белому

Откуда привезли? Кого? Который умер?
Где ...? Мне что-то невдомек...
Скажите, говорят какой-то Гоголь умер?
Не Гоголь, так себе, писатель... гоголёк.
Тот самый, что тогда невнятицу устроил,
Чего-то шустрился, довольно уж легок,
О чем-то позабыл, чего-то не усвоил,
Затеял кавардак, перекрутил снежок,

Молчит, как устрица — на полтора аршина
К нему не подойти — почетный караул.
Тут что-то кроется — должно быть есть причина:
.... напутал и уснул.

10 января 1934



Лариса Яковлевна Костючук

В 1962—1964 гг. Н.Я. Мандельштам преподавала в Псковском государственном пединституте им. Кирова (на факультете иностранных языков). На вопрос Ахматовой, чем на этот раз обусловлен выбор места, Надежда Яковлевна ответила прямой цитатой из знаменитого рассказа Тэффи: «Почему Псков? А «фер то ке»?» (искаж. франц.«que faire» — а делать-то что?) (Письма Н.Я. Мандельштам к А.А. Ахматовой, с. 102). Впрочем, в этом письме (октябрь 1963 г.), как и в последующих корреспонденциях из Пскова, Надежда Яковлевна говорила о новом приюте скорее доброжелательно. Чувствовалось, что Псков в отличие от Ульяновска, Читы, Чебоксар... воспринимался ею как чудом дарованная передышка в многолетней жестокой борьбе за выживание. В том же 1963 году она поделится с Ахматовой наблюдением, которое много позже, в конце семидесятых годов, сама же поставит под сомнение: «А заметили ли Вы, как в человеческие души возвращаются «ценности»? Приятно это наблюдать. Хоть на старости нам такое выпало» (Там же). Под этим «на старости лет» Надежда Яковлевна разумела свои 64 года, многолетнюю накопившуюся усталость, прочное отсутствие дома — в этом плане на

новом месте ничего не менялось. Позднее она с горькой иронией будет вспоминать о своих скитаниях «по диким наемным комнатам в Пскове» (Третья книга, с. 117) и — в который раз (!) — подсчитывать плюсы и минусы «благополучной» псковской жизни. «Работать легко, но я уже не могу. Скоро кончу. Жалко последних лет. Стоит ли последние годы тратить на то, чтобы кого-то обучать фонетике или истории чужого языка?», — читаем мы в ее письмах 1963—64 гг. (Письма Н.Я. Мандельштам к А.А. Ахматовой, с. 102). Наконец, в феврале 1964 года (Надежда Яковлевна, еще не зная, что вопрос о ее московской прописке решается положительно, полагает, что друзья из сострадания скрывают от нее плохие вести) она сообщает Ахматовой свое твердое решение: «В будущем году я уже в Пскове не буду. Ни за что» (Там же, с. 103).

Надежда Яковлевна намеревалась окончательно выйти на пенсию (первый раз она вышла на пенсию в 1958 г., не дотянув нескольких лет до узаконенной нормы — 20-летнего непрерывного трудового стажа) и поселиться в Тарусе, хотя бы из тех соображений, что «денег остается мало, потому что жить на таких началах (когда работаешь и нет ничего похожего на благоустроенный быт) стоит дороже, чем сидеть в Тарусе» (Там же, с. 103). Но июнь 1964 года внес свои коррективы — долгожданная прописка в Москве была ей наконец разрешена.

Псковские друзья Надежды Яковлевны, близко знавшие ее с начала шестидесятых, позднее вспоминали о ее редком бесстрашии. Сама же она, как, впрочем, и Ахматова, справедливо боялась людей, лишенных чувства страха («Страх... В крови остается страх»), полагая, что можно говорить лишь о посильном преодолении этого чувства, а здесь у каждого своя «шкала». Страх для нее был ядом и противоядием одновременно — мог разрушить человека и мог помочь ему выжить... «Она боялась ареста всю жизнь. С полным основанием», — скажет впоследствии Р. Орлова. Точность этого наблюдения подтверждает и псковский «сон во сне» Надежды Яковлевны, сон «о преодолении страха», который она будет помнить до конца своих дней. «<...> У меня во дворе затарахтел грузовик. Во сне я увидела, что меня будит Мандельштам: «Вставай, на этот раз за тобой... Меня ведь уж нет...» Я ответила ему во сне, не просыпаясь: «Тебя уж нет, а мне все равно...» И перевернувшись на другой бок, спокойно заснула без снов. Наутро я поняла, что не открою две-

ри, как бы ко мне не стучали. Пусть хоть ломают (дверь-то из картона!), мне все равно. Я им дам статью — сопротивление при аресте, пусть радуются. Меня может разбудить не стук, а только человеческий голос, но не всякий голос принадлежит человеку». *(По устному свидетельству неоднократно ночевавшей уже в московской квартире Н.Я. Мандельштам Ю.М. Живовой, она несколько раз просыпалась от «животного крика» Надежды Яковлевны во сне.)* И далее, в качестве post scriptum'а Надежда Яковлевна делает следующую запись: «Это произошло после того, как стихи были напечатаны *(Большинство сохраненных Надеждой Яковлевной стихотворений Мандельштама тридцатых годов было впервые опубликовано в альманахах «Воздушные пути» (Нью-Йорк, 1961, № 2) и «Мосты» (Мюнхен, 1963, вып. 40). Вошли в книгу: О.Э. Мандельштам. Собрание сочинений в 2-х томах. — Вашингтон, 1964*) <...> Я вышла на полную и безоговорочную свободу, и мне легко теперь дышать, хоть я и задыхаюсь» (Вторая книга, с. 500). Эта «безоговорочная свобода», прочность которой Надежда Яковлевна всегда ставила под сомнение, понадобилась ей хотя бы для того, чтобы успеть написать свои книги.

Не веря в «стабильность» хрущевской оттепели, наперекор страху, она уже в Пскове начинает работать над первой книгой своих мемуаров — об этом свидетельствуют и воспоминания **Ларисы Яковлевны Костючук**, коллеги Н.Я. Мандельштам по псковскому пединституту, текст которых (с небольшими сокращениями) мы приводим ниже.

Из воспоминаний о Надежде Яковлевне Мандельштам, написанных по нашей просьбе на основе фонозаписи, сделанной в отделе фонодокументов Научной библиотеки МГУ в декабре 1997 г.

В 1962 году с началом учебного года у нас в Псковском пединституте появился новый немолодой преподаватель — кандидат филологических наук, специалист в области английской филологии Надежда Яковлевна Мандельштам.

Летом 1962 года в Тарусе Софья Менделевна Глускина познакомилась с Надеждой Яковлевной в семье своей старшей

сестры Лии Менделевны Глускиной и ее мужа Иосифа Давидовича Амусина. После тяжелых лет жизни вне столицы — в Ульяновске, где только и разрешалось какое-то время жить бывшим ссыльным Амусиным и Мандельштам *(в Ульяновске в начале пятидесятых годов Надежда Яковлевна работала на кафедре иностранных языков педагогического института)*, они проводили летнее время в Тарусе, которая охотно принимала гонимых.

Надежда Яковлевна не имела ни крыши над головой, ни работы, поэтому она обрадовалась предложению Софьи Менделевны поработать в Пскове, если разрешат власти и если согласится руководство пединститута. Софья Менделевна испросила разрешения у ректора Ивана Васильевича Ковалева (это была личность!). И он попросил Софью Менделевну срочно дать Надежде Яковлевне телеграмму, что ее приглашают в Псков. Вскоре Надежда Яковлевна приступила к работе в одной из английских групп первого курса.

По правилам преподаватель иностранного языка должен был быть и куратором группы. Но Надежде Яковлевне, человеку уже не очень здоровому, это было «противопоказано»: слишком политизированной была общественная нагрузка — с комсомольскими собраниями, организацией субботников, обязательной явкой на демонстрации, с еженедельными политзанятиями, да еще проверками этих занятий со стороны парткома. Вот потому-то С.М. Глускина и сказала мне, что придется помочь Надежде Яковлевне и добровольно стать куратором ее группы. Я верила Софье Менделевне и сразу согласилась. Так возникла моя дружба с Надеждой Яковлевной.

Надежда Яковлевна была необыкновенным преподавателем: строгим, требовательным, так много дающим студентам... К сожалению, не все молодые люди понимали тогда, что такое Надежда Яковлевна Мандельштам и насколько надо дорожить общением с нею. Однако были и такие студенты, как, например, Тамара из Литвы, которые дорожили получаемыми именно от Надежды Яковлевны знаниями: после занятий с необыкновенным преподавателем можно было идти в библиотеку и находить «расшифровку» ее фразам, узнавать имена писателей, поэтов, ученых... <...>

К Надежде Яковлевне приезжали друзья и из других городов, особенно из столиц, с некоторыми из них она знакомила

студентов. Помню встречи с замечательной журналисткой и удивительным человеком — Фридой Вигдоровой. Представляя студентам Ф. Вигдорову, маленькую женщину с очаровательными глазами, Надежда Яковлевна сказала, что перед Вигдоровой как депутатом *(Вигдорова была депутатом Моссовета)* открываются двери ЦК, хотя сама она беспартийная, и она входит в кабинеты начальства, чтобы защитить достойного защиты человека.

Помогла она и студентке Надежды Яковлевны из той группы, где я была куратором, и даже нашему ректору И.В. Ковалеву. Надежда Яковлевна, Ф. Вигдорова и я вместе с ректором составили «заговор» против декана во имя одной студентки, которая готовилась стать «матерью-одиночкой», а декан рубил все сплеча... Уезжая после очередной встречи с нашими студентами в Ленинград, Ф. Вигдорова сказала мне, что в случае нападок на будущую маму немедленно надо будет сообщить ей, и она приедет... Но наши совместные с Надеждой Яковлевной усилия привели к благополучному исходу.

Познакомившись с И.В. Ковалевым, Ф. Вигдорова неожиданно помогла и ему. Был период, когда со стороны партийных органов на независимого в своих суждениях Ивана Васильевича велось наступление с целью заменить его на посту ректора. И вдруг в «Известиях» появилась большая статья Вигдоровой: она начиналась словами, что вот, мол, ее друг Иван Васильевич Ковалев однажды сказал... И на несколько лет нападки на Ивана Васильевича приостановились — настолько большим был авторитет этого журналиста в центральной прессе. А Надежда Яковлевна радовалась, что через своих друзей хоть так смогла отблагодарить человека, пришедшего ей на помощь в трудные годы безработицы.

Как известно, шестидесятые годы были богаты разными событиями. Позади печально закончившаяся выставка в Манеже *(ноябрь-декабрь 1962 г.)*, когда Хрущев обрушился на многих талантливых художников. А в Пскове прошла спорная для того времени выставка картин художника-реставратора В. Смирнова. На этой выставке была уникальная книга отзывов: на ее страницах развернулась дискуссия в защиту или в осуждение В. Смирнова, с ссылками на московскую выставку и на партийные указания... И вот декан довольно провокационно попросил Надежду Яковлевну прочитать студентам лекцию на искус-

ствоведческую тему, но с обязательной официальной критикой в адрес художников, выставлявшихся в Манеже. Надежда Яковлевна отказалась: «Ничего не получится: Фальк — мой любимый художник». (С Фальком они были дружны с Киева. Я помню, с каким интересом Надежда Яковлевна смотрела картины Фалька, хранившиеся в запасниках нашего псковского музея — их тогда нельзя было выставлять.)

Надежда Яковлевна легко и охотно приходила на помощь людям, делилась с ними последним, поддерживала, казалось бы, в совсем безвыходном положении. Я помню, как трогательно опекала она художника Аникеёнка, приехавшего в Псков вместе со своей очаровательной, очень больной женой и оказавшегося здесь без средств к существованию. Надежда Яковлевна передавала и друзьям свое отношение к людям: после ее отъезда из Пскова этому художнику пришли на помощь С.М. Глускина, Е.А. Маймин, я и другие.

Можно сказать, что она воистину была бессеребреником: поскольку в жизни ей приходилось многое терять безвозвратно, Надежда Яковлевна знала ценность истинных и призрачных вещей. Она как будто даже боялась быть обремененной лишними вещами, но любила доставлять людям радость. В шестидесятые годы, когда уже установилась связь с заграницей, друзья привозили Надежде Яковлевне «оттуда» то куртку, то шарфики, то обувь, то чай-кофе... Многое из этого она раздаривала своим «домашним» друзьям, себе оставляла только самое необходимое. Помню, как Надежда Яковлевна с юмором говорила, что вот эту курточку она «выводит гулять» (это была легкая, теплая, удобная одежда), а другое надо отдать такой-то, поскольку она теперь «отец семейства» (разведенная молодая женщина, содержащая семью)...

В последние годы жизни Надежды Яковлевны около нее всегда было много молодежи. Молодые люди помогали Надежде Яковлевне: покупали продукты, готовили, приезжали с нею в Псков, когда Надежда Яковлевна уже переехала в Москву. Сначала почти ежегодно Надежда Яковлевна наведывалась в Псков к друзьям. Останавливалась она обычно в семье священника Сергея Алексеевича *(Желудкова)* и его жены Татьяны Гавриловны. (Сергей Алексеевич был известным правозащитником.)

Когда Н.Я. Мандельштам жила в Пскове, она снимала комнату в старинном доме на Октябрьском проспекте, близко от

института (в 1998 году этот дом был снесен, на его месте уже построено здание банка).

Надежда Яковлевна много работала и при этом много курила. Она сохранила, прежде всего в памяти, произведения своего мужа — поэта Осипа Мандельштама. Но были в нашей стране люди, которые помогали ей хранить рукописи опального поэта. Когда однажды я ехала в Воронеж, Надежда Яковлевна просила поклониться тому месту, где жили люди, помогавшие Мандельштамам в воронежский период их жизни. Ведь именно в Воронеже в одном из журналов *(«Подъем», 1966, № 1)* появилась одна из первых послевоенных публикаций стихотворений О. Мандельштама. Выход в Америке произведений О. Мандельштама был большим событием и для Надежды Яковлевны, и для ее друзей, и для тех, кто занимается поэзией. *(По-видимому, имеется в виду издание: О.Э. Мандельштам. Собр. соч. в 2-х томах / Под ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова. — Вашингтон, 1964.)*

Здесь же, в Пскове, Н.Я. Мандельштам работала над книгой своих «Воспоминаний». Она давала друзьям читать рукописные главы, дополняя их интереснейшими и незабываемыми устными рассказами, пояснениями...

С молодости Надежда Яковлевна была дружна с Анной Ахматовой. Мы с Софьей Менделевной часто ездили в Ленинград, поэтому Надежда Яковлевна давала нам поручения позвонить (чаще) Анне Андреевне или передать ей (реже) что-нибудь непосредственно. Помню, с каким волнением и трепетом выполняла я подобное поручение в первый раз: дрожащей рукой набирала номер Анны Андреевны и передавала ей привет от Надежды Яковлевны. Было мне поручение и встретиться с профессором Н.Я. Берковским. Узнав, что по каким-то непонятным причинам декан никак не хочет улучшить для Надежды Яковлевны — уже немолодого человека — расписание, Наум Яковлевич пообещал «объяснить» этому соискателю ученой степени, кто такая Надежда Яковлевна и как бережно надо к ней относиться. (Действительно, потом расписание было улучшено.) Или наш с Софьей Менделевной в Москве незабываемый поход в гости к сыну Б. Пастернака... Это тоже была просьба Надежды Яковлевны.

В Псков к Надежде Яковлевне приезжали удивительные, очень интересные люди. Это были Иосиф Бродский, Вячеслав

Всеволодович Иванов, Симон Маркиш, А.И. Солженицын... К сожалению, тогда открыто говорить о таких приездах было нельзя — пришлось бы держать ответ перед соответствующими органами.

В Пскове Надежда Яковлевна объединяла многих людей; любила, когда к ней приходили гости, когда велись интересные разговоры. Очень часто встречались с Надеждой Яковлевной С.М. Глускина, семья Е.А. Маймина, семья священника Сергея Алексеевича *(Желудкова)*, преподаватель философии Л.Г. Дюкова, я... Но были ведь и такие, кто, по их собственным словам, «ух, как бы хотел попотрошить эту Н.Я. Мандельштам». Но у нее, к счастью, на «недрузей», «не своих» было хорошее чутье, и от них она держалась далеко. Хорошо, что время-то было особое: начало шестидесятых...

Из архива Псковского педагогического института

Директору Псковского Педагогического Института.
от Надежды Яковлевны Мандельштам,
кандидата филологических наук,
проживающей в гор. Тарусе Калужской области;
ул. Либкнехта, 29

В приказ
Зачислить ст. преподавателем
с 1/X 62

И. Ковалев
12/IX 62

Заявление

Прошу зачислить меня старшим преподавателем английского языка в вашем институте. К заявлению прилагаю: копию диплома кандидата наук за № 000345, автобиографию, копию трудовой книжки, характеристики с последнего места работы.

Н. Мандельштам
4-е ноября[1] *1962*

Пр. № 98
10/IX 62

---

[1] Ошибочная датировка. Следует читать: «4-е сентября».

Автобиография

Мандельштам Надежда Яковлевна
Таруса Калужской обл. ул. Либкнехта 29

Родилась 31 октября 1899 года в Саратове. Отец — юрист, мать — врач. Среднюю школу окончила в Киеве в 1917 году. После школы училась живописи (мастерские Мурашко и Экстер). В 1919 году вышла замуж за О.Э. Мандельштама, писателя. Жила с ним в Москве и Ленинграде, занималась переводами, журналистикой — спорадически, по договорам. В 1930/31 году работала в штате газеты «ЗКП» (ныне — «Учительская»). В 1938 году после ареста мужа (арестован в мае 1938 года, реабилитирован в 1956 году; в комиссию при Союзе Писателей по наследству входят Эренбург, Сурков, Ахматова и др.; в «Библиотеке Поэтов» издается книга стихов — в плане на 1963 год) выехала на работу преподавателем средней школы в Калинин. В эвакуации была в Ташкенте, где сначала работала зав. отд. литературы «Дома худож. воспитания детей», а с марта 1944 года преподавателем английского языка в Ташкентском университете (Сагу); с 1949 по 1953 — старшим преподавателем каф. англ. языка в Ульяновском Пединституте; с сентября 1955 по октябрь 1958 года — в Чувашском Пединституте, где заведовала кафедрой английского языка. Затем вышла на пенсию, что было связано с работой по наследству моего мужа и с вводом меня в права наследства, и, прожив около года в Москве, поселилась в Тарусе Калужской области. Университет я окончила в Ташкенте в 1946 году по кафедре романо-германской филологии; диссертацию защищала по английскому языкознанию в 1956 году. Руководитель — В.М. Жирмунский. Кроме того, занималась переводами. Последние издания моих переводов — рассказы Мопассана в изд. «Огонек» и в Гослите; Синклер Эптон. Король Уголь. (Гослит). Кроме английского владею и другими индоевропейскими языками (пассивно) древними и новыми. Репрессиям я не подвергалась. Из родственников у меня есть только брат, живущий в Москве, член Союза Писателей, прозаик — Е.Я. Хазин.

Сейчас, поскольку основная работа с подготовкой О. Мандельштама закончена, я бы хотела вернуться на работу. Работала я на Инфаках (кроме Сагу), вела практические занятия, включая фонетику, и читала теоретические курсы, кроме литературы и методики.

Надежда Мандельштам
Таруса Калужской области
Ул. Либкнехта 29

Личный листок
по учету кадров

1. Мандельштам
2. Надежда Яковлевна
3. 31 октября 1899
4. Саратов
5. еврейка
6. отец — юрист; мать — врач
9. высшее; кандидат наук
   Среднеазиатский университет филфак
   Романо-германская филология Диплом № 159771
10. индоевропейскими
11. кандидат филологических наук. Диплом № 000345
13.

1930	1931	Газета«ЗКП» Ответисполнитель	Москва
1939	1941	Средняя школа № 1 и № 26	Калинин
1943	1944	Дом худож[ественного] воспитания детей Зав[едующий] литер[атурной] частью	Ташкент
1944 март	1949 январь	САГУ (Ср[едне]-аз[иатский] Гос[ударственный] Университет) Ст[арший] преподаватель каф[едры] англ[ийского] языка	Ташкент
1949 февраль	1953 апрель	Пединститут Старший препод[аватель] каф[едры] англ[ийского] языка	Ульяновск
1953 сентябрь	1955 август	Пединститут Ст[арший] препод[аватель] каф[едры] англ[ийского] языка	Чита
1955 сентябрь	1958 октябрь	Пединститут Зав[едующая] кафедрой англ[ийского] языка	Чебоксары

14.
   1905 1914 Швейцария, Франция, Германия, Италия лечение
16. медаль «За героический труд во время Отечеств. Войны»
19. вдова
20. 28 сентября 1962 г. Мандельштам

Герб СССР
Трудовая книжка

МАНДЕЛЬШТАМ
НАДЕЖДА
ЯКОВЛЕВНА
1899 31/X
высшее
профессия ПЕДАГОГ
Подпись...
дата заполнения трудовой книжки
9 октября 1947 г.

Сведения о работе

Общий трудовой стаж составляет 3 года 5 месяцев
справка № 110 и др. докум.

		Ср[едне]- аз[иатский] Госуд[арственный] университет	
1.	1 III 1944	Зачислена на должность преподавателя каф[едры] иностр[анных] языков	Приказ № 57 от 3/III—44 г.
2.	1 IX 1947	Переведена на должность ст[аршего] преподавателя каф[едры] ин[остранных] яз[ыков]	Пр[иказ] № 469 от 26/IX—47 г.
3.	19 I 1949	Освобождена от работы по собственному желанию	Пр[иказ] № 32 от 19/I—49 г.
		Ульяновский пединститут	
4.	4 II 1949	Назначена на должность ст[аршего] преподавателя по каф[едре] иностр[анных] языков	Пр[иказ] № 22 от 12/II—49 г.
5.	1 IV 1953	Освобождена от работы согласно поданному заявлению	Приказ № 57 от 27/III—53 г.

		Читинский государственный Педагогический институт	
6.	1 IX 1953	Назначить на должность старшего преподавателя кафедры английского языка переведенную из Ульяновского пединститута	Приказ № 105 от 31/VIII—53 г.
7.	13 VIII 1955	Уволена с работы должности преподавателя кафедры английского языка Читинского Гос[ударственного] пединститута по собственному желанию	Приказ № ? от 21/VI—55 г.
		Чуваш[ский] пединститут	
8.	1 IX 1955	Назначить на должность ст[аршего] преподавателя кафедры английского языка с 1 сентября 1955 года	Приказ № 96 от 8/IX—55 г.
9.	25 IX 1955	Утвердить в должности и[сполняющего] о[бязанности] зав[едующей] кафедрой английского языка с 25 сентября 1955 года	Приказ № ? от 18/XI—55 г.
10.	16 X 1958	Освободить с занимаемой должности в связи с уходом на пенсию	Приказ № 13 от 16/X—58 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА

на старшего преподавателя кафедры английского языка факультета иностранных языков

Чувашского гос[ударственного] пединститута им. И.Я. Яковлева

Тов[арищ] Мандельштам Н.Я. 1899 года рождения, еврейка, беспартийная, работает в Чувашском гос[ударственном] педагогическом институте им. И.Я. Яковлева с сентября 1955 года. С 10 ноября 1955 года по 20 июня 1958 года т[оварищ] Мандельштам Н.Я. заведовала кафедрой английского языка. Освобождена от этой должности по личной просьбе.

За время своей работы т[оварищ] Мандельштам Н.Я. проявила себя как высоко квалифицированный педагог, владеющий в совершенстве английским языком и методикой его преподавания на факультете иностранных языков. Лекции и практические занятия т[оварищ] Мандельштам Н.Я. проводит на должном идейно-теоретическом уровне. Много сил приложила к тому, чтобы поднять общий уровень подготовки будущих учителей.

Тов[арищ] Мандельштам Н.Я. много помогала молодым преподавателям как в организации учебно-методической работы, так и в работе по повышению квалификации. Очень аккуратна и исполнительна. Живо интересовалась жизнью и бытом студентов. Среди преподавателей и студентов пользовалась заслуженным большим авторитетом.

Ректор Чувашского гос[ударственного]
пединститута им. И.Я. Яковлева — */К. Евлампьев/*

Зав[едующий] кафедрой английского языка — */Ю. Тютиков/*

Из характеристики

«в связи с участием Н.Я. Мандельштам в конкурсе на замещение вакантных должностей по специальности английского языка»

(за подписью директора института К. Евлампиева и декана факультета иностранных языков Э. Нитобург от 31.03.1958 г.)

Чуткий и отзывчивый товарищ... Требовательна.

Диплом

кандидата наук от 14.02.1957 г.
Решением
Совета Лен[инградско]го Гос[ударственно]го пед[агогическо]го ин[ституа]та
им. А.И. Герцена
от 2.06.1956 г. (протокол № 10)

МАНДЕЛЬШТАМ НАДЕЖДЕ ЯКОВЛЕВНЕ ПРИСУЖДЕНА УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Приказом № 98

по Пск[овско]му госпедин[ститу]ту
от 10.09.1962 г.
§ 22

Мандельштам Н.Я. зачислить на должность ст[аршего] преподавателя кафедры иностранных языков с 1 сентября 1962 года.

Основание: заявление Мандельштам Н.Я.

Ректор института (И.В. Ковалев)

Последнее заявление в нашем ин[ститу]те:

Ректору Псковского госуд[арственного]
пед[агогического] института
доценту И.В. Ковалеву
и[сполняющей] о[бязанности] доцента
каф[едры] английского языка
Мандельштам Надежды Яковлевны

Заявление

Прошу предоставить мне очередной отпуск с 1-ого июля 1964 года по 25 августа 64 г. После окончания отпуска прошу освободить меня от работы по собственному желанию.

Н.Я. Мандельштам

В приказ

Отпуск предоставить с 15/VI с последующим увольнением.

И. Ковалев
15/VI 64

Согласен
Петр Иванов
15/VI—64

Пр[иказ] № 58
17/VI 64 г.
§ 5

Ст[аршему] преподавателю кафедры английского языка Мандельштам Н.Я. предоставить отпуск с 16 июня по 8 августа с[его] г[ода] с последующим увольнением с работы с 9 августа по собственному желанию.

Основание: заявление Мандельштам.

16 [сентября 1962,] Псков

Люлечка! Чего вы не отзываетесь? Я уже не в Тарусе, а в чужом и красивом городе Пскове. Получили ли мою открыточку? Болел Женя *(Е.Я. Хазин)*, и я очень боюсь.

Целую вас
Надя

10 марта [1963] Псков

Люленька! Я очень обрадовалась при мысли, что вы можете приехать; но узнать о дороге трудно. Автобус ходит, но на днях одна из наших преподавательниц ехала вместо 2 часов — 14. Говорят, что летом, когда сухо, дорога приличная, кроме одного участка в тридцать-тридцать пять километров.

Сюда стоит приехать. Чудный город. Рядом Пушкинские горы и Таллин. Новгород и т.д...

Дождитесь, пока сойдет снег.

Спасибо за письмо, т.е. за открыточку. Я ничего не знала о Жене. Это первое, что я получила о нем. А от вас жду письма.

Целую, Надя

1 декабря [1963] Псков

Люленька милая!

Спасибо за вашу открыточку с поздравлением. Я была тронута, что вы вспомнили. Сама я забыла. Долго вам не писала — весь ноябрь чего-то тосковала, не спала (бессонница не прошла), скучаю. Потом приехали Ника *(Н.Н. Глен)* и Вигдорова, и я немножко утешилась. Но они мелькнули и исчезли. Скоро я опять взбешусь. От работы я устаю. Больше в Псков, вероятно, не поеду. Только и думаю, как бы закончить год. Из девяти месяцев прошло 2, т. е. сделано 2/9; а из десяти — 3; т. е. 3/10... Поэтому считаю втрое (ср. 20/90 и 27/90)... А результат один...

Целую вас крепко.
Не забывайте меня. Привет мальчикам и Володе
(В.М. Пионткевичу).
Н.М.

3 апреля [1964, Псков]

Люленька! Я обрадовалась, получив Вашу славную открыточку, где сказано про старых друзей, которые лучше, каждый — новых двух. Но меня огорчило, что Вы хвораете и в какой-то тревоге.

Я тоже хочу Вас видеть и очень здесь тоскую. Больше я в Псков не вернусь. Жаль последних лет жизни, чтобы их так бессмысленно тратить.

Знаете ли Вы, что Моссовет разрешил мне прописку в Москве, но еще есть десять инстанций, которые могут все же меня в Москву не пустить...

Мне очень хотелось бы пожить последние годы среди своих близких. И в этом настроении — тоски по старым и настоящим друзьям, я получила Вашу открытку, и мне тоже остро захотелось увидеть вас и поговорить с вами.

Не думайте о Мировых <так!> проблемах и ждите моего приезда. Учебный год кончается. Большой нагрузки мне осталось всего шесть недель. Потом экзамены и какие-то лекционные доработки... Со второй половины мая я буду занята по 6—8 часов в неделю, и, вероятно, к середине июня свободна. Здесь уже знают, что на будущий год я не останусь.

Целую вас крепко.
Ваша Надя.

Привет мальчикам и Володе.

Очень, очень хочу вас видеть.

Напишите, что с вами. Как здоровье? Ваше письмо встревожило меня. Не молчите, Люленька.

14 апреля [1964] Псков

Люлечка!

Поздравляю и целую двойную бабушку *(В 1959 г. у В.Ж. Аренса родилась дочь, в 1964 г. у А.Ж. Аренса — сын.)*. Или это бабушка в квадрате? Передайте мои поздравления Алехе. Он, наверное, очень милый отец.

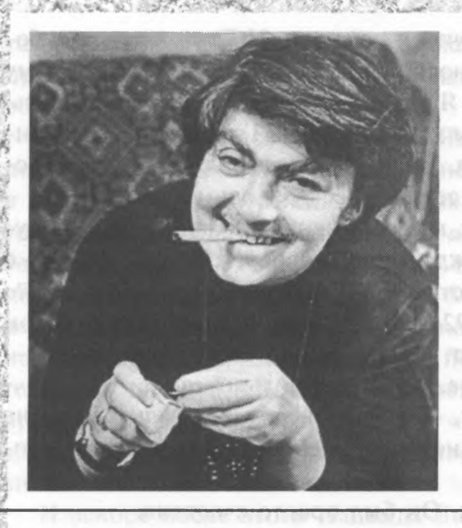
Если Лена *(Е.К. Осмеркина)* с ее оптимизмом думает, что мое дело с Москвой сорвалось, значит, уже есть отказ. Хлопочет, конечно, не Варя *(В.В. Шкловская-Корди)*. Там какие-то писатели действуют, вполне видные. Но вы могли уже убедиться, со

мной не так просто... Ну и черт с ним. Я всегда знала, что это не так просто, и общих надежд не разделяла.

Здесь мне сейчас очень трудно: устала, хочу на волю. Больше не вернусь. Внешняя обстановка вполне сносная — можно было бы продолжать работать. Но дело во мне. Я рвусь в Тарусу, как говорится на том языке, которому я обучаю: «больше, чем по одной причине». Два месяца, которые я еще должна работать, кажутся мне вечностью. Я не верю, что вернусь живой. Так девочка когда-то в Чите, присланная после окончания института преподавать, плакалась: «Я отсюда живой не вернусь».

Мне страшно приятно, Люленька, что вы меня вспомнили и так славно написали. Очень захотелось вас видеть. Не забывайте.

Надя



Вита Ильинична Гельштейн

В середине 60-х годов в круг близких друзей Н.Я. Мандельштам входят **Гдаль Григорьевич и Вита Ильинична Гельштейн** — потомственные врачи, люди, далекие от профессиональной литературы, но не от русской культуры и истории. Не случайно эпизод из жизни Гдаля Гельштейна Надежда Яковлевна ввела во Вторую книгу своих воспоминаний, укрыв его имя под инициалами Г.Г.Г. (с. 409—411).

Наша беседа с Витой Ильиничной состоялась в феврале 2001 года, когда Гдаля Григорьевича уже не было в живых. Почти двадцать лет знакомства с Надеждой Яковлевной... Воспоминания толпятся, набегают друг на друга. Как разнести их во времени? Запись так похожа на документальный кинематограф, где каждый сюжет — короткая законченная новелла. Память своевольно перемешала их, стерла даты и все же «сохранила все движения голоса, отзвучавшего» два десятилетия назад. Ведь, помимо законов Времени, существуют не менее могущественные законы Мнемозины.

Мой Гдаль очень любил Маяковского, с томом Маяковского он прошел всю войну, а Мандельштама до знакомства с На-

деждой Яковлевной мы почти и не знали. И Гдаль все время боялся спросить, как она относится к Маяковскому. Уж очень ему хотелось, чтобы Надежда Яковлевна о нем хорошо отозвалась. И вот как-то мы приходим к ней, и Гдаль Григорьевич спрашивает: «Надежда Яковлевна, какое Ваше отношение к Маяковскому?» А она: «Ну, я Вам сейчас расскажу один эпизод:

У меня был туберкулез, и Оська меня отправил в Ялту. Я гуляла по Ялте, и вот однажды иду по набережной и флиртую с каким-то морячком. Навстречу — Маяковский. *(Эта встреча могла произойти летом 1928 или 1929 года.)* Здороваемся. А он подходит ко мне и говорит: «Надя, можно Вас на минуточку, — я отошла. — Надя, бросьте. Осе будет больно».

Вообще, — сказала она, — жалко мне его. Он ведь был очень и очень талантлив. Такой нежный, прекрасный поэт. А эти сволочи его...».

Я посмотрела на Гдаля. Он был просто счастлив.

Ахматова... Надежда Яковлевна никогда не пыталась даже как-то отдаленно ставить себя рядом. Она всегда знала, что был вот «Оська» и была Анна Андреевна. Она их не делила, не счи-



В.И. и Г.Г. Гельштейн. Фото Э. Гладкова. 1970-е гг.

тала, скажем, что «Оська» более талантлив или наоборот. Она просто воспринимала их одним целым. Это я поняла из разговоров с ней.

Мы познакомились с Надеждой Яковлевной в самый благополучный в бытовом отношении период ее жизни. Она уже жила в Москве, на Черемушкинской. Как-то она читала лекцию в университете о Мандельштаме *(речь идет о вечере памяти Мандельштама в МГУ 13 мая 1965 г.)*, и к ней подошел выдающийся математик нашего времени Израиль Моисеевич Гельфанд: «Надежда Яковлевна, я хочу с Вами познакомиться поближе. Можно к Вам прийти в гости?» Она так посмотрела: «Ну, приходите». И он пришел. «Надежда Яковлевна, Вы кашляете, я Вам пришлю очень хорошего врача». — «Не нужны мне эти Ваши врачи». Тем не менее Гельфанд привел к ней Гдаля Григорьевича.

И вскоре после этого Надежда Яковлевна уже забыла, что Гдаль врач, она просто относилась к нему как к другу. Мы обычно приходили к ней раз в неделю. Часто вместе с нашими друзьями математиком Зорей Яковлевной Шапиро и биологами Юрием Марковичем и Линой Наумовной Васильевыми. Вообще в доме Надежды Яковлевны собирались люди, не только причастные к литературе и искусству, но и самых разных специальностей. Например, приходил биолог Александр Борисов с женой и двумя девочками-близнецами. Впоследствии он принял сан священника.

Человек Надежда Яковлевна была очень верный в дружбе. И вот что удивительно. Она всегда чувствовала неискренность людей, какую-то корысть или фальшь, и этого она не прощала. К сожалению, в конце жизни ей это чувство порой изменяло. Причем люди приходили к ней очень разные. Ежедневно у нее бывало человек 10—15. Она лежала. Она всю жизнь лежала. Лежала и писала. Около нее всегда кто-то сидел, и она вела с ним какую-то беседу. Иногда выходила на кухню и садилась на свой диванчик из карельской березы. Помню, в ее доме было очень много сухих цветов. Когда приносили цветы, она их потом не выбрасывала, держала подолгу-подолгу. Гдаль говорил ей: «Надежда Яковлевна, Вам надо ходить». — «Я и хожу — от кровати и до ванной. Я очень люблю ванну». И ей все приносили — тогда была эта пена гедээровская — «Будузан» — в виде

уточек, рыбок, всяких там фигурок... Их у Надежды Яковлевны было много. Она по несколько раз в день принимала ванну.

Она всегда все дарила. Я Вам скажу, что когда она какой-нибудь гонорар получала, у нее весь он расходился в течение очень короткого срока. Не знаю, то ли это советская черта, то ли общечеловеческая, но эта «нищенка-подруга» никогда не стремилась ни к какому достатку. У нее, как и у Мандельштама, все было в творчестве.

Вдруг она посылает в магазин кого-то из своих девушек: «Купите мне шарфы!» И ей притащили такие красивые, яркие, цветные, длинные-длинные шарфы. И всякого, кто к ней приходил, она ими одаривала.

У Надежды Яковлевны был фонд, ящичек такой, где люди оставляли деньги на посылки заключенным. Кстати, не только политическим. И все, кто к ней приходил (а люди-то так отбирались, что тех, которые жадничали, в доме почти не бывало), какую-то сумму туда опускал. Причем иногда в квартире Надежды Яковлевны появлялись люди совершенно необыкновенные, ну, из этих мест... И она тут же спрашивала у своих друзей, что у кого есть из вещей. И ей приносили там всякие пальто, костюмы... Это делалось для всех, а не только для тех, которые гремели на весь Союз. Причем что это был за человек и за что он сидел, ей, по-моему, не было дела. Она просто сочувствовала ему. Это было сострадание и понимание. Она знала, что такое плохо, и запомнила это на всю жизнь. И поэтому все деньги, которые она получала, она немедленно старалась раздать.

После того, как посадили Синявского (недавно Маша *(М.В. Розанова, жена А. Синявского)* в каком-то интервью сказала: «Я никогда не просила милостыню. Я думала, как ему помочь. Когда его посадили, он мне сказал: «Не забудь отдать такому-то десятку». Я ответила: «За меня не волнуйся. Я заработаю»), Маша организовала группу людей, она ведь сама искусствовед, и они делали очень красивые ювелирные вещи, бижутерию всякую. И продавали. Надежда Яковлевна об этом знала. И вот приближается ее день рождения, и мы ее спрашиваем: «Надежда Яковлевна, что Вам подарить?» Она смешно так ответила: «Я очень люблю кольца. И вы мне, пожалуйста, подарите кольцо. Но только обязательно купите его у Маши. По-

тому что только Маша делает кольца так, как я люблю». Ну, купили мы ей это кольцо. Потом приходим. «Надежда Яковлевна, а где же кольцо?» — «Ну, неважно... Я его подарила». Или так. Вдруг говорит нам: «Я очень люблю бусы»...

А было вот что. К ней постоянно приходили какие-то девушки молодые. И видно было, что бедные. Она им: «Примерьте, пожалуйста, эти бусы. О, они Вам очень идут!» Потом: «Пожалуйста, возьмите их себе». Но все понимали, что это не просто бусы, но и память от Надежды Яковлевны.

Так что все у нее раздавалось, раздавалось и раздавалось...

Пировали мы у нее на кухне чудно. Конечно, в холодильнике иногда бывало пусто, но это абсолютно никого не смущало, потому что все приходили и что-нибудь приносили. А иногда после ее очередного гонорара в холодильнике вдруг оказывались джин с тоником, артишоки и чудесные анчоусы. Кто поскромнее, тот, конечно, не брал, кто понахальнее, тот угощался. Иногда Надежда Яковлевна говорила: «Гдальчик, разрешите мне рюмочку». А Гдаль вообще был либеральнейший доктор: «Ну, Надежда Яковлевна, немножко». Но, по-моему, она вообще не пила, так, рюмочку...

На той же кухне часто велись самые что ни на есть антисоветские разговоры: ругали КГБ, обсуждали аресты, высылку писателей, художников... Помню, Надежда Яковлевна, слушая все это, говорила: «Не трогайте Лёлика *(Брежнева)*. Вы ведь живете в вегетарианское время. Что бы с вами было во времена, которые выпали на нашу с Осей долю!»

Очень долго к ней ходил Шаламов. Но тот ведь очень болен был. Причем Надежда Яковлевна всегда так корректно ему старалась помочь. Он жил неподалеку от нас, и она подстраивала так, чтобы когда приходил Шаламов, мы в этот день у нее были. Но совершенно не для того, чтобы участвовать в разговорах. Шаламов вообще был молчалив и неразговорчив. С нами он, по-моему, никогда никаких слов не произносил. Дело было в том, что обратно мы брали такси и всегда подвозили его домой.

У меня сложилось впечатление, что Надежда Яковлевна мало интересовалась новой литературой. Она ведь жила Мандельштамом, и современная литературная жизнь ее занимала мало.

Из тогдашних «модных» поэтов я часто встречала в ее доме Беллу Ахмадулину. Я не помню, чтобы они говорили о стихах. Думаю, Надежде Яковлевне просто импонировали ее смелость и независимость.

А однажды — это была ее реакция на государственный антисемитизм — она вдруг заявила: «Я уезжаю в Израиль!» Но надо сказать, что в ее окружение входила одна замечательная женщина — Наталья Ивановна Столярова, и она сказала: «Никуда Вы, Надежда Яковлевна, не поедете».

О. Александр Мень очень часто у нее бывал. Гдаль мой с ним много разговаривал. Он очень хорошо знал Библию (кстати, Библию ему подарила Надежда Яковлевна) и задавал Меню всякие вопросы. Как верующие относятся к тому-то, как к тому-то? А о. Александр улыбался и так поучительно ему говорил: «Гдаль Григорьевич, верующие не спрашивают, они веруют». О. Александр Мень очень многим помогал. Его приход ведь так заботился о Надежде Яковлевне.

Весь разговор у Надежды Яковлевны был только об Осипе Эмильевиче. Он назывался «Оська». Она очень подробно рассказывала нам о Чердыни, о Воронеже... Очень любила Наташу *(Н.Е. Штемпель)*. Наташа ведь часто приезжала. Одно я могу сказать, многие люди, которых любила Надежда Яковлевна, у нас с Гдалем вызывали огромную симпатию. А Наташа ее была такая скромная, уютная, домашняя. И так она заботилась о Надежде Яковлевне, помогала ей, чем могла.

Однажды приходим. Надежда Яковлевна лежит на простыне с какими-то дивными узорами коричневыми. Говорит (это вообще же театр): «Правда, я красиво выгляжу?» — «Очень». — «Это подарок от Набокова».

Помню, приходила к ней жена Хемингуэя *(Марта Геллхорн)*. Молодая дама. Красивая. В джинсовом костюме.

Но что она пронесла через всю жизнь, что и до нас дошло — это ревность. К Марии Петровых. Хотя, судя по всему (мы потом читали ее стихи), она была прекрасная женщина. Вот к Ахматовой у Надежды Яковлевны никакой ревности не было. А дружба с ней была великая.

Преподаватель Надежда Яковлевна была потрясающий. Однажды мне нужно было сделать доклад на какой-то международной конференции. Конференция была без перевода, только по-английски. Читать я умею, а говорить было ужасно страшно. И я попросила Надежду Яковлевну, чтобы она мне помогла. Записала свое выступление на пленочку, и она так методично, так педантично мне все выправила. В общем, видно было, что это настоящий преподаватель. Все ударения, все обороты мне поставила. Я потом пришла к ней. «Как, Виточка, прошел Ваш доклад?» — «Прекрасно, Надежда Яковлевна, благодаря Вам».

К детям она относилась с удивительной нежностью. Очевидно, жизнь ее была такая, что страшно было заводить детей. Очень любила детей Евгения Борисовича Пастернака, да и наших с Гдалем тоже...

У Надежды Яковлевны не было никакого злоязычия. Нет. Но вот имени Горького она не могла слышать: «Снохач!» Но язык был острый, конечно, подчас одно ее слово было приговором.

Сначала у Надежды Яковлевны был застарелый бронхит. С сердцем же ничего особенного не было. Потом, по-видимому, от того, что она лежала, прозевали у нее инфаркт. Это было года за три до смерти. Гдаль ей сделал очередную кардиограмму и увидел, что она перенесла инфаркт. Тут он заставил ее принимать лекарства. Но она, между прочим, была очень недисциплинированным больным. Потом и с легкими стало плохо. Последнее время, по-видимому, была сильная сердечная недостаточность — последствия нелеченого инфаркта. Но у меня сложилось такое впечатление, что в самые последние годы у нее пропадал интерес к жизни. Только Оська, Оська... Она говорила: «Я все сделала. Я в этой жизни все уже сделала».

И вот что, это уже из последних встреч. То ли это действительно было, то ли ей привиделось, но она мне говорила, что ходила ночью вокруг дома, искала Осю и звала его. Последнее время она очень часто возвращалась к мысли, что Ося зовет ее и ждет.



Михаил Давыдович Вольпин

Время «частых» приходов Н.Я. Мандельштам к Ахматовой на Ордынку, о котором в декабре 1975 г. в беседе с Дувакиным вспоминает **Михаил Давыдович Вольпин** (драматург, сценарист) можно приблизительно датировать периодом с 1964 (год выхода Надежды Яковлевны на пенсию и получения ею московской прописки) по 1966 (год смерти Ахматовой). Присутствовавший при этих встречах Вольпин отмечает некоторое дистанцирование Ахматовой от Надежды Яковлевны, объясняя это тем, что «Надежда Яковлевна, в своем крайнем увлечении собственным покойным супругом, немножко наносила ей *(Ахматовой)* <...> раны: дескать, не она главная». Это наблюдение Вольпина отчасти подтверждается следующей записью Надежды Яковлевны Мандельштам: «В Москве же мы никуда вместе не ходили *(Ордынка была для Ахматовой не «гостями», а московским домом)*. Причин этому было много, а главное — она при мне не могла разыгрывать даму, боялась встретить мой насмешливый взгляд. А кроме того, ей хотелось быть в центре внимания, а в последние годы она боялась, как бы ей не пришлось разделять это внимание со мной» (Из воспоминаний // Воспоминания об Анне Ахматовой, с. 320). На языке Льва Николае-

вича Гумилева такая манера поведения называлась «королевиться». «Мама, не королевься», — говорил он в подобных случаях. Склонность к такому поведению в старости знала за собой и Надежда Яковлевна, и поэтому неоднократно просила близких, в частности, В.В. Шкловскую-Корди: «...Если я буду себя вести, как Анна Андреевна, скажите мне». По свидетельству Н.В. Панченко, Варвара Викторовна неизменно отвечала: «Надечка, я скажу, но вы мне не поверите».

Беседу ведет В.Д. Дувакин

<...> К Анне Андреевне очень часто ходила Надежда...

...Яковлевна Мандельштам.

Яковлевна, да. Я должен сказать, очень часто, и обычно уволакивала...

Энергичная женщина!

...Анну Андреевну в маленькую комнату, которая той принадлежала у Ардовых, и там они долго шушукались. И Анна Андреевна не любила этих... посещений. Они ее тяготили. Я это говорю с полной уверенностью, потому что она мне об этом говорила. Потому что она любила, как я Вам говорил, сидеть за столом, ей нравился тот тон, который мы задавали. <...> И если она могла позавидовать горестям Пастернака, то, Вы понимаете, она не могла уж очень наслаждаться бесконечными совершенно, так сказать... вдовьими жалобами или, я там не знаю, творчеством вдовьим по поводу Мандельштама. Ну, должность вдовы и есть должность вдовы, я ее не осуждаю нисколько за это.

Но она Мандельштаму была очень близка — Анна Андреевна.

Я понимаю, но она с Пастернаком была еще ближе, но ведь если бы люди говорили при ней только о Пастернаке, ей бы делалось скучно. Это свойственно вообще большинству крупных людей, но особенно, понимаете, если этим занимается вдова, вся жизнь которой вошла в один фокус только — Мандельштама, наверно, с большим количеством бестактностей по отношению к собеседнику (надо же осознать, что ты говоришь с поэтом, и даже когда Вы его ругаете, это можно делать нарочито, как вот мы это себе позволяли, понимаете: ну, я — идиот, Анна Андреевна, а кто знает, а может, и Вы уж не такой уж гений... — ну, так ведь, шутя немножко). Нельзя просто игнори-

ровать. Я боюсь, что Надежда Яковлевна, в своем *крайнем* увлечении собственным покойным супругом, немножко наносила ей, так сказать, раны: дескать, не она главная. А у нее свои были основания считать, что главная страдалица, может быть, она. И тут она высказала тоже как-то: во-первых, просила по возможности не давать Надежде Яковлевне уводить ее, за что я в ее воспоминаниях и отмечен как болтун и...

В воспоминаниях Надежды Яковлевны?

Да, она об Эрдмане сочувственно, а обо мне — что уж очень я разговорчив и что... — там с некоторой неприязнью *(Мандельштам Н.Я. Воспоминания, с. 389)*. Я, действительно, сбивал ее с этой темы все время — в данном случае по просьбе Ахматовой... Мы сидим за столом, стоит вино, она не пьет, и она обязательно — ей нужно опять что-то, и очень важное...

...ей передать, и она ведет ее в эту маленькую комнатку. Я знаю эту комнатку.

Вот. Я как-то, желая Анне Андреевне немножко подыграть, рассказал такой эпизод: что однажды — совершенно не помню, на чьей квартире — был мне незнакомый Мандельштам, с которым меня познакомили, и очень близкий мне Олеша. Это 30-й год. Сразу после коллективизации, голод, я очень много общался с широкими массами в то время (*усмехаясь*) на вокзалах и не убегал от всего этого ужаса. Бегал по знакомым поэтам и прозаикам, говорил: как так можно жить спокойно и так довольно, когда так плохо? Надо помогать людям. Я не имел в виду политических, меня возмущало их удивительное безразличие просто. Я не имел даже в виду, что, может быть, надо посылать кому-то, что какие-то отчислять... а — помогать: вот на вокзалах — нищие страшные были, которые просто просили помощи. И Олеша, и Мандельштам, значит... Мандельштам со мной познакомился и, узнав, что я поэт крокодильский, сказал, что он меня читал, что ему очень нравятся эти стихи, но — «я тоже очень люблю сатирические и комические сочинения, и у меня даже есть. Хотите прочту?» Я сказал, что мне это чрезвычайно интересно.

Сатирические и комические? Мандельштам?

Да. И он мне прочел такое стихотворение:

Я мужчина — иностранец,
Я мужчина — лесбиянец,
На Лесбосе я возрос,
О, Лесбос, Лесбос, Лесбос.

«Хорошо?» Я говорю: «Прекрасно!»

Вообще — хорошо. (*Смеются.*)

Вот игра слов: лесбиянец — мужчина. Действительно, может быть мужчина-лесбиянец, если он возрос на Лесбосе. Я посмеялся и сказал, что могу порекомендовать его редактору «Крокодила» как очень обещающего молодого автора. Ну, посмеялись, все было нормально, я уже был не такой юноша, мне было уже 28 лет.

Ах, это, значит...

Тридцатый год. После этого я перешел к жалобам на равнодушие писательское к окружающим. И вдруг Мандельштам, подняв высоко голову, как он умел (у него петушиный сразу вид делался), сказал мне: «Ну, знаете, Вы не замечаете бронзового профиля Истории!» А Олеша подхватил и стал говорить: «Ты («Ты» или «Вы» мы говорили? «Вы» все-таки) — Вы выдергиваете из матраца, где случайно несколько дыр, всю морскую эту траву, лохматите его, совершенно не понимая, что вообще-то можно поставить заплату... но матрас-то прекрасен! На нем можно...» — что-то такое. Позиция мне эта показалась очень...

...неприятной.

Нет.

Может быть, он Вас за стукача принял?

Нет! Нет! Нет, нет... Слушайте: все...

30-й год!

...все быстренько шло... Это опять была попытка найти, наконец, карты: другие же вот... — то же, что с Пастернаком, абсолютно то же самое! Пожалуй, в этом неповинна одна Анна Андреевна, если мы разберем биографии крупных поэтов. Но, может быть, и нужно поэту искать общий язык в какие-то времена, нельзя же все время только быть внутри каким-то ненавистником. *(Н.Я. Мандельштам считает конец тридцатого — начало тридцать первого года временем освобождения Мандельштама «от гипноза, пережитого всей страной» и «идеологической пропаганды на высшем уровне: это последние расстрелы и последние бедствия, чтобы потом никогда не было ни расстрелов, ни бедствий...» (Вторая книга, с. 187, 218).)*

<...>

<...> И однажды... я ее втянул в грязную игру. Я ей сказал: «Анна Андреевна, на каком месте... кто, по-вашему... Ну вот

на каком месте в русском писательском мире, во всем, включая Пушкина, допустим, Ратгауз какой-нибудь, если это стихи, и Аверченко или Борис Зайцев, если это проза?» — «Ну, я не знаю! Зачем я буду в эту яму глядеть?! В эту черную яму», — сказала она.

<...>

Я говорю: «А вот давайте проверим, я начерчу пирамиду ступенчатую. Первая ступень, вторая ступень, — и...». Я начертил 10 ступенек. — «Теперь давайте ставить поэтов, они Вам ближе. На верхнюю ступень кого ставим?» Она берет карандаш и говорит: «Нет, эта ступень у Вас неправильно нарисована». И она подняла ее не как ступень, а как пьедестал, и поставила там одного Пушкина. Про вторую ступень она сказала: «Она мне узка», — и поставила там Лермонтова, Тютчева, может быть, Баратынского, Маяковского, и уж, во всяком случае, на третьей ступени у нее уже были и Некрасов, и очень многие.

Ну что ж, очень объективно.

Очень объективно! Это игра объективная, и она заинтересовалась. И тогда вышло, что уже на пятой ступени некого ставить! Если человек известен, то он уже там будет, понимаете? Очень много народу на каждой ступени, их надо широко рисовать. И тогда выходит, что Ратгауз вовсе не в яме, а где-то даже рядом с приятными ей людьми, ну, с Курочкиным, может быть, ну, там пониже Курочкина, — я не знаю. Во всяком случае, с теми, кто ей даже мил... Надо только честно играть. Если играть нечестно, то это бессмысленно. Честно... то, что личные пристрастия оставим. Ну, как Вам кажется. Все-таки на какой ступени он стоит? Она очень удивилась, и стали пробовать прозу, и все получилось так же: Аверченко оказывался где-то сверху на пятой ступеньке, понимаете? Да еще одним из первых, так сказать, его вспоминаешь, потому что...

Пятую ступеньку можно было на пятую, шестую и седьмую разбить, вероятно.

Ну, это очень трудно ей! Я говорил: «Ну вот Вы, Анна Андреевна, Вы не специалист, который будет копаться уже...» Ведь ей казалось, что я ее заставляю так — она любила очень слово «смрадный» — «в смрадную яму смотреть». А ничего не смрадная яма — эти маленькие писатели...

Они делали литературу!

Это точка зрения Булгакова как раз была, что мы мало любим и мало изучаем средних русских писателей. А они и есть литература, а это — пики. Это умная, очень толковая позиция.

Интересно, на какую же ступеньку был поставлен Пастернак, на третью?

На третью, на третью.

А себя она не поместила?

Нет, этого мы не делали, обговорили.

Ну, что ж, очень тоже интересно. Я бы, конечно, все-таки, пожалуй, — хотя я и очень люблю Пушкина...

Вы бы Лермонтова поставили рядом, да?

Лермонтова и Маяковского — поставил бы рядом всех трех.

Видите, я так обрадовался, что она Маяковского на вторую поставила... — это великая вещь! С Лермонтовым, Тютчевым!

Я, пожалуй, не думал, что так. Я сейчас очень много читаю о Пушкине. Вообще, конечно, трудно: его просто, действительно, пушкинисты уж очень заездили. Но, пожалуй, я, действительно, всех рядышком поставил: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Маяковский.

Нет, я с Анной Андреевной совершенно согласен. Я так обрадовался, когда она подняла этот... При всей моей влюбленности в Маяковского!

<...>

...Когда я ее спросил (после того как стало известно, что на вечер Евтушенки ломилось 25 тысяч человек): «Анна Андреевна, как по-вашему, Евтушенко — это Маяковский или Северянин?», она сказала: «Ну какой же он Северянин? Ну, Михаил Давыдыч...» (*усмехаясь*). Так низко она ставила Евтушенко.

Думаю, что это все-таки неправильно.

Я как раз, видите, как задал вопрос... Конечно, провокация тут была: к Маяковскому я его не подпущу за три квартала, но к Северянину подпущу вполне. А она, видите ли, — вот так...

Конечно.

Кстати, Пастернак очень высоко говорил о Северянине. Он с ним встретился за границей и очень нежно и хорошо говорил о нем.

Нет, Северянин — это настоящий поэт, а Евтушенко можно подпустить к... К Маяковскому, конечно, подпустить нельзя, но можно подпустить не только к Северянину, но, по-моему, даже отчасти к Есенину.

Ну, тут я опять с Вами... Я Есенина все-таки высоко ставлю <...> Совсем высоко. Кстати, она тоже. Есенина высоко мы поставили, но, может быть, т.е. безусловно, этажом ниже Маяковского.

А куда попал Мандельштам?

Мандельштам на третьей ступеньке был, на третьей.

А Марина? Интересно!

Вот как она ее! Она ее на вторую [протаскивала], я с ней пробовал... Я не пустил на вторую, я сказал: «Анна Андреевна, бросьте!» Я даже ей сказал: «Я Вас на вторую тогда поставлю. Вообще у нас все сломается, если Вы Марину поставите на вторую ступень. Я не согласен. Это не игра». У нее было пристрастие к Марине.



В.В. Шкловская-Корди, Никита Шкловский-Корди. Александровский сад. 1960-е гг.



Варвара Викторовна Шкловская-Корди

при участии Никиты Ефимовича Шкловского-Корди
и поэтов Николая Васильевича Панченко
и Нины Сергеевны Бялосинской

Беседа II

(ведут О. Фигурнова и М. Фигурнова)

Варвара Викторовна, Вам случалось наблюдать общение Надежды Яковлевны с отцом Александром Менем? Татьяна Александровна Осмеркина вспоминает, что Надежда Яковлевна старалась, по возможности, это знакомство хранить в тайне. Вы что-нибудь знаете об этом?

Ну, он вообще очаровательный был человек, потрясающий, отец Александр. И умница, и философ, и писатель — все попадали под его обаяние. Он многих крестил уже в почтенном возрасте. Интеллигенция ездила к нему в Новую Деревню *(подмосковную деревню, где в Храме Сретенья Господня с 1970 г. служил о. Александр Мень)*. И Наденька, действительно, с ним очень дружила, и он у нее бывал. Я помню диспут на кухне *(«Салон-кухня для элитарной публики» по определению Р. Орловой; Н. Бя-*

лосинская: «“Салон” — не то слово. Это было демократическое сообщество: академик Гельфанд, Аверинцев и Соня Смоляницкая с Таней Птушкиной, приведенные к Надежде Яковлевне о. Александром Менем») у Надежды Яковлевны между Львом Гумилевым и Менем. Ну, я в это время не то мыла посуду, не то готовила чай *(обращается к Н.С. Бялосинской),* Бялосинка, ты помнишь?

Н.В.П.: Я помню. И Бялосинка помнит. Они спорили по Ближнему Востоку. Оба были знатоки Ближнего Востока. Александр Мень, конечно, мыслил шире и глубже. Гумилев же больше знал светскую историю. Спор шел о дьяволе, и как к нему относиться.

Н.Е.Ш.-К.: Это была их первая встреча. Для Гумилева было достаточно неожиданным, что он встретил... такого человека. И он стрелял всякими своими знаниями, на которые находились более полные знания и более квалифицированный ответ. Он со всех сторон на отца Александра прыгал и обстреливал его — такое у меня было ощущение.

Н.В.П.: Да, да. Наконец Гумилев сказал, что, если дьявол действует, значит Бог попустительствует, потому что ни одного волоса с твоей головы не слетит без того, чтобы не было разрешения Бога. «Вот тут я с Вами согласен», — сказал Мень. Он не любил конфликтовать.

Н.С.Б.: Да, они очень изящно спорили.

Н.В.П.: Изящный был спор.

В.В.Ш.-К.: Но все-таки ощущение у всех было, что победил... отец Александр.

Н.В.П.: Это всем стало ясно, потому что он был абсолютно убедителен. Они говорили о Ближнем Востоке, как мы с вами можем говорить о наших близких. К тому же отец Александр — автор многих книг по Ближнему Востоку, он много цитировал, так что это был хороший разговор.

Н.Е.Ш.-К.: По-моему, Гумилев кончил все-таки тем, что сказал отцу Александру: «Ну, я не ожидал такого человека встретить. Но скажите же, что и Вы такого, как я, не ожидали».

(Все смеются)

Н.В.П.: Да-да. Мень ответил: «Конечно, конечно, ничья, по нулям».

А Надежда Яковлевна при сем присутствовала?

Н.В.П.: Присутствовала, сидела, но не...

Н.Е.Ш.-К.: ...участвовала.

Н.С.Б.: Все молчали.

Н.В.П.: Все молчали. Это был между ними разговор.

Н.С.Б.: Дуэль.

Н.В.П.: Отец Александр сидел в торце стола, и говорил с такой улыбкой, мягко так говорил...

В.В.Ш.-К.: Он вообще так разговаривал.

Варвара Викторовна, ведь Надежда Яковлевна была крещена в детстве, насколько я знаю.

Да, в православной вере.

То есть с отцом Александром Менем она общалась как с православным священником, а не только по человеческой приязни. А вы помните в доме у Надежды Яковлевны иконы?

Да, конечно. Они сейчас здесь. Она оставила их Николаю Васильевичу. И одну даже нам отец Александр подарил. Кто-то из его иконописцев написал икону «Николай и Варвара». Другой такой иконы вообще не существует.

Складень?

Нет, просто две фигуры. Ну, Никита очень с ним дружил, ездил к нему, крестился у него сам, лет 16—17 ему было. И отец Александр, кстати, считал (он очень современен был), что сейчас человек сам должен решать, надо ему принять православие или нет. Вот Нину Сергеевну он крестил. Ей было эдак... не знаю...

Н.С.Б.: Сорок девять.

В.В.Ш.-К.: Никита ее крестный отец. *(Все смеются.)* Мы все были большими поклонниками отца Александра.

Варвара Викторовна, в эти же годы, как из воздуха, возникает идея квартиры для Надежды Яковлевны, которая так и не материализовалась (57-й, кажется, год). Московской квартиры на двоих — для Надежды Яковлевны и Ахматовой. Это целый сюжет.

Ну, это так было обещано Сурковым, потому что как-то надо было замаливать грехи крокодилам. Я не думаю, не знаю — не взорвалась ли бы эта квартира от такого соседства, хотя они очень дружили. Но просто... хотя бы от количества гостей, которые ходили и туда, и сюда. Это все было обещано, а потом... похерено, тем более, что у Анны Андреевны была такая сложность — ей тогда пришлось бы выписываться от Пуниных, и их могли как-то потеснить. Времена были суровые еще. Считали

метры. В общем, Анна Андреевна не захотела никого травмировать, и так это все повисло.

(Из письма А.А. Ахматовой к Н.Я. Мандельштам от 12 июля 1957 г.: «Дорогая Надюша, очень хочу жить с Вами в Москве, лишь бы сохранился мой дом в Ленинграде» (Анна Ахматова. Сочинения в 2-х томах. Т. 2, с. 227); И.Н. Пунина: «За ее [Ахматовой] *отделение от нас очень ратовала Надежда Яковлевна Мандельштам, которая хотела жить вместе с Анной Андреевной.* [Телеграммы Н.Я. Мандельштам к А.А. Ахматовой. 19 июля 1957 г.: *«Сурков предлагает передать ленинградскую квартиру Ире* [И.Н. Пуниной] *звоните вечером Б-19-1-85 Надя»;* 22 июля 1957 г.: *«Квартиру получим ноябре закрепив ленинградскую <...>» (Письма Н.Я. Мандельштам к А.А. Ахматовой, с. 104).*] *Анна Андреевна давала ей какие-то обещания, но в последний момент, когда нужно было окончательно решить, вдруг всегда отказывалась уезжать от нас. Причем иногда бывали страшные... ситуации. ...Надежда Яковлевна шлет Анне Андреевне из Москвы телеграмму, что предоставляют «нам с вами» комнату в Москве, срочно ответьте. Анна Андреевна заставляет меня звонить Надежде Яковлевне и сказать, что она отказывается <...> «Нет. Я не буду с Надей. Что она придумала?» («Под кровлей Фонтанного Дома...» // Анна Ахматова и Фонтанный Дом / Н.И. Попова, О.Е. Рубинчик. — СПб, 2000. — С. 154). Впоследствии Ахматова говорила: «...Наша с Надей совместная жизнь в Ташкенте доказала, что жить нам вместе не следует. Я не дала согласия, и вот из-за меня Надя получила квартиру с опозданием: только теперь* [речь идет о 1965 годе]. *Наконец-то! Я счастлива» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 3, с. 304).)*

По письмам Надежды Яковлевны *(Письма Н.Я. Мандельштам к А.А. Ахматовой // «В этой жизни меня удержала только вера в Вас и Осю...» // Литературное обозрение. — 1991. — № 1. — С. 98—99)* **я поняла, что она была воодушевлена очень этой идеей и какое-то время жила ею.**

Ну, конечно. Она жила на одной ноге, и после того, как вышла на пенсию...

Какой это, кстати, год?

Ну, это был 64-й год, наверное, точно я не помню *(из письма Н.Я. Мандельштам к А.А. Ахматовой от 12 апреля 1964 г.: «Работать я больше не буду. Зачем? Денег остается мало, потому что жизнь на таких началах (когда работаешь и нет ничего похожего*

на благоустроенный быт) стоит дороже, чем если сидеть в Тарусе» (Там же, с. 103).) Она жила в Тарусе. *(В осенне-зимний сезон 1959—1960 гг. Н.Я. Мандельштам жила в тарусском доме Е.М. Голышевой (ул. 1-я Садовая, 2), прописанная там как домработница (sic!). Позднее она снимала несколько комнат в доме П. Степиной. «Вдова Осипа Мандельштама живет в Тарусе на горе в маленьком трехоконном домике* [ул. Карла Либкнехта, д. 29]. *Она занимает три комнаты (а хозяйка — одну). Я спросил у А.С. Эфрон* [дочери Марины Цветаевой] *— зачем ей, одинокой старухе, три комнаты? — Потому что у нее всю жизнь не было ни одной...» (Гладков А. «Я не признаю историю без подробностей...», с. 547).)* Конечно, ей нужен был дом в Москве, потому что когда в деревенской избе *(у П. Степиной)* просыпаешься, там +4, и пока не затопишь печку, довольно холодно, особенно человеку немолодому. А у нас в Лаврухе у нее была только маленькая комната за кухней.

Варвара Викторовна, а перед своей московской квартирой в Черемушках Надежда Яковлевна была прописана у вас?

Да, конечно. Как дальняя родственница.

А в каком году вам удалось ее прописать?

Вы знаете, мы этим занимались 11 лет.

Н.В.П.: В этом участвовала и Фрида Вигдорова, и Рая Орлова, две женщины такие боевые были. *(Н.Я. Мандельштам: «Хлопоты о моей прописке начались по инициативе Раи Орловой, когда я была в Тарусе или Пскове. В это дело моментально включилась Фрида Вигдорова. У Фриды в таких делах была мертвая хватка. <...> Она включила в хлопоты Симонова, Маршака, Ахматову, Эренбурга и толпу других людей» (Третья книга, с. 118). В сентябре 1962 г. Л.К. Чуковская фиксирует в своем дневнике: «Она* [Ахматова] *сейчас одержима заботами о прописке Н.Я. и, по-видимому, ради этих хлопот и приехала в Москву. «Укажите мне, в чьи ноги бросаться, и я брошусь»» (Записки об Анне Ахматовой, Т. 2, с. 520). Ср. со следующими строками из записей Ахматовой 1963 г.: «Кого просить, куда бежать // Кому валиться в ноги» (Записные книжки Анны Ахматовой (1958—1966). — М.— Torino, 1996. — С. 330).)*

В.В.Ш.-К.: Помню, как мы были с Аркадием Васильевым у Ильина — это генерал КГБ, который заведовал писателями — неплохой человек, кстати говоря, — и вот они выясняли, кто же выгнал, кто выписал Надежду Яковлевну. Она же не была

арестована, не была выслана. Она просто поехала с Осипом Эмильевичем.

И московская квартира была в результате потеряна? Или Надежда Яковлевна потом продала ее, как пишет Герштейн, и прописалась в Калинине?

Нет. Квартиру занял кагэбешник *(Костарев Н.К.)*, сперва одну комнату, а потом и другую, так что она осталась без квартиры *(Н.Я. Мандельштам: «После моего отъезда в мае* [1937 г.] *в Воронеж Костарев навел порядок и приготовился к встрече: уже оформив постоянную прописку* [в квартире Мандельштамов], *он выписал меня <...> Наша квартира была кооперативной, <...> по закону мы были собственниками <...>, но уже подготовлялся новый закон, отменявший все права кооперативных застройщиков <...> Появился он едва ли не в конце 38-го года» (Воспоминания, с. 338). Из письма Н.Я. Мандельштам к А. Суркову от 7.02.1959: «Из меня сделали новый вариант гоголевской унтер-офицерской вдовы, которая в 1938 г. добровольно бросила московскую квартиру и пошла бездомничать по всему Советскому Союзу» (Третья книга, с. 305).*) И вот 11 лет — как-то я запомнила такую цифру — мы писали разные бумаги. Когда нам отказывали, мы писали следующую. Я помню разговор этих двух генералов — Аркадия Васильева (тоже кагэбешника, он был мобилизован в литературу, писал, значит) и Ильина. Они очень радостно говорили, что, дескать, «не мы выгнали». Почему это не они выгнали, я не совсем понимаю. Но как-то вину с себя сняли. Кто же еще ее тогда мог выгнать? Ну, сама уехала...

...за мужем.

Да, за мужем, как декабристка. *(А. Ахматова: «Ведь Надя не просто жена, она жена-декабристка. Никто ее не ссылал и вообще не преследовал. Она сама поехала за мужем в ссылку» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2, с. 520).)*

И в шестьдесят четвертом году вам удалось сделать ей прописку?

Да — да, конечно! Уже после того, как реабилитировали Осипа Эмильевича. *(31 июля 1956 г. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда СССР было закрыто лишь второе (1938 года) дело О. Мандельштама — «прекращено производством за отсутствием состава преступления». Полная реабилитация Мандельштама состоялась только 28 октября 1987 г.)*

А потом — Черемушки?

Масса народу этим занималась. *(Н.Я. Мандельштам: «Следующая эпопея — квартира. Здесь действовала Наташа С<толярова> через своих друзей. <...> Тысячи бумажных дел, связанных с квартирой <...> проделал Коля* [Н.В. Панченко], *тряся бородой и поражая чиновников своим чудным голосом»; «Среди всех писем о моей квартире и праве на поликлинику самое неистовое было Паустовского» (Третья книга, с. 118, 119).)* В Черемушках у нее была в 9-этажном, по-моему, блочном доме, на первом этаже такая паршивая однокомнатная квартира *(с 1965 г. по адресу Большая Черемушкинская ул., д. 14, корпус 1, кв. 4)*: 20-метровая комната и большая кухня. Это спасение было, конечно. Кухня метров 12, на которой все и клубились *(М. Поливанов: «Гостей было всегда много — четыре-пять человек каждый день. Как-то моя жена* [Анастасия Александровна] *спросила ее: «Надежда Яковлевна, как Вы выдерживаете такое количество людей?» Она ответила: «Если бы Вы пожили как я, когда в течение 20 лет я вообще никого не видела, Вы бы не задали такого вопроса» (Юность, с. 35).)*, а Наденька лежала в соседней комнате и кого-нибудь принимала для беседы из гостей.

Там с телефоном какая-то странность была. Телефон работал в одну сторону?

По-моему, это в первое время так было. Первоначально дали телефон, который работал как телефон-автомат, то есть она могла позвонить, если линия свободна. Это довольно распространено было. Наденька даже находила, что это удобно, потому что она могла позвонить, кому угодно, и всегда говорила очень коротко...

Интересно.

Никакой болтовни по телефону не было. Короткий деловой разговор. Так что в этом была своя прелесть. Но потом это по мере застройки ликвидировалось. Черемушки — это же большое капустное поле, которое застроили.

Но в воздухе все равно как-то эта капуста под асфальтом чувствуется.

Да, конечно. Я там работала в Акустическом институте. Это было капустное поле с речкой, на которой стоял охотничий домик какого-то графа. Потом эта речка превратилась в ручеек, и невежливо так его засыпали. А он им показал.

Варвара Викторовна, еще хочется спросить у вас о воронежском друге Мандельштамов — Наталье Евгеньевне Штемпель.

Да, с Наташей мы были знакомы. Я ее много раз видела у Наденьки — и когда Надя жила у нас, и в Черемушках. Но достаточно того, что она, уходя из горящего Воронежа, хромая (она очень сильно хромала от перенесенного костного туберкулеза, у Мандельштама это есть в стихах), унесла переписку Осипа Эмильевича с Надеждой Яковлевной.

А вы знаете, что она *не* унесла? Она не унесла письма Осипа Эмильевича к ней самой, потому как в первую очередь старалась сохранить то, что ей не принадлежало, о чем люди могли потом спросить. На вопрос Немировского, что это были за письма, Наталья Евгеньевна ответить отказалась, сославшись на неразборчивый почерк Мандельштама. И всё — как руками закрыла. Вот это пропало.

Это очень благородно с ее стороны. В отличие от товарища Кузина, господина Кузина...

Варвара Викторовна, какие, на Ваш взгляд, были отношения между Натальей Евгеньевной и Надеждой Яковлевной?

Очень дружеские, очень серьезные, очень... *(Из письма Н.Я. Мандельштам к Б. Кузину от 16.07.1940: «У меня к ней* [Н.Е. Штемпель] *очень особое отношение. Ося ее любил. Я никогда не любила его женщин, а Наташу люблю. Она много дала доброты и какой-то женской глубины и нежности, эта совсем простая, тихая Наташа. И Ося говорил, что весь его последний период стихов вынесли на плечах Наташа и я» (Кузин Б. Воспоминания... с. 626).)*

Я вглядываюсь в фотографии Натальи Евгеньевны... они все очень плохие по качеству. А так хотелось поймать это ее мягкое свечение. Люди ведь его чувствовали.

Ну, в какой-то мере, наверное, Осип Эмильевич ее такой сделал, потому что она появилась у них 20-летней *(в 1936 г. Н. Штемпель было 26 лет)* провинциальной барышней.

Это на всю жизнь... ей... Такое наследство ее опалило...

У нас вся жизнь была такая. Все обуглившиеся. *(Н.Я. Мандельштам: «Все мы так или иначе — убитые, но среди нас есть и недобитые. Я одна из них» (Третья книга, с. 91).)* Или как бабочки, которых потерли пальцами неосторожно и сняли пыльцу. Поэтому и не летаем больше.

Варвара Викторовна, в первой, да и во второй книге воспоминаний Надежда Яковлевна несколько раз говорит: жить настолько невозможно, что нужно из жизни уйти, но... Это очень твердая, выстраданная ею позиция, не разделяемая Осипом Эмильевичем.

Нет, по-моему...

Именно так — невозможно больше... Она несколько раз предлагала Осипу Эмильевичу этот выход, и всякий раз он отвечал: «Я не готов». А потом...

...потом у нее было занятие. Она же помнила стихи Осипа Эмильевича двадцать лет, самые страшные... *(Из писем Н.Я. Мандельштам к Б. Кузину — от 16.07.1940: «...ведь я столько болела — и сыпняк, и дизентерия; а все суждено жить, и память единственное, что есть. И каждое утро все сначала и все одно и то же. Весь последний цикл* [Воронежские стихи] *каждый день <...> в глазах, в ушах» (Кузин Б. Воспоминания.., с. 627); от 10.11.1946: «Кроме стихов, ничему не верю» (Там же, с. 744).)*

Как вы хорошо сказали — занятие.

А как же! Уже помирать было нельзя. Она не имела права. Ей необходимо было сохранить стихи, а для этого надо было чем-то кормиться. Она кончила университет экстерном *(в 1946 г. в Ташкенте)*. Она знала языки. И написала две диссертации...

Одну зарезали.

Ахманова зарезала в университете, потому что была там заведующей кафедрой... английского языка. Но Надя написала вторую.

А это же — время...

Ну, конечно. Как сейчас помню: «Винительный падеж в древнегерманском языке» — ее вторая диссертация *(«Функции винительного падежа по материалам англосаксонских поэтических памятников». Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. — Л., 1956)*. Я ее отдала Юре Фрейдину, чтобы лежала в архиве. Она очень хороший, кстати, была преподаватель.

Многие говорят — совершенно гениальный. *(В. Берестов: «В кожанке, носатая, энергичная, с вечной папиросой во рту, похожая на нестарую и все же добрую Бабу-Ягу <...> «Ну, вундеркинды проклятые! Поэтов из вас не выйдет. Но я обязана заниматься с вами, иначе карточек на хлеб и зарплаты мне не дадут. Но получать это зря я не хочу. Пусть от меня вам будет польза. Кем бы вы ни стали, иностранный язык вам не помешает. Какой язык вы хотите изучать?»*

Мы поглядели на нее с обожанием. Вот это учительница!» (Мандельштамовские чтения в Ташкенте во время войны // «Отдай меня, Воронеж...», с. 335).

Да. Я просто видела людей, которые к ней приезжали. Она их гоняла, потому что считала, что это ерунда все... Она к этому не относилась так серьезно. Говорила: «Мы выпускаем Бог знает что (она грубее выражалась — «говно»). А уж что они там выпустят!».

В Ташкенте на своем первом уроке английского *(в Центральном доме художественного воспитания детей (ЦДХВД))* **Надежда Яковлевна сказала: «Чтобы усвоить английское произношение, надо на время потерять всякое целомудрие... лайте, блейте, шипите».**

Потерять всякий стыд.

Да.

Она и Никиту немножко учила английскому и говорила, что трудно со своими заниматься, потому что сердишься на них больше.

Варвара Викторовна, а что это была за идея Надежды Яковлевны в семидесятые годы уехать в Париж?

Это была идея Хенкина *(Кирилл Хенкин, репатриант, бывший сотрудник НКВД, переводчик, в начале семидесятых — отказник. Эмигрировал из СССР в 1974 г.).* Хенкин решил поехать не только с собакой, но и вывезти какую-нибудь ценность: например, хорошенькую жену, похожую на холодильник, одетый в беличью шубу... И он очень уговаривал Надежду Яковлевну. Мы говорим: «Наденька, но у Вас столько друзей здесь. Мы все так Вас любим. Ну, вот вы приедете в ту же Англию...». «Но у меня там тоже есть друзья», — отвечала она. Я говорила: «Ну, конечно, у вас двое друзей в Англии, в разных городах, трое в Америке, и сколько-то во Франции». Но они очень ее соблазняли. Мы понимали, что это все-таки с их стороны... такое... корыстное было приглашение. И Коля, по-моему, съездил к Столяровой, Наталье Ивановне, женщине очень решительной, которая сама много лет жила в Париже, и она чуть ли не поехала в ОВИР и не взяла визу Надежды Яковлевны назад. Какой-то у них был крутой разговор, после чего все затихло. Так это было.

Надежда Яковлевна тогда всё повторяла: «Поставлю раскладушку посреди Парижа, больше мне ничего не надо». Но ведь Париж ее раскладушки так и не увидел?

Нет, это все так, рассосалось...

Она не жалела?

Нет, нет. Это был так, каприз, когда она стала уже знаменитой, к ней ездили иностранцы, и вдруг ей показалось, что можно и это попробовать. Но она уже была довольно стара, так что затея не состоялась. *(Н.Я. Мандельштам: «Он* [отец] *умер, не увидев Акрополя. А ему так хотелось <...> В Грецию не попаду и я. И в Англию я тоже не попаду, хотя очень бы хотела увидеть «this little plot of land». От приглашения в гости в Oxford мне пришлось отказаться. А вдруг бы не пустили обратно <...> Так что я умру без Оксфорда и Акрополя» (Третья книга, с. 86).)*

Слава Богу, что нет.

Конечно. Вон, Харджиев уехал... *(Николай Харджиев эмигрировал из России в 1993 г. в возрасте 90 лет.)*

О Харджиеве... Это 67 год, когда происходит разрыв с Харджиевым. *(В 1957 г. Н.Я. Мандельштам передала Н.И. Харджиеву часть архива О. Мандельштама для подготовки мандельштамовского тома в серии «Библиотека поэта». В процессе работы над книгой у Надежды Яковлевны и Харджиева возникли друг к другу серьезные претензии, закончившиеся разрывом отношений. М. Поливанов: «...Все, что происходило вокруг издания (вернее не издания) Мандельштама, завершившегося только в 1973 г. выходом жалкой книжечки, где он был оболган в предисловии и обкорнан до неузнаваемости в самих стихах, — рождало в ней* [Н.Я. Мандельштам] *жгучее раздражение и становилось «точкой безумия»» (Юность, с. 35).)* **Кто-то мне говорил, что в последние годы при нем нельзя было даже упоминать имя Надежды Яковлевны...**

А Наденька ссорилась всегда всерьез. Харджиев был учеником моего отца. Такой типичный архивный юноша... Кстати, он из-за меня чуть не помер, потому что я его в свои три года (ему тогда было лет 25) заразила корью, и он уехал в Питер, а там решили, что это сыпняк, и его положили в сыпнотифозный барак. И он чуть там не загнулся. Ну так вот, Харджиев... Мама очень была против того, чтобы Харджиев редактировал Мандельштама. *(В 1959 г. книга была поставлена в издательский план. Вышла только в 1973 г.)* Мудрая женщина, она говорила: «Наденька, Харджиев сумасшедший. Не надо ему поручать составление книги». И надо вам сказать, сколько я архивных юношей ни вижу, им всем интереснее то, что они про это думают, чем собственно сам...

...материал.

Да. Он во многих случаях включал в книгу не основной вариант. У Мандельштама же были десятки вариантов, он одно стихотворение носил в зубах две недели. Конечно, это было свинство, что говорить. Харджиев прекрасно читал стихи, он с нами дружил со всеми, но был сумасшедший. Что делать? Сумасшедших же много. Я спросила однажды Юру Фрейдина: есть ли норма? (Тогда совали инакомыслящих: мы — в свои сумасшедшие дома, американцы — в свои.) Он сказал: «Троечник. Унылый троечник». Так что получается, что всякий талантливый и способный человек — сумасшедший.

Николай Васильевич, расскажите о Вашем визите к Ахматовой, когда она читала Вам свои стихи.

Н.В.П.: Ну, визитов было много. Первый раз меня направила к Анне Андреевне на Ордынку Надечка, просто, чтоб меня показать. Поскольку я Варечкин муж, а Варечку они обе любили. *(Письмо Н.Я. Мандельштам к А.А. Ахматовой от 1961 г.: «Анюша! Надпишите «лягушку» моему приятелю Николаю Васильевичу Панченко. Это он инициатор Тарусского сборника...» (Письма Н.Я. Мандельштам к А.А. Ахматовой, с. 101).)* Анна Андреевна была не очень здорова. День был жаркий, она лежала под простыней на кровати, а на стене ее силуэт повторял Модильяни.

Это шестидесятые годы?

Н.В.П.: Это был 61 год. Она попросила меня почитать стихи. Я прочел. Она сказала: «Если хотите, я Вам почитаю свое». Это были стихи о Комарове *(«Приморский сонет»)*. Я люблю ее как поэта. Хорошие, точные стихи. А потом попросила: «Поищите там белую книжку». У нее было три вида обложек в издании малой серии «Библиотеки поэта» *(Ахматова А.А. Стихотворения, 1909—1960. — М., 1961)*: белая, черная и зеленая. Белая — это по самому высокому классу, черная — по второму, а зеленая — «лягушка», как она говорила, — уже что осталось. Я поискал. Белую не нашел и говорю: «Здесь только черная и зеленая». — «Ну, дайте черную». И надписала: «Николаю Панченко на дружбу — хоть такую». В своем стихотворении *(«Стихи о несовершенном мгновении»)* я написал, что получил в подарок «лягушку». Я не считал, что тяну на черную или белую.

Она расспрашивала меня про Тарусу, про «Тарусские страницы»...

Вы тогда занимались ими?

Да. Уже закончил. Спрашивала про бабушек наших, про то, какие поэты сейчас. Я сказал, что разные есть поэты, как и в Ваше, Анна Андреевна, время. Вот, скажем, неплохой поэт — Дезик Самойлов, но... мне не хочется его называть, а Булат не только поэт, но и исполнитель своих стихов, поскольку он удивительно музыкальный человек — вот его я очень люблю и готов всегда за него и постоять, и представить. Она сказала: «Будете в Ленинграде, привозите его ко мне». Ну и прошел год, не больше, как я оказался в Ленинграде. Булат в то время жил в гостинице «Астория», и мы с ним так договорились, что когда я приеду, он мне передаст номер, чтобы у меня не было хлопот. Из «Астории» я прямо набрал телефон Анны Андреевны: «Анна Андреевна, я сейчас к Вам приеду с Окуджавой». Он замахал руками: «Не могу, не могу. Боюсь! Коля, я боюсь!» Я опустил трубку. Она производила впечатление на молодых поэтов. Многие действительно ее боялись. *(Любопытно, что на рукописи юношеских стихов Ларисы Васильевой, переданных Ахматовой «на рецензию», Анна Андреевна начертала: «Ты меня не бойся. Меня не надо бояться» (устное свидетельство Л.Н. Васильевой); С.И. Богатырева вспоминает, как однажды в доме у Н.В. Кинд и И.Д. Рожанского молчание Ахматовой «парализовало» собравшихся в комнате гостей. «Открываю дверь кабинета и застаю сцену: на диване, легко опираясь о подушки ладонями, сидит Анна Андреевна. Вокруг нее огромное количество гостей, парализованных страхом и молчащих. Я присоединилась к ним» (устное свидетельство С. Богатыревой).)* Ведь вот Нина Сергеевна очень любила ее и имела возможность встретиться, но так и не решилась.

И я пришел к ней один. Она опять предложила: «Не почитаете ли стихи свои?» и поинтересовалась: «А где Булат?». Я ответил: «Анна Андреевна, он боится Вас». Тогда она позвала Пунину: «Ира, Ира, иди сюда! Коля, повторите! Сам Окуджава меня боится». Я подтвердил: «Боится». *(По свидетельству Н. Роскиной, знакомство Ахматовой с Окуджавой все же состоялось («Как будто прощаюсь снова...» // Воспоминания об Анне Ахматовой, с. 537).)*

Она тоже человек лежачий была, как и многие в том поколении. Еще она спросила: «Как Вам наш дом?». Я ответил: «Очень похож. (Я же представлял себе этот дом на Фонтанке). У меня с ним много эмоциональных связей из-за Вас, я не без трепета входил сюда, а вот Вас я не боюсь. Почему-то не боюсь».

Много было встреч. Однажды она меня позвала: «Колька!» Она редко меня так называла, обычно звала «Коля», это Надечка «Колька» всегда называла. «Колька, защитите эту дуреху (имелась в виду Эмма Герштейн) — у нее завелись какие-то соседи (у них две комнаты, а у нее одна), и они ей не дают жить. Пойдите и напугайте их *(запись Л.К. Чуковской от 20 мая 1962 г.: «Анна Андреевна вся с головой в деле Герштейн. Надо как-то (но как?) унять хулиганов в квартире* [Герштейн жила тогда в коммунальной квартире, где, по свидетельству Л. Чуковской, *«попахивало антисемитизмом и с утра и до вечера орало радио»*] *и хулиганов в «Октябре»* [имеется в виду № 5 журнала «Октябрь» за 1962 г., где подвергалась издевательской критике работа Герштейн «Вокруг гибели Пушкина» (Новый мир, 1962, № 2)]» *(Записки об Анне Ахматовой, т. 2, с. 487)).* Я сказал: «Анна Андреевна, ничего не стоит». А было мне тогда 37 лет, я мог напугать кого угодно. Ростом я был побольше, чем сейчас. Я сейчас утоптался. И килограммов во мне было так 120... Пришел я и говорю Эмме: «Только Вы ни во что не вмешивайтесь. Так, как будто Вы меня в первый раз видите — я на ваше объявление отозвался». И дальше разыграл Райкина. Зашел — и так грубо: «Ты где живешь-то?». Она отвечает: «Вот в этой комнате». Я открыл дверь: «Ну, что это за комната?! (Комната была небольшая.) А вот в этой кто живет?» — «В этой соседи». Толкнул ногой дверь: «Эта уже получше будет. А там чья?» — «Это тоже их». — «Подойдет. Смотреть не буду. А они-то где?» — «Они в кухне». Открыл кухню. «Это что, они?» — говорю. «Они». — «Так вот, мужики, собирайтесь (там два мужика сидели и женщина), переезжать скоро будем. Я найду вам комнату, конечно, не такую, мне такая самому нужна, но без крыши не останетесь». — «А это чего?», — спрашивают. «А того. Если вам нужна помощь, я приведу ребят с машиной, погрузим и увезем. Давно вы здесь живете?» — «Три месяца». — «Хватит, — говорю, — нажились. Пора и мне пожить как человеку». Мужики перепугались. «А пока, — сказал, — (у меня еще есть варианты, не вы одни), сидите тихо. А то на следующий день вышвырну на улицу вместе с вещами». Вот так, значит, я их шуганул. Эмма вышла вся розовая от возбуждения. С тех пор ее соседи вели себя совершенно идеально. А потом ей подвернулся случай получить квартиру вблизи поликлиники на Аэропорте. Вот такая была встреча.

Анна Андреевна к нам не раз приезжала. Она знала, что в нашем доме водки не бывает. И прямо от двери посылала Володю Корнилова за бутылкой. Это называлось «ахматовка» — бутылка, какая-нибудь колбаса или буженина *(запись А. Гладкова, присутствовавшего 20 июня 1964 г. на одной из таких «ахматовок» в доме Шкловских: «Звонит Анна Андреевна Ахматова и просит зайти за ней на Ордынку к Ардовым и привезти к Шкловским (где живет, как всегда, Надежда Яковлевна) <...> Анна Андреевна вина не пьет, а только водку, но сегодня она не хочет пить, и мы покупаем боржома, сыра, ветчины, шпротов и апельсинов. Образуется маленький пир. Еще горячая картошка и чай. Кроме нас еще... Василиса Шкловская, Варя, Панченко...» («Я не признаю историю без подробностей...», с. 563).)* . И мы так сидели: Анна Андреевна, Володя Корнилов, Ника Глен... Всем, кто пьет, наливали. Володя Корнилов выпить любил. Он брал две бутылки, а не одну — знал, что одной мало будет. Пила Анна Андреевна только водку. Никаких вин не признавала.

Вот это движение ее, кто-то вспоминал, Бродский, по-моему...

Н.В.П.: Да. Она пила по-мужски. «Ну что вы сосете, — говорила она Корнилову, — это же водка».

Анна Андреевна мне как-то по-человечески была очень симпатична, и я жалел (уже можно сейчас сказать), что мне не 70, а ей не 30. Она и в старости оставалась привлекательной. И эта привлекательность была не просто человеческая, а какая-то женская, и всегда располагала к тому, чтобы пришедший был джентльменом, чтобы он ухаживал, оказывал какое-то особое внимание...

Николай Васильевич, в шестидесятые годы, помимо Харджиева, от Надежды Яковлевны отходит еще ряд людей. Ивич, например...

Н.В.П.: Бывало, что она расходилась с людьми. Об отношениях с Ивичем я не знаю. Если и был разрыв, то не громкий. Громким был разрыв с Шаламовым. Потому что Шаламов, сын священника, отсидевший — атеист. А Надечка была верующая, и в конфликте между Шаламовым и Солженицыным приняла сторону Солженицына. И Шаламов однажды вот так руки над собой заломил (это болезнь была у него такая) и сказал: «Больше я в этот дом не приду». И не пришел. *(Переписка Н.Я. Мандельштам с В. Шаламовым опубликована в журнале «Знамя», 1992, № 2.)*

Был еще разрыв с Сашей Морозовым. Саша поддерживал Харджиева, он понимал, что тому иначе трудно будет выпустить книгу, а Надя говорила: «Тогда и не нужно выпускать». Некоторое время был этот разрыв. А жалко... А с Ивичем — не помню. Наверное, это был какой-то тихий разрыв.

Варвара Викторовна, я знаю, что в Черемушки Надежда Яковлевна купила старинную антикварную мебель и решила ее не реставрировать. Это была своего рода игра — как будто мебель эта досталась ей в наследство. Расскажите об этом.

Это была старая краснодерёвая мебель, которую делали крепостные. (Вот у нас такая мебель есть.) Она вышла из моды, и все купили себе...

Н.С.Б.: ...деревяшки:

— ...кто стенки, кто низкую мебель, светлую, а эту выкидывали. Тогда были большие комиссионные магазины...

Н.В.П.: ... так называемые «Клопы». «Где ты это взял?» — «А у "Клопе".»

В.В.Ш.-К.: Там можно было купить Бог знает что.

Н.В.П.: И все эти «Клопы» были наполнены прекрасной...

В.В.Ш.-К.: ...антикварной мебелью.

Какие это годы? Это шестьдесят... вот, наверное, это и есть 65-й год.

В.В.Ш.-К.: Да.

Н.С.Б.: Шведскую мебель там можно было купить с гармошками — такой письменный стол, бюро...

С крышкой?

В.В.Ш.-К.: Да-да.

Н.В.П.: И у Нади была такая... вбок отодвигалась крышка. Из планочек. И такой же диван в кухне стоял.

В.В.Ш.-К.: Красного дерева, и торчащая оттуда палка — кто-то, видно, так «реставрировал».

Н.Е.Ш.-К.: Все это было куплено за два — три дня. Юра *(Фрейдин)*, по-моему, ездил, она не сама покупала. *(Н.Я. Мандельштам: «Через три дня я въехала в дом, купив в один день нужную мне мебель» (Третья книга, с. 118).)*

Н.В.П.: Не помню, участвовал я в этом или нет, но Сима Маркиш с Хинкисом участвовали.

Н.Е.Ш.-К.: Она говорила, что купит ящик, и всё; и будет на нем спать. А в действительности получилось достаточно красиво. *(М. Поливанов: «В первый раз после ареста Мандельштама*

она оказалась у себя дома <...> На кухне кроме старых простых стола, табуреток, буфета и холодильника стоял старый ампирный диван красного дерева и висела замечательная среднеазиатская акварель Фалька. И часы с кукушкой, вечно останавливающиеся. В комнате, помимо кровати и платяного шкафа, помещался обыкновенный дешевый обеденный стол, на котором стопками лежали книги и папки и стояли сухие букеты цветов в банках <...> У кровати еще был столик с телефоном <...> и кресло (Юность, с. 35).)

В.В.Ш.-К.: А ведь это было поколение, которое в молодости презирало буржуазность. Они во всем этом родились, и всего этого не ценили. Поэтому и легко отвергли.

Н.В.П.: А я Надечке исправил гармошку от стола, наклеил на плотную мешковину, хорошую старую мешковину, чтобы она легко могла ходить. Потом что я еще сделал? Поскольку у Наденьки был первый этаж, я вот такое окно сделал, что его снимали и вместо него на ночь вставлялась пластмассовая решетка, чтобы воздух был.

В.В.Ш.-К.: Да, воздуха всегда не хватало. Душно было.

Н.В.П.: Еще божницу ей сделал. У нее стоял Спас, две иконки, в углу... лампадка красная...*(М. Поливанов: «Над кроватью на стене, как картины, висели в ряд несколько старинных икон, из которых мне особенно запомнилось «Вознесение пророка Илии на огненной колеснице». Немножко позже в красном углу на отдельной треугольной полочке появился образ Спасителя. Под ним иногда горела лампадка, и угол низкой комнаты закоптился до черноты» (Там же).»* Так вот потихоньку... Художники привозили картинки свои: и Вейсберг, и Биргер, и Фрадкина — так что картинками как-то еще украшали. Привозили разные интересные вещи, но Надечка почти все передаривала тут же... Вот у меня три иконы ее... не три, а четыре иконы. Две иконы от отца Александра — Матерь Божия. И потом у нас есть Николай и Варвара.

В.В.Ш.-К.: Но это наша общая.

Н.В.П.: Общая, да. Это от отца Александра. И три иконки от Надечки, уже после ее смерти переданные: Спас, Матерь Божия Казанская и еще маленькая Матерь Божия. Она, видимо, всегда с ней ездила... Вот эти три... И Николай. Причем эти три: Николай, Матерь Божия Казанская и Спас — это ей подарил владыка Иона, а она передарила их нам.

— Завещала, не подарила. Это уже Юра Фрейдин отдал тебе.

Давайте вернемся к отцу Александру Меню. Он был духовником Надежды Яковлевны?

Н.Е.Ш.-К.: Духовником. Она несколько лет жила у него на даче в Семхозе. *(о. Александр Мень: «Среди моих прихожан было немало глубоких и интересных людей <...> Н.Я. Мандельштам не только постоянно бывала в церкви, но и жила у меня дома в летние месяцы» (Культура и духовное восхождение. — М., 1992. — С. 780).)* Он ее принимал у себя.

В какие годы?

Н.В.П.: Где-то середина семидесятых.

В.В.Ш.-К.: Она, по-моему, там с Леной Крандиевской жила.

Н.В.П.: Это та Лена Крандиевская, которой Наденька подарила однокомнатную квартиру.

В это многие не верят. Расскажите.

Н.В.П.: Хороший человек, Лена. Она сейчас живет в Петербурге.

В.В.Ш.-К.: Потому что она вышла замуж в Петербург. Она тоже была младшей подружкой. Наденька из каких-то денег, которые получила, купила ей квартиру. До того та жила в коммуналке. Была страшная такая коммуналка.

Н.В.П.: Мама ее померла, и ей было там тоскливо. Я Лене замок вставлял. Я такой... вроде мужика — то попугать, то замок вставить.

Н.Е.Ш.-К.: Но Лена была этим явно поражена, очень стеснялась.

Значит, квартира — не легенда.

Н.В.П.: Нет, это не легенда. Это квартира, в которой я врезал замок.

В.В.Ш.-К.: Мы где-то прочли, что Симонов **купил** Наденьке квартиру. Но те деньги, которые он ей дал взаймы, она ему вернула. *(Н.Я. Мандельштам: «...Деньги на взнос* [1000 рублей] *мне дал взаймы Симонов через своего сына Алешу. До этого Симонов пытался достать для меня ссуду в Литфонде и даже поручился за возвращение этих денег, но писательские организации, как всегда, проявили железную волю и денег не дали» (Третья книга, с. 118).)*

Н.В.П.: Не он ей дал. Надя попросила у... Евгении Самойловны...

Кто это?

В.В.Ш.-К.: Первая жена Симонова — Ласкина...

Н.Е.Ш.-К.: Мать Алешки Симонова.

Н.В.П.: ...попросила Константина Симонова одолжить для нее деньги, потому что все мы были бедные, а надо было первый взнос сделать. Евгения Самойловна принесла их, и Надечка добросовестно, как только она получила какие-то деньги, тут же все отдала. *(Первую часть долга Надежда Яковлевна вернула в 1967 г. с гонорара за вышедшую в издательстве «Искусство» книгу Мандельштама «Разговор о Данте» (М., 1967). Н.Я. Мандельштам: «Я очень благодарна Симонову и должна сказать, что и первую половину он взял неохотно» (Вторая книга, с. 479).)*

В.В.Ш.-К.: Он пытался отказаться, но она сказала: «Не дождется».

Н.В.П.: Нет, она была девушка крутая.

В.В.Ш.-К.: То есть таким образом отпущения грехов она не давала.

Н.В.П.: Нет-нет.

Да, Варвара Викторовна, может быть, мы сейчас с вами еще что-то проясним... Вот эта вот квартира в Черемушках, в некотором роде чудо, — чьи это хлопоты?

Н.В.П.: Это хлопоты такие. Во-первых, все время билась лбом об стенку Фрида Вигдорова, но у нее не всегда получалось. Потом Анатолий Злобин, друг Симы Маркиша. Он был вроде такого правозащитника при Союзе писателей. И как-то раз Сима Маркиш спросил, не схожу ли я с Толей Злобиным в Моссовет, туда же, где он сейчас — на Тверскую. Надо было окончательно решить вопрос... с бумагой от Союза к генералу Серову, который должен был это дело разрешить. И вот мы пошли, и, к счастью... или уже много сделала Фрида, или он был смелый человек, но нам написали визу: «Разрешить».

В.В.Ш.-К.: Вообще, жизнь наша была полна чудес.

Я знаю еще одну боковую ветвь, которая, может быть, тоже сработала: Мария Сергеевна Петровых просила у умирающего Маршака содействия в этой квартирной эпопее.

Н.Е.Ш.-К.: Нет, около квартиры, по-моему, уже никаких особенных страстей не было.

Н.В.П.: Ну как нет?

Н.Е.Ш.-К.: Вот тогда, с Толей Злобиным...

В.В.Ш.-К.: ...тоже было чудо.

Н.В.П.: Это был первый этаж, никакого особого чуда. Но все равно, конечно, это чудо было.

В.В.Ш.-К.: 1000 на первый взнос дал Симонов. Остальное собрали по мелочи.

Н.В.П.: Еще был такой способ: если нужны были кому-то деньги (уезжал кто-то или ...), то ...

В.В.Ш.-К.: ...пускали шапку по кругу.

Н.В.П.: Лежала шапка у Нади на кухне... ушанка. И в эту шапку, кто сколько мог, столько и кидал: кто пятерку, кто десятку, кто четвертную, у кого сколько есть.

Надежда Яковлевна ведь в последние годы очень много денег раздавала?

Н.В.П. и В.В.Ш.-К..: Конечно, раздавала.

Н.В.П.: Она просто брала вас за шиворот и вела в «Березку».

Отец Михаил очень поставил это под сомнение.

— Как?! Мы все были одеты...

Н.В.П.: Я и сейчас могу переодеться во все надечкино. Кроме того...

(Все говорят разом, перебивая друг друга.)

— Были такие «мандельштамки» — маленькие дубленочки...

Н.Е.Ш.-К.: Она одевала толпу народа.

Н.В.П.: Подарила отцу Александру такую шапочку, которую мы потом называли «Абрам-царевич». — «Иван-царевич» — знаете?

В.В.Ш.-К.: С меховым...

Н.В.П.: ...верхом.

(Опять все вместе.)

В.В.Ш.-К.: Нет, она одевала бесконечно... К сожалению, все «Березки» были рассчитаны... простите, на шлюх, то есть купить там приличную вещь... обыкновенные туфли на низком каблуке было очень трудно. Не то это выбирали такого сорта люди, не то... они понимали, для кого это все закупается...

Н.В.П.: Она очень много дарила. И если вы несли Надечке что-то очень вам дорогое, то одна мечта была: успеть досидеть, пока она не передарит. Потому что она тут же забывала, что это вы ей подарили, и передаривала другому человеку прямо на ваших глазах. *(М. Поливанов: «Если ей приносили какие-нибудь подарки, Надежда Яковлевна немедленно передаривала их кому-нибудь» (Юность, с. 35).)*

В.В.Ш.-К.: И с иностранцев она снимала... *(Имеется в виду Мариолина Ронкале. Об этом эпизоде см. подробнее в беседе с А.Ж. Аренсом в наст. изд.)*

Н.Е.Ш.-К.: Нет, это потом уже была такая игра. А первые ее деньги — это был очень серьезный для Вас подарок и необходимый.

В.В.Ш.-К.: Однажды у нее сидела хемингуэйка — одна из жен Хемингуэя — Марта Геллхорн, по-моему... Она была его женой в Испании, поднималась с ним на Килиманджаро...

А в других странах — нет?

Нет. У него много было жен *(Э. Хемингуэй был женат 4 раза).* Я пришла (а я физик была, мне не полагалось вообще встречаться с иностранцами) — там сидит какая-то красивая (они все красивые были, потому что чистые лица, без морщин и прыщей) без возраста женщина, и с большим интересом смотрит на эту кухню, как мы друг друга кормим, обмениваемся книжками, потом бежим покупать ботинки, полуботинки такие страшные...

Н.В.П.: ...югославские...

В.В.Ш.-К.: ...на резиновой большой подошве... И она смотрела на нас и говорила: «Какие вы счастливые! Какие вы счастливые!». Я спросила: «Почему? Чему вы завидуете?». Ясно, что завидовать нечему. Она подумала и сказала: «Во-первых, у вас нет проблемы положительных эмоций. Вот вы купили эти ботинки...». Я сказала: «Но они же не промокают! У нас же грязно». Там были эти капустные поля. Можете себе представить... мы же не имели права прийти в резиновых сапогах на работу и там переодеться. Мы должны были изображать дам... ну, не дам, но, во всяком случае, благополучных советских женщин, утопая в грязи... «И потом, вот, мясо вы принесли...». Я говорю: «Но это же вырезка. Я сейчас ее зажарю для Наденьки». «Нет, я все понимаю, — она сказала, — но это же у нас все есть. И потом у вас такие теплые отношения. Я понимаю, что это потому что вы в тюрьме, у вас такие теплые отношения, и что когда положение изменится, вы разбежитесь. Но как без этого плохо!». Так что позавидовала. А Наде она сказала: «Почему у вас так любят этого болтуна?» (Про Хемингуэя — с презрением). Она сама известный прозаик.

А сама Надежда Яковлевна так и осталась к одежде безразлична?

Н.В.П.: Да, она ходила в такой же «мандельштамке», как всем дарила.

В.В.Ш.-К.: В халате...

Н.В.П.: В халате... Поскольку она курила и курила лежа, халат весь прожженный был, вот один такой у Бялосинки есть до сих пор.

В.В.Ш.-К.: А другой у меня. Все это передавалось.

Н.Е.Ш.-К. *(обращаясь к Н.С. Бялосинской)*: У тебя действительно есть наденькин халат?

Н.С.Б.: Да. Конечно. И не только халат. Но она мне сделала бесценный подарок. У нее было четыре или пять картин замечательного художника Владимира Вейсберга. Надежда Яковлевна с ним дружила. Очень высоко его ценила. *(См. оценку Н.Я. Мандельштам творчества Вейсберга в записи Р. Орловой: «Вейсберг — лучший художник в нашей стране» (Вызволяя себя из прошлого, с. 69).)* Он бывал у нее и подарил ей свои картины 60-х годов, когда он писал белым на белом или, как он это называл, «невидимая живопись». Надежда Яковлевна ими очень дорожила. Они висели так, что она могла видеть их всегда со своей постели. Но в последние месяцы... Она, видимо, беспокоилась о судьбе этих полотен. И стала их раздаривать. И одну из них, «Девять колонн», подарила мне. Другую — Кате Шкловской-Корди, Никитиной жене, художнице, ученице Вейсберга, третью — Катиным родителям Надежде Мировой и Лазарю Лазареву, четвертую — Юре Фрейдину и пятую Тане Птушкиной. Все это близкие Надежде Яковлевне люди и почитатели Вейсберга. И она могла быть спокойна за судьбу этих картин. Теперь, когда я подолгу не живу в Москве, я отдала свою картину Кате. Пусть две живут вместе.

Н.В.П.: Она такой безбытной, в общем-то, всю жизнь была. Вот и отец Сергей Желудков, который тоже приходил к ней, говорил: «Мне жутко много дарят».

Н.С.Б.: Его спрашивали: «Как вы живете?».

Н.В.П.: А он отвечал: «Мне жутко много дарят». И Надечка вот «жутко много дарила». *(М. Поливанов: «Она очень любила делать подарки и совсем не любила владеть вещами» (Юность, с. 35).)* Конечно, если бы она все это оставляла у себя, ходить было бы просто негде.

Н.С.Б.: Раньше, когда они с Осипом Эмильевичем приезжали, им помогали разные люди. И теперь она хотела это другим отдать. *(М. Поливанов: «Когда она стала получать гонорары за свои книги, то все их раздавала. Она очень радовалась, что, нищенка и побирушка по обстоятельствам своей жизни, она теперь может делать подарки и помогать деньгами друзьям» (Там же).)*

В.В.Ш.-К.: Да, она понимала, как без пальто холодно.

Надежда Яковлевна вспоминала, как они с Осипом Эмильевичем приходили в Ваш дом, и домработница даже в отсутствие хозяев их всегда кормила.

В.В.Ш.-К.: Конечно. Если родителей не было, мы тут же напускали ванну, вытаскивали родительское белье для Нади и для Осипа Эмильевича, и кормили, конечно.

То есть это был такой дом, где всегда кормили...

В.В.Ш.-К.: Вы знаете, мы никогда не пытались удивить едой, а только накормить, чтобы была большая котлета... Лев Гумилев вспоминал всю жизнь, какие у Шкловских большие котлеты. Дают столько, сколько можешь съесть. Он запомнил эти котлеты. Голодных было много. Голодных кормили. И естественно, Осипа Эмильевича и Наденьку...

Надо сказать, что домработницы-то какие были! Домработницы были тоже бежавшие — из деревни от раскулачивания. Вот у нас жили две сестры: одна была нянькой, другая — кухаркой. Эта такая была жизнь. Не было отношений господ и прислуги.

Н.В.П.: Они были в семье.

В.В.Ш.-К.: Это потом пришли домработницы, которые стеснялись своего положения, это уже когда Никита был. Они выдавали хозяйских детей за своих. Пусть будут дети нагулянные, то есть безотцовщина — лишь бы не признаться, что ты нянька. Но это уже следующее поколение. А там была нормальная жизнь.

Н.В.П.: Василиса Георгиевна их учила грамоте.

В.В.Ш.-К.: Арифметике...

Н.В.П.: Она вообще была... с педагогическим таким уклоном.

В.В.Ш.-К.: Потом они уходили куда-нибудь на фабрику... в повара...

А некоторые, я знаю, так и оставались в семьях... до глубокой старости.

Н.Е.Ш.-К.: К маме все время приходила за разными справками бывшая домработница, у которой были какие-то конфликты то с сыном, то еще с кем-то. Она приходила всегда к «бабе Люсе», и Василиса Георгиевна садилась и разбиралась с ней в ее проблемах.

В.В.Ш.-К.: Надо сказать, что, действительно, в ту пору женщины, прибежавшие из деревни в 30-м году (в мое раннее детство), не умели ни читать, ни писать, ни считать. Они были со-

вершенно неприспособленными... И с тех пор, по-моему, в нашей жизни все занимаются не своим делом. Потому что мужики стали водопроводчиками...

Н.В.П.: ...которым бы хлеб растить. Те же, которые остались в деревнях, его не растили и продолжают не растить.

В.В.Ш.-К.: Потому что они были голытьба.

Н.В.П.: Поля зарастали. И возникли эти бесчисленные березняки, которых не так уж много было в России.

Надежда Яковлевна умерла в 1980 году, зная, что в этой стране человек редко может быть спокоен за свою посмертную судьбу. Так, об ахматовских похоронах она сказала: «В этой стране человек не может умереть спокойно». Вспомните, пожалуйста, похороны Надежды Яковлевны.

В.В.Ш.-К.: Они боялись хоронить ее на своих кладбищах.

Н.В.П.: Приезжали, хотели увезти в легковушке без гроба. И тогда схватились все и не пустили. *(Факт, подтвержденный, в частности, воспоминаниями Н.Е. Штемпель: «На другой день, 30 декабря, явились пять человек, трое в штатском и два человека в форме и заявили, что должны увезти умершую в морг <...> и согласно советскому законодательству опечатать квартиру на шесть месяцев. Они хотели вынуть Надежду Яковлевну из гроба, так как в их машину он не помещался. Но присутствовавшие категорически воспротивились этому. Представители власти были вынуждены уехать» (Памяти Н.Я. Мандельштам // Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже, 1992, с. 79), а также воспоминаниями В.И. Лашковой в наст. изд.)*

Просто кольцом встали?

Н.В.П.: Да, и не пустили. Там коридорчик маленький, надо было действовать дубинками, но на это они не пошли.

В.В.Ш.-К.: Да, да. Анну Андреевну, тоже так... воровски... увезли из Москвы...

Н.С.Б.: ...как Пушкина.

Н.В.П.: Потом приехали уже с гробом... *(Р. Орлова: «Ее арестовали <...> 30 декабря 1980 г., посмертно. Увезли тело и опечатали квартиру» (Вызволяя себя из прошлого, с. 64); М. Поливанов: «На другой день после ее смерти явилась милиция и потребовала немедленно «освободить помещение», которое они обязаны были опечатать» (Юность, с. 35).)*

В.В.Ш.-К.: Но нас всех выставили. Не разрешили никому остаться на ночь.

Н.В.П.: Нет, оставались. Кто-то остался. Потом квартира была опечатана, ее распечатали через определенное время... Это уже следующий этап.

Значит, ничего не пропало? Архив?

Н.Е.Ш.-К.: Нет.

Н.В.П.: Архив — нет. И птицу кто-то унес. Была железная птица, которую Осип Эмильевич всегда возил с собой.

Она еще в Воронеже жила.

В.В.Ш.-К.: Мы ее унесли, да.

Н.Е.Ш.-К.: Она у Юры Фрейдина сейчас?

Н.В.П.: Да.

В.В.Ш.-К.: Это единственная вещь, которую держал в руках Осип Эмильевич.

Н.В.П.: Да, да. И тот самый пледик, которым накрыли Надечку.

В.В.Ш.-К.: Да.

Есть у нас паутинка шотландского старого пледа.
Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру...

(«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...»)

Были ли сложности с отпеванием?

Н.В.П.: С отпеванием — нет. Отпевали в церкви Богородицы...*(Знамения Божьей Матери в Аксиньине 2 января 1981 г.)* там, за Речным вокзалом. Рядом с ней лежала женщина... (как будто Судьба сказала), Анна лежала рядом, с таким немножко оплывшим лицом. Народу было много. Большинство людей не вошли, был забит весь церковный вход. И когда мы выносили гроб (я рад был, что могу его нести), то справа и слева от нас стояла плотно друг к другу толпа людей, а мы пели «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». *(Н.Е. Штемпель: «За высоко поднятым гробом шли сотни людей и пели «Святый Боже...» У меня возникло ощущение, что мы не только провожаем Надежду Яковлевну, но и отдаем дань памяти Осипу Эмильевичу... Я никогда не видела более торжественного погребения» (Памяти Н.Я. Мандельштам // Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже, с. 81).)* Вот, значит, шли и пели до машины. Потом фотография появилась в журнале «Христианский вестник» *(Вестник русского христианского движения. — Париж, 1981. — № 133. — С. 146)*, и мне мой сосед (а он хажи-

вал к секретарю СП СССР Верченко) сказал: «А ведь журнал с твоей фотографией лежит у Верченко на столе. Что ты ему скажешь, если он тебя вызовет?». Я ответил: «То, что тебе сказал, — хоронил друга, так, как хотел бы, чтобы похоронили меня».

И Надежду Яковлевну закрыли кусочком того легендарного пледа... Так все и было?

Н.В.П.: Все один к одному. Потом, когда машина въехала на кладбище *(Старо-Кунцевское)*, на повороте стояли люди в штатском (они нас все время сопровождали). Мы повернули, и по узкой тропинке в снегу несли наденькин гроб с этим же пением.

Это была внезапная смерть или Надежда Яковлевна болела какое-то время?

Н.В.П.: Она слабела, короче были ее встречи, чувствовалось, что силы ее оставляют. Мы уже не оставляли ее одну. Дежурили по очереди *(Н.Е. Штемпель: «В начале декабря 1980 г. хороший знакомый Надежды Яковлевны <...> врач-кардиолог* [Гдаль Григорьевич Гельштейн] *запретил ей вставать с постели <...> Юра Фрейдин... составил график круглосуточного дежурства, включив в него всех ее друзей и знакомых» (Памяти Н.Я. Мандельштам // Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже, с.76).)* В тот момент, когда она умерла *(29 декабря 1980 г.)*, при ней оказалась Вера Лашкова *(Н.Е. Штемпель: «В два часа ночи 29 декабря 1980 г. начался полубред. Надежда Яковлевна спросила Веру, почему в комнате шумит машина. Вера ответила: «Машины никакой нет». «Кошки», — сказала Надежда Яковлевна. — «И кошек нет».— «Здесь, в груди», — показала она на свою грудь. Потом сказала: «В России голод», — и повторила еще два раза: «Россия, Россия».— «Молитесь, Надежда Яковлевна», — посоветовала Вера. — «Да ты не бойся». Это были ее последние слова» (Там же, с. 78). О последних часах Надежды Яковлевны см. также беседу с В.И. Лашковой в наст. изд.)* А мне позвонила Наташа Столярова, Наталья Ивановна: «Коля, умерла Наденька». Я молчу и не знаю, что сказать. И она молчит.

Она очень худа была?

Н.В.П.: Она очень, очень была исхудавшей... Но продолжала шутить, продолжала быть озорной. Говорила: «Мне советуют, чтобы я ходила в два раза больше, чем хочу. Я так и хожу. Хочется мне в сортир, а когда назад возвращаюсь – уже не хочется». *(Н.Е. Штемпель: «Мне рассказывали, что во время ночно-*

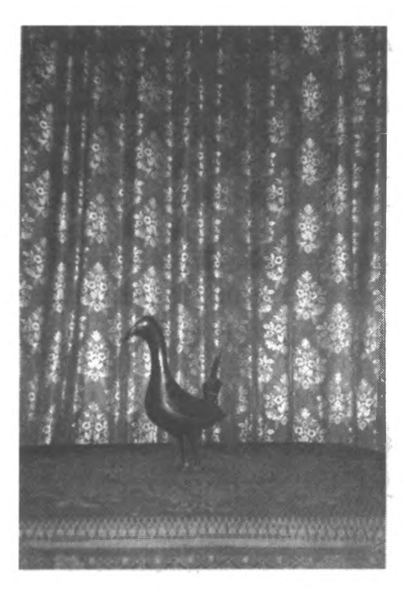
го дежурства одной милой женщины Надежда Яковлевна, видя, что она волнуется, улыбаясь сказала: «Вы не беспокойтесь, я такой подлости не сделаю — в Ваше дежурство не умру» (Там же, с. 78).)

Кто-то сказал о ней, по-моему С. Клычков, а потом и Василиса Георгиевна: «Надя умная женщина и глупая (у Василисы Георгиевны — балованная и вздорная) девчонка». Вот так про нее говорили...

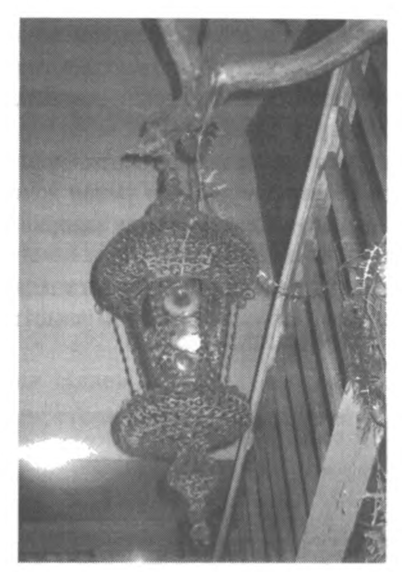
— Это Клычков и мама говорили о молодой Наденьке. Хорошо, что уже тогда они заметили, что она умная.



Варвара Викторовна Шкловская-Корди
и Николай Васильевич Панченко со спаниэлем Алей.
Переделкино. 2001 г. Фото Д. Радзишевского



Медная птица, которую
О.Э. и Н.Я. Мандельштам
привезли из Армении
(коллекция Ю.Л. Фрейдина).
Фото Д. Радзишевского



Венецианский фонарь,
принадлежавший
В.Б. Шкловскому (коллекция
В.В. Шкловской-Корди).
Фото Д. Радзишевского



А.А. Ахматова и М. Ардов на Ордынке. Осень 1965 г.
Один из последних снимков Ахматовой. Архив М.В. Ардова

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
имени А. И. ГЕРЦЕНА

Кафедра английской филологии

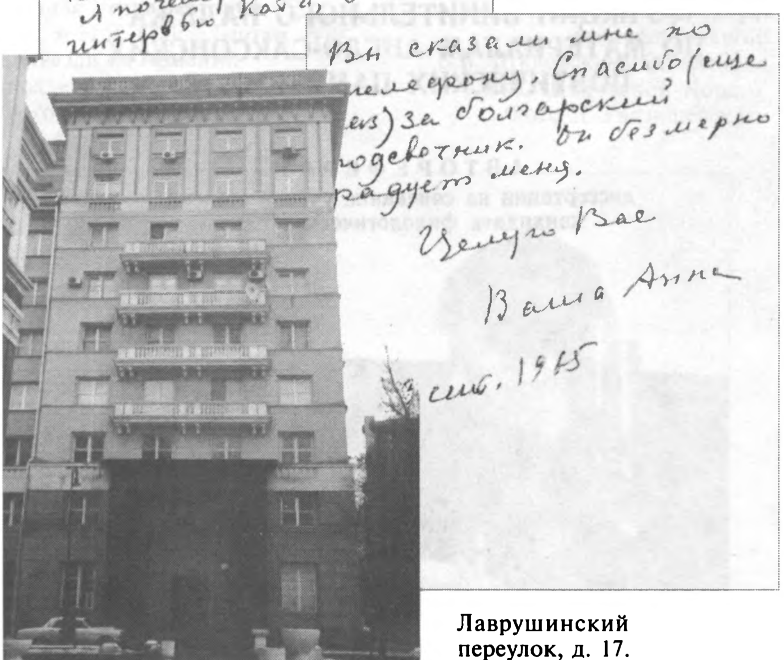
Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ
Заведующая кафедрой английского языка
Чувашского Государственного Педагогического
института

ФУНКЦИИ ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА ПО МАТЕРИАЛАМ АНГЛО-САКСОНСКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

ЛЕНИНГРАД
1956

Автореферат Н.Я. Мандельштам. Архив А.Ж. Аренса



Ника,
если бы книга вышла,
и я ее сейчас Вам
надписала и послала с
Толей, но она все еще
лежит. Я одичалая
съеденная комарами и
забытая друзьями веду
жалкое существование
в Будке. ? Как ее дела,
Что Надя? — здоровье. Был
квартире, что его друг
сказал мне, что его друг
перевел Мандельштама,
но про все это знает
Копелев.
Я почему-то не получила
интервью Кати, о кот.
Вы сказали мне по
телефону. Спасибо (еще
раз) за болгарский
Подевочник. Он безмерно
радует меня.
Целую Вас
Ваша Анна
сент. 1965

Письмо
А.А. Ахматовой
к Н.Н. Глен. Автограф.
Архив Н.Н. Глен

Лаврушинский
переулок, д. 17.
Фото Д. Радзишевского

Последний сонет

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни,
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.

И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда,
Там средь ~~щ~~стволов еще светлее
И все похоже на аллею
У Царскосельского пруда.

1958. июнь
Комарово

А. Ахматова. Автограф стихотворения «Последний сонет»

Приморский сонет

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.

И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней.
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда...

Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею
У царскосельского пруда.

Июнь 1958
Комарово

Николай Панченко

Стихи о несовершенном мгновении

А.А. Ахматовой

Как счастливо, что мы пересеклись!
Ведь мы могли и вовсе не родиться.
Или родиться в разные эпохи,
Как вы и Дант.
Но совершилось чудо:
И вы читали мне свои стихи.

Однажды
вы читали только мне.
И только это чудное мгновенье
Мне позволяет, пользуясь словами,
Соединиться с вами
в слове «МЫ»:
— Какое счастие, что МЫ пересеклись!
Ведь МЫ могли и вовсе не родиться.
Или родиться в разные эпохи.

Я говорю себе:
— Какой нахал!

И в то же время слушаю в себе
Твой, государыня, державный голос.
Державный твой
И твой — почти дрожащий! —
Что надобно, внимая, не дышать.
Иначе может что-нибудь случиться —
Разрушится дорожный беспорядок
В той комнатке картонной на Ордынке,
Где сваленные книги под столом.

Ты говоришь,
                чтоб я достал «лягушку»
Из-под стола,
Где свалены «лягушки»,
И даришь с оговоркой: «Хоть такую...» —
Зелененькую книжечку стихов.

И умолкаешь,
                даже замираешь,
Под пледом обнаруживая сходство
Натуры и наброска Модильяни,
Что над тобою повторял тебя.

Молчал и я
И думал Модильяни,
Его я думал — не о нем! — и видел
Больного, красногубого подростка,
Того, с которым вы пересеклись.

Не спрашивал я:
— Где ты, Модильяни? —
Как я теперь не спрашиваю:
— Где ты? —
Лежащая под белым покрывалом
На супере покинутых стихов.

Я только возвращаюсь ненароком
В ту комнатку картонную.
Под своды
Приземистых московских подворотен,
Где пахнет своевольной нищетой.

Где ничего –
                    ни злобы, ни обиды,
Мистический дорожный беспорядок,
Кухонный стол и стул из чемодана
Пустого, как армейский барабан.

Неужто в этом все мои вопросы?
Неужто в этом все твои ответы?
Мы чуточку с тобою не совпали
Во времени,
И это помогло

Избавиться
От мелочного счета.
И потому, наверно, безотчетно
Хватаюсь я за бледную травинку
Моих воспоминаний о тебе...

1979

Осип Мандельштам

* * *

Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах
узких железных.
В черной оспе блаженствуют кольца бульваров,
Нет на Москву и ночью угомону.
Когда покой бежит из-под копыт,
Ты скажешь — где-то там на полигоне,
Два клоуна засели — Бим и Бом,
И в ход пошли гребенки, молоточки,
То слышится гармоника губная,
То детское молочное пьянино —
До-ре-ми-фа
И соль-фа-ми-ре-до...

Бывало, я, как помоложе, выйду
В проклеенном резиновом пальто
В широкую разлапицу бульваров,
Где спичечные ножки цыганочки в подоле
бьются длинном,
Где арестованный медведь гуляет —
Самой природы вечный меньшевик.
И пахло до отказу лавровишней...
Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен...
Я подтяну бутылочную гирьку
Кухонных, крупно скачущих часов.
Уж до чего шероховато время,
А все-таки люблю за хвост его ловить:

Ведь в беге собственном оно не виновато,
Да, кажется, чуть-чуть жуликовато...

Чур! Не просить, не жаловаться! Цыц!
Не хныкать!
Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?
Мы умрем как пехотинцы,
Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи!

Есть у нас паутинка шотландского старого пледа, —
Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я
умру.
Выпьем, дружок, за наше ячменное горе, —
Выпьем до дна!..

Из густо отработавших кино,
Убитые, как после хлороформа,
Выходят толпы. До чего они венозны,
И до чего им нужен кислород!

Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать!
Ручаюсь вам, себе свернете шею!

Я говорю с эпохою, но разве
Душа у ней пеньковая и разве
Она у нас постыдно прижилась,
Как сморщенный зверек в тибетском храме, —
Почешется и в цинковую ванну —
— Изобрази еще нам, Марь Иванна!

Пусть это оскорбительно — поймите:
Есть блуд труда, и он у нас в крови.

Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом,
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.
Он с Моцартом в Москве души не чает —
За карий глаз, за воробьиный хмель.
И словно пневматическую почту
Иль студенец медузы черноморской
Передают с квартиры на квартиру
Конвейером воздушным сквозняки,
Как майские студенты-шелапуты...

Май — 4 июня 1931



Элизабет де Мони

Интервью с Надеждой Яковлевной Мандельштам

9—10 октября 1977
Впервые — «Континент», 1982, № 31.
В настоящем издании текст интервью выверен по магнитофонной записи и приводится полностью.

От интервьюера

Впервые я встретилась с Надеждой Мандельштам в начале семидесятых, когда мой муж, Эрик де Мони, был корреспондентом Би-Би-Си в Москве. Мы приехали на второй срок его пребывания в советской столице в конце марта 1972 г. Вскоре после нашего приезда был выслан Дэвид Бонавиа, корреспондент лондонского «Таймса», — перед приездом Никсона *(президент США Р. Никсон приехал в Москву в июне 1972 г.)* советские власти хотели отделаться от слишком хорошо информированного западного корреспондента. Он ввел нас в круг своих неофициальных контактов (например, на проводах Бонавиа мы впервые встретились с Андреем Сахаровым, кото-

рый в те времена еще не поддерживал широких контактов с корреспондентами).

К октябрю мы расширили круг наших русских друзей, и тогда Кирилл и Ирина Хенкины познакомили нас с Надеждой Яковлевной. Мы неоднократно приходили в ее квартиру на первом этаже новостройки на Большой Черемушкинской улице на окраине Москвы. В апреле 1974 г., прежде чем уехать из Москвы, мы пришли попрощаться, взяв с собой нашу трехмесячную дочь Аликс. Надежда разволновалась: «Я никогда не видела такого маленького английского ребенка», — сказала она. И с этого времени, когда я отправляла кого-либо к Надежде, они брали с собой, как паспорт, фотографию моей дочери.

До самой ее смерти в 1980 г. с фотографии, висевшей над ее кроватью, смотрела маленькая девочка с каштановой челкой в школьной форме и галстучке.

Ко времени нашей первой встречи Надежда уже была легендарной личностью. Две книги ее воспоминаний «Hope Against Hope» («Воспоминания») и «Hope Abandoned» («Вторая книга»), проявившие в полной мере силу ее таланта, заслуженно принесли ей широкую международную славу. Выдающийся ученый-славист Кларенс Браун, назвал ее «уксусной, брехтианской женщиной стальной твердости, величайшего ума, безграничной смелости, без иллюзий, с неизменными убеждениями и диким ощущением абсурдности жизни».

Надежде было разрешено вернуться в Москву Леонидом Ильичем Брежневым, которому она была благодарна, а квартира для нее была «получена» через Союз писателей. Прямо за окнами ее маленькой гостиной по широкой улице проходила двойная трамвайная линия. Она лежала на диване, куря бесконечные папиросы, и ела варенье чайной ложкой прямо из банки. «Неофиты», ухаживавшие за ней с огромной любовью и привязанностью, пытались соблазнить ее съесть немного каши или супа.

В октябре 1977 г. я вернулась в Москву, чтобы написать две статьи для лондонского «Таймса» о шестидесятой годовщине Октябрьской революции. Однако действительной целью моего возвращения в Москву была попытка убедить Надежду записать интервью. Я не была уверена, что она согласится, поскольку знала, что она доверяла очень немногим. Однажды утром мы с Эриком пришли к ней, и она показалась нам нео-

бычайно нервозной. «Не приходите ко мне при дневном свете», — сказала она. Это удивило нас, поскольку в начале семидесятых мы часто приходили открыто в дневное время. Тем не менее она согласилась на запись при условии, что я дам обещание не публиковать это интервью при ее жизни. Что я с готовностью сделала. Я привезла с собой подарки и письмо от ее старого друга — жившей в Лондоне Галины фон Мекк. Это изумило и глубоко тронуло ее. Галина, сама жертва ГУЛАГа, была *стопятницей* и жила в ссылке на западе от Москвы. В сороковые годы она убежала на Запад с отступающими немецкими войсками *(Г. фон Мекк эмигрировала в Англию в 1948 г.).*

Мы с Эриком снова пришли к Надежде вечером 9 октября и начали интервью. Я задавала вопросы по-английски, поскольку мой русский был недостаточно точен и выразителен. И я была довольна, что она отвечает по-русски, который я отлично понимала. Надежда, как обычно, беседовала, лежа на диване.

Противоречащие друг другу английские заглавия двух томов ее воспоминаний вызвали тогда у меня вопрос, как она себе представляет будущее своей страны. Она несколько раз повторила, что ее единственная надежда — загробная жизнь. Это не совпадало с тем относительным оптимизмом, который звучал в заключительных главах первого тома ее воспоминаний, написанных, когда она, наконец, впервые постоянно поселилась в Москве в 1964 году. Этот оптимизм она позднее оценила как неоправданный.

Уже в 1972 году Надежда Яковлевна настаивала, что единственная надежда на будущее России — Церковь. Сохранила ли она эту надежду до самой смерти? Есть основания думать, что нет.

Ее голос зачастую сходил на нет, она задыхалась, делала долгие паузы. От некоторых вопросов, которые я хотела задать, пришлось отказаться, так как я боялась, что для нее все это слишком утомительно. Я была уверена, что ей осталось жить совсем немного. Я ошиблась — она прожила еще три года.

Ей хотелось смерти, но она не могла умереть. *(Из писем Н.Я. Мандельштам к Никите Струве: «Я не боюсь смерти. Боюсь жить слишком долго, стать немощной <...> Мой священник* [о. Александр Мень] *мне говорит, что нужно нести свой крест до конца. Я смертельно устала, но знаю, что он прав. И крест —*

тяжел» (1974 г.) (Третья книга, с. 328) и архиепископу Сан-Францисскому Иоанну (в миру — Д. Шаховской): «Чудо, что я дожила до 80 лет и еще в своем уме. <...> Я смертельно устала от этой жизни, но верю в будущую» (1979 г.) (Там же, с. 331).) Ее манера мыслить была по-прежнему живой и острой, но представление о текущих событиях было затуманено. Ее непреклонная вера в загробную жизнь оставалась ее единственной нравственной опорой.

Во время записи интервью моему мужу и мне казалось, что она проходит сквозь какое-то умственное чистилище, откуда ее могла вывести только смерть.

Неужели жертва ее жизни, жизни Осипа Мандельштама и многих миллионов людей сталинских времен осталась напрасной?

Была ли ее умственная агония результатом физической слабости и бремени лет после отданной в жертву жизни?

Она быстро устала, и мы договорились продолжить следующим вечером.

На следующий день мой муж должен был уехать в Ленинград, поэтому я отправилась к Надежде одна. Я продолжала интервью под грохот и скрежет трамваев, ехавших в обоих направлениях: он ясно слышен на пленке. Я уехала, не закончив записи, поскольку почувствовала, что она слишком устала.

Интервью должно было последовательно описывать ее жизнь, с детства до наших дней, и я тщательно подготовила все вопросы. Я хотела также выяснить некоторые обстоятельства жизни Мандельштамов, которые меня озадачивали: например, почему Осип Мандельштам в двадцатые годы отказался уехать за границу, как предлагал ему Бухарин. Кроме того, мне хотелось, чтобы Надежда Яковлевна повторила то, что уже говорила в наши предшествующие встречи: обращение Мандельштама в христианство, совершившееся в молодости, не было, как принято считать, «крещением по обстоятельствам», ради поступления в Петербургский университет.

Надежда дала мне письмо для Галины фон Мекк, но, несмотря на мои заверения, что оно будет в достаточной безопасности, не осмелилась поставить свою подпись. Я покидала ее с чувством огромной печали, понимая, что, скорее всего, никогда ее больше не увижу. Три года спустя она умерла.

Она была, я полагаю, самой неукротимой и смелой женщиной, которую я когда-либо встречала: сильной, выносливой, очень веселой, большого ума, остроумия и неожиданной нежности. Я вспоминаю ее с непреходящей любовью.

Элизабет де Мони

Элизабет де Мони задает вопросы по-английски.
Надежда Яковлевна в начале беседы отвечает
преимущественно по-английски,
с середины беседы — по-русски.

Надежда Яковлевна, скажите, пожалуйста, где Вы родились?

В Саратове. Это город на Волге *(30 октября 1899 г.).*

Город на Волге...

Да.

Могли ли бы мы немного поговорить по-английски? Только один-два небольших вопроса? Я буду задавать Вам вопросы по-английски, а Вы отвечать мне по-русски. Хорошо?

Хорошо.

Скажите, пожалуйста: «Я родилась в Саратове».

Я родилась в Саратове *(по-русски).*

Можете Вы сказать это по-английски?

Я родилась в Саратове *(по-английски).*

Мало кто знает, что вы провели часть своего детства на Западе. В каких странах Вы жили?

Конечно, это не известно, потому что я сама неизвестна. Я жила во Франции, Италии, Швейцарии, Германии, была даже в Швеции.

Правильно: «Swaden»(*Швеция*)?

Эрик де Мони: «Sweden».

Sweden.

В каком возрасте Вы вернулись в Россию?

Мы всегда возвращались в Россию. Два года мы жили в Швейцарии, это была единственная большая остановка.

Бывали ли Вы в Париже? *(Пауза)* **Бывали ли Вы в Париже, во Франции?** *По-русски:* **Париж...**

А, Париж... Конечно, я была в Париже. Я помню даже праздник святой Катерины. Мне надели тоже шапку... «чепец св. Катерины». Это в праздник старых дев — в июле, кажется.

Были ли Вы в Лурде?

Конечно. Мои родители не были религиозными, но меня возили в Лурд.

Что Вы могли бы сказать о Лурде?

Я была под огромным впечатлением.

Действительно, великолепно...

Да.

Когда Вы жили на Западе, Вы были очень молоды. Оказало ли время, проведенное там, большое влияние на Вас?

Я не знаю. Но я рада, что была, потому что у меня нет такого чувства отчуждения.

Вы верующая?

Конечно. Хожу в церковь.

И Вы всю жизнь ходили в церковь?

Няня водила меня в церковь, русская няня.

Ваша мать *(В.Я. Хазина)* **была еврейкой, но Ваш отец** *(Я.А. Хазин)* **был, кажется, баптист? Это верно?**

Он был крещен. Это было обязательно. Потому что его отец, мой дед, был кантонист. Это были дети, которых забирали, когда был период обрусения при Николае Первом. Их крестили почти насильно. А потом это была обязательная религия — все должны были быть крещены. В России все плохо было.

А мать?

Мама осталась еврейкой. Они женились где-то во Франции.

Не скажете ли Вы, как Вы встретились со своим мужем, как Вы встретились с Мандельштамом?

Был такой клуб *(литературно-артистическое кафе)* в Киеве, в 19-м году. Мне было 19 лет как раз. Это был клуб, который назывался «ХЛАМ»: Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты. Мы там собирались каждый вечер, и он пришел. И меня познакомила с ним *(1 мая 1919 г.)* одна... *(Пауза.)* Все условились не знакомить меня, а какая-то проститутка познакомила. *(Из дневниковых записей А.И. Дейча: «1 мая 1919 <...> пошли в ХЛАМ. Составили столики, к нам присоединились Тычина,...Терапиано,... Г. Нарбут, Н. Хазина, И. Эренбург. <...> Неожиданно вошел О<сип> Манд<ельштам> и сразу направился к нам. Я по близорукости сначала не узнал его, но он представился: «Осип Мандельштам приветствует прекрасных киевлянок (поклон в сторону Нади Х<азиной>, прекрасных киевлян (общий поклон). <...> Попросили его почитать стихи — охотно согласился. Читал с закрытыми глазами, плыл по ритмам... Открывая гла-*

за, смотрел только на Надю X.» («Сохрани мою речь...» Вып. 3. Часть 2. — М., 2000. — С. 146).)

Когда Вы с ним познакомились, он был уже известным поэтом?

Он был известен. И я знала, что он поэт.

И Вы уже думали тогда, что он гений?

Был ли он гением, я не знаю. Он был дурак. *(Смеется.)*

(Смысл сказанного отчасти проясняется записями Надежды Яковлевны 1979 г.: «...Что поистине удивительно — это неумение О.М. вести свои дела в советских условиях... Ведь все сукины дети на это способны — от Катаева до любой замарашки. А он дурак [подчеркнуто нами], *однодум — не мог. Не умел или не хотел... Бог ему судья...» (Третья книга, с. 95—96); а также следующей фразой из ее письма к Н.А. Струве: «...У него* [О. Мандельштама] *была впечатлительность семилетнего мальчика и его можно было подцепить на любой эффект (Оська был у меня дурак)» (Там же, с. 324).)*

Он был... очень глупый молодой человек? *(Смеется.)*

Он был... Вы облагораживаете. Я резче говорю.

Был ли он также веселым молодым человеком?

Очень веселый, он всю жизнь был веселый, даже в несчастьях. *(Из записей Л.Я. Гинзбург 1970-х годов: «Не было ли у него* [О. Мандельштама] <...> *аспекта трагического поэта, гонимого... Н.Я. Мандельштам: — Нет, знаете, стоило прийти приятелям и принести ему вина и немного еды, он забывал сразу, что он трагический поэт» (Записные книжки, с. 407).)*

Сохранил ли он эту веселость даже в тяжелые, трудные годы?

(Переспрашивает) Даже?

В тяжелые годы.

В тяжелые годы сохранил. Вот в лагере — нет. В лагере он просто сошел с ума.

Конечно. *(По-русски.)*

Он боялся есть, думал, что его отравят.

Был ли Ваш муж добрым человеком?

Со мной — нет *(пауза)*, а с людьми — да, особенно с детьми.

Потому что Вы говорите в своих книгах, что вы ссорились...

???

Вы иногда ссорились? Ссорились с ним?

Всегда.

Это потому что Вы также были очень сильной личностью?

Я не знаю, была ли я сильной личностью... Но он меня никуда не пускал.

Некоторые мне говорили, что он был очень трудным человеком.

Он был трудным человеком... для меня *(пауза)*. И для сволочи. Кругом были сволочи одни.

Но Вы посвятили ему всю свою жизнь...

К сожалению.

Когда он писал стихи. В период, когда он писал стихи, было ли для Вас очень сложно быть с ним?

Нет. Нет. Он тогда не злился.

Чувствовали ли Вы, что можете помочь ему?

Чувствовали ли Вы...?

...что можете помочь ему?

В общем, да.

Ваш муж теперь признан и известен на Западе как гений, можете ли Вы сравнить его с каким-нибудь другим поэтом его поколения?

Конечно, Пастернак *(пауза)*, а больше никого.

И больше ни с кем?

Ну, женщины... Ахматова, Цветаева, но я думаю, что это дешевка по сравнению с Пастернаком и Мандельштамом.

(В этом же интервью Надежда Яковлевна заговорит с Элизабет де Мони об отчаянии: «Я много думала о самоубийстве, потому что жить было совершенно невозможно». И все же, уже «чувствуя себя совершенно опустошенной», Надежда Яковлевна выбрала жизнь. Почему? В 25-летнюю годовщину со дня смерти Мандельштама она прямо скажет об этом Ахматовой: «В этой жизни меня удержала только вера в Вас и Осю. В поэзию и ее таинственную силу. То есть чувство правоты.» (Письма Н.Я. Мандельштам к А.А. Ахматовой, с. 103).)

Но Ахматова была, пожалуй, его самым близким другом?

Его самым близким...?

Другом.

Была. Но по отношению ко мне она была не очень хороша. Она мне сказала через тридцать пять лет после смерти Оси, что «теперь видно, что Вы были подходящей женой».

Оказала ли она на него большое влияние?

Нет, никакого.

Ваш муж был человеком абсолютно неподкупным, человеком абсолютной порядочности...

Нет *(тихо)*.

Я хочу спросить — что именно принес он людям: свою поэзию или свою абсолютную честность?

Я не знаю. У меня нет никаких сведений о том, что он на Западе известен. В России — да. В России во всех домах интеллигентных есть списки стихов. Он до сих пор список, а не человек. *(Надежда Яковлевна не берет в расчет вышедшую в 1973 г. книгу: О. Мандельштам. Стихотворения /Сост. и коммент. Н.И. Харджиева. — Л.: Советский писатель (Библиотека поэта. Большая серия), которой осталась недовольна. «Имейте в виду, что вышедшая у нас книга стихов* [Мандельштама] *очень плоха.* <...> *...Харджиев* <...> *поступил очень вольно с текстами, скрывая это от меня» (Из письма 1975 г. Н.Я. Мандельштам к Н.А. Струве // Третья книга, с. 329).)* И потом эти анекдотические рассказы о нем, что он «раздражался». Он просто... отбривал.

В Вашей книге, в первом томе, Вы пишете, что, когда Мандельштам умер и Вы остались одна, Вам очень помогли его слова: «Почему ты думаешь, что ты должна быть счастливой?»

(Тихо смеется.) Он мне всегда так говорил: «Почему ты думаешь, что ты должна быть счастливая?» Это его христианство, я думаю.

Его христианство?

Он был христианин. Он сам крестился. Потому что он верил в Христа.

Когда он крестился: в детстве или уже взрослым?

Взрослым *(в 1911 г. в Выборге по обряду методистской епископской церкви).* Ему было около 22-х лет *(в 1911 г. О. Мандельштаму исполнилось 20 лет).* Всегда пишут: «для того, чтобы поступить в университет», но это чепуха, блата хватило бы. Он просто верил, и это, конечно, на меня тоже оказало влияние.

Вы говорите, что Ваш муж крестился, когда ему было 22 года. Он умер почти 40 лет назад. Вы по-прежнему чувствуете свою близость с ним?

Что он...?

...очень близок Вам?

Очень долгое время я чувствовала это, а потом перестала, сейчас перестала. Он подслушал, как я на исповеди сказала, что я ему изменяла.

На то, чтобы спасти произведения Вашего мужа, ушло почти 40 лет Вашей жизни. Ощущаете ли Вы удовлетворение от того, что труд *Вашей* жизни завершен?

И да, и нет. Я отдала жизнь на это. Это было очень трудно. И теперь я чувствую себя совершенно опустошенной.

Что бы Вы хотели еще сделать?

Что...?

Что еще хотели бы Вы суметь сделать в этой жизни?

Я хотела б написать о своем отце, у меня был чудный отец, но у меня уже нет сил. *(Пауза.)* Может, я попробую. *(Неуверенно.) (Надежда Яковлевна написала о родительской семье два литературно-биографических очерка: «Отец» (впервые: Минувшее. 1. — Париж, 1986), «Семья» (впервые: Мандельштам Н. Третья книга. — Париж, 1987).)* Я устала. Не от того, что мы сейчас разговариваем, а от жизни. Я бы очень хотела смерти. *(Пауза.)* Еще хотела бы умереть здесь, а не в лагере. Такая возможность тоже есть: если уйдет Брежнев.

Когда еще был жив Мандельштам, в двадцатые и в начале тридцатых годов, у вас был один покровитель — Бухарин. Говорили, что будто власти сообщили семье Бухарина, что он никогда не будет реабилитирован.

Я знаю.

А что Вы думаете? *(По-русски.)*

Они его не собираются реабилитировать. *(Н.И. Бухарин был реабилитирован в 1988 г.)* Он был слишком *(пауза)* сильным человеком для этого — потому его и убили. Это вам не Молотов, длинношеее существо — три «е»: длинношеее *(протяжно)*, и не человек, а существо. *(Н.Я. Мандельштам: «Тонкую шею О.М. приметил у Молотова — она торчала из воротничка, увенчанная маленькой головкой. «Как у кота», — сказал О.М., показывая мне портрет. Честь оживления слова «тонкошеий» принадлежит Кузину. Он развлекался столкновением трех «е» в среднем роде этого прилагательного: «тонкошеее животное»...» (Воспоминания, с. 187).) (<Далее> о Бухарине)* Очень был веселый.

В Вашей книге Вы пишете, что всеми благами, которые были у него в жизни, Мандельштам был обязан Бухарину.

Он спасал нас просто. Очень активно.

Надеетесь ли Вы, что Бухарина когда-нибудь реабилитируют?

Для этого должно все перемениться. Не знаю, возможно ли это в мертвой стране.

Есть в Вашей книге очень важная строчка. Вы пишете, что смерть художника всегда бывает не случайностью, а последним творческим актом.

Это не мои слова, это слова Мандельштама. Это в статье о Скрябине *(«Скрябин и христианство»)* он говорит. Но он наивно говорит, что Россия знала Скрябина. Россия совершенно не знала Скрябина — знала кучка музыкальных людей в консерватории.

Вы считаете, что это правильно?

Что?

(Обрыв пленки.)

...он взбесился один раз в семнадцатом году. И потом... Это не я первая говорю, это еще славянофилы страдали от этого.

Ваш муж написал свое стихотворение о Сталине *(«Мы живем, под собою не чуя страны...»)* **после того, как увидел последствия коллективизации на Украине и почувствовал, что не может больше молчать?**

Это первое стихотворение. Да.

Говорил ли он с Вами, пока писал его, или сразу написал?

О чем?

О написании стихотворения о Сталине.

О первом? Конечно, говорил. Он мне каждую строчку показывал. У меня, наверное, хороший слух на стихи.

Когда он писал его, думаете ли Вы, что он понимал, что оно приведет его к смерти?

Конечно *(с нажимом)*! Он думал только, что его сразу расстреляют.

Думаете ли Вы, что он был прав?

Я думаю, да. Но это относится не только к Сталину, это относится ко всем. Брежнев — первый *(пауза)* не кровопийца, не кровожадный. Солженицына, например, за границу выслал. *(Н.В. Панченко: «О Брежневе Н.Я. говорила: «Кажется, не кровожадный...» А потом, через пару лет: «Никакой... Это тоже плохо». И почти одновременно: «Этот опасный дурак тянет время... которого уже не осталось» («Какой свободой мы располагали...» // Н. Мандельштам. Воспоминания, с. XII).) (Пауза.)* Хрущев еще упражнялся. Он здесь расстрелял людей за то, что они продавали губную помаду самодельную — я знаю это от Эренбурга. Он на Украине провел сталинскую политику — там кровь лилась страшная.

Путешествия на Запад оказали на Мандельштама огромное влияние, и Вы писали, что Средиземноморье было для него чем-то вроде Святой Земли. Думаете ли Вы, что классическая культу-

ра Древнего мира — Греции и Рима — оказала наибольшее влияние на него как на поэта?

Греция — да, но он никогда не был в Греции. В Риме он был, но про Рим он говорит, что это камни, а Грецию он очень живо чувствовал. Потом Грецию можно чувствовать и по стихам, и по литературе. *(Пауза.)* Я тоже не была в Греции.

Но он был также, как Вы уже сказали, глубоко верующим христианином? И он видел эту землю освобождающейся, как он говорил: «Богом данное место».

Я не совсем понимаю смысла вопроса.

(Обращаясь к кому-то из присутствующих.) **Можете ли Вы перевести...**

(Обрыв пленки.)

«... Богом данный дворец». Это в его книге есть.

Но, как Вы уже говорили, он был до глубины души христианином. Среди всех страданий сталинских времен, его и Ваших страданий, не терял ли он когда-нибудь надежду?

Нет, надежда всегда была. Меня зовут Надеждой. *(Пауза.)* Но ясно было, что после смерти Сталина будет облегчение. Такого животного нельзя было найти другого. *(Пауза.)* Ассириец. Я говорю, что он гений, потому что в сельскохозяйственной стране он уничтожил все крестьянство за два года.

Вы говорите, что Мандельштам никогда не говорил о своем «творчестве». Он всегда говорил, что «строит» вещи. Полагаете ли Вы, что свою поэзию он рассматривал как некий проводник Божьей благодати?

Думаю, что да. Но я никогда не спрашивала.

В те годы, что вы жили с ним, посвящая ему всю свою жизнь, Вы, наверное, много раз спасали его от отчаяния и, возможно, от смерти?

Я много думала о самоубийстве, потому что жить было совсем невозможно. Был голод, была бездомность, был ужас, которого нельзя себе и представить. Была страшная грязь. Абсолютная нищета. *(Н.Я. Мандельштам: «Наша жизнь не располагала к отрыву от земли и к потокам трансцендентальных истин. «Всегда успеешь, — говорил мне О.М. на мои разговоры о самоубийстве, — всюду один конец, а у нас еще помогут» (Воспоминания, с. 313); «Я была уверена в своем праве на уход из жизни, если она мне не улыбнется, а Мандельштам это право начисто отрицал. <...> Надо прожить жизнь, чтобы понять, что она*

тебе не принадлежит. <...> К мысли о самоубийстве я вернулась после смерти Мандельштама, но только тешила себя этой мыслью, потому что никуда не могла уйти от его наследства <...> Мне совестно, что я оказалась долгоживущей. Понимает ли он, что я жила только ради него?» (Вторая книга, с. 182).)

Была ли его дружба с Ахматовой источником силы для него?

Скорее для нее *(задумчиво).*

Какая была она?

Ахматова? Красивая женщина, высокая. *(Пауза.)* На старости она распсиховалась. У ней не было нормальной старости.

(В одном из писем к Б. Кузину Надежда Яковлевна объясняет свое (отчасти гротескное) виденье мира присущим ей «даром снижения», который, по ее словам, «очень не одобряла Анна Андреевна». И далее: «Я все смотрю на маму [В.Я. Хазину] *и соображаю, что все, за что меня ругал Ося, — все от мамы. В частности — хорошо подвешенный язык. Это очень худо» (Кузин Б. Воспоминания..., с. 668). Об отдельных фразах Надежды Яковлевны (их оценочных характеристиках) подчас трудно судить не только вне контекста беседы, но и вне знания особенностей ее «разговорного» языка.*

На наш взгляд, реплика Надежды Яковлевны «На старости лет она [Ахматова] *распсиховалась. У ней не было нормальной старости» принадлежит к тому же разряду характерной для нее «нежно-ругательной» лексики, образчики которой в шестидесятые годы зафиксировал в своем дневнике А. Гладков: «Приехала из Ленинграда Ахматова, по словам Надежды Яковлевны, «обнаглевшая от того, что не умерла летом» (она тяжело болела, и сейчас все ест и пьет)» («Я не признаю историю без подробностей...», с. 549). «Резкость ее не всем была понятна, — напишет впоследствии о Надежде Яковлевне архиепископ Сан-Францисский Иоанн. — Брали ее вне широчайшего контекста общей и ее жизни» (Цит. по: Панченко Н. «Какой свободой мы располагали...» // Н. Мандельштам. Воспоминания, с. XV).)*

Вы пишете, что Мандельштам подвергся одному очень сильному влиянию...

Иннокентий Анненский. Но это был любимый поэт, единственный из символистов. Он повлиял на всех: на Пастернака, на Ахматову, на Мандельштама, на Гумилева. *(Пауза.)* Это дивный поэт, его мало знают за границей. Его не переводят. Это чудный поэт. Я, к несчастью, отдала книжку его одному свя-

щеннику, который приехал. Чтобы немножко вразумить его: он писал стихи, но очень плохие, наверное, — я ему отдала. *(Пауза.)* Это [Анненский] религиозный философ, сейчас это окончательно выяснилось, потому что нашли новые письма — два, и там это совершенно ясно уже.

Вы говорите, что сильное влияние на Мандельштама оказал Чаадаев. И что из-за этого влияния он не воспользовался в 1920 году возможностью уехать за границу.

Да, потому что Чаадаев... он хвалит Чаадаева за то, что он вернулся в небытие *(пауза)* из страны, где была жизнь.

Думаете ли Вы, что Мандельштам таким образом намеренно отказался от Европы? Что он как бы повернулся спиной к Европе?

(Отвечает, не дожидаясь конца вопроса.) Он боялся, что он заговорит за границей во весь голос и потом не сможет вернуться.

Но он уже понял к тому времени, что оставаться в России опасно?

Он понимал, конечно. *(Пауза.)* Но что было делать? Мой отец сказал: «Я столько лет пользовался правами и законами этой страны, что я не могу покидать ее в несчастье». Приблизительно такое отношение было и у Оси.

Как Вы полагаете, он принял это решение как поэт или как человек?

Я думаю, что как поэт, потому что вне русского языка был бы...

В Вашей первой книге есть глава, которая называется «Возрождение», где Вы говорите о возрождении духовных ценностей, утерянных в двадцатые-тридцатые годы. Продолжаете ли Вы верить в это возрождение?

В то, что они воскресли? Нет. *(Пауза.)* Здесь ничего воскреснуть не может. Здесь просто все мертво. Здесь только очереди. «Дают продукты». *(Пауза.)* Очень легко управлять голодной страной. А она голодная. И Брежнев и не виноват в том, что она голодная, — 60 лет разоряли хозяйство. Россия кормила всю Европу хлебом, а теперь покупает в Канаде. *(Пауза.)* При крепостном праве крестьянам легче жилось, чем сейчас. Сейчас деревни стоят пустые. Старухи и пьяные старики. Только женщины. Замуж не за кого выйти. Мужчины после армии женятся на любых городских, лишь бы им не вернуться в деревню.

Опустошенная страна. Работают студенты. Во сколько это обходится фунт хлеба, я не представляю себе! Профессура, хорошо оплачиваемая, сидит дома, а студенты работают. И они не умеют работать. Лет 15 тому назад мне говорили женщины, что в деревнях уже никто не умеет сделать грядки.

Вы много говорите в своей книге об утерянных духовных ценностях деревни. Надеетесь ли Вы, что эти ценности возродятся?

Не знаю. Сейчас надежда уже теряется. Пока я ездила на метро, я только удивлялась, какие мертвые лица. *(Говорит с интонационной разбивкой.)* Интеллигенции нет. Крестьянства нет. Все пьют. Единственное утешение — это водка.

Но среди молодежи сегодня, возможно, больше интереса, чем раньше, к христианству и к Церкви?

Очень много крестится. Но крестятся и пожилые люди. Но большей частью интеллигентные.

Вы говорите, что Мандельштам повторял Вам, что история — это опытное поле для борьбы добра и зла.

История. Да. Вот видно — на нашем примере. *(Смеется.)*

Но как христианка Вы должны верить, что, в конце концов, добро вырастет даже из ужасных страданий Вашей страны в этом веке.

В этом столетии — не знаю, но, может быть, когда-нибудь. Во всяком случае, как Чаадаев говорил, «свет с Востока» — не придет. *(Пауза.)* Чаадаев надеялся, что свет придет с Востока, но я не вижу этого. Сейчас никаких признаков нет.

Я задаю Вам этот вопрос, поскольку в Вашей книге есть одно поразительное место: Вы говорите, что Россия спасла христианскую культуру Европы от татар, а за последние 50 лет страдания России могли опять спасти Европу от рационализма и всего, что связано с ним?

Я думаю, что ничто не спасет Францию, например. Англия не нуждается в спасении. Англия устойчива. Южную Италию тоже ничего не спасет. Может, католицизм.

Вы никогда не думали о переходе в католичество?

Я — нет! Ося хотел стать католиком. А я привыкла в Софию ходить. После заграницы, после двух лет в Швейцарии, я жила в Киеве. Мне 9 лет было. И нянька *(Дарья — «не прислуга. А друг и член семьи» (Третья книга, с. 80))* меня водила в Софийский собор. Я до сих пор не могу забыть его — и ездила с ним прощаться. Дивный собор! *(Пауза.)* Ведь была когда-то Россия великой страной! *(С нажимом.)*

Но положение в Вашей стране стало немного лучше. Не думаете ли Вы, что, если бы у молодежи было больше мужества, положение улучшилось бы?

Я думаю, что, если молодежь придет, она будет сталинистами. Потому что она по-прежнему поверит в террор и в Ленина. Она не знает, что это первыми на них отразится.

После всего, что Вы пережили, с Вашим опытом, что бы Вы сказали молодежи России?

Бесполезно им говорить, они над старухой посмеются. *(Пауза.)* Их вполне водка устраивает. *(Пауза.)* Думаю, что сейчас уж ничего не спасет. Слишком долго это держится — 60 лет. *(Пауза.)* Мне 77 — значит, 17 лет у меня были нормальные...



Аликс де Мони. 1970-е гг.

Эрик и Элизабет де Мони с детьми:
Аликс и Марком. 1970-е гг.

Наталья Ивановна Столярова

В публикуемом ниже очерке **Натальи Ивановны Столяровой** «О последних днях Надежды Мандельштам» (впервые — «Вестник Русского Христианского Движения». — 1981. — № 133. — С. 144—148) использованы дневниковые записи, которые, по свидетельству В.И. Лашковой, друзья Надежды Яковлевны делали за ней в последние дни ее жизни.

О последних днях Надежды Мандельштам

(из частного письма (возможно, к Е.И. Столяровой-Анцы))

Я сегодня *(28 декабря 1980 г.)* дежурю у Надежды Яковлевны.

Чистое, почти прозрачное лицо на подушке. Я уговариваю ее поесть, она нехотя соглашается, но, отведав японских спагетти, ест их с удовольствием, приговаривая: «Вкусно готовят, проклятые буржуи...» Потом я даю ей черничный компот, и мы тихо беседуем, одни в квартире.

— А что, если я сегодня умру? — Не допустим, Н.Я., на то мы и дежурим около вас, как жандармы. — А я возьму и надую вас... — Не выйдет, не старайтесь, мы хитрые...

Так мы шутим в привычном для нас тоне, шутка без улыбки, и я про себя удивляюсь чистоте этого старого, почти бесплотного тела. И ела она удивительно чистоплотно, осторожно. Страшная худоба лишь обострила, но не изменила черты ее лица. В последние дни во время еды или разговора она вдруг испускала стон с выражением внезапного испуга, почти ужаса, но на мой вопрос, почему она стонет, она давала ответ уклончивый и рассеянный. Иногда мне казалось, что она боится остаться одна в комнате, она поминутно звала нас из кухни, и на вопрос, что ей нужно, явно придумывала предлог: дайте папиросы, спички, или же говорила с подкупающим смирением: посидите со мной.

В девять часов *(вечера)* пришла Вера *(Лашкова)*, мы с ней поговорили на кухне, и потом, поцеловав Н.Я., я ушла с необычно тяжелым сердцем. По дороге корила себя, зачем я запрещаю звать нас из кухни, напрягая голос и тратя последние силы, когда на столике около нее колокольчик. Однажды она в этот вечер долго звонила, а я в кухне не связала этот непривычный для меня звук с ней. Она меня кротко упрекнула.

Пошла ее последняя ночь. Н.Я., по словам Веры, вставала, даже посидела на стуле, как советовал врач, немного читала. В какой-то момент она сказала Вере: «Ты не бойся...». В другой: «Мне страшно...». В последнем разговоре помянула Блока с укором за его пристрастие к духа̀м: «Дыша духами и туманами...».

Отошла она уже под утро, тихо, в полусне, словно в обмороке.

А я в это утро *(29 декабря)* поехала в десять часов в библиотеку, сидела там, читала, и странным, странным образом в ушах тихо-тихо звенел тот неуслышанный мною тогда на кухне мелодичный колокольчик. Едва я вошла к себе, как раздался звонок по телефону и мне сказали, что Н.Я. скончалась. Вскоре я поехала в Черемушки с подругой. Мы нашли ее уже лежащей на столе, в углу под иконой горела лампадка. Она вытянулась во всю свою длину-высоту, и лицо ее меня поразило. Ушли боль, страх, стеснение, раздражение. Лицо умное, просветленное, исполненное достоинства и спокойного сознания: я про-

жила трудную жизнь, но я донесла до дела свой дорогой груз. Мы тихо просидели до вечера, и сменяясь у ее гроба кто-то все время читал псалтырь. Было её ощутимое присутствие.

На следующий день во вторник 30-го декабря под вечер мы подъехали к дому Н.Я. и на лестнице увидели двух милиционеров, и не сразу связали их присутствие с квартирой № 4. Но когда мы вошли, мы застали человек пятнадцать друзей, растерянных и расстроенных: из милиции звонили и предложили освободить квартиру. А как же быть с покойной? Покойную мы вам поможем вывезти, мы не можем опечатать квартиру, пока она там. А куда вы её повезете? Куда? Найдем куда. Зачем? Таков закон, а вдруг у нее спрятаны миллионы, объявится законный наследник, и нам придется отвечать. Наш врач Юра *(Фрейдин)* пошел разговаривать с начальством. А мы в это время метались по квартире, вынужденные предать ее, отдать ее в морг, оставить одну. Кто плакал, кто сердился, кто доказывал, что надо вызвать свидетелей, другие не хотели взломанных дверей и прочего срама перед смертью, перед покойницей. Выражение на её лице словно изменилось и преисполнилось высокой иронией: «Не суетитесь, мои милые, судьба-злодейка не отпустит меня, пока не уйду под землю, она так и дотопает со мной до самого конца». Ум, свет, высота, ирония, уже освобожденные от «земных уз», от страха, от прислушивания к чужому звонку, от многого, многого.

Юра вернулся и сказал, что таково правило, когда умирают одинокие люди, что ничего нельзя сделать, но что они хотят взять ее на носилках без гроба, так как гроб не умещается в их машине, а это уже совсем недопустимо. Но машину «пригнали издалека» и считаться с нами не собирались. Когда вошел шекспировский, слегка под мухой могильщик с невероятно уродливыми носилками и предложил, чтобы мы вынули ее из гроба, мы все сразу закричали и вытолкнули его криком. Он попятился и вышел, захватив носилки. Долго шли переговоры, милиционеры то и дело ходили звонить начальству, и так оно длилось около часу, пока не пришел разъяренный начальник и не предложил немедленно «освободить помещение». Тогда наши мужчины бережно вынесли открытый гроб и отдельно крышку, которой закрыли его после установления его в машине, где он все-таки уместился. Машина сразу двинулась к моргу Института морфологии. Мы не торопясь выходили, мили-

ционеры косились на сумки, но только один раз у одной из нас спросили, что она уносит. Она огрызнулась и прошла. Вера вынесла Библию и отказалась отдать ее. Выносили мелочи, личные, заветные. Что касается архива, Н.Я. задолго отдала его, кому завещала им заняться. Надо признать, что оба милиционера, стоявшие на лестничной площадке, вели себя спокойно, с каким-то крестьянским уважением к смерти. Господ «в штатском» я, как всегда, принципиально не видела. Белые пятна в глазах у меня на них. Начальник шумел. Но не злобно. Могли бы ведь начать обыскивать, не уносим ли «миллионы», ведь все делалось ими «для защиты интересов возможного законного наследника»... Нет к ним претензий. Претензии к «злой судьбе», назовем ее так.

Потом я узнала, что Юра чуть не договорился о месте на Ваганьковском кладбище, где могила брата Н.Я. В последний момент переговоров позвонил телефон «сверху». Некто «дал указание» не предоставлять места для захоронения Мандельштам. Не устраивать же, в самом деле, паломничество клеветников к могиле так близко от центра города. Внимание распорядителей сверху было, вероятно, привлечено сообщением о смерти Н.Я. западными радиостанциями буквально в день смерти, а то когда бы удосужились.

1 января в 15 ч. мы увезли ее из морга в церковь на Фестивальной улице, где на следующий день было отпевание. Хор пригласили прекрасный, профессиональный, он поразил меня высоким качеством, отсутствием обычной безличной прохлады. Маленькая церковь была наполнена до отказа, кто-то насчитал около 500 человек. Стояли люди и около церкви, кто не сумел войти, и те, кто обычно не бывает в церкви и пришел из уважения к вдове поэта. Были и такие, кто воспринимал ее религиозность как одно из ее чудачеств. Лица, все без исключения, интеллигентные, лица, которые обычно выделяешь из толпы, лица с печатью индивидуальности, освещенные снизу свечками, сосредоточенно внимали пению. Аристократия духа собралась почтить память самой замечательной книги о нашей жизни, почтить высоту, достоинство, с которыми она прожила и пронесла для России забытую было поэзию Осипа Мандельштама. Глубокое внимание и волнение публики словно еще больше одушевляло поющих, и как-то сама собой возникла удивительная эстетическая атмосфера и почти праздничная приподнятость.

На двух или трех автобусах и многих машинах все поехали на старое Кунцевское кладбище. Шел легкий снежок, очень украсивший это кладбище, стоящее под старыми соснами и обжитое белками и птицами.

Очень узкой — трудной, как жизнь Н.Я. — тропой пронесли на плечах дорогую ношу, и под высокой сосной опустили ее в землю. Могильщики заработали лопатами. Потом мы покрыли могилу цветами и зажгли свечи. Люди медленно, нехотя проходили, уступая место другим. Запорошенное снегом кладбище, цветы, свечи и лица, лица...

Январь 1981, Москва.
Подписано: Н.Н.

В числе ближайших друзей Надежды Яковлевны была Наталья Ивановна Столярова — человек удивительной, необычной судьбы. По нашей просьбе (декабрь 2000 г.) о ней вспоминает В.И. Лашкова:

«Наталья Ивановна Столярова... Наверное, просто самый любимый человек в моей жизни. Она родилась в эмиграции. Была дочерью знаменитой эсерки Натальи Сергеевны Климовой, участвовавшей в покушении на Столыпина *(12 августа 1906 г. на Аптекарском острове в Петербурге)*. Наталью Сергеевну приговорили к смертной казни, которая впоследствии была заменена на пожизненную каторгу. Она отбывала ее в Москве, в тюрьме, была такая тюрьма политическая, на месте которой сейчас стоит СЭВ *(ныне — мэрия г. Москвы; Новинская женская каторжная тюрьма)*. И Наталья Сергеевна сумела убежать из тюрьмы. Уговорила надзирательницу — тогда надзирательниц и надзирателей брали из сирот, — она ее распропагандировала. И они втроем убежали, скрывались довольно долго здесь, в Москве, в особняках дворянских. А потом Наталья Сергеевна через Монголию, Китай и Японию перебралась в Европу. И Наталья Ивановна родилась уже в Европе.

Ее отцом был Иван Столяров, профессиональный революционер. Родилась она в 1912 г. в Ницце, росла в Париже... Мать ее умерла от тифа, когда Наталье Ивановне было пять лет. Отец довольно быстро вернулся в Советскую Россию. Так что вырастили ее друзья матери. И она росла с мечтой вернуться в СССР. Ведь очень многие из детей первых русских эмигрантов воспи-

тывались в преданности России. Наталья Ивановна была из таких. И когда ей удалось узнать что-то об отце, она сразу приехала к нему в Союз (он занимал здесь какой-то пост). Приехала совсем юной девушкой, ну может, пятнадцатилетней... Даже, кажется, побывала здесь в пионерском лагере. И ей все страшно здесь понравилось. Потом она вернулась к себе в Париж, закончила там Сорбонну и приехала сюда окончательно двадцати двух, кажется, лет от роду. С совершенно потрясающей косой (я видела ее фотографию тех лет), с прекрасным русским языком. Это было в 1934 году. А через три года *(весною 1937 г.)* ее взяли.

Так что из Сорбонны она попала прямиком на Лубянку, и все это Наталья Ивановна достойно прошла. Она была настоящей зэчкой, потрясающей совершенно. Я никогда не забуду, как после очередного допроса я к ней пришла и сказала: «Наталья Ивановна! Как противно все-таки врать, даже им *(кагэбэшникам)*». Она на меня посмотрела с большим удивлением и ответила: «Им врите, врите и врите!» Вот так она меня удивила и благословила.

Александр Исаевич *(Солженицын)* Наталью Ивановну очень любил. Она была совершенно невероятной силы, мужества и красоты женщина. Она умела дружить и быть такой верной в дружбе. Наталья Ивановна была свидетелем у нас на процессе *(имеется в виду «Процесс четырех», январь 1968 года)*; первый раз я увидела ее, когда Наталью Ивановну ввели в зал суда давать свидетельские показания. А потом, когда я уже освободилась *(в 1968 г.)*, мы с ней страшно подружились. Я ее любила, как, наверное, никого из старших.

Отсидев свой срок, Наталья Ивановна получила вечную ссылку и отбывала ее там же, где и Александр Исаевич — в Средней Азии. Потом ей помог вернуться в Москву Эренбург, с дочерью которого, Ириной Ильиничной, она в Париже вместе училась и дружила — они были одногодки. И Эренбург же помог ей прописаться в Москве, получить здесь комнату. А потом взял к себе секретарем литературным. И Наталья Ивановна до его смерти занимала эту должность. Через Эренбурга она *(в середине 60-х годов)* познакомилась и с Александром Исаевичем Солженицыным.

Наталья Ивановна рассказывала мне, как однажды в приемную Эренбурга вошел мрачный, плохо одетый человек. Он

хмуро посмотрел на нее — ну, как на секретаршу советского писателя. Потом о чем-то он с Эренбургом переговорил, и когда Наталья Ивановна его уже провожала до дверей, то она, вероятно, что-то ему сказала, из чего Александр Исаевич понял, что она зэчка. Я до сих пор думаю, как Александр Исаевич не увидел этого раньше. Это же было на ней написано: она была зэчка настоящая, вся просто до мозга костей. Когда он понял это, то совершенно изменился. Наталья Ивановна говорила: «На моих глазах произошло волшебное превращение. Сначала это было что-то такое хмурое, мрачное, злобное... И вдруг он стал милейший, красивейший, добрейший человек, который со мной заговорил другим языком». Они подружились. Наталья Ивановна стала очень верным и очень необходимым ему человеком. Через нее просто... Без нее вообще не было бы ничего. Ну, это все описано у Александра Исаевича — насколько он позволил себе, он все это описал *(см.: Бодался теленок с дубом // Новый мир. — 1991 — № 12. — С. 22—31.).*

Наталья Ивановна очень дружила и с Надеждой Яковлевной. Та ее любила, по-моему, как никого и, между прочим, побаивалась. Когда Надежда Яковлевна собралась уехать насовсем в Париж, Наталья Ивановна ей сказала: «Надежда Яковлевна, я **категорически** не советую Вам этого делать, ничего хорошего Вас там не ждет, и, пожалуйста, выбросьте это из головы». Ну, а Надежду Яковлевну вроде как уговорили: «Да нет, я уже...» — «Надежда Яковлевна, я повторяю, **Вам** там делать нечего». И она Наталью Ивановну послушала. А ей сказали, что она будет там хорошо спать, и кровать будет мягкой, и еда вкусной... Кстати, Наталья Ивановна, прожившая в Европе долгие годы, никогда не хотела туда вернуться насовсем (хотя у нее сестра родная *(Е.И. Столярова-Анцы)* там осталась и очень много близких людей). Ее потом пускали за границу несколько раз. Она ездила. Но каждый раз возвращалась и говорила (я потом вспоминала ее слова): «Самый блаженный момент — когда пересекаешь границу, возвращаясь обратно».Так что она никогда не хотела жить там и знала, что Надежда Яковлевна там жить не сможет. Она имела на Надежду Яковлевну такое влияние, что та ее послушала. Надежда Яковлевна, представьте, ее даже побаивалась. Ну кто же еще ее мог отговорить от уже ре-

шенного. А Наталья Ивановна была для нее авторитетом во многом. И Надежда Яковлевна ей доверяла и любила ее.

Я познакомилась с Натальей Ивановной, когда той было 55 лет и, что удивительно, старой ее не помню ни одной минуты. Я никогда не думала, сколько ей лет, такой силы и такого напора она была человек, такой энергии! Она так жила. Причем столько на ней держалось... Она же была настоящей подпольщицей, то, что делала она, не мог делать никто. Советская власть была способна на очень грязные вещи. И пока они додумались, что многое упирается в нее и уже начали сжимать вокруг кольцо, Господь Наталью Ивановну прибрал. Так они ее и **не вычислили** до конца. А на ней многое держалось. Надежда Яковлевна очень хорошо разбиралась в людях и, наверное, понимала, сколько стоит Наталья Ивановна. Ведь дружба Натальи Ивановны — это вещь была такая драгоценная. Такие люди не умеют ни предавать, ни лгать.

31 августа 1984 г. ее не стало. Уже в ссылке *(с 1983 по 1990 г. Вера Иосифовна отбывала ссылку на границе Тверской и Новгородской областей)* я получила письмо, что она ко мне приедет, а через несколько дней пришла телеграмма о ее смерти. И тогда я из ссылки убежала. Они меня уже тут в кольцо взяли. Но я все-таки была на ее похоронах. Наталья Ивановна недалеко от Надежды Яковлевны похоронена — только Надежда Яковлевна лежит в старой части *(Кунцевского кладбища)*, а Наталья Ивановна — в новой. И я всегда сначала иду к Наталье Ивановне, а потом — к Надежде Яковлевне.



Вера Иосифовна Лашкова

10 декабря 2000 г. мы записали на магнитную ленту воспоминания **Веры Иосифовны Лашковой** — человека, бывшего с Надеждой Яковлевной в последний день ее жизни.

17 января 1967 г. студентка режиссерского факультета Института культуры Вера Лашкова была арестована органами КГБ. Ее обвиняли в перепечатке составленной А. Гинзбургом «Белой книги» (Франкфурт-на-Майне: Посев, 1967), открывшей миру материалы процесса по делу Синявского и Даниэля. Через год вместе с А. Добровольским, Ю. Галансковым и А. Гинзбургом она предстала перед судом («процесс четырех»). В 1968 г. была освобождена как отбывшая наказание.

С 1969 г. подписывала множество правозащитных документов, участвовала в работе Фонда помощи политическим заключенным и их семьям. Совместно с А. Жолковской-Гинзбург составила документальный сборник «Калуга, июль 1978» (о новом суде над Гинзбургом). С мая 1983 г., лишившись права проживания в Москве, по 1990 г. отбывала ссылку на границе Тверской и Новгородской областей.

Вера Иосифовна, кто Вас познакомил с Надеждой Яковлевной? Вы были у нее уже в Черемушках или знакомство состоялось до 65-го года?

Я думаю, с Надеждой Яковлевной меня познакомила Наталья Ивановна Столярова, с которой я была очень дружна и которая, в свою очередь, была дружна с Надеждой Яковлевной. Я не помню своего первого посещения, но помню — это был 68-й год. Она уже приехала из Тарусы, уже получила свою квартиру и уже какое-то время в ней пожила. Надежда Яковлевна мне очень понравилась, все у нее понравилось: квартира такая нищая совершенно, пустая. Мы довольно быстро как-то с ней сдружились. Она очень много расспрашивала меня о тюрьме, как там — страшно или не страшно? Мне даже сначала показалось, что она преувеличивает свой страх, какой-то эпатаж немножко был. Но когда я стала взрослее, я поняла, насколько это действительно ее интересовало. Часто она говорила: «Я боюсь». Она же хранила у себя рукописи Мандельштама, а время было такое, что вполне могли прийти, из-под нее их выдернуть, да и ее придушить. Все, что угодно, могли сделать. И жизнь ее приучила, что ждать можно, чего угодно. Конечно, она боялась за то, что хранила всю жизнь, пока это все не было ею записано и передано. Так что страх у нее, безусловно, был, но страх не за себя. Нет. Ей, может быть, хотелось понять природу этого страха, но больше всего она, конечно, думала о том, что произошло, как она говорила, с ее «Оськой»... У нее был такой тип сознания (я не могу это на себя примерить и не из себя это понимаю), но она все время как бы с ним вместе жила. Это не было каким-то видением или мистикой, просто он постоянно присутствовал в ее жизни. Она это никак не выдавала, специально не выпячивала, но то, что он всегда был с ней, в ней, чувствовалось.

А о тюрьме я очень хорошо помню наш с ней разговор. Она всякие детали расспрашивала: как в камере, как ведут себя те, как эти... Очень подробно все выспрашивала. Я даже помню, мы пили чай (а у меня такая привычка образовалась: поскольку в тюрьме нет зеркала, то можно посмотреть в воду, в чай особенно — там видно отражение), и она сказала: «Как Вы смешно опускаете глаза в чашку». А я говорю: «А это такая тюремная привычка». То есть вот такие вещи выспрашивала. Она все вре-

мя повторяла: «Это, наверное, очень страшно». А я отвечала: «Надежда Яковлевна, нисколько не страшно, напротив, даже интересно». Меня удивляло, что прожив такую жизнь, она боится. Мне вот не было страшно.

А Мандельштаму было. Или Вы застали советскую тюрьму уже другой?

Не знаю, я не знаю... Здесь каждый только за себя может отвечать. Не знаю... Я думаю, что он был очень мужественным человеком. Трудно сказать, что он испытывал...

Так вот мы с Надеждой Яковлевной познакомились и потом уже довольно часто виделись. Я к ней приезжала и возила ее куда-то, поскольку машина у меня уже была.

Таруса к тому времени закончилась?

В общем, да. Но, кажется, она ездила к тете Поле еще пару лет.

Надежда Яковлевна была как-то привязана к своей квартире?

Привязана? Ну, такие люди уже не привязываются. Но она имела ее, и могла видеть в ней, кого хотела. А кого не хотела — не видеть. Она ощущала ее своим домом, конечно.

Кажется, эта квартира была в один-два дня обставлена?

Она не была никак обставлена. Такая мебель тогда была у многих. Потому что, когда человек получал квартиру, что случалось довольно редко, бралась, скажем, сотня, ну, тогда это были порядочные деньги, и с ней ехали в комиссионный — или на Смоленской, или на Преображенский рынок, там большая комиссионка была, и все покупалось. Настоящее, деревянное. Фанеры ведь еще не было. У нее так и было все обставлено.

А телевизор, скажем, был?

Телевизор?!! Не-е-ет, представить себе Надежду Яковлевну смотрящей телевизор я не могу. Проигрыватель вот был. Пластинки были. Слушала она классику. Я, честно говоря, не помню ее предпочтений. Кажется, она Моцарта любила... Не буду врать, могу спутать. И в какие-то концерты она ходила, ее водили...

Вера Иосифовна, а кого Вы помните у Надежды Яковлевны?

Кого помню? Ну, как-то, знаете, я не умею называть людей... Помню, что много совсем молодых людей возле нее появилось — поклонников Мандельштама. Очень Леля Мурина с ней дружила, потом Наталья Владимировна Рожанская, царство ей небесное. Люля Аренс, Шура Борисов со своим семейством, Шкловские... Все же это семейственно было.

А Надежда Яковлевна, когда я ее застала, еще крепкая была, довольно грузная, полная такая, в теле...

А глаза синие.

Не помню. *(Смеется.)* Фотографии ее ведь известны. Она была очень фотогенична. Когда мы познакомились, ей почти 70 было.

Ну, это теперь не старость.

Да. Но она и не производила впечатления дряхлой старухи. Помню ее всегда в таком халатике домашнем с короткими рукавами. У нее была очень типичная посадка. Она всегда сидела нога на ногу, всегда курила папиросу (или не курила, но держала ее в руке). В другой позе я уже ее и не помню. Она была малоподвижным человеком. Всегда предпочитала лежать. Но когда приходили гости, перед которыми Надежда Яковлевна лежать не очень могла, тогда она вот так садилась. Копошащейся по хозяйству или оживленно накрывающей на стол я ее просто не помню — всегда кто-то этим занимался, а она разговаривала.

Манеру говорить ее помните?

Я запомнила ее больше спрашивающей и слушающей, чем рассказывающей. Хотя, конечно, и рассказывающей тоже помню.

Помню *(улыбается)*, она любила что-то вкусненькое. Когда появились, как они назывались, это еще не доллары были...

Сертификаты.

...да, какие-то бумажки, она мне говорила: «Верка, есть бумажка». И доставала такую бумажку с полосой: «Ну, ты сама знаешь...» А любила она страшно вот что: это был джин такой. Джин ведь крепкий напиток... Но они были, знаете, и малиновые, и смородиновые. Такое крепкое, сладкое, но очень вкусное. Все это продавалось только в «Березках». То есть было мало кому доступно. Еще, помню, были какие-то шоколадки, орешки, тоже не наши. Вообще, Надежда Яковлевна рюмочку всегда любила принять. Ну, для оживления, может быть. Потом ей не очень-то можно стало.

Курить вот только не бросила.

Курить она не бросала никогда. Она всегда держала папиросы на столике. Пыталась с фильтром их курить, но не смогла. А курила эти честные папиросы свои, курила без конца, была настоящая такая курильщица. И, конечно, по лицу ее было видно, что она курит.

Она ведь последние годы задыхалась. Ей всегда не хватало воздуха.

Да, дыхание, действительно... Она же сердечница была.

Надежда Яковлевна довольно много читала литературы по-английски. Это я помню, заставала ее несколько раз за английскими книгами.

А однажды произошел очень смешной случай. Мы с Натальей Ивановной сговорились, что к ней приедем. Что-то захватили с собой и довольно быстро на машине приехали. Звоним. Никто не открывает. Мы испугались, подумали, что что-то случилось. Обошли дом, заглянули в окно, благо, это был первый этаж. И тогда мы с Натальей Ивановной *(смеется)* поступили, как два сработавшихся клоуна: она меня подсадила немножко, и я стала смотреть в окно. В комнате никого не было. Кровать была, как всегда, разложена. (Кровать, кстати, не убиралась никогда.) Но в комнате никого. И тогда я влезла в форточку. Форточки там были большие. Сразу побежала на кухню... Надежды Яковлевны в этой квартире не было, она исчезла. Тут вошла Наталья Ивановна — я ее впустила, и через какое-то время, две-три минуты, является Надежда Яковлевна... с авоськой. Она страшно удивилась, увидев нас. Мы на нее напустились, конечно. Наталья Ивановна стала говорить: «Как так можно, Надежда Яковлевна! Мы чуть с ума не сошли от страха. Что с Вами случилось? Что произошло?» Почему мы так испугались? Может быть, в этот день было очень жарко, не помню. А она решила просто сделать нам приятное и пошла пряники какие-то там купить.

Надежда Яковлевна уже редко выходила?

Нет, она еще выходила тогда. Но все-таки мы за нее уже боялись. Мысль, что с ней что-то случилось, — это первое, что нам пришло в голову. Вообще, все о ней очень заботились. Я думаю, Надежда Яковлевна вполне и сполна получила человеческое внимание, если, конечно, она в нем нуждалась. Замечательные люди же ее окружали. Но у меня, вот, не было ощущения, что она в ком-то страшно нуждается. Это моя точка зрения. Мне кажется, что равновеликих Надежде Яковлевне людей уже рядом с ней не было. Я на нее всегда смотрела, совершенно спокойно сознавая это, снизу вверх. Я понимала ее человеческое величие. Не знаю, как она это внушала. Я считала, что прожить такую жизнь и сохранить свой интеллект, свою

культуру и свое несгибаемое мужество — это подвиг. Не каждый, далеко, их сохранил. А она совершила настоящий подвиг, прежде всего сохранив и объяснив Мандельштама. Для меня Надежда Яковлевна была безусловным авторитетом во всем. Я считала, что она просто не может лгать. Хотя, говорят, нет безгрешных.

Об Анне Андреевне в последние годы она вспоминала?

Ну, она говорила о ней, как об очень близком, домашнем своем человеке. С большой приязнью, как о давнем, старом и бесспорном друге. Ну, а о ком она написала во Второй своей книге, как люди говорят, добро? О Наталье Ивановне и об Анне Андреевне... О Пастернаке еще.

Я знаю, что разным людям Надежда Яковлевна задавала один и тот же вопрос о реальности загробной жизни. С Вами она говорила об этом?

Да. Она говорила об этом, как о несомненном. Она просто это знала. Она не была, как мне кажется, таким схоластически верным церкви человеком, но то, что она веровала, для меня несомненно. Хотя она никогда показно не молилась. И никакого фарисейства в ней не было. Она веровала безусловно, а то, что она увидит там своего Оську, она всегда знала, и перед смертью об этом сказала — перед тем, как уснуть в смерть... В таких вещах притворяться, я думаю, невозможно. А что такое загробная жизнь? Это встреча. Она не говорила, например, я встречусь с мамой или с папой, нет — Ося. Ну, это часть ее была всегда. Он от нее даже как-то и не отходил. Жизнь ее была предпосылкой веры, ведь вера — это же уверение в невидимом. Он и был невидим. А она верила, что он есть.

Что еще? В ней были едкость и ехидность. И она могла обижать людей. Но я никогда от нее никакой обиды не видела.

Может быть, Надежда Яковлевна и была той солью, без которой людям жить невозможно. Я думаю, многие это понимали.

Она была страшно иронична. Это была ее суть. А может быть, это была и защита какая-то... По своему типу она была таким человеком. Я не помню ее согнутой, притихшей... Но в ней не было желания обижать людей. Я не помню, чтобы она кого-то специально обидела. Люди ведь умеют обижаться еще, есть страшно уязвимые люди, гордые... Многие к ней в претензии. И очень многие от нее отходили.

Надежда Яковлевна очень помогала людям... Разным людям.

Она была необычайно щедрая. Очень. Отдавала просто все. Ей привозили с Запада какие-то вещи, и, главное, у нее уже появились деньги, но я помню, что она отдавала все. Себе могла оставить, скажем, шаль, ну, просто потому, что куталась в нее. А кофточки какие-то бесконечные, еще что-то — все отдавала. Помню, она мне дала однажды деньги, я к ней пришла в каких-то лаптях развалившихся, а она сказала: «Немедленно садись, поезжай и купи себе туфли». Ей не нужно было ничего. Она жила, как сейчас бы сказали, в совершенно нищенской обстановке. Вот ко мне приходит брат и говорит: «Вера, как ты живешь — так жить нельзя». Он мне все время это внушает. А она жила в еще более нищей обстановке, но ей ничего и не нужно было. Она могла бы купить себе, скажем, мягкую мебель. Нет, ей просто в голову не приходило. И это не было позой. Но кровать, скажем, на которой она лежала, была вполне добротной. Хорошая такая, добротная кровать... А главное, там много чего можно было прятать. Надежда Яковлевна же лежала на рукописях.

Вот оно что?!

Конечно! Туда много можно было упихнуть, и упихивалось... Так что она все время на чем-то лежала, и очень много работала. Ведь было время, когда в кухне не было этого народу бесконечного, и она просто сидела дома одна и работала.

Вера Иосифовна, несмотря на старость, в которую Надежда Яковлевна уже сходила, Вам она казалась счастливой?

Счастливой? Горечи было много. Она прожила необычайно тяжелую жизнь, впрочем, как и вся страна вместе с ней. Но она не производила впечатления человека несчастливого, ущербного, или которому что-то не додали. Она была абсолютно полноценной и сильной. Да, можно сказать, счастливой. Это была порода, конечно, очень сильная.

Она любила покапризничать. Ей было приятно, что ей кто-то что-то подает, что есть люди, которые ее любят и о ней заботятся искренне совершенно.

Вспомните, пожалуйста, последний день Надежды Яковлевны. 28 декабря Вы сменили на дежурстве Н.И. Столярову...

Да, я ее сменила, кажется. Конечно, Надежда Яковлевна была уже совсем плоха. Собственно, потому и дежурства были организованы. Она лежала все время. У нее были проблемы с сердцем, насколько я помню. Но Надежда Яковлевна не изме-

нилась нисколько. Да, она лежала, но ведь она всегда предпочитала лежать. А здесь она уже была тяжело больна. Какие-то лекарства ей бесконечные назначались. Ее уже не оставляли. Видно, что-то тревожное было, после чего мы и стали дежурить. Все происходило так: она лежала в комнате у себя, там горел постоянно свет. Мы сидели в кухне, в кухне на диванчике можно было вполне прилечь и подремать.

Я пришла. Может быть, даже чаю попила. Что-то спросила... Я вот помню, что разговор в тот последний вечер у нас с ней был как раз об Ахматовой и о Блоке. Мы говорили о стихах. Деталей не помню. И не было ничего настораживающего — признаков какой-то ужасной слабости, болей... Ничего предсмертного ни в виде, ни в поведении Надежды Яковлевны не было. Она всегда засыпала очень поздно. В два часа, где-то так. У нее был такой колокольчик, он у меня теперь стоит, и если ей что нужно было, то она звонила. Я помню, что в тот вечер я сидела на кухне и писала, записывала все, о чем мы с ней говорили. А она лежала и читала. Чт — я не помню. Потом я подошла к ней, и она мне сказала: «Ты мне теперь почитай». Я взяла книжку. Это были какие-то сказки. Помню, я прочитала «государ », она меня поправила: «Госуд ря». В общем, я ей немножко почитала, и она вроде как дремать начала. Закрыла глаза. А была уже глубокая ночь — трамваев не было слышно. Я все время к ней заходила — она просто спала. А потом открыла глаза, по-моему, это часа в два было: «Я хочу встать. Ты мне помоги». И я помогла ей выйти. Но видно было, что движения эти давались ей трудно. Потом мы посидели, и я еще отметила, что стояла какая-то страшная тишина. Дом мертвый, спит, два часа ночи. Ну, знаете, бывает момент в городе, когда очень тихо. И вдруг Надежда Яковлевна говорит: «Ты слышишь?» Я: «Нет, Надежда Яковлевна, ничего не слышу». Ну, и она это оставила как-то. Но мне показалось, она что-то несомненно слышала, чего не стала мне объяснять. Я еще подумала, что звуков никаких нет внешних, но она же могла и что-то другое слышать. Не знаю что. Потом, спустя совсем короткое время, ну пять, может быть, минут, она спросила: «Тебе не страшно?» — «Нет, Надежда Яковлевна, ничего мне не страшно». Она: «Ну ты не бойся ничего». — «А я ничего и не боюсь». То есть вот так как-то мы с ней и разговаривали.

Затем я ушла к себе в кухню. И надо сказать, что я просто уснула и проспала совершенно добросовестно всю эту ночь. Но

рано проснулась, часов, может быть, в шесть. И начала как бы жить. А Надежда Яковлевна обычно просыпалась поздно. Соответственно, и засыпала поздно — порой в три-четыре утра. Я вошла к ней. Она очень тихо и спокойно спала совершенно обыкновенным человеческим сном. Я даже не могу сказать блаженным — нет, обычным. Но в какой-то момент, когда я снова вошла, это, может быть, было где-то около одиннадцати, я вдруг увидела, что Надежда Яковлевна дышит очень часто, но спит. Я ее взяла за руку, у нее стало меняться дыхание. И я поняла, что она умирает, потому что она выдыхала и потом долго не вдыхала. У меня не было мысли что-то делать с ней. Для меня было очевидно, что она умирает. Я просто встала на колени рядом с ней, и, может быть, я не права была, не знаю, но я понимала, что она уходит, и понимала, что это святой, таинственный процесс. Очень быстро все произошло. Может быть, минут пять или десять. Я совершенно спокойно на это смотрела, и когда поняла, что она уже не дышит, перекрестила ее. Глаз она так и не открыла. Ничего не сказала. Не стонала, не мучилась. И я подумала: Господи, вот сейчас она возносится и сейчас встретится с Осипом Эмильевичем. Какая-то блаженная, праведная кончина у нее была. Иначе я не могу назвать.

Конечно, я сразу позвонила Наталье Ивановне, потом Юре. Довольно быстро люди понаехали. Потом, когда все это улеглось, я много раз думала: как замечательно, что ей дали умереть спокойно. Так Господь как-то все устроил, что я была рядом с ней в ее последний день. Может быть, если бы кто другой дежурил, то стал бы ее трясти. А ведь смерть неотменима. Это, действительно, таинство, для меня, по крайней мере. Но Вы знаете, такую кончину не часто видишь. При мне многие умирали, но это было удивительно. Отмучалась она, как говорится, но, конечно, послал ей Бог кончину блаженную.

А потом было все ужасно. Потому что гэбэшники совсем осатанели, и то, что они делали, было так мерзко, грубо, нагло и грязно, что, конечно, я многое что от них повидала, но это... Они хотели ее взять без гроба и увезти на машине, которая подбирает умерших людей на улицах, всяких одиноких, окоченевшие трупы... Вот так они хотели и с Надеждой Яковлевной поступить.

Они смогли увезти тело?

Нет! *(Резко.)* Нет. Нет. Нет. Мы не дали. Нас ведь очень много там было. Как только Надежда Яковлевна умерла, мы тут же заказали гроб, и его сразу же привезли. Ее обмыли, положили в гроб и начали над ней читать Псалтырь. Все время читали, без перерыва. И не было недостатка в желающих. Лицо у Надежды Яковлевны в гробу было очень спокойное, совершенно безмятежное, такое разгладившееся, как часто бывает у умерших людей. Знаете, такую смерть тоже заслужить надо. Ведь одно из главных прошений христианских — это прошение о кончине безболезненной, непостыдной и мирной.

Они увезли ее в морг, я уже не помню какого института. Мы их выследили. У нас были машины, по-моему, даже я на машине была. А у меня они хотели тогда вырвать Библию Надежды Яковлевны (я ее до сих пор храню). Прямо из рук рвали. А я ее прижала намертво.

Когда мы приехали в морг, там дежурила очень хорошая старушка. Чудная совершенно. Простая русская бабушка, совершенно замечательная. Она сказала: «Да вы не волнуйтесь, я уж ей и платочек свой надела. Какая, — говорит, — у вас бабушка хорошая. Она у меня в платочке лежит, я ей и иконочку на грудь положила»...

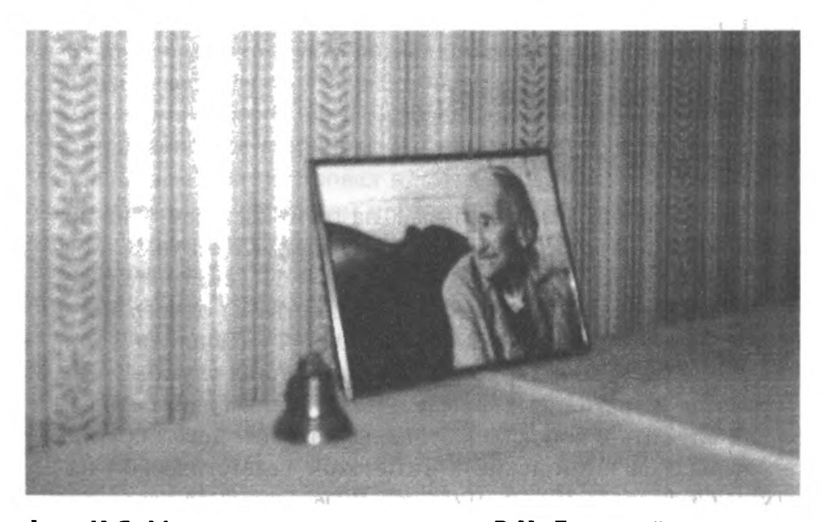
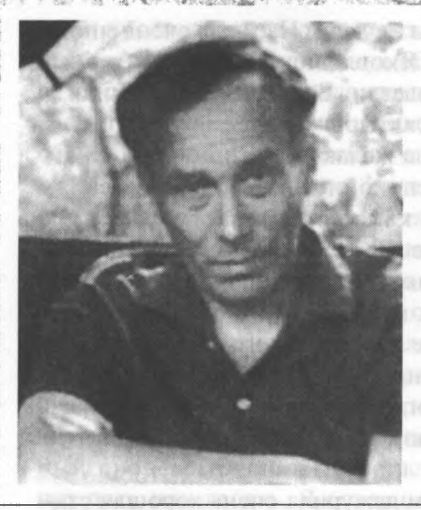


Фото Н.Я. Мандельштам, подаренное ею В.И. Лашковой. Колокольчик, который в последние месяцы жизни лежал у кровати Надежды Яковлевны. Архив В.И. Лашковой



В конце главы

Выступление Евгения Борисовича Пастернака на вечере, посвященном 100-летию со дня рождения Надежды Яковлевны Мандельштам

(29 октября 1999 г., Москва, зал Литературного музея)

У Нади вера в бессмертие была... на грани бытовой. Она повторяла: «Когда я встречу Оську, я ему задам, что он ушел и оставил меня здесь страдать столько лет». И действительно, столько лет: сначала безумного ужаса, бегства из одного места в другое, полной бездомности. В Москве — у Василисы Георгиевны Шкловской, в Тарусе, на многих местах службы... Мы случайно не встретились впервые в Чите. Меня туда *(в 1953 г.)* послали служить в войсках Забайкальского военного округа, а она преподавала английский в Читинском педагогическом институте. *(В феврале 1953 г. Надежда Яковлевна была уволена из Ульяновского пединститута. В этом же году она получила направление на работу в Читу, где с сентября 1953 по август 1955 г. проработала старшим преподавателем в педагогическом институ-*

те.) Можно было зайти. Ну, в Забайкалье служить, не очень вспоминать о русской литературе...

И не о русской литературе идет речь. Речь идет о том, что христианская история строится авторами, которые посвятили себя жизнеописанию и сохранению духа гения, и в первую очередь, конечно, это было записано евангелистами. Труд евангелистов — великий пример того, чем занималась Надежда Яковлевна. Это вдохновение коренится очень глубоко, оно коренится в жажде того, чтобы быть свидетелем, чтобы донести то, что иначе пропадет, до... не просто даже до следующих поколений, а до времени, которое это подхватит и будет держать. Это боязнь того, что будущее прозвучит строчкой *(Пастернака)*: «Но кто мы и откуда // Когда от всех тех лет // Остались пересуды, // А нас на свете нет» *(«Свидание». Из цикла «Стихотворений Юрия Живаго»)*. То, чтобы Осипа Эмильевича не постигла эта судьба, влекло ее к подвигу. Пока она не написала первую свою книжку, она была почти замкнута. В это время ее знали немногие. Она была вся в том, чтобы не забыть и повторять, и записать.

Потом период между первой и второй книгой. И ко второй книге она подходила с тем, чтобы написать о себе, но оказалось, что она снова написала о Мандельштаме. Когда я прочел эту рукопись, на которую многие обижались, я ее спросил: «Вот здесь написано о таком-то, здесь — о таком-то...», мы говорили просто о книге (это было в Переделкине), и она мне ответила: «Это написано всё об одном. И никого другого здесь нет». Но Мандельштам присутствовал на этих страницах вместе с временем и вместе с протестом против того, как время калечит человека, как оно его губит.

Мой отец перед смертью сказал мне, что вся его жизнь была единоборством с царствующей и торжествующей пошлостью за свободную игру человеческого таланта. *(А.А. Ахматова: «Когда я в последний раз была у Бориса, он возмущался: в Америке реклама «Принимайте эти пилюли, их прописывал доктор Живаго!» Говорил: если останусь жив, посвящу себя борьбе с пошлостью» (Свидетельство А. Сергеева. // Omnibus, с. 376).)* Вот это тоже самое. И людям надо жить в христианской вере, вере в воскресенье, чтобы знать, что все живы, что в потомственной памяти можно обрести бессмертие тех, кто ушел в вечную жизнь, именно потому вечную жизнь, что память о них сохраняется, пока

другие живы. И жизнь, которая предстает на страницах книг Надежды Яковлевны, и то, как она жила, — пример тому...

Потому что в этих книгах ее жизнь видна. Они говорят о том, что мелкие сплетни, нарекания и все то, что по ее поводу говорилось, — это чепуха. И опять-таки, если обратиться к тому, что писал мой отец, то он где-то в 36 году написал стихотворение *(«Безвременно умершему»)*, в котором есть строчки: «Страницы века громче // Отдельных правд и кривд. // Мы в этой книге кормчей // Живой курсивный шрифт». И дальше говорится, что мы идем все время вторым изданием, душой и телом этой книги — это понимала и олицетворяла Надежда Яковлевна. И это было настолько сильно, что разговоры за столом, ее острый ум, ее резкое подчас отношение к разным людям, умение порвать, умение отойти от человека, который ей чем-то был не по нутру и не по сердцу — это было естественно и выходило из того, о чем она думала и что она хотела сделать.

И если посмотреть на ее дни рождения, на эту череду, то после второй книги она освободилась не только от страха, она освободилась душевно. Ну, я уж не говорю, что уже тогда было американское издание Мандельштама, что можно было его выправить по уцелевшему архиву, что архив был сначала у Струве, а потом, по ее желанию — в Принстоне, в чем я немножко тоже принимал участие, и вот от страхов, что все пропадет, она избавлялась, и становилась мягче, становилась гораздо терпимее и мягче. Ее ревность к судьбе творчества Мандельштама сменялась ощущением того, хотя нужно еще много сделать, но это исполнится само.

Вот я недавно понял, что ревность, которая «снедает меня», как пишется в русском синодальном Евангелии, по-славянски звучит как «жалость к дому твоему». И вот эта вот общность корней, то, что ее воспоминания были согреты нестерпимой жалостью и нежностью к оставившему ее Осипу Эмильевичу, — это было тем, что стержнем проходило через все и заставляло относиться к каждому ее слову как к чему-то, за чем есть еще что-то, что нужно понять и сказать.

Сейчас уже нет многих, кто бывал на ее днях рождения. И вот сейчас в этом зале узнаешь оставшихся и радуешься, что они существуют, что они это помнят, и просишь прощения за то, что сбиваешься и говоришь, наверное, вещи, всем извест-

ные, но близкие мне и понятные. И кончая свое выступление, я опять-таки возвращусь к поэзии Пастернака и вспомню заключительные строчки первой части «Вакханалии», прочту это, сбиваясь иногда, но к концу более стройно:

Город. Зимнее небо.
Тьма. Пролеты ворот.
У Бориса и Глеба
Свет, и служба идет.

Лбы молящихся, ризы
И старух шушуны
Свечек пламенем снизу
Слабо озарены.

А на улице вьюга
Все смешала в одно,
И пробиться друг к другу
Никому не дано.

В завываньи бурана
Потонули: тюрьма,
Экскаваторы, краны,
Новостройки, дома,

Клочья репертуара
На афишном столбе
И деревья бульвара
В серебристой резьбе.

И великой эпохи
След на каждом шагу —
В толчее, в суматохе,
В метках шин на снегу,

В ломке взглядов, — симптомах
Вековых перемен, —
В наших добрых знакомых,
В тучах мачт и антенн,

На фасадах, в костюмах,
В простоте без прикрас,
В разговорах и думах,
Умиляющих нас.

И в значеньи двояком
Жизни, бедной на взгляд,
Но великой под знаком
Понесенных утрат.

Время сейчас очень тревожное для многих, в том числе и литераторов, но все-таки вот того страха у тех, кто сейчас молод, нет. И тут мне хочется вспомнить о том, как Наденька не любила непуганых, потому что, если человек не помнит этого страха, то может вернуться старое. Не дай нам Бог!

Caetera desunt
(Остального недостает[1])

---

[1] Помета на рукописях и книгах, не имеющих конца *(лат.)*

Борис Пастернак

Свидание

Засыпет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги:
За дверью ты стоишь.

Одна в пальто осеннем,
Без шляпы и калош,
Ты борешься с волненьем
И мокрый снег жуешь.

Деревья и ограды
Уходят вдаль, во мглу.
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу.

Течет вода с косынки
За рукава в обшлаг,
И каплями росинки
Сверкают в волосах.

И прядью белокурой
Озарены: лицо,
Косынка и фигура
И это пальтецо.

Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик слажен
Из одного куска.

Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.

И в нем навек засело
Смиренье этих черт,
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд.

И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

(Из «Стихотворений Юрия Живаго»)

Безвременно умершему

Немые индивиды,
И небо, как в степи.
Не кайся, не завидуй, —
Покойся с миром, спи.

Как прусской пушке Берте
Не по зубам Париж,
Ты не узнаешь смерти,
Хоть через час сгоришь.

Эпохи революций
Возобновляют жизнь
Народа, где стрясутся,
В громах других отчизн.

Страницы века громче
Отдельных правд и кривд.
Мы в этой книге кормчей
Живой курсивный шрифт.

Затем-то мы и тянем,
Что до скончанья дней
Идем вторым изданьем,
Душой и телом в ней.

Но тут нас не оставят.
Лет через пятьдесят,
Как ветка пустит паветь,
Найдут и воскресят.

Побег не обезлиствел,
Зарубка зарастет.
Так вот — в самоубийстве ль
Спасенье и исход?

Деревьев первый иней
Убористым сучьем
Вчерне твоей кончине
Достойно посвящен.

Кривые ветви ольшин —
Как реквием в стихах.
И это все; и больше
Не скажешь впопыхах.

Теперь темнеет рано,
Но конный небосвод
С пяти несет охрану
Окраин, рощ и вод.

Из комнаты с венками
Вечерний виден двор
И выезд звезд верхами
В сторожевой дозор.

Прощай. Нас всех рассудит
Невинность новичка.
Покойся. Спи. Да будет
Земля тебе легка.

1936

Молитва двоих

«Господи Боже мой, Иисус Христос. Ты пречистыми устами Своими сказал: «Когда двое на земле согласятся просить о всяком деле, — дано будет им Отцом Моим Небесным, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». Непреложны Твои слова, Господи, милосердие Твое бесприкладно и человеколюбию Твоему нет конца. Молим Тя, Боже наш, дари нам, Осипу и Надежде, согласившимся просить Тя о Встрече. Но обаче не так, как мы хотим, а как Ты, Господи. Да будет во всем воля Твоя. Аминь».

Н.Я. Мандельштам, Вторая книга.

Краткие аннотации использованных в книге фонозаписей из фонда В.Д. Дувакина

Михаил Александрович Зенкевич. Состоялась одна беседа (*кассеты №№ 2, 3 — 1967 г.*); продолжительность — 1 час 35 мин. Вел беседу В.Д. Дувакин.

Основная тема беседы — встречи с В.В. Маяковским; Зенкевич рассказывает также о литературном Петербурге 13-го года, о своих друзьях-акмеистах. В этом контексте звучат и воспоминания и размышления об О.Э. Мандельштаме. В конце записи Зенкевич читает свои стихи.

Публикуются фрагменты беседы, состоявшейся 19 апреля 1967 г. (*кассеты №№ 2, 3; 25 мин.*).

Виктор Борисович Шкловский. Состоялось три беседы (*кассеты №№ 12, 13 — 1967 г., 67, 68 — 1968 г., 814 — 1981 г.*); общая продолжительность — 4 часа 30 мин. Вели беседы В.Д. Дувакин и В.В. Радзишевский (№ 814).

Основная тема бесед — В.В. Маяковский, встречи с ним, его окружение. В.Б. Шкловский рассказывает также о себе; о литературной ситуации 10—20-х гг., о встречах с Д.Д. Бурлюком, В.В. Хлебниковым, О.Э. Мандельштамом, А.А. Блоком и др.; об ОПОЯЗе, ЛЕФе и своем в них участии.

Публикуется фрагмент первой беседы, состоявшейся 14 июля 1967 г. (*кассета № 13; 11 мин.*).

Ольга Абрамовна Ланг (псевд. ***Ольга Фальк***). Всего состоялась одна беседа (*кассета № 117 — 1969 г.)*. Продолжительность беседы — 71 мин. Вел беседу В.Д. Дувакин.

О.А. Ланг рассказывает о Бестужевских курсах, где она училась с 1915 г., о литературных увлечениях студенчества, о вечерах поэзии конца 10-х — начала 20-х гг. в Петрограде и Москве, об участниках пушкинского семинара — Е.М. Тагер, Б.М. Эйхенбауме, Ю.Н. Тынянове и др.

Публикуется фрагмент беседы — 2 июля 1969 г. *(кассета № 117, 9 мин.)*.

Михаил Александрович Ковалев (псевд. Рюрик Ивнев). Состоялось две беседы (*кассеты №№ 219, 222 — 1971 г.*); общая продолжительность — 2 часа 12 мин. Вел беседы В.Д. Дувакин.

Беседы с М.А. Ковалевым включают рассказ о его родословной, автобиографию, воспоминания о начале литературной деятельности, журналах и альманахах 10-х гг., литературных вечерах, встречах с поэтами, в том числе и с О.Э. Мандельштамом, взаимоотношениях в литературной среде. Более подробно Ковалев говорит об имажинистах (Есенине, Мариенгофе, Шершеневиче).

Публикуется фрагмент второй беседы, состоявшейся 27 октября 1971 г. (*кассета № 222; 17 мин.*).

Нина Константиновна Бальмонт-Бруни. Всего состоялось четыре беседы *(кассеты №№ 83, 84, 101, 126, 127 — 1969 г.)*; общая продолжительность бесед — 4 часа. Вел беседы В.Д. Дувакин.

Тематика воспоминаний Н.К. Бальмонт-Бруни — отец, поэт К.Д. Бальмонт; жизнь в Петрограде в Доме Искусств в 20-е гг.; встречи с В.В. Маяковским; воспоминания о муже, художнике Л.А. Бруни, и его друзьях. Большая часть второй беседы посвящена знакомству с Б.Л. Пастернаком.

Публикуется фрагмент второй беседы, состоявшейся 3 апреля 1969 г. *(кассета № 84; 13 мин.)*.

Борис Григорьевич Чухновский. Состоялась одна беседа (*кассета № 51 — 1968 г.*); продолжительность беседы — 40 мин. Вел беседу В.Д. Дувакин.

Б.Г. Чухновский рассказывает о полярных экспедициях, о своих зарубежных поездках, связанных с экспедициями, и встречах за границей, прежде всего — с В.В. Маяковским и И.Г. Эренбургом.

Публикуются фрагменты беседы (*9 мин.*).

Надежда Давыдовна Вольпин. Всего состоялось три беседы (*кассеты №№ 455, 458 — 461 — 1975 г.*); общая продолжительность — 7 час. 50 мин. Вел беседы В.Д. Дувакин.

Тема бесед — автобиография, знакомство с С.А. Есениным, взаимоотношения с ним, его окружение; собственная литературная деятельность; литературная Москва конца 10-х — начала 20-х годов; литературные встречи в Петербурге в 20-е гг.

Публикуются фрагменты из второй беседы — 17 апреля 1975 г. (*кассеты №№ 458, 459; 28 мин.*).

Василиса Георгиевна Шкловская-Корди. В отделе фонодокументов НБ МГУ хранятся две беседы с В.Г. Шкловской-Корди (*кассеты №№ 81, 82 — 1969 г.; 420 — 1974 г.*). Первая записана В.Д. Дувакиным, вторая — внуком Василисы Георгиевны, Н.Е. Шкловским-Корди, и передана в дар Отделу фонодокументов. Продолжительность бесед — 3 часа.

В первой беседе В.Г. Шкловская-Корди рассказывает о своем приезде в Петербург, знакомстве с В.Б. Шкловским, замужестве, встречах с В.В. Маяковским, о его окружении. Вторая беседа почти полностью посвящена жизни в Доме Искусств и знакомству с О.Э. и Н.Я. Мандельштамами.

Публикуется, с незначительными сокращениями, вторая беседа, состоявшаяся 27 октября 1974 г. (*кассета № 420; 40 мин.*).

Надежда Александровна Павлович. Состоялось пять бесед *(кассеты №№ 161, 175—177 — 1971 г.; 700 — 1979 г.).* Продолжительность бесед — 6 час. 10 мин. Вел беседы В.Д. Дувакин.

Н.А. Павлович рассказывает о своей молодости, о московской литературной молодежной среде в 10-е годы, о своих встречах с А.А. Блоком, жизни в петроградском Доме Искусств в 20-м году (именно к этому периоду относится ее знакомство с О.Э. Мандельштамом), о взаимоотношениях с Б.Л. Пастернаком. Последняя беседа посвящена истории Оптиной Пустыни и ее судьбе в советское время.

Публикуется фрагмент из второй беседы, состоявшейся 26 марта 1971 г. (*кассета № 176; 10 мин.*).

Игнатий Игнатьевич Бернштейн (псевд. ***Александр Ивич***). Состоялась одна беседа (*кассеты №№ 248, 249 — 1972 г.*); общая продолжительность — 2 часа 15 мин. Вел беседу В.Д. Дувакин.

И.И. Бернштейн рассказывает о своем брате, известном лингвисте С.И. Бернштейне, и его окружении; о своем пути в литературу, жизни в Доме Искусств в Петрограде в 1920–21 годах, дружбе с В.Ф. Ходасевичем, встречах с писателями и поэтами в Петрограде начала 20-х гг.: А.А. Блоком, О.Э. Мандельштамом, Н.С. Гумилевым и др.

Публикуются фрагменты беседы от 5 мая 1972 г. (*кассеты №№ 248, 249; 19 мин.*).

Наталья Давыдовна Эфрос. Состоялось две беседы (*кассеты №№ 752, 757 — 1980 г.*); общая продолжительность — 2 часа 35 мин. Вели беседы В.Д. Дувакин и М.В. Радзишевская.

Темы бесед — учеба в алферовской гимназии и Московском университете (10-е гг.); А.М. Эфрос, его биография, литературная и общественная деятельность; круг знакомых Эфроса; работа в «Литературном наследстве».

Публикуется фрагмент первой беседы — 28 апреля 1980 г. (*кассета № 752; 16 мин.*).

Михаил Владимирович Алпатов. Состоялось две беседы (*кассеты №№ 519, 520 — 1975 г.*); общая продолжительность — 2 часа 15 мин. Вел беседы В.Д. Дувакин.

М.В. Алпатов рассказывает о своей научной деятельности, о встречах с художниками, говорит о своих литературных и театральных пристрастиях (в этой связи появляется и упоминание о встрече с О.Э. Мандельштамом).

Публикуется фрагмент первой беседы — 4 декабря 1975 года (*кассета № 519; 2 мин.*).

Елена Константиновна Гальперина-Осмеркина. Всего состоялось 3 беседы *(кассеты №№ 750, 753 — 755; 1980 г.)*; общая продолжительность бесед — 5 час. 26 мин. Вел беседы В.Д. Дувакин.

Общая тематика бесед — художественная интеллигенция 30—40-х гг., А.А. Осмеркин и его окружение; во второй и третьей беседах Е.К. Гальперина-Осмеркина рассказывает о своих литературных знакомствах 20—40-х гг.

Публикуется фрагмент второй беседы — 29 апреля 1980 г. *(кассета № 754; 22 мин.).*

Анастасия Ивановна Цветаева. Состоялось три беседы (*кассеты №№ 285—289, 1973 г.*); общая продолжительность бесед — 3 часа 50 мин. Вел беседы В.Д. Дувакин.

Основная тема бесед с А.И. Цветаевой — М.И. Цветаева, ее жизнь и творчество. А.И. Цветаева читает стихи М. Цветаевой, немного рассказывает об отце и создании музея изящных искусств.

Публикуемый фрагмент взят из второй беседы (*кассета № 287; 7 мин.*).

Виктор Ефимович Ардов. Всего состоялось 4 беседы *(кассеты №№ 32 — 1967 г.; 386—388, 393 — 1974 г.)*; общая продолжительность бесед — 6 час. 14 мин. Вел беседы В.Д. Дувакин.

Тематика бесед с В.Е. Ардовым — сатирические журналы 20-х гг.; В.В. Маяковский и его окружение; встречи с С.А. Есениным; В.Э. Мейерхольд и его театр. Большая часть третьей беседы посвящена А.А. Ахматовой; здесь же говорится и о знакомстве с О.Э. Мандельштамом.

Публикуется фрагмент третьей беседы — 8 августа 1974 г. *(кассета № 387).*

Воспоминания о В. Маяковском, С. Есенине и В. Мейерхольде частично опубликованы. См.: Ардов В.Е. Из воспоминаний. / Публикация В.Ф. Тейдер // «Минувшее»: Исторический альманах, 17. — М.-СПб., 1994. — С. 171—205.

Иван Михайлович Гронский. Всего состоялось четыре беседы (*кассеты №№ 372—379, 1974 г.; 451—453, 1975 г.*); общая продолжительность бесед — 16 час. 10 мин. Вел беседы В.Д. Дувакин.

Тематика бесед с И.М. Гронским — его биография, участие в революционной деятельности, работа в партийно-государственных органах; арест, лагерь, реабилитация; литературные встречи; политика партии большевиков и правительства в об-

ласти литературы и искусства и личное участие И.М. Гронского в формировании и проведении в жизнь этой политики.

Публикуется фрагмент третьей беседы (*кассета № 379, 8 июня 1974 г.; 7 мин.*).

Сергей Павлович Бобров. Состоялось две беседы (*кассеты №№ 53 — 55, 1968 г.*); общая продолжительность бесед — 2 часа. Вел беседы В.Д. Дувакин.

С.П. Бобров рассказывает о себе, о своем участии в литературной жизни 10-х гг., о литературных встречах, взаимоотношениях с Б.Л. Пастернаком, литературной ситуации начала 20-х гг.

Публикуются фрагменты первой и второй бесед (*кассеты №№ 53, 54, 55 — 5 и 6 июля 1968 г.; 16 мин.*).

Сергей Александрович Макашин. Состоялось десять бесед (*кассеты №№ 871 — 1984 г.; 882 — 1985 г.; 888 — 1986 г.; 894, 902 — 1987 г.*); общая продолжительность бесед — 12 час. Вела беседы М.В. Радзишевская.

Тематика бесед с С.А. Макашиным — В.Я. Брюсов и созданный им институт; этнологический факультет Московского университета 20-х гг.; работа в Большой советской энциклопедии и в «Литературном наследстве»; встречи, связанные с этой работой; участие в Великой Отечественной войне (бои, концлагерь, пражские встречи); судьба Макашина после войны, литературоведческие исследования; заграничные встречи, русские исторические и литературные архивы за рубежом.

Публикуется фрагмент пятой беседы (*кассета № 888, 8 января 1986 г.; 4 мин.*).

Михаил Давидович Вольпин. Всего состоялось 4 беседы *(кассеты №№ 22—26, 1967 г.; 523, 527, 528 — 1975 г.)*; общая продолжительность бесед — 6 час. 50 мин. Вел беседы В.Д. Дувакин.

Тема бесед с М.Д. Вольпиным — его работа в РОСТА, встречи с В.В. Маяковским, выступления Маяковского, окружение его; сатирические журналы 20-х гг., знакомство с Ю.К. Олешей. Третья беседа почти полностью посвящена знакомству с А.А. Ахматовой; в ней же говорится о встречах с О.Э. и Н.Я. Мандельштамами.

Публикуется фрагмент третьей беседы — 17 декабря 1975 г. *(кассета № 523, 10 мин.).*

Александр Иосифович Немировский. Состоялась одна беседа (*кассета № 941, 1991 г.*); продолжительность — 94 мин. Вела беседу В.Ф. Тейдер.

Тема беседы — автобиография, научная деятельность; жизнь в Воронеже, знакомство и дружба с Н.Е. Штемпель; рассказ о поэте Б.М. Зубакине.

Публикуется фрагмент беседы (*55 мин.*).

Именной указатель

Г

Е

Ж

З

Л

М

Р

Содержание

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОСИПЕ И НАДЕЖДЕ МАНДЕЛЬШТАМ

ПИСЬМА И ДОКУМЕНТЫ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ОСИП И НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМЫ В РАССКАЗАХ СОВРЕМЕННИКОВ

Подготовка текстов, составление, комментарии, вступительная статья:
О.С. Фигурнова, М.В. Фигурнова

Издатель *И.А. Мадий*

Главный редактор *А.Р. Вяткин*
Главный художник *В.Н. Белоусов*

Компьютерный набор *М.В. Фигурнова*
Корректор *Ю.Г. Попадейкина*
Компьютерная верстка *Н.И. Павлова*

Подписано в печать 6.11.2001 г. Формат 60x84 $^1/_{16}$.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Ньютон».
Усл. печ. л. 31,62. Тираж 3000 экз. Заказ № 4024.

Издательство «Наталис»
ЛР № 065234 от 23.06.1997 г.
119034, Москва, Б. Левшиновский пер., д. 8/1, стр. 2
Телефон: (095) 201-74-90, e-mail: natalis_press@mail.ru

По вопросам приобретения книги обращаться
в магазин «Восточная коллекция» при издательстве «Наталис»
по адресу: 119034, Москва, Б. Левшиновский пер., д. 8/1, стр. 2
Телефон: (095) 201-34-38, e-mail: natalis_press@mail.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов на ГИПП «Вятка».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

ISBN 5-8062-0042-6



